АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ



АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ ИЗБРАННОЕ

АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ



ИЗБРАННОЕ



Москва
«Советская Россия»
1985

Р1
П43

Составление, вступительная статья
и примечания **М. А. Турьян**

Рецензент доктор филологических наук
Ю. В. Манн

Оформление **М. К. Шевцова**

Иллюстрации **Б. А. Гуревича**

На обложке — *А. А. Перовский.* Автопортрет. Карандаш. (1810-е годы). Из альбома С А. Неёлова. Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Публикуется впервые.

П $\frac{4702010100-119}{М-105(03)85}$ 81—85

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АНТОНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО

Писатель Антоний Погорельский современному широкому читателю, пожалуй, едва знаком. Жизненная судьба Алексея Алексеевича Перовского — таково его настоящее имя — по скудости сохранившихся сведений известна нам лишь в самых общих очертаниях: человек блестящий и всесторонне образованный, напоминавший прекрасным своим обликом и легкой хромотой Байрона, влиятельный сановник, друг Пушкина, Вяземского, Жуковского...

Углубляясь в историю литературы, в пору младенчества русской прозы, мы не раз обнаруживаем рядом с именем Погорельского слово «первый»: из-под его пера выходит первая русская фантастическая повесть, один из первых бытовых, «семейных» романов.

«Лучший из худших, то есть, если угодно, очень хороший писатель...» Эта парадоксальная оценка, принадлежащая Н. Г. Чернышевскому, относится к Антонию Погорельскому, стоявшему у истоков русской романтической прозы.

Писатель не очень усердный, можно сказать, рассеянный, творивший немного и неспешно, Погорельский тем не менее занял в литературе 1820—1830-х годов заметное место. Исследователи единодушно признают за ним ряд важных заслуг в развитии русской прозы «допушкинского» и «догоголевского» периода, в становлении и формировании романтического направления.

Литературное наследие Погорельского невелико, однако и оно едва изучено. Архив его почти бесследно исчез, беспечно предоставленный писателем воле судьбы и игре случая. В последние годы жизни, совершенно оставив литературную деятельность, равнодушный к писательской славе, Погорельский мало о нем заботился. Как утверждает легенда, управляющий его имением, страстный гурман, извел бумаги своего патрона на любимое кушанье — котлеты в папильотках...

Вступив в литературу «карамзинистом», причастный затем пушкинскому кругу, Погорельский творчески продолжился не только в таких ближайших младших современниках, как Гоголь или В. Одоевский, но и в значительной мере в следующем литературном поколении — прежде

всего в племяннике и воспитаннике своем Алексее Константиновиче Толстом, на творческое формирование которого он оказал немалое влияние.

Алексей Алексеевич Перовский родился в екатерининское царствование, в 1787 году. Он был внебрачным сыном графа Алексея Кирилловича Разумовского и «девицы» Марии Михайловны Соболевской. Союз этот оказался прочным: он длился до самой смерти Разумовского и дал многочисленное и яркое потомство. Самый род Разумовских отнюдь не мог похвастать древностью: лишь к середине восемнадцатого столетия он головокружительно вознесся из черниговских крестьян до первых приближенных двора и государственных деятелей благодаря благосклонности Елизаветы Петровны к красавцу пастуху и певчему сельской церкви Алексею Розуму.

«Случайный» отпрыск одного из самых знаменитых «случайных» семейств в России, Алексей Перовский проводит детство в Почепе — брянском имении отца, где тот, удалившись с воцарением Павла от государственных дел, живет в это время. Сюда он привозит и Соболевскую с детьми, которым дана фамилия Перовских — по той самой подмосковной вотчине Перово, где некогда Елизавета Петровна тайно венчалась с двоюродным их дедом и своим фаворитом. Дети живут в роскоши, но — на положении сирот и воспитанников. Отец — человек надменный, желчный, истовый масон — и вольтерьянец, мизантроп, равно способный к христианскому смирению и жестокостям,— выступал поначалу в роли благодетеля, и, похоже, дети допускались к нему нечасто.

Тем не менее Перовские получают блестящее домашнее образование. Разумовский — не без труда — добивается возведения их в дворянство, и восемнадцати лет будущий писатель поступает в Московский университет. Уже через два года он получает высшую ученую степень — доктора философии и словесных наук. Прочитанные им при этом три обязательные пробные лекции (две из них Перовский, сверх установленных требований, прочел на немецком и французском языках) были посвящены ботанике, предмету страстного увлечения отца, привитого и сыну. Обращение к профессорам, предварявшее третью, русскую лекцию, изобличало в молодом кандидате в доктора поклонника Карамзина. К этому же времени относится и первый литературный опыт Перовского: в 1807 году он переводит на немецкий язык «Бедную Лизу», считая ее «восхитительным произведением», «великолепным» и «прекрасным» именно «по способу своего изложения». Труд свой, изданный в Москве, Перовский посвящает «его превосходительству г-ну тайному советнику и действительному камергеру графу Алексею Разумовскому». Церемонность и «этикетность» этого посвящения до-

статочно выразительно рисует характер отношений между отцом и сыном, а в факте посвящения есть и какой-то исторический парадокс: в ближайшие же годы Разумовский, уже в качестве министра народного просвещения, будет получать доносы П. И. Голенищева-Кутузова на опасного вольнодумца Карамзина. «Если бы мой опыт и удался наилучшим образом,— писал Перовский,— то и тогда, не будь Вашего одобрения, я счел бы его весьма несовершенным. Мое единственное желание, чтобы Вы восприняли эти листки как знак совершенного уважения и как единственно доступное мне доказательство безграничной благодарности, которой я Вам обязан. Вашей светлости преданнейший слуга...»

Спустя год после «Бедной Лизы» выходят отдельной книжкой прочитанные в университете лекции Перовского — на этот раз с посвящением брату Алексея Кирилловича Льву Кирилловичу Разумовскому. Известен и подносной экземпляр книги сестре графа Наталье Кирилловне Загряжской — той самой Загряжской, с которой породнился впоследствии через жену свою Пушкин и которую так полюбил. Все это, казалось бы, второстепенные, но весьма показательные факты признания незаконного сына А. К. Разумовского ближайшими знатными родственниками. Это, несомненно, имело для молодого Перовского важные и благие последствия. Лев Кириллович жил в Москве не только широким и богатым барином, но и тесно дружил с Карамзиным, семейством Вяземских, с известным знатоком музыки графом М. Ю. Виельгорским. Тогда же, в университетские годы, сближается с ними, а также с Жуковским и Перовский. Сходится он и с младшим Вяземским (скорее всего, в 1807 г.). Вместе они «переплыли быстрой младости поток», вместе прошли по жизни, сохранив близость до конца дней.

Мой товарищ, спутник милый,
На младом рассвете дня,
С кем испытывал я силы
Жизни новой для меня.
. . . .
Как-то, встречею случайной,
Мы столкнулись в добрый час,
И сочувствий связью тайной
Породнились души в нас.

(*П. А. Вяземский.* «Поминки»)

Окончив университет, в январе 1808 года Перовский отправляется служить в Петербург, получив довольно высокий для молодых лет чин коллежского асессора и место в одном из департаментов Сената. Отец его к этому времени возвращается к государственной деятельности попечителем Московского учебного округа, а спустя несколько лет становится министром народного просвещения.

Сын влиятельного вельможи, однако, не намерен был по примеру других манкировать службой. Уже в августе 1809 года он оставляет рассеянную и веселую столицу для полугодовых скитаний по русской провинции — он прикомандирован к сенатору П. А. Обрескову, отправлявшемуся ревизовать Пермскую, Казанскую, Нижегородскую и Владимирскую губернии. Картины русской провинциальной жизни дали немало впечатлений и немалую пищу его острому глазу и уму. Не случайно уже после смерти друга, возвращаясь мыслью к этому времени, когда в будущем авторе «Монастырки» «художник зрел», Вяземский, участник той же Комиссии, писал:

Вопрошал ты быт губерний,
Их причуды, суеты,
И умел из этих терний
Вызвать свежие цветы.

По возвращении из поездки Перовский недолго задержался в Петербурге — его вновь потянуло в уютную, родную Москву. В ноябре 1810 года он переезжает сюда на службу в один из московских департаментов Сената. Думается, не последнюю роль сыграли здесь московские дружеские привязанности, и это не удивительно: в Москве магнитом притягивал кумир Карамзин, кипение литературной жизни, и «старшие» — сам Карамзин и его соратники — с надеждой смотрели на новое литературное поколение, среди которого уже заявили о себе Жуковский и Вяземский. Переписка с последним дает нам прямые свидетельства тесного общения Перовского с этим кругом. Неизвестно, осознает ли себя в это время литератором сам Перовский — во всяком случае, он уже автор литературного перевода и «грешит» стихами. Стихотворные обращения Вяземского к Перовскому помогают составить некоторое представление о характере и литературных вкусах молодого человека, которому сопутствует «гений златокрылый». Он — тайный сочинитель «идиллий», однако вместе с тем и постоянный участник дружеских собраний ироничной и разгульной московской молодежи, среди которой Вяземский — «безумец, расточитель молодой» — заводила и любимец. Не случайно наряду с «идиллиями» появляются у Перовского в эту пору и «амфигури» — шуточная стихотворная галиматья, сопровождавшаяся нередко веселой мистификацией. За Перовским упрочивается репутация «проказника милого» и мастера «шутейного» розыгрыша — недаром он записывает свои стихи в альбом другого известного московского острослова и поэта-дилетанта С. А. Неёлова. Совершенно очевидно, однако, что у Перовского стихи эти — не плод «чистого» литературного творчества; они возникают как отражение определенного образа жизни, определенной формы бытового поведения. Впоследствии это «бытовое» мистификаторство органично входит в литературный метод писателя, составляя его оригинальную и отличи-

тельную черту. Традиция же «шутейного» стихотворства — конечно, не без прямого влияния Перовского — спустя несколько десятилетий с блеском воскреснет и продолжится под пером его племянника — одного из соавторов Козьмы Пруткова.

Однако Перовского в эти годы отличает не одна веселость, но и «здравый» ум, независимый и проницательный взгляд на «лиц, обычаи и нравы», которые он внимательно «следит наедине». Внутреннее становление, выбор жизненной позиции осуществлялись непросто. Так, в поисках ее Перовский делает неоднократные попытки сближения с масонами, хочет стать членом ложи, и только неожиданное со противление отца, видного и влиятельного масона, воспрепятствовало этому намерению[1].

Молодой человек пытается занять себя и деятельностью на общественном поприще: он становится членом Общества испытателей природы, его подпись значится в числе основателей Общества любителей россий ской словесности, вскоре он уже упоминается и среди действительных членов Общества истории и древностей российских. Но и здесь он, очевидно, не находит удовлетворения и в работе обществ фактически участия не принимает. Москва не оправдала надежд, и в январе 1812 года Перовский покидает ее и снова устремляется в Петербург — на этот раз секретарем министра финансов по департаменту внешней торговли.

Однако служить ему здесь довелось недолго — с вторжением Наполеона в Россию Перовский, подобно многим, уже не мог мыслить себя штатским чиновником,— в июле он наперекор отцу становится казачьим офицером. Самый характер этого конфликта с отцом весьма показателен: запрещение Разумовского сыну ехать на театр военных действий было столь резким и категоричным, что сопровождалось даже угрозой лишить «незаконного» наследника материальной поддержки и имения. В ответ на это Перовский писал ему: «Можете ли Вы думать, граф, что сердце мое столь низко, чувства столь подлы, что я решуся оставить свое намерение не от опасения потерять вашу любовь а от боязни лишиться имения? Никогда слова сии не изгладятся из моей мысли...»[2]

Решение Перовского осталось неизменным, и военная служба его продлилась до 1816 года. Он стал участником партизанской войны, сражался под Морунгеном, Лосецами, Дрезденом и при Кульме. В октябре 1813 года, после взятия Лейпцига, прекрасно зарекомендо-

---

[1] См.: Кирпичников А. И. Антоний Погорельский, эпизод из истории русского романтизма.— В его кн.: Очерки по истории новой русской литературы. 2-е, доп. изд. Т 1 М., 1903, С. 84—85.

[2] Цит. по кн.: Стафеев Г. И. В отчизне пламени и слова. (А. А. Перовский и А. К. Толстой в Красном Роге). Тула, 1983, с. 34. Письмо не датировано, но написано, скорее всего, в первой половине 1812 года.

вавший себя и к тому же свободно говоривший по-немецки молодой офицер был назначен старшим адъютантом при генерал-губернаторе королевства Саксонского князе Н. Г. Репнине. В Дрездене Перовский прожил более двух лет.

Жизнь в Германии, вхождение в немецкую культуру, разнообразные художественные впечатления, знакомство с новинками немецкой романтической литературы серьезно повлияли на формирование эстетических вкусов будущего писателя. Очень вероятно, что в эти годы он знакомится по свежим следам с первыми сборниками рассказов Э. Т. А. Гофмана: «Фантазии в манере Калло» (1814), «Ночные рассказы» (1816), романом «Эликсир дьявола» (1815). Многие сюжеты и мотивы, заимствованные как раз из этих произведений, спустя десятилетие воскреснут и впервые обретут жизнь на русской почве под пером писателя Антония Погорельского. С этого времени причудливая фантастика гофмановских сказок надолго будет и занимать, и пленять русские умы.

В 1816 году Перовский вновь появляется в Петербурге: расставшись с военным мундиром, он получает чин надворного советника и становится чиновником особых поручений в департаменте духовных дел иностранных исповеданий, поступив сюда под начало А. И. Тургенева. Здесь быстро возобновляются его литературные связи. В Петербурге Жуковский, Карамзины. Перовский окунается в среду «арзамасцев», для него, «арзамасца» по духу и складу характера, несомненно, близкую и созвучную. Атмосфера веселого и безоглядного сокрушения архаических канонов находит в нем несомненный отклик. Во всяком случае, он явно охладевает к идее государственного служения — при всех связях Перовский не удостоился за это время ни одной награды — и «поворачивается» к словесности.

В это время в семье Перовских происходит важное событие, во многом определившее ход его дальнейшей жизни: у его сестры, красавицы Анны Алексеевны Разумовской, бывшей замужем за графом К. П. Толстым, братом известного художника и медальера Федора Толстого, рождается сын Алексей. Однако брак этот не сложился: сразу после рождения ребенка Анна Алексеевна оставляет мужа, и Алексей Перовский увозит сестру и полуторамесячного племянника в свое черниговское имение Погорельцы. Отныне и до конца дней он посвящает себя заботам о них и воспитанию горячо любимого им Алексаши.

В ближайшие годы Перовский делит, по-видимому, свое время между Погорельцами и Петербургом, где состоит на службе. Во всяком случае известно, что осенью 1818 года он — в кругу петербургских друзей, следующим летом навещает Карамзиных в Царском.

В это же время он знакомится и с Пушкиным. Имя юного поэта ему наверняка известно еще ранее. С возвращением в Петербург круг общения оказался достаточно узким: вечера у Жуковского, Александра

Тургенева, у самих Перовских — в это время в Петербурге и брат Алексея, Василий Алексеевич — друг Жуковского, впоследствии оренбургский военный губернатор, сопровождавший Пушкина по пугачевским местам.

В 1820 году Алексей Перовский заявляет о себе и как литератор: вновь пробует силы в поэзии — на этот раз «серьезной». Однако дошедшие до нас опыты той поры — не вполне отделанная баллада «Странник-певец» и послание «Друг юности моей», адресованное, скорее всего, сестре в связи с рождением племянника,— не дают достаточного материала для каких бы то ни было оценок, тем более что оба стихотворения остались в рукописи. Единственная его стихотворная публикация этого времени — перевод из Горация. Так или иначе опыты эти, написанные хотя и талантливым, но вполне традиционным пером, автора, вероятно, не удовлетворяют, и другие образцы стихотворства Перовского нам неизвестны.

Однако отнюдь не ода Горация обратила внимание на новое литературное имя.

В конце июля — начале августа 1820 года выходит отдельным изданием первая поэма Пушкина «Руслан и Людмила», и вокруг нее разворачиваются ожесточенные журнальные бои. Самая полемика эта возникла в атмосфере активного наступления ревнителей канонов классицизма на новое — романтическое — литературное направление и явилась прямым ее следствием. Статьи в московских и петербургских журналах упрекали Пушкина в нарушении сложившихся норм жанра и стиля и в пренебрежении законами «нравственности». В защиту поэта от лица его единомышленников и друзей с блестящими статьями выступил Алексей Перовский — и статьи эти в спорах вокруг «Руслана и Людмилы» заняли особое место. В этом первом заметном своем печатном выступлении Перовский представлял определенную литературную позицию, выражавшую взгляды старших «арзамасцев», в первую очередь Жуковского, Вяземского, Александра Тургенева, и обнаруживавшую в нем не только ценителя и почитателя восходящей поэтической звезды, но и приверженца нового направления, литератора пушкинского круга. Яркая одаренность, острота и меткость суждений, а также способность к литературной мистификации, удачно и тонко использованной в качестве полемического приема,— все это раскрылось в статьях Перовского в полной мере.

Ареной основных битв стал журнал «Сын отечества». Против Пушкина выступили здесь А. Ф. Воейков — «арзамасец», тяготевший, однако, по своей литературной ориентации к «классицистской» нормативности, и Д. П. Зыков, друг П. А. Катенина, архаиста и открытого противника «Арзамаса», которого Пушкин и его друзья считали автором статьи. И Воейков в своем печально знаменитом «Разборе», и Зыков в «вопросах», составлявших статью и направленных на разоблачение

сюжетных, композиционных и художественных «нелепостей» «Руслана и Людмилы»,— оба выступали с позиций нормативных поэтик XVIII века

Антикритики Перовского рождались в кругу сторонников Пушкина и, видимо, предварительно там обсуждались. Во всяком случае о первой из них (против Зыкова) Тургенев извещал Вяземского еще до печати, а по поводу статьи Воейкова, возмутившей «арзамасцев» он тому же корреспонденту сообщал: «О критике на Пушкина я уже писал к тебе и откровенно говорил Воейкову, что такими замечаниями не подвинешь нашей литературы. Вчера принес ко мне Алексей Перовский замечания на критику, и довольно справедливые. Я отправлю их в «Сына»[1].

Пародируя комическую сторону «допроса», учиненного юному поэту Зыковым, едко иронизируя над мелочной придирчивостью Воейкова, Перовский вместе с тем выступает против самих принципов классицистской поэтики, которые исповедуют его литературные противники, намекая, между прочим, и на неблаговидность нападений на высланного поэта. Он требует для Пушкина — «юного гиганта» — критики не только «истинной», но и благожелательной, подчеркивая тем самым высокий авторитет нового поэтического гения, в котором как и «арзамасцы», видит надежду русской словесности. «Мои чиновники: Воейков (также служивший в это время под началом Тургенева.— *М. Т.*) и Алексей Перовский батально ругаются за Пушкина»[2],— писал в эти дни А. Тургенев Вяземскому.

Критические выступления Алексея Перовского были высоко оценены и самим Пушкиным. Следя за полемикой из южной ссылки и не зная еще об авторстве Перовского, он писал 4 декабря 1820 года Н. И. Гнедичу: «...тот, кто взял на себя труд отвечать ему (Воейкову.— *М. Т.*) (благодарность и самолюбие в сторону), умнее всех их»[3]. Позже, в 1828 году, в предисловии ко второму изданию «Руслана и Людмилы», вспомнив о «вопросах» Зыкова, Пушкин назвал ответ Перовского ему «остро умным и забавным»[4].

В том же 1820 году Алексея Перовского избирают членом Вольного общества любителей российской словесности. К этому времени во главе его становится Федор Глинка, и видную роль в обществе начинают играть будущие декабристы: К. Ф. Рылеев, Николай и Александр Бестужевы, В. Кюхельбекер. Сюда же входят А. Дельвиг, А. Грибоедов Со многими из них Перовский сближается лично. Во всяком случае по важному свидетельству И. Н. Лобойко, он встретился с некоторыми

---

[1] Остафьевский архив кн. Вяземских, т. II. Спб., 1899, с. 72.
[2] Письмо от 28 окт. 1820.— Там же, с. 95.
[3] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XIII. М.— Л., 1937, с. 21
[4] Там же, т. IV, с. 282.

из них на одном из званых вечеров у Перовского[1] Не следует, конечно преувеличивать значение и характер этих связей. Как вспоминал позже А. К. Толстой, то огромное доверие, которое он испытывал к своему дяде, постоянно «сковывалось опасением его огорчить, порой — раздражить и уверенностью, что он будет со всем пылом восставать против некоторых идей и некоторых устремлений... Помню,— пишет Толстой,— как я скрывал от него чтение некоторых книг, из которых черпал тогда свои *пуританские* принципы, ибо в том же источнике заключены были и те принципы свободолюбия и протестантского духа, с которыми бы он никогда не примирился...»[2]. Конечно, Перовский, человек веселый, общительный и умный, в первую очередь необыкновенно привлекал к себе, по словам того же Лобойко, «добродушным и занимательным обхождением». И однако не только этим объясняется несомненная близость его в эту пору к передовым петербургским кругам.

Весной 1822 года умирает в Почепе граф А. К. Разумовский, а уже в июле Перовский подает в отставку и поселяется в наследственном теперь сельце своем Погорельцы. Вместе с ним живет и Анна Алексеевна с сыном. Здесь, в тиши украинской деревни, в уединении, скрашенном присутствием дорогих людей, превосходной библиотекой и изысканной обстановкой барского дома, рождается писатель Антоний Погорельский.

Несколько лет Перовский почти безвыездно живет то в Погорельцах, то в другом наследственном имении — Красном Роге. В это время, по-видимому, он и пишет первые свои повести, вошедшие потом в цикл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии»: «Изидора и Анюту», «Пагубные последствия необузданного воображения» и «Лафертовскую маковницу». Во всяком случае, отправляясь в январе 1825 года в Петербург Перовский везет уже с собой последнюю из названных повестей, и она появляется в мартовской книжке «Новостей литературы». Для этого же журнала предназначал он и «Пагубные последствия...» (под первоначальным названием «Несчастная любовь»), но не опубликовал и позднее переработал.

«Лафертовская маковница», подписанная новым литературным именем — псевдонимом Антоний Погорельский,— сразу обратила на себя всеобщее внимание. Сочетание фантастической сказки, рассказанной к тому же озорно и непринужденно, с сочно выписанным бытом московских окраин, было внове; внове оказалось и дерзкое пренебрежение автора к «здравой» необходимости «разумного» объяснения «чудесного»: в русской литературе появилась первая фантастическая повесть.

---

[1] См.: <Лобойко И. Н.> Перовский <1840> ОР ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР, ф. 154, № 39, лл. 94 98.
[2] Толстой А. К. Собр. соч. в 4-х т., т 4. М., 1964, с 60

Необычность сюжетной концовки и отсутствие вполне разрешающего фантастический план аккорда смутили, прежде всего, издателя «Новостей» — все того же Воейкова, снабдившего повесть своей «Развязкой». Он счел необходимым объяснить все детали и перипетии фантастического сюжета с точки зрения здравого смысла, а также бытовых и психологически оправданных реалий. «Благонамеренный автор сей русской повести, вероятно, имел здесь целью показать,— писал Воейков,— до какой степени разгоряченное и с детских лет сказками о ведьмах напуганное воображение представляет все предметы в превратном виде». С точки зрения Воейкова, богатство старухи не что иное, как «богатая дань суеверных людей», приходивших к ней гадать, черный кот, превратившийся в господина Мурлыкина,— плод расстроенного «мнимым колдовством маковницы» воображения Маши — благо, Мурлыкин «на беду свою был черноволос, круглолиц и носил густые бакенбарды» и т. д. Извинение этому издатель находил в «суеверии русского простого народа, мало знакомого с просвещением», тем более что суеверие, к возмущению его, распространилось даже среди просвещенных парижанок[1]. Для рационалиста Воейкова напряженная и ироничная романтическая фантастика «Лафертовской маковницы» оказывается совершенно непонятной, чуждой и — неприемлемой. Новый способ художественного мышления вызывает противодействие: по существу, его «примечание издателя» явилось продолжением старого спора с Перовским, возникшего пять лет назад по поводу «Руслана и Людмилы». Не случайно, издавая несколько лет спустя «Двойника», Перовский заключает вошедшую туда «Лафертовскую маковницу» полемическим — совершенно в духе его критических статей,— исполненным насмешливой иронии авторским диалогом с Двойником, прямо адресующим читателя к сентенциям Воейкова: «...напрасно, однако ж, вы не прибавили развязки»,— говорит Двойник.— «Иной и в самом деле подумает, что Машина бабушка была колдунья.— Для суеверных людей развязок не напасешься,— отвечал я.— Впрочем, кто непременно желает знать развязку моей повести, тот пускай прочитает «Литературные новости» 1825 года. Там найдет он развязку, сочиненную почтенным издателем «Инвалида»[2], которую я для того не пересказал вам, что не хочу присвоивать чужого добра».

Весьма примечательна реакция на повесть Пушкина. «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! — писал он в восхищении брату.— Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр. Фал. Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину»[3]. Много позже в «Гробовщике», несомненно близком

---

[1] Новости литературы, 1825, № 3, с. 133—134.
[2] «Новости литературы» выходили в качестве приложения к газ. «Русский инвалид».
[3] Пушкин А. С. Письмо от 27 марта 1825 г.— Полн. собр. соч., т. XIII, с. 157.

по стилистике «Лафертовской маковнице», Пушкин сравнит своего будочника Юрко с почтальоном Онуфричем Погорельского.

Приехав в Петербург, Перовский не только вступает на литературное поприще и возобновляет литературные связи; возвращается он и к государственной службе: ему предложена должность попечителя Харьковского учебного округа. В ведении Перовского оказывается не только Харьковский университет, но и Нежинская гимназия высших наук, где учился тогда Гоголь. Однако новые служебные обязанности не требовали постоянного его присутствия в Харькове, и Перовский вновь возвращается в Погорельцы, где, между прочим, немало времени уделяет и воспитанию племянника. Через год он вновь в Петербурге куда на этот раз едет для переговоров с министром народного просвещения А. С. Шишковым по поводу бедственного состояния вверенного ему университета. По приезде в Петербург Перовский назначается еще и членом Комитета по устройству учебных заведений и производится в действительные статские советники. В том же 1826 году по распоряжению Николая I Перовский пишет записку «О народном просвещении в России»[1], явившуюся рецензией на доклад известного своими реакционными идеями попечителя Казанского учебного округа М. Л. Магницкого «О прекращении преподавания философии во всех учебных заведениях». Напомним, что в это же время — также по предложению Николая I — пишет свою известную записку о народном просвещении и Пушкин.

Осень 1826-го и зиму следующего года Перовский проводит между Москвой и Петербургом; в Москву уезжает Анна Алексеевна с сыном здесь живет во втором замужестве — за генерал-майором Денисьевым — и мать Перовских. Тогда же он возобновляет знакомство и с возвращенным из ссылки Пушкиным. С наступлением весны Перовский с сестрой и племянником почти на полгода уезжают в Германию. В Веймаре они посещают Гёте — А. К. Толстой описал позже этот памятный визит в своих автобиографических заметках[2]. По возвращении Перовского из Германии в 1828 году выходит в свет первая его книга — «Двойник или Мои вечера в Малороссии».

Цикл рассказов — четыре новеллы, объединенные диалогическим обрамлением, самый характер и сюжеты вставных повестей, содержание бесед автора с Двойником,— все это сразу же адресовало критиков к традициям западноевропейского романтизма, прежде всего к Л. Тику и Гофману с его «Серапионовыми братьями». В дальнейшем композиционное построение «Двойника» — первый такого рода опыт на русской почве — стал одним из излюбленных приемов русских романтиков

[1] Опубликована: Русская старина, 1901, № 5, с. 363—367

[2] См. письмо А. К. Толстого к А. Губернатису от 20 февраля (4 марта) 1874 г.— Толстой А. К. Собр. соч., т. 4, с. 423.

получив продолжение и развитие в таких, например, выдающихся памятниках литературы романтизма, как «Вечера на хуторе близ Диканьки» или «Русские ночи» В. Ф. Одоевского. Однако в отличие от Гоголя и Одоевского, у которого повествование ведут четыре героя, проводящие время в развернутых философских спорах и воссоздающие внешнюю, «философскую» картину мира, двое «ведущих» у Погорельского — фактически одно и то же лицо, одно человеческое сознание, внутри которого противоборствуют рационально-просветительское и романтическое начала. Не случайно в описании внешности Двойника Погорельский дает точный свой автопортрет. Этот, как и другие легкие и изящные автобиографические «медальоны» в цикле, вновь невольно напоминает о пристрастии писателя к литературной мистификации. И «открытое» автобиографическое начало, рисующее собственное его поместье, и элегические размышления о счастье, сюжетно и образно перекликающиеся со стихотворным посланием «Друг юности моей», также, несомненно, имеющим сугубо личный характер,— все это до некоторой степени обличает в Погорельском литератора особого рода, не чуждого той степени высокого артистичного дилетантизма, при котором жизненные, ситуационные или художественные стимулы играют далеко не последнюю роль. Возможно, эта черта творческой индивидуальности писателя поможет нам до некоторой степени понять и принципиальные особенности его «Двойника».

Книга Погорельского, рожденная в атмосфере утверждавшего себя в русской литературе романтизма, в полной мере отразила этот «слом» направлений, движение писателя-сентименталиста карамзинской ориентации, разделявшего и просветительские идеи, к новому художественному мировоззрению. Самое «двойничество» Погорельского представляет собой психологическую раздвоенность сознания именно такого рода. Речь у автора с Двойником идет о «новомодных» предметах — предчувствиях, предсказаниях, привидениях, магнетической силе, и обсуждение их колеблется все время между двумя крайними точками: пристальным интересом к названным темам и попытками их рационального объяснения. Не случайно в этих дебатах находит себе место пространное рассуждение Двойника о свойствах человеческого ума, восходящее к философии материалиста Гельвеция[1]. Эти тенденции «рациональной» фантастики, именно «рациональностью» своей отличающиеся от западных романтических образцов и в самых начальных, а порой и наивных формах сформулированные впервые Погорельским в «Двойнике», были подхвачены и развиты потом в русской романтической прозе, и полнее всего — В. Одоевским. Именно по этому принципу развивалась в основном русская фантастическая повесть. Названные особенности как раз

---

[1] См.: Степанов Н. Л. Антоний Погорельский.— В кн.: Антоний Погорельский. Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Монастырка. М., 1960, с. 9.

и дают «ключ» к прочтению весьма разнохарактерных вставных новелл «Двойника», каждая из которых восходит к определенному литературному источнику.

Первая новелла — «Изидор и Анюта» — прямо адресует нас к карамзинской «чувствительной» повести. Погорельский сполна отдает ей дань и вместе с тем колеблет ее устои. Непривычная для этого жанра романтическая напряженность действия, «таинственный» трагический финал, наряду с этим превосходные картины разоренной Наполеоном Москвы — все это уже очевидные симптомы нарушения «чистоты» жанра.

Вторая новелла — «Пагубные последствия необузданного воображения» — также посвящена истории несчастной любви (так она первоначально и называлась), однако рассказана она уже совсем в ином ключе. В критической литературе, начиная с прижизненных откликов, эта повесть не раз и с полным основанием связывалась с именем Гофмана. Однако наблюдение это справедливо лишь до известных пределов. В самом деле, Погорельский так открыто, местами почти дословно повторяет сюжетную коллизию гофмановского «Песочного человека», что нельзя не увидеть в этом сознательную намеренность приема. Здесь та же, что и у Гофмана, влюбленность молодого человека в куклу, то же его трагическое прозрение, безумие и конец. И тем не менее разница между двумя произведениями весьма существенна. Погорельский разрушает замкнутое существование гофмановских героев в мире мечты и поэзии, в мире полусна-полуяви и неожиданно переводит тональность повествования в иной, социально-дидактический регистр. Справедливо, что с Погорельского началась русская «гофманиана», ибо это — первое обращение русского писателя к Гофману, однако также справедливо, что с Погорельского началась и особая традиция освоения в России творчества великого немецкого романтика[1]. Именно по пути привнесения социально-дидактических мотивов пойдет в своих «гофмановских» фантастических повестях страстный поклонник немецкого писателя Н. А. Полевой; так же будет интерпретировать его и самый крупный русский романтик-фантаст Одоевский — в частности, мотив «кукольности» светского общества повторится у него в «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту», в «Той же сказке, только наизворот», вошедших в цикл «Пестрых сказок» (1833).

Что касается третьей новеллы «Двойника» — «Лафертовской маковницы», о которой подробно говорилось выше,— то ее «условное правдоподобие», ориентированное на фольклорную стихию, в художественном отношении оказалось наиболее совершенным и убедительным: повесть неизменно выделялась в цикле как наиболее удавшаяся.

---

[1] Подробнее о Гофмане и Погорельском см.: Ботникова А. Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература. Воронеж, 1977, с. 56—68.

Последний рассказ «Двойника» — «Путешествие в дилижансе» — был также плодом литературных впечатлений. Он явился своеобразным откликом на модную повесть французского писателя и ученого Пужана «Жоко, анекдот, извлеченный из неизданных писем об инстинкте животных» (1824). Интерес писателя, естественника по образованию, к такого рода темам вполне понятен. Однако любопытно, что Погорельский, отталкиваясь от сюжетной коллизии произведения Пужана, создает свой — полемический — вариант повести о Жоко. Мелодраматической версии первоисточника — истории влюбленности самки-орангутанга в человека — он противопоставляет руссоистский рассказ о материнской привязанности обезьяны к похищенному ребенку. Правда, и Погорельский не обходится без некоторого мелодраматического накала страстей — его герой сам убивает свою воспитательницу Туту, однако это нисколько не снижает полемического пафоса русского варианта. Если при этом учесть, что перевод повести Пужана в 1825 году появился в «Московском телеграфе», а в 1828 году написанная на ее основе Габриэлем и Э. Рошфором мелодрама (русский перевод Р. М. Зотова) пошла на московской сцене, заключенный в последней новелле «Двойника» скрытый смысл становится особенно понятным.

Книга Погорельского широкого читательского успеха не имела и, в общем, осталась не до конца понятой. Даже С. П. Шевырев, хорошо знавший немецкую романтическую литературу, в частности Гофмана, в новеллах о кукле и обезьяне увидел лишь «крайность своенравной и даже необузданной фантазии, преступившей границы всякого вероятия» (Московский вестник, 1828, ч. 10, № 14). Однако в откликах на «Двойника» все единодушно отмечали как редкое в современной литературе достоинство прекрасный, легкий и «заманчивый» слог. Мастерство превосходного устного рассказчика, не раз восхищавшее слушателей Погорельского, сказалось в его писательской манере сполна. Вяземский позже писал, что он «очень хорошо передает себя в слоге своем». Так или иначе «Двойник» остался не только памятником эпохи литературного «перелома», он явился и по-своему «провидческой» книгой, ибо тонкое литературное чутье Погорельского помогло ему точно уловить и наметить ряд важных тенденций, развитых литературой романтизма и нашедших потом наиболее совершенное свое выражение у Достоевского.

В следующем, 1829 году выходят еще два «волшебных» произведения Погорельского: новелла «Посетитель магика» (согласно авторскому примечанию, перевод с английского), с популярной в Европе легендой об Агасфере, и детская сказка «Черная курица, или Подземные жители», написанная Погорельским, скорее всего, для племянника. По-видимому, в конце 1828 года Жуковский писал Дельвигу, издававшему альманах «Северные цветы»: «У Перовского есть презабавная и по моему мнению прекрасная детская сказка «Черная курица». Она у меня. Выпросите

ее себе»[1]. Однако сказка вышла отдельным изданием, и ей, сразу покорившей читательские сердца, была суждена долгая жизнь.

В том же 1829 году Перовского избирают в члены Российской Академии. Он — в Петербурге, и среда его общения здесь — пушкинская. С самим поэтом он — в коротких дружеских отношениях и на «ты». По воспоминаниям Вяземского известно, например, что уже за несколько лет до этого Пушкин читал в доме Перовского в Петербурге своего «Бориса Годунова». Сближается он в это время и с Дельвигом, и редакция готовящейся к изданию «Литературной газеты» видит в нем желанного автора. Перовский входит в большую литературу как писатель пушкинского круга.

С января 1830 года начинает выходить «Литературная газета», и в первых же ее номерах появляется отрывок из нового романа Погорельского «Магнетизер» (не имевшего, правда, продолжения), где в прекрасную бытовую живопись — описание провинциального купеческого семейства — вновь вторгается «таинственное». Казалось, Погорельский явно упрочивает за собой репутацию писателя «фантастического», но уже месяц спустя та же «Литературная газета» анонсирует другое крупное его произведение — совсем в ином роде, из жизни Малороссии, в котором отмечаются «живость картин, верность описаний, счастливо схваченные черты нравов малороссийских и прекрасный слог». Речь шла о самом значительном создании Погорельского — романе «Монастырка».

Появление его имело некоторую предысторию, объясняющую особый накал страстей в широко развернувшейся вокруг него полемике. Дело в том, что незадолго перед этим, в конце 1829 года, на книжных прилавках появился роман Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин». Написанный, как и «Монастырка», в жанре «нравоописательного» романа, он, однако, своими охранительными идеями, псевдоисторичностью и псевдобытописательством вызвал резкое противодействие в прогрессивных кругах. Тем не менее противопоставить ему было нечего, и читательский успех «Выжигина» оказался огромен. Резкое неприятие булгаринского творения пушкинским кругом явилось и следствием, и продолжением острой идейно-литературной борьбы. Появившаяся же из-под пера Погорельского история неискушенной воспитанницы Смольного монастыря Анюты, рассказанная просто, искренне и не без психологической достоверности, убедительная в своей реальности, верно схваченная жизнь Украины — все это выгодно отличало его новый роман от «Ивана Выжигина». Не чуждый некоторой сентиментальности и искусственности сюжета, роман раскрывал внутреннюю логику характеров, и картины быта и нравов обретали в нем силу жизненной правды. «Вот настоящий и, вероятно, первый у нас роман нравов»,— писал

[1] Русский архив, 1891, кн. 2, № 7, с. 364.

Вяземский, представляя читателю первый том «Монастырки» и героев романа: Анюту — «прототипа всех милых, простосердечных, откровенных монастырок бывших, настоящих и будущих»; Клима Сидоровича Дюндика — «лицо оригинальное, означенное резкими и забавными чертами и годное для изучения нравственного»; Марфу Петровну, «которая женщина себе на уме и вопреки духовного наставления вовсе не боится мужа, а напротив, держит его в ежовых рукавицах», двух ее дочерей, «выучившихся французскому языку по книге «Jardin de Paradis pour leçon des enfants...». Во всех этих лицах, не исключая и «племянника Марфы Петровны, господина Прыжкова, урожденного Прыжко», который вздумал промышлять на роменской ярмарке забавой парижских шалунов, Вяземский находил ту точность психологической и бытовой характеристики, которая делает их реально узнаваемыми фигурами провинциальной помещичьей среды. Именно это, согласно Вяземскому, отличало «Монастырку» от нравоописаний Булгарина, не находящих в обществе прямых соответствий и переносящих на русский быт готовые схемы, заимствованные из иноязычных литератур. Формула «первый роман нравов» была в этом отношении полемической; она противопоставляла «Монастырку» как Булгарину, так и Нарежному, имевшим перед Погорельским только хронологическое первенство. «Нарежный был Теньер, и еще русский Теньер романа. <...> Романы Нарежного обдают нас варенухою, и куда автор ни вводит нас, а все, кажется, не выходишь у него из корчмы. Действующие лица в новом романе совершенно других примет»[1]. В этом отзыве довольно точно схвачены литературные особенности «Монастырки»: бытовая сфера, освобожденная от несущественных, случайных черт, взятая в своих характерных проявлениях, и, с другой стороны, очищенная от натуралистического, «низкого», «грубого». Скажем сразу же, что в этом была и сила, и слабость «Монастырки» по сравнению с упомянутыми романами Нарежного, чье бытописание ярче, смелее и свободнее. «Монастырка» же во многом зависит еще от сентиментальной и романтической традиции, в которой держалось представление о бытовой сфере как о «низкой», требующей «очищения». Роман Погорельского, конечно, не реалистический роман; в нем есть и традиционно романтические ситуации и лица: таков, например, благородный цыган Василий, с которым связана целая сюжетная линия. Но он был значительным шагом вперед по сравнению с «нравственно-сатирическим» романом, и к тому же, как верно отметил Вяземский, «язык и слог его» совершенно отвечали «требованиям природы и искусства». Это была также стрела, пущенная в Булгарина: его обвиняли именно в отсутствии «слога», в безжизненной правильности литературной речи.

Для характеристики отношения к «Монастырке» в пушкинском

---

[1] Лит. газ., 1830, т. 1, № 16, 17 марта.

кругу небезынтересно вспомнить признание Баратынского, тонкого ценителя литературного стиля. Прочитав «Вечера на хуторе близ Диканьки», он писал: «Я приписывал их Перовскому, хоть я вовсе в них не узнавал его»[1].

Статья Вяземского появилась в «Литературной газете» и прозвучала как боевой сигнал. Булгарин должен был отвечать и защищать свои принципы дидактического бытописания. Еще до выхода романа Погорельского он был предубежден против автора. 25 января 1830 года он писал жалобу Бенкендорфу: «Меня гонят и преследуют сильные ныне при дворе люди: *Жуковский* и *Алексей Перовский* за то именно, что я не хочу быть орудием никакой партии»[2]. Так или иначе, но открыто нападать на «сильного при дворе» сановника и «сильного» литературного конкурента Булгарин не решается; он в своей «Северной пчеле» (№№ 32—37) увенчивает автора «Монастырки» розами, имевшими, однако, довольно острые шипы. Начав статью буквально с тех же уверений в своей «внепартийности», что и в письме к Бенкендорфу, Булгарин расценивает «Монастырку» как роман «более юмористический, нежели сатирический», принадлежащий к числу тех «милых» произведений, в которых «не должно искать ни великих истин, ни сильных характеров, ни резких сцен, ни поэтических порывов», где представлены «обыкновенные случаи жизни, характеры, кажется, знакомые, рассуждения, слышимые ежедневно, но все это так мило сложено, так искусно распределено, так живо нарисовано, что читатель невольно увлекается...». В этих вынужденных похвалах очень важно замечание об «обыкновенности» лиц и жизненных ситуаций,— именно этот упрек, как известно, адресовал А. Бестужев «Евгению Онегину», и именно эта «обыкновенность», неприемлемая для романтической эстетики, открыла русской литературе новые пути.

Наряду с сомнительными похвалами и с признанием безупречности литературного слога Булгарин адресует ряд полемических выпадов как непосредственно Погорельскому, так и автору статьи в «Литературной газете»; так, он решительно не соглашался, что «Монастырка» — «единственный русский роман, изображающий нравы в настоящем виде». Не обошелся Булгарин и без довольно грубых выпадов личного свойства.

Пушкинская группа писателей продолжала наступление. В альманахе «Северные цветы на 1831 год», в «Обозрении российской словесности за вторую половину 1829 и первую половину 1830 года» О. Сомов разбирает уже сочинения Погорельского и Булгарина рядом. Обвиняя последнего в анахронизме и полном непонимании «общего характера

---

[1] Татевский сборник С. А. Рачинского. Спб., 1899, с. 43.

[2] Цит. по кн.: Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Спб., 1909, с. 270.

русского народа», считая к тому же, что «Булгарин пишет как иностранец, который постиг механизм русского языка», критик, напротив, видит в романе Погорельского очерки характеров, «схваченных с самой природы», и как знаток Малороссии «отдает всю справедливость наблюдательности и меткости автора», психологической и этнографической верности романа.

Московские журналы, держась в стороне от петербургских литературных схваток, встретили «Монастырку» сдержаннее. Единодушно разделяя мнение о мастерстве Погорельского-рассказчика, они тем не менее оценили «Монастырку» как роман подражательный. По мнению критика «Московского телеграфа» (ч. 32, № 5), это не более «как приятное описание семейственных картин», в котором не следует искать «ни страстей, ни мыслей, ни глубокого значения». Критик объяснял «неумеренные» похвалы «Литературной газеты» личными дружескими связями писателя. Мнение «Московского телеграфа» вполне разделял и другой журнал — «Атеней» (ч. 2, № 7). Брошенное Булгариным определение «Монастырки» как «милого», непритязательного романа нашло у москвичей сочувствие и поддержку; они не упустили случая задеть «литературных аристократов», каковыми считали пушкинско-дельвиговский кружок и к которому, естественно, причисляли и Погорельского.

Однако острые и в существе своем «партийные» споры не помешали шумному успеху романа. Им зачитывались в столицах и в провинции, и интерес к его продолжению не ослабевал в течение нескольких лет. Погорельский же заставил себя ждать довольно долго. Но когда, спустя три года, вышла, наконец, вторая часть «Монастырки», появление ее было воспринято как заметное событие не только в узколитературных кругах: роман к тому времени обрел широкую читательскую аудиторию.

Критические отклики на завершенный уже роман оказались спокойнее по тону и не были столь явно отмечены кипением страстей Тот же «Московский телеграф» на этот раз писал, что «занимательность» этого «не высокого, не гениального, но чрезвычайно приятного милого» произведения «так естественна, так проста и следственно близка всякому, что искусство автора почти незаметно — а это едва ли не большое искусство». «Это ясный, простой рассказ умного, образованного человека». Другое московское издание — «Молва», — не без ехидства напомнив читателям о «громком плеске приятельской газеты» при появлении первой части романа, отозвалось тем не менее о «Монастырке» как о «приятном литературном явлении»[1].

Спустя два десятилетия, уже после смерти писателя, откликаясь

---

[1] Подробнее см. Jozef Smaga. Antoni Pogorielski. Zycie i twórczość na tle croki. Wroclaw — Warszawa — Kraków 1970

на выход двухтомника его сочинений, Н. Г. Чернышевский назвал «Монастырку» «очень замечательным явлением» для своего времени. По его мысли, в отличие от Н. Полевого или Марлинского Погорельский описывал не «страсти», а «нравы», и поэтому их успех, как и успех романов Загоскина, «не мог вредить «Двойнику» и «Монастырке»; к тому же произведения Погорельского, владевшего, по его мнению, замечательным талантом рассказчика, стоят «в беллетристическом отношении несравненно выше всех этих романов»[1]. Эта спокойная и объективная оценка, подтверждавшая взгляд на «Монастырку» пушкинского круга, вполне была оправдана временем: на протяжении XIX века «Монастырка» оставалась одним из самых читаемых романов и даже вызвала к жизни литературные подражания. С точки зрения историко-литературной роман этот, во многом еще несовершенный, явился тем не менее провозвестником того «семейного» реалистического романа, который получил в русской литературе дальнейшее блистательное развитие вплоть до романов Льва Толстого.

«Монастырка» была последним произведением Антония Погорельского. В промежутке между двумя ее частями, в 1830 году, в «Литературной газете» было еще напечатано его шутливо-философское послание барону Гумбольдту — «Новая тяжба о букве Ъ». Больше имя писателя на страницах печати не появлялось[2]. В 1830 году он вышел в отставку и, покинув также и литературное поприще, всецело отдался воспитанию племянника. Пользуясь полной его доверенностью и любовью, он внимательно и серьезно следит за первыми, еще детскими, литературными опытами будущего поэта, исподволь формирует его литературный вкус, приучает к творческой взыскательности. Письма Перовского к нему наполнены литературными советами. Весьма красноречив, например, известный случай, когда Перовский, уступая, видимо, нетерпеливому желанию автора, опубликовал в одном из периодических изданий его стихотворение, поместив рядом строгую критику на него, с тем чтобы указать юному писателю на преждевременность его желания печатать свои произведения. Вводит Перовский племянника и в свой литературный круг, показывает его опыты Жуковскому и Пушкину, с которым Толстой еще мальчиком познакомился в доме своего дяди.

В 1831 году Перовский отправляется со своим воспитанником и сестрой в путешествие по Италии. Большой знаток и ценитель искусства, он раскрывает перед будущим поэтом и в известном смысле своим

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Антона Погорельского.— Современник, 1854, т. XLV, № 6, отд. IV, с. 49—57.

[2] Г. И. Стафеев в своей книге «В отчизне пламени и слова» опубликовал в качестве неизвестного произведения Погорельского сатиру «Недремлющее око» (хранится в ЦГИА, ф. 1021, фонд Перовских, оп. 1, ед. хр. 15, лл. 1—7, копия без подписи и даты). Она, однако, принадлежит не Погорельскому, а П. А. Машкову и относится к началу 1840-х годов (см.: Никитенко А. В. Дневник в 3-х т., т. 1. (1826—1857). [М], 1955, с. 251).

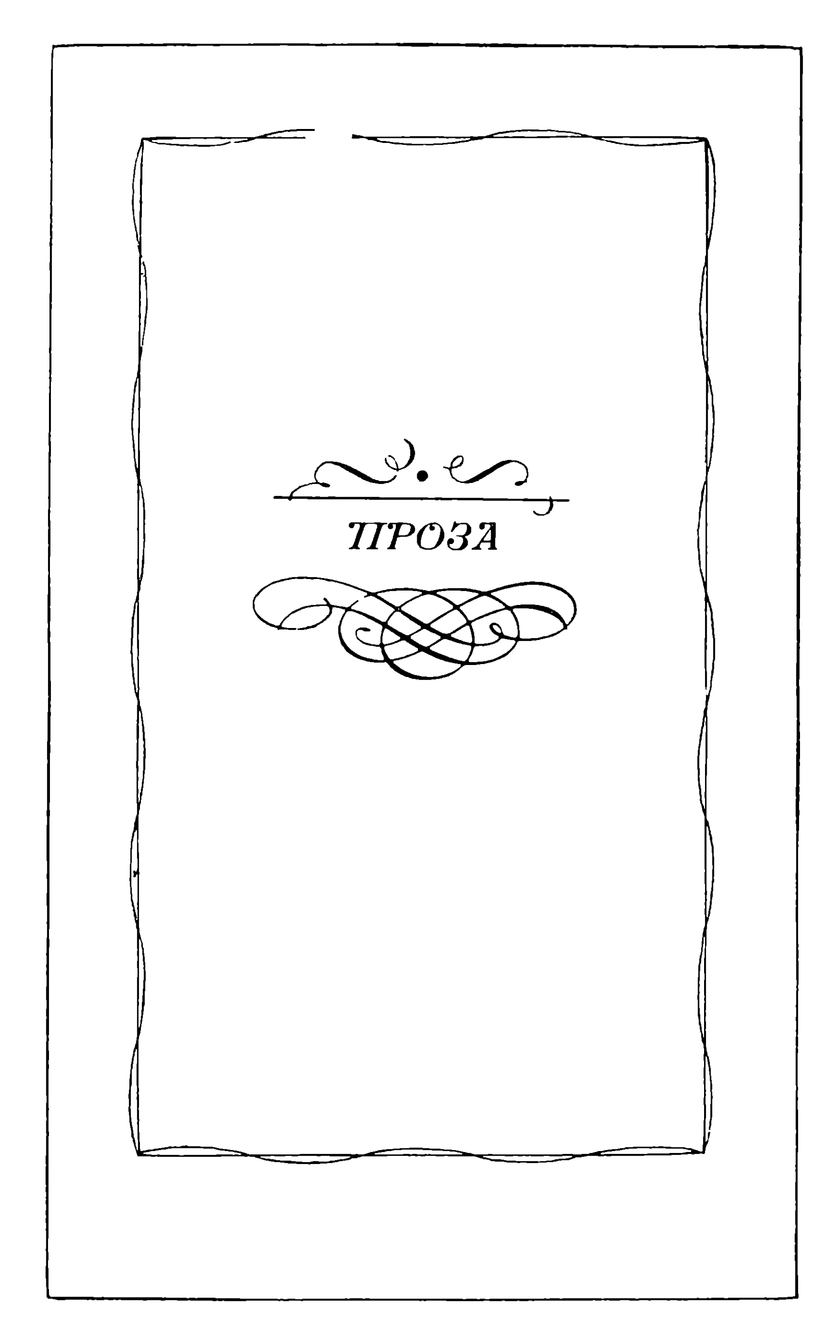
духовным восприемником мир старых итальянских мастеров, делает там ряд значительных приобретений для своей художественной коллекции.

По возвращении в Россию Перовский живет то в Погорельцах, то в одной из столиц, почти не расставаясь со своими близкими, фактически заменившими ему семью. Сохраняются в то же время и прежние дружеские связи. Его имя в эти годы не раз мелькает на страницах пушкинских писем.

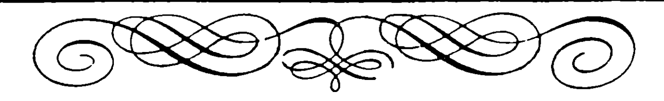
В 1836 году у Перовского обостряется «грудная болезнь» (очевидно, туберкулез), и он в начале лета в сопровождении Анны Алексеевны и племянника отправляется для лечения в Ниццу. Но по дороге туда в Варшаве 9(21) июля Алексея Перовского застает внезапный и скорый конец.

...Сменились поколения, и вслед за Антонием Погорельским пришли в литературу другие имена, значительнее и крупнее. Однако в памяти преемников, то угасая, то вспыхивая вновь, хранилось воспоминание о его необычном мире, исполненном блеска и легкого изящества. Мир этот увлекает нас и сегодня.

М. Турьян



ПРОЗА



ДВОЙНИК

ИЛИ МОИ ВЕЧЕРА В МАЛОРОССИИ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вечер первый

В северной Малороссии — в той части, которую по произволу назвать можно и лесною, и песчаною, потому что названия эти равно ей приличны — находится село П***. Среди оного, на постепенно возвышающемся холме, расположен большой сад в английском вкусе, к которому с северной стороны примыкает пространный двор, обнесенный каменною оградою; на дворе помещичий дом с принадлежащими к нему строениями. Из одних окошек дома виден сад, из других видна улица, а по ту сторону улицы зеленеются конопляники, составляющие главный доход жителей тамошнего края. Холм окружен крестьянскими избами, выстроенными в порядке и украшенными (на редкость в той стране) каменными трубами. В некотором расстоянии от села густой сосновый лес со всех сторон закрывает виды вдаль.

В этом селе и в этом помещичьем доме жил я безвыездно несколько лет. Рассказывать, по каким причинам я жил там безвыездно, было бы вовсе излишне; довольно того, если скажу тебе, мой благосклонный читатель, что я — покорный слуга твой,— не другой кто, как сам помещик того села. В течение нескольких лет моего там пребывания время проходило не совсем для меня весело, но не совсем и скучно, и я на то никак не жалуюсь; ибо где в поднебесной провести можно время совершенно счастливо, совершенно весело? Какой человек на свете

(я говорю о людях несколько испытанных и не совсем молодых) может похвалиться, что он где-нибудь или когда-нибудь совершенно был счастлив? Если ты, любезный мой читатель, еще очень молод,— если приятности жизни представляются тебе еще в дали блестящей, то ты мне не поверишь; ты скажешь сам себе: «Теперь я, конечно, не могу назваться счастливым, теперь недостает у меня того, другого, например, чинов, почестей, имения; но как скоро достигну до всего, чего желаю, что тогда помешает мне быть счастливым? Когда человек здоров, молод, богат, знатен, то он должен быть и счастлив». Ошибаешься, друг мой, молодой читатель! Со временем ты собственным опытом узнаешь, что совершенное благополучие не есть удел этой жизни, и что как бы ни повезло тебе счастие (чего от души желаю), все-таки оно не довезет тебя туда, куда стремиться будешь. Чем дальше в море, тем больше горя,— говорил один старик, приятель мой. И я ему сначала не очень верил; а теперь верю!..

Но, спросишь ты у меня, что же тебе делать, чтоб быть, по крайней мере сколько возможно, счастливым? Скажу в ответ: старайся быть довольным судьбою своею и не завидуй судьбе других. Помни золотое правило, почерпнутое мною в молодости из одной учебной книги, и которое нашел я чрезвычайно полезным в течение жизни своей:

Что господом дано, ты тем и наслаждайся;
Чего же не дано, о том не сокрушайся.

Не забывай никогда, что сокрушаться о том, что не дано тебе, ни к чему не служит. Сокрушением своим ты не достигнешь того, чего желаешь, а только потеряешь вкус к тому, что имеешь. Человека, пренебрегающего этим правилом, сравнить можно с солдатом, который во время похода вздумал бы крушиться о том, что у него, вместо щей да каши, нет сладких пирогов. Как часто, в горестные минуты, правило это меня утешало! — Итак, любезный читатель, вот мой дружеский совет! Кушай на здоровье пироги, когда они у тебя есть; но не грусти о них и не посматривай другим в зубы, когда у тебя нет ничего, кроме щей да каши.

Пора, однако, обратиться к делу: я почти признался выше, что иногда и мне, несмотря на упомянутое золотое правило, бывало скучно. Чаще всего случалось это по вечерам, когда крестьяне, окончив сельские работы, пре-

давались покою и около дома моего становилось пусто. Я тогда обыкновенно садился к открытому окну и в задумчивости слушал унылое пение молодых крестьянок, до поздней ночи веселящихся на вечеринках. Кому случалось слышать это пение в северной Малороссии, тому не покажется непонятным, что я не сердился на лай собак, крик филинов и визг летучих мышей, от времени до времени заглушавших песни красавиц.

В один прекрасный вечер, я, по обыкновению, сидя у окна, мечтал о будущем и не без грусти вспоминал о прошедшем. Неприметно переходя от воспоминания к воспоминанию, от мысли к мысли, я в воображении принялся за любимое занятие, когда бываю один и без дела ... я начал строить воздушные замки. Живейшее воображение в таких случаях бывает лучшим архитектором. Я не могу пожаловаться на леность своего воображения, и потому воздушные здания с неописанною скоростию возвышались одно другого красивее, одно другого пышнее. Наконец взгромоздив замок, который огромностию и красотою своею превосходил все прочие, я вдруг опомнился и со вздохом обратился к настоящему! Если бы, подумал я, вместо всего несбыточного, которое бродит у тебя в голове, имел ты хотя одного доброго товарища, который бы делил с тобою длинные вечера! Но нет — и этого даже быть не может! Ты осужден оставаться одиноким; друзья твои далеко; и кто из них пожертвует собою, чтоб посетить тебя в такой глуши? Несмотря, однако ж, на то, будь доволен своею судьбою и помни:

Что господом дано...

Не успел еще я договорить мысленно этого утешительного изречения, как послышалось мне, что кто-то тихо постучался в дверь. Сначала я принял это за игру воображения; но вторичный стук удостоверил меня, что я не ошибаюсь, и я в нетерпеливом любопытстве громко закричал:

— Милости просим!

Дверь отворилась без скрипа, и вошел в комнату мужчина средних лет и росту повыше среднего. Волосы его были кудрявые, глаза голубые, губы довольно толстые и нос вздернутый немного кверху. Он поклонился весьма ласково и когда подходил ко мне ближе, то я заметил, что он немного прихрамывает на правую ногу. Нельзя пред-

ставить себе, до какой степени поразило меня его появление! Кроме того, что я понять не мог, каким образом подошел он к дому так неприметно, что я не видал его, сидя у открытого окна,— кроме того, говорю я, внезапное появление его произвело во мне какое-то странное и неизъяснимое впечатление! При первом взгляде на него сердце мое забилось,— как это всегда случается при встрече с другом после долгой разлуки. Хотя я не сомневался, что вижу его в первый раз в жизни, но поступь его, малейшие его движения и вся вообще наружность напоминали мне что-то знакомое и, так сказать, родное. Я учтиво отвечал на сделанный мне поклон и не мог выговорить ни слова. Незнакомец, казалось, приметил мое замешательство и сказал с приятною улыбкою:

— Посещение мое удивляет вас, милостивый государь! но, зная, что вы одни и что иногда уединение вам тягостно, я вообразил, что сообщество мое в длинные осенние вечера не совсем будет для вас неприятно.

— Милостивый государь! — отвечал я,— вы как будто отгадали самые сокровенные мысли мои. В теперешнем расположении духа моего ничто не может быть для меня благодетельнее, как сообщество приятного товарища. Не знаю, имел ли я когда-нибудь удовольствие вас видеть; но вы кажетесь мне так знакомы, что я, признаюсь, горю нетерпением узнать, с кем имею честь говорить?

— Имя мое,— сказал незнакомец,— нимало не значительно, и мне даже трудно было бы объявить вам оное, потому что, сколько мне известно, оно не существует на русском языке.

— Каким это образом? — вскричал я с удивлением.— Вы, верно, знаете еще с юных лет, что собственное имя человека, или, лучше сказать, прозвание его на всех языках остается неизменным, и потому позвольте сказать вам откровенно, если есть у вас имя на каком-нибудь языке, то должны вы иметь оное и на русском.

— Точно так, милостивый государь; но в том-то и дело, что у меня нет собственного имени; а если б непременно нужно было принять какое-нибудь, то ближе всего мне следовало бы называться так, как вы.

— Как я? почтенный незнакомец!.. Конечно, это весьма бы для меня было лестно, но...

— Не будем спорить о такой безделице; выслушайте меня, и вы согласитесь, что я говорю правду. Не удивительно, что черты лица моего вам кажутся знакомыми;

мы друг на друга должны быть похожи, как две капли воды... и потому, если вы, как я не сомневаюсь, хотя изредка смотритесь в зеркало, то должны во мне узнать самого себя.

Тут я взглянул на незнакомца пристальнее, и внезапно холодный пот облил меня с ног до головы... Я удостоверился, что он в самом деле совершенно похож был на меня. Не знаю, почему это мне показалось страшным, и (признаюсь теперь чистосердечно) я несколько дрожащим голосом сказал:

— Подлинно, милостивый государь! Теперь я вижу, чего не заметил сначала... Я близорук; но скажите, пожалуйте скажите, кто вы таковы?

— Не кто другой,— отвечал незнакомец,— как вы сами. Да! — продолжал он, увидя мое смущение,— я говорю точную правду. Вы, верно, слыхали, что иногда человеку является собственный его образ? Я, милостивый государь, я не кто иной, как образ ваш, явившийся вам.

— Батюшки! — вскричал я вне себя,— о государь мой! сколько ни было для меня приятно вас видеть, но теперь!.. Говорят, что такие явления случаются перед смертию... Неужто и вы, мой милостивец?..

— Стыдитесь,— сказал незнакомец,— стыдитесь таких вздорных предрассудков — и успокойтесь. Клянусь честию, что приход мой не предвещает вам никакого несчастия; я пришел усладить по мере возможности уединение ваше, и если старания мои не совсем будут безуспешны, то сочту себя счастливым.

Слова незнакомца, уверительным голосом произнесенные, совершенно меня успокоили; я ему поверил, и в самом деле он не обманул меня. Теперь минуло уж десять лет после первого свидания нашего, и я не только жив и здоров, но, говорят, даже приметно потолстел с того времени.

Пришед в себя от объявшего меня страха, я вспомнил, что не исполнил первого долга гостеприимства в отношении к почтенному гостю моему, и потому, взяв его за руку, просил сесть.

— Прошу со мною не церемониться,— сказал мой гость,— если вам не противно мое присутствие, то докажите это, обходясь со мною, как с давнишним и искренним другом вашим.

— Охотно! — отвечал я,— будем друзьями. Вы из



обращения моего увидите, сколь лестно для меня знакомство ваше. Но позвольте спросить, как мне называть вас? Вы сами знаете, что без имени знакомство не знакомство; по крайней мере для меня как-то неловко иметь короткое обращение с человеком, которого имя мне неизвестно.

— Я уже говорил вам, что особенного имени у меня нет. Существа моего рода едва ли имеют даже название на русском языке, и потому я действительно затрудняюсь отвечать на вопрос ваш. В Германии, где подобные явления чаще случаются, нашу братью называют Doppeltgänger. Можно бы было, конечно, это слово принять в наш язык, и оно не менее других было бы кстати; но так как у нас иностранных слов, говорят, уже слишком много, то я осмелюсь предложить называть меня Двойником. Что вы на это скажете, почтенный друг мой?

— Согласен, господин Двойник! для меня все равно; впредь, если позволите, иначе вас называть не буду.

После того мы, сев друг подле друга, наслаждались приятною беседою. На вопрос: от чего происходит несправедливое мнение, будто явление двойника предвещает смерть того, кому он явится, мой приятель отвечал:

— Не могу с достоверностию объяснить происхождение предрассудка, которого неосновательность вы, впрочем, на опыте узнаете; но признаюсь откровенно, что не очень верю происшествиям, которые рассказывают о двойниках. Человек имеет особенную склонность ко всему чудесному, ко всему, выходящему из обыкновенного порядка, и если кто-нибудь для шутки или по какому другому побуждению выдумает и расскажет происшествие,— как бы оно, впрочем, ни было нелепо и невероятно,— то, без малейшего сомнения, найдутся люди, которые не только поверят ему, но и передадут другим с прибавлениями и переменами. Впрочем, явление двойников не всегда предвещает смерть. Вы, верно, помните, что несколько лет тому назад много было говорено об одном молодом человеке, который, вошед в комнату, где обыкновенно занимался письменными делами, увидел самого себя, сидящего за письменным столом. Вы знаете, что он от того не умер.

— Так! но я и тогда не верил его рассказам; мне казалось, что молодой человек этот имел только в виду отличиться от других и привлечь на себя внимание чем-нибудь необыкновенным!

— И я того же мнения. Впрочем, я знал одного доктора в Германии, человека почтенного, который уверяет, что ему весьма часто является двойник, и что он, наконец, так привык к этим явлениям, что на них никакого не обращает внимания. Двойник,— рассказывает он,— входит иногда ко мне в комнату, когда я занят своими сочинениями. Не желая прервать занятий своих, я подвигаю ему стул и подаю трубку, а сам продолжаю писать. Двойник спокойно садится и, выкурив трубку, уходит, нимало мне не мешая.

— Но, может быть, почтенный доктор ваш немного помешан?

— И я так думаю. Ученые люди, привыкшие к сидячей жизни и беспрерывному напряжению ума, часто подвержены бывают подобным видениям, происходящим от чрезмерного сгущения крови. Иногда наяву с человеком бывает то, что мы часто испытываем во сне и что у простолюдинов называется: давление домового (Alpdrücken, cauchemar). Вам, верно, известно, что случилось с славным поэтом Попе?

— Нет,— отвечал я.

— Попе рассказывает сам, что он однажды поздно ввечеру занимался сочинением поэмы. Слуге своему он заранее приказал идти спать и, выслав его из комнаты, по обыкновению запер дверь ключом. Углубленный в мечты, относившиеся к поэме, он нимало не думал о привидениях; вдруг... дверь, замкнутая накрепко, отворилась... и вошел в комнату старик небольшого роста, в длинном кудрявом парике, какие носили при Лудовике XIV. Платье на нем было не богатое, но весьма опрятное (сколько припомнить могу, светло-коричневого цвета), с прекрасными кружевными манжетами; на башмаках большие серебряные пряжки. Попе так поражен был сим явлением, что не промолвил ни слова и глядел на пришельца с удивлением! Старик, не обращая на него внимания, медленными шагами подошел к шкафу, в котором были книги поэта. Он взглянул на некоторые заглавия сквозь стеклянные дверцы; потом отворил шкаф, покачал головою и начал все книги переворачивать вверх ногами. Попе хотел спросить, зачем он приводит в беспорядок его библиотеку; но слова замерли на его устах, когда он увидел, что старик, доставая книги с верхних полок, вместо того чтоб стать на стул, просто вытянулся до такой вышины, которая ему казалась нужною. Когда же,

напротив, очередь дошла до книг, стоявших на самых нижних полках, старик, вместо того чтоб нагнуться, сжался и сделался самого маленького роста. Чтоб достать книги, находившиеся по обеим сторонам шкафа, он не сходил с места, но протягивал правую или левую руку, которые по мере надобности становились длиннее или короче. Таким образом он вытягивался и сжимался до тех пор, пока все книги перевернуты были вверх ногами. Окончив работу свою, старик запер шкаф и такими же медленными шагами вышел из комнаты, не взглянув ни разу на поэта. Дверь сама собою за ним затворилась... Попе несколько минут оставался недвижимым; наконец, собравшись с духом, подошел к дверям и увидел, что они заперты ключом. Удостоверившись, что в шкафе все книги без исключения стояли вверх ногами, он решился отложить до другого утра приведение в порядок своей библиотеки. Между тем охота писать стихи в нем вовсе исчезла; он разделся, лег в постель, потушил огонь и вскоре потом заснул крепким сном. Когда проснулся утром, первое его движение было подойти к шкафу, и, к крайнему удивлению, он нашел, что все книги стояли в надлежащем порядке и ни одной из них не было вверх ногами!

— Но,— прервал я Двойника,— не сон ли это был?

— Весьма вероятно,— отвечал он.— По крайней мере трудно было бы догадаться, какую цель имел старик, перевертывая книги поэта. Столь же непонятным кажется и то, что книги потом сами собою пришли в прежний порядок. Но такие происшествия нередко случаются с учеными, как уже я заметил прежде. Лет пятнадцать тому назад был я в Праге, где в одной из публичных библиотек находится весьма много старинных книг. Один из чиновников, служащих при библиотеке — человек немолодых лет, почтенный и ученый,— рассказывал мне, что между старинными книгами есть рукопись тринадцатого века, содержащая в себе заклинания, посредством которых можно призывать злых духов и повелевать ими. Для меня книга эта показалась весьма любопытною, и я попросил позволения взглянуть на нее, что мне и было позволено. Но когда я, развернув листы, захотел читать, то библиотекарь побледнел и задрожал всем телом. «Сделайте милость, не читайте!» — вскричал он прерывающимся голосом. «Зачем же?» — спросил я его. Старик схватил меня за руку и повел поспешно в другую комнату.

Там он, тихо и беспрестанно оглядываясь, начал рассказывать следующее:

«Я служу при здешней библиотеке более тридцати лет. При вступлении моем в настоящую должность был я еще очень молод, не верил ничему и смеялся, когда рассказывали о привидениях и злых духах. Однажды случайно попалась мне рукопись, которую вы теперь видели. Будучи непривычен к странному образу письма, я с трудом разобрать мог заглавие; но как скоро удалось мне прочитать его, то любопытство мое сильно возбудилось. Я с большим старанием начал разбирать рукопись и наконец достиг до того, что мог читать оную без затруднения. В одно утро сидел я у стола; книга раскрытая лежала предо мною; я дошел до того места, где страшными заклинаниями (от воспоминания которых и теперь еще волосы у меня становятся дыбом!) злые духи вызываются из глубины ада и принуждены предстать читателю... Я уже сказал вам, что нимало не верил привидениям, и потому принялся читать заклинания. Не успел я прочитать одну строчку, как послышался мне тихий шепот, как будто кто-то говорил за моими плечами. Я оглянулся... все утихло... Не видя ничего, я продолжал чтение. Вдруг... опять послышался мне шепот и громче прежнего... Тут мне показалось, что он происходил от предмета, находившегося предо мною. Я поднял голову, и что же представилось моим глазам!.. На чернилице, стоявшей на столе, сидело привидение, ростом не более двух или трех вершков, с яркими глазами, с длинною бородою, с ногами, похожими на козлиные! Вы легко представить себе можете, до какой степени я испугался!.. Но, несмотря на то,— не помня, что делаю,— продолжал я читать далее. Чудовище, по мере чтения моего, становилось выше, глаза более и более сверкали, ноги делались кривее... Мне представилось, что маленькие рога начинали выходить из лба его, покрытого морщинами... притом рот его протянулся до ушей, а в глубине рта я заметил язык, похожий на змеиный, и клыки, подобные кабаньим!.. От ужаса я захлопнул книгу и вскочил со стула. В одно мгновение призрак исчез, и с того времени я никогда уже не решался продолжать чтение рукописи».

— На лице старика,— продолжал Двойник,— во время рассказа написан был страх, произведенный воспоминанием. Ни просьбами, ни обещаниями не мог я побудить его раскрыть опять книгу. Я твердо уверен, что старик

меня не обманывал и что он сам верил тому, что рассказывал.

— Итак,— спросил я Двойника,— вы не сомневаетесь в справедливости этого происшествия?

— Напротив того,— отвечал он,— я вижу в нем только доказательство, что воображение человека, воспаленное напряжением, ему несвойственным, может представлять ему вещи, которые в самом деле не существуют.

Между такими разговорами протекло довольно времени, и стенные часы пробили двенадцать. При первом ударе Двойник вскочил со стула.

— Пора теперь спать, почтенный друг,— сказал он мне,— желаю покойной ночи. Завтра, если позволите, мы опять увидимся.

— Повремените еще немного! — вскричал я.— Но, может быть, полуночный час и для двойников время роковое?.. В таком случае я не смею вас задерживать.

— Помилуйте! — возразил он.— Это опять один из самых странных человеческих предрассудков! Для нас часы все равны. Обыкновение разделять день на известное число частиц вовсе не нужно для духов. Уверяю вас, что у нас не знают ни Брегетов, ни Элликотов. Я оставляю вас теперь потому единственно, что пора нам спать. Прощайте, до свиданья!

— Еще один вопрос, господин Двойник! Правда ли, что вы вообще боитесь петушиного крика?

— Вы меня смешите,— отвечал с громким хохотом Двойник,— может ли хриплый голос петуха устрашить кого-нибудь, не только духа? Но прощайте, спите покойно!

Новый приятель мой, не договорив речи, исчез... и последние слова его отозвались в ушах моих как будто издалека. Я последовал его совету и лег спать.

Вечер второй

На другой день, в обыкновенное время, то есть часу в десятом вечера, Двойник, по данному обещанию, посетил меня опять. Беседа нового товарища моего необыкновенно мне нравилась; он час от часу становился мне любезнее, и я откровенно в том ему признался.

— Если вы действительно меня любите,— отвечал он,— то, конечно, не откажете в просьбе, исполнение которой нисколько не может затруднить вас.

— Что вам угодно, любезный друг? вскричал я.— Чем могу служить вам? говорите.

— Моя просьба, дорогой Антоний, состоит в том, чтоб вы иногда, в длинные вечера, сообщали мне сочинения свои... мне известно, что вы сочиняете.

— Ах, почтенный Двойник! признаюсь, что и я не без греха... Но произведения пера моего недостойны вашего внимания. Я писал сказки,— маленькие повести...

— Нужды нет! — прервал меня Двойник.— Чтоб придать вам бодрости, и я иногда расскажу вам, что знаю. Мои повести будут не лучше ваших.

— Прекрасно! с этим условием охотно сообщу вам мой запас.

— Итак, начинайте, любезный друг!

Я выпрямился, немного покашлял и начал читать следующее:

ИЗИДОР И АНЮТА

Уже неприятель приближался к Москве. Длинные ряды телег, нагруженных тяжелоранеными воинами, медленно тянулись в город с большой Смоленской дороги. Они с трудом пробирались сквозь толпы жителей, с сокрушенным сердцем оставляющих любезный первопрестольный град! Разного рода повозки, наполненные рыдающими женщинами и детьми, тихо подвигались к заставе; к верху и к бокам, под козлами и на запятках привязаны были большие узлы. Лошади едва тащили тяжелые повозки; женская заботливость, казалось, предусмотрела все, что нужно в долгую дорогу; но иные второпях забыли ларчик с бриллиантами, другие оставили в опустелом доме карманную книжку с деньгами. На всех лицах написана была сердечная горесть,— на многих жестокое отчаяние. Никто не предвидел грозы, незапно нагрянувшей на Москву; никто заблаговременно не принял мер к спасению... Здесь мать, прижав грудного младенца к трепещущему сердцу и ведя за руку малютку, едва начинающего ходить, влечется за другими, сама не зная куда... Там дряхлый старик, опираясь на посох, с трудом передвигает ослабевшие ноги. Подходя к заставе, он останавливается... еще раз взглядывает на родной город, где думал спокойно умереть... Стесненная грудь его едва подымается, и горькие слезы, может быть последние, дрожат в полупотухших очах!.. Купцы теснятся около лавок — не для спасения своего имущества, нет: рука их,

не дрогнув, уничтожает плоды многолетних трудов, чтоб не достались они врагу ненавистному. Ужаснее всего положение тех, которые находятся в невозможности спастись! В безмолвном отчаянии взирают они на бегущих. Все вооружены; старинные копья и бердыши, разнообразные сабли и кинжалы исторгнуты из оружейных, где обречены были на вечное бездействие. Все готовы умереть за отечество; но чувствуют, что не в силах ему помочь! Единственным утешением служит им слабая надежда, что неприятель отражен будет от Москвы. В самом деле, мысль, что древняя русская столица с величественными храмами, с святыми иконами достанется неприятелю,— эта ужасная мысль не может утвердиться в народе. Русское сердце не постигает, каким образом нечестивый супостат осмелится вступить в священные царские чертоги!

Был первый час пополудни, когда въезжал в Дорогомиловскую заставу молодой кирасирский офицер. По всему видно было, что он скакал несколько верст во всю прыть; вороной под ним конь покрыт был пеною. Солнце в то время ярко светило с синей высоты, но лучи его не отражались от золотого шишака и от серебряных лат, покрытых густою пылью. Молодой офицер ехал по улицам, кипящим от народа, и взоры его, казалось, кого-то искали между спасающимися женщинами. Иногда рука его останавливала коня,— он пристальнее всматривался в едущих, но, заметив ошибку свою, вновь понуждал коня и продолжал путь большою рысью. При переезде чрез Ехалов мост лошадь его споткнулась.

— Бедный Феникс! — сказал офицер вполголоса,— любезный мой товарищ, этого за тобою не бывало! Как худо плачу тебе за верную твою службу!

Он погладил Феникса по шее и опять вонзил окровавленные шпоры в разодранные бока усталого коня.

В Красном селе, в приходе Тихвинской божией матери, стоял небольшой деревянный дом, который можно б было назвать хижиною, если бы он не находился внутри города. Молодой офицер поспешно соскочил с лошади и бросился в отворенную калитку, не дав себе даже времени привязать коня. На дворе верный страж дома — большая дворная собака — встретила его с униженными ласками; но он взбежал на крыльцо, не заметив даже доброго Бостона. В доме все было безмолвно; только звук шпор и стук палаша, ударяющего по ступеням, раз-

давались в тишине. Молодой кирасир вошел в первую комнату, хотел идти далее... вдруг отворилась дверь, и прекрасная девушка кинулась в его объятия.

— Это ты, Изидор? — сказала она в радостном восторге,— слава богу!

— Анюта, милая, дорогая Анюта! — вскричал Изидор, прижимая ее к кирасу,— зачем вы еще в Москве? где матушка?

— Тише, Изидор, тише!.. матушка нездорова... она — очень больна.

Изидор вздрогнул.

— Больна! — произнес он дрожащим голосом.— Больна! и в такое время!.. Ты знаешь, Анюта...

— Знаю, мой Изидор,— отвечала Анюта со слезами,— знаю, что неприятель будет в Москве, и отчаяние овладело было мною... Но ты с нами, и я теперь спокойна!

Они услышали голос матери, зовущий Анюту. Изидор хотел идти с нею, но она его остановила.

— Ради бога! — сказала она,— подожди меня здесь, Изидор! Матушка очень слаба; надобно ее приготовить к свиданию с тобою.— Она ушла и оставила его одного.

Изидор, сложив руки, стоял среди комнаты, погруженный в тяжкую думу. Мысли, одна другой печальнее, одна другой ужаснее, теснились в его голове: неприятель вступит в город, а его мать больна и не может спастись! Анюта должна остаться с нею!.. Он любил мать со всею горячностию доброго сына; но Анюта, сирота, воспитанная в их доме, была его невеста! Он содрогался от ужаса, когда помышлял, что больная его мать будет в руках неприятеля; но кровь застывала в его жилах, самое мучительное чувство раздирало его сердце, когда представлялась ему Анюта, прелестная Анюта, во власти неистового врага!

Анюта позвала его к матери. Старушка лежала в постеле; бледность покрывала лицо ее. С трудом протянула она к нему руку.

— Сын мой,— сказала она умирающим голосом,— благодарю создателя, что мне довелось тебя еще раз увидеть!.. Я не ожидала такого счастия. По крайней мере теперь умру спокойно... Анюта останется не без защитника. Да благословит вас бог, мои дети!..

Старушка не в силах была говорить более. Изидор орошал слезами ее руку; Анюта рыдала.

Изидор находился в мучительном положении. И мать

и невеста были успокоены его приездом, между тем как самое жестокое недоумение терзало его душу. Нельзя было и думать о спасении престарелой матери. Он готов был вынесть ее на себе из города, но малейшее движение причиняло ей нестерпимую боль и могло погасить едва тлеющую искру жизни. С другой стороны, как решиться оставить ее в руках неприятеля? и что тогда будет с Анютою?.. Время было дорого; он не мог не открыть своей невесте чувствований, его тревоживших. Старушка после приветствия, сделанного сыну, казалось, впала в забвение. Изидор с Анютою стояли в той же комнате у окна и разговаривали между собою вполголоса, полагая, что мать не слышит их.

— Анюта! — говорил Изидор,— думала ли ты об опасностях, которым подвергается молодая девушка, оставаясь в Москве? Знаешь ли ты, что при одной мысли о том холодный пот проступает по мне? Как? моя Анюта в руках неприятелей!.. Я бы лучше согласился...

— Любезный Изидор! — отвечала Анюта с невинною улыбкою,— я теперь совершенно спокойна, потому что ты со мною.

Изидор страшился объявить ей, что служба, долг, честь не дозволяют ему оставаться с ними; он сказал только, тяжело вздохнув:

— Могу ли я защитить тебя против целой армии? Охотно пожертвую жизнию; но когда меня не станет, что будет тогда?..

Старушка услышала их разговор и велела подойти ближе к себе.

— Любезные дети! — сказала она слабым голосом,— о чем вы беспокоитесь? Я стара, больна и чувствую, что смерть приближается ко мне скорыми шагами. Оставьте меня здесь и спасайтесь... Я не могу и не должна быть причиною вашего несчастия. Поспешайте, любезные дети! благословение матери вашей и последняя молитва ее будут вам сопутствовать!..

Изидор и Анюта упали на колени.

— Нет! — вскричали они оба в один голос,— нет, матушка, мы вас не оставим!

Тщетно старушка их уговаривала; они были непреклонны.

— Если должно нам умереть,— сказала Анюта, обняв Изидора,— то умрем вместе. Не страшна смерть, когда она не разлучает нас с милыми!

Изидор оставил мать и невесту и вышел в другую комнату. Долго ходил он взад и вперед большими шагами. Со всех сторон угрожали ему неминуемые бедствия, нигде не находил он спасения! Покинуть умирающую мать, отдать на поругание милую невесту... какой сын, какой любовник решился бы на то? Но бросить свои знамена и остаться в Москве, когда присяга, честь и русская кровь зовут его на поле брани... какая ужасная крайность для русского воина! В исступлении отчаяния Изидор ломал руки, скрежетал зубами и рвал на себе волосы... Наконец любовь и ревность одержали верх над долгом и честию: Изидор решился остаться...

Строгий читатель! прежде, нежели холодное сердце твое станет обвинять Изидора, вообрази себя на его месте — и ты о нем пожалеешь!

Изидор возвратился к матери.

— Анюта! — сказал он,— я отлучусь в свою комнату на короткое время... Оставь меня одного; я скоро возвращусь.

Решившись оставаться в Москве, Изидор должен был спрятать свой мундир, чтоб отдалить малейшее подозрение неприятеля. В глубокой печали вошел он в комнату. Здесь все напоминало ему о днях счастливой, беззаботной молодости. Он вздохнул, вспомнив, с какими блистательными надеждами в последний раз оставил он родительский дом; как разгоралась в нем кровь при мысли о славных бранях, его ожидавших! А теперь... куда девались очаровательные картины, освещенные восхитительною зарею молодости?.. Пусть и успеет он спасти умирающую мать от грозящей опасности; пусть удастся скрыть Анюту от алчных взоров необузданного врага, но что ожидает его в будущем? Бесчестие и раскаяние!..

Изидор подошел к шкафу, где лежала прежняя его одежда, которую незадолго пред тем променял он на блестящий кирасирский мундир. Медленно и дрожащими руками снимал он с себя воинские доспехи. «Увы! — думал он,— когда все вооружаются для спасения царя и отечества; когда все пылают нетерпением смешать кровь свою с кровию ненавистного врага... я, как презрительный трус, должен бежать от сражения!.. Вечное посрамление покроет мое имя... постигнет меня смерть постыдная, и никто не пожалеет о мнимом изменнике!..»

Изидор держал в руках палаш; медленно вынул он

острое железо из стальных ножен; в последний раз хотел он взглянуть на верного товарища... Вдруг ужасная мысль, как молния, опалила его душу!.. Он приставил острый конец меча к бьющемуся сердцу... одно мгновение — и Изидор избегнет бесчестия, которого страшится более смерти!.. Но он вспомнил о матери, вспомнил об Анюте — и рука его онемела. Он опять вложил палаш в ножны и откинул его далеко от себя!

Уложив мундир свой, шишак и кирас в сундук, Изидор понес его в сад. Там, под высоким кленом, который за несколько лет пред тем был свидетелем его детских забав, он глубоко зарыл сундук.

Когда засыпал он яму и прикрыл ее дерном, то ему показалось, что он похоронил в ней честь свою... Почти без памяти упал он на холодную землю... Долго лежал он неподвижно; наконец токи слез вырвались из его очей и облегчили стесненную грудь. Он встал и возвратился в дом.

Анюта обрадовалась, увидев его во фраке.

— Теперь я не буду ежеминутно дрожать за тебя, любезный Изидор,— сказала она, обняв его нежно.— Бог милостив; чего нам страшиться? Ведь и французы такие же люди, как мы! Пойдем к матушке; приезд твой возвратил ей силы, и она рада будет, когда удостоверится, что ты остаешься с нами.

Она взяла Изидора за руку и подвела к матери. Старушка в самом деле казалась гораздо бодрее прежнего. Увидя детей своих, она немного приподнялась.

— Изидор! — сказала она,— где ты так долго был?

— Матушка! — отвечала Анюта,— взгляните на него... Не правда ли, что ему пристало это платье? Теперь-то я совершенно покойна. Пускай неприятель входит в Москву; храбрые воины наши недолго дадут ему здесь пожить! Все опять будет по-старому, и мы будем счастливы!

— Храбрые наши воины! — повторил Изидор вздыхая,— а меня не будет с ними!

Старушка пристально на него посмотрела и как будто опомнилась от тяжелого сна.

— Изидор! — вскричала она,— что я вижу? Зачем ты не в мундире?

— Матушка! — отвечал Изидор дрожащим голосом,— я должен или оставить службу, или покинуть вас! Жребий мой решен: я остаюсь с вами!

— Изидор! благодарю тебя за твою любовь... Но отечество в опасности; оно тебя призывает — и голос его должен быть убедительнее слез матери.

— Матушка! могу ли оставить вас обеих во власти неприятеля?

— Сын мой! я желала, чтоб ты закрыл мои угасающие глаза... Но судьбы господа неисповедимы! Если ему угодно, то я готова умереть и одна.

— Матушка! не раздирайте моего сердца... я решился!

— Решился? на что? на бесчестное дело?.. Ты решился забыть долг, честь, присягу, данную тобою пред лицом спасителя твоего! Знаешь ли ты, какая участь ожидает воина, оставившего свои знамена?

— Знаю, что меня ожидает смерть... Но я решился умереть с вами или за вас!

— Я не принимаю от тебя этой жертвы. Смерть не страшна, страшно бесчестие! Изидор, над нами бог! Он нас защитит! А если суждено тебе умереть, то умри за отечество.

— Матушка, любезная матушка! пожалейте обо мне! Что будет с Анютой?

— И над нею рука божия! Изидор, я чувствую, что близок мой конец... не отравляй последних часов моей жизни! Пусть закрою я глаза в отрадном уверении, что единственный сын мой не обесчестил имени отца своего!

В продолжение сего разговора Анюта стояла как приговоренная к смерти. Румянец щек ее потух, и наполненные слезами глаза попеременно обращались то на Изидора, то на старушку. Изидор упал на колени.

— Пусть будет по-вашему, матушка! — сказал он тихим голосом.— Иду готовиться к отъезду!

Анюта громко закричала и без памяти кинулась к нему на шею.

Сие зрелище привело Изидора в исступление.

— Нет, матушка,— сказал он решительно,— нет! не оставлю Анюты своей на поругание неприятелю... Вы не понимаете ужасного чувства, которое раздирает мое сердце при одном о ней помышлении!..

— Сын мой! ободрись, уповай на молитву матери и на благость господню! Он нас не оставит. Но ты должен возвратиться в армию!

— Нет, матушка! это свыше сил человеческих...

— Изидор! — сказала мать с глубоким чувством,—

веришь ли ты тому, что я тебя люблю со всею горячностию матери, имеющей единственного сына — радость моей жизни и утешение моей старости?

— Знаю, матушка.

— Так исполни последнюю просьбу мою, последнее мое приказание: оставь нас под кровом божиим и возьми с собою благословение матери. Но если ты презришь законы чести,— если неприятель найдет тебя здесь в постыдном бездействии, то сердце мое тебя отвергнет... Изменник своему отечеству да устрашится проклятия умирающей матери!

Старушка приклонила голову к подушке и, казалось, от сильного напряжения лишилась чувств. Изидор подошел к Анюте.

— Друг мой! — сказал он едва внятным голосом,— ты видишь, что мне должно ехать! Завтра, прежде, нежели заря осветит печальную Москву, я удалюсь от вас... Анюта! не забывай, что ты моя!..

Потом он приблизился к матери.

— Матушка! — произнес он, приложив дрожащие уста к ее руке,— матушка, не кляните вашего сына! Я еду!..

Старушка не в силах была ему отвечать, но слабая рука ее благословила любезного сына и потом, как мертвая, опустилась на одеяло.

Бедная Анюта не говорила ни слова. Она не понимала опасности, ее ожидающей; но сердце ее цепенело от страха при мысли о том, что Изидор ее оставит — и в какое время!.. Она горько заплакала, когда он возвратился к ним — в кирасирском мундире. Настал вечер, и Изидор простился с матерью, которая от слабости едва могла открыть глаза, когда он поцеловал е руку. Потом обратился он к Анюте и прижал ее к сердцу.

— Прости, мой друг! прости, моя Анюта! Да сохранит вас бог!

Анюта крепко обняла милого друга и долго не пускала его из своих объятий.

— Мы еще увидимся, Изидор! — сказала она наконец,— мы еще раз простимся!

Изидор удалился в свою комнату. Ему не приходило даже на мысль отдыхать; самые ужасные картины мучили его воображение и терзали его сердце. Ему представлялось, как неприятели входили в город и рассыпались по всем улицам, по всем домам. Пьяные солдаты врыва-

лись и в его хижину; мать его тогда уже скончалась: бесчеловечные ругались над мертвым телом. Один из них сильным ударом сабли отделил ее голову от охладевшего трупа... Голова покатилась под стол, и седые волосы ее разостлались по окровавленному полу... Громкий смех раздавался в его ушах!.. Из другой комнаты притащили плачущую Анюту... Алчные взоры хищников бродили по юным прелестям русской красавицы. Один из них обнял ее дымящеюся от крови рукою... Изидор ударил себя в грудь и подошел к открытому окну, чтоб рассеять мрачные мысли.

Ночь была прекрасная. Миллионы звезд ярким светом отделялись от темной лазури неба. Все было тихо; ничего в природе не предвещало бедствий, угрожавших древней столице русского царства. Изидор пошел в сад; медленными шагами приблизился он к ветвистому клену. «Увы! — подумал он,— когда опять приду я под тень твою, какие чувства тогда наполнять будут мою душу? И где тогда будет Анюта?..»

Он услышал за собою тихий шорох, оглянулся — и Анюта бросилась в его объятия.

— Матушка почивает,— сказала она ему.— Любезный Изидор, я останусь с тобою; ты, верно, не будешь спать, и мои глаза также не смыкаются!

Они сели под клен на дерновую скамью. Анюта близко прижалась к Изидору; прелестная голова ее покоилась на его плече. Взоры их искали друг друга. Сердце Изидора сильно трепетало; пламень протекал в его жилах; уста их соединились в жаркий и продолжительный поцелуй... Они забыли предстоящую им разлуку,— забыли Москву в руках неприятеля,— забыли все... кроме своей любви.

На другой день, когда утренняя заря начала разгонять мрак ночи, Изидор и Анюта встали с дерновой скамьи. Первые лучи восходящего солнца осветили живой румянец стыдливости на щеках Анюты. Слезы заблистали на прекрасных ее голубых глазах.

Изидор! и ты меня оставишь... теперь?

— Анюта! мой милый друг, моя жизнь! час разлуки приближается; ты знаешь, что я должен ехать!

— Ах, Изидор! что со мною будет?.. Но нет, я не стану тебя удерживать. Поезжай с богом; я готова на все! И будь спокоен, мой Изидор! я лучше умру...

Изидор оседлал Феникса. Бодрый конь забыл уже

вчерашнюю усталость; он грыз удила и бил копытом в землю. Изидор привязал его к забору и пошел к матери. Старушка казалась погруженною в сладкий сон; ее дыхание едва было приметно. Он тихонько приложился к ее руке.

— Если она проснется,— сказал он Анюте,— попроси ее, чтоб она благословила своего сына!

Они вместе сошли с крыльца.

— Теперь прости, моя Анюта, может быть навеки!.. Прости — моя... на жизнь и на смерть моя!

— Будь спокоен, мой Изидор! — отвечала она.— Я буду помнить свой долг; ты увидишь меня достойною себя, или — совсем меня не увидишь!

Они еще раз обнялись; слезы их смешались... Наконец Изидор насильно вырвался из ее объятий и сел на нетерпеливого коня.

— Будь покоен, мой Изидор! — еще раз повторила Анюта. Он взглянул на нее в последний раз: в правой ее руке блистал обнаженный кинжал; солнечные лучи играли на гладком железе.

— Вот мой защитник,— сказала Анюта. Изидор печально отвернул голову, ударил шпорами Феникса и вскоре скрылся из глаз своей Анюты. Долго стояла она на том месте, где он ее оставил. Наконец она опомнилась и возвратилась к матери.

В первый раз после шести недель, показавшихся верному русскому народу шестью веками, зазвучали опять колокола на высоких башнях величественного Кремля. Вздрогнули сердца немногих жителей, остававшихся в Москве во время нашествия французов; но, не зная, чему приписать давно не слышанный звук, они не смели еще выйти из домов своих. Наконец гром пушек и ружейные выстрелы достигли их слуха. Волнуемые страхом и надеждою, отважились они показаться за ворота — и восхищенный взор их встретил храбрых донцов, скачущих по улицам разоренной столицы!.. Какое радостное чувство объяло их при виде своих избавителей! Но мужественные русские воины не могли в полной мере разделять с ними этого чувства... Сердце их обливалось кровию, крупные слезы катились по смуглым их ланитам при виде престольного града. «Это ли Москва белокаменная!» — думали они, и взоры их тщетно искали знакомых мест посреди дымящихся развалин! Груды кирпича возвышались на месте огромных каменных

палат, веселые деревянные домики превратились в кучи пепла и углей, и большие пространства внутри города являлись ужасными пустынями.

Вдоль по Новой Басманной скакал молодой кирасирский офицер, сопровождаемый несколькими казаками. Вороной конь его несся во всю прыть прямо к Ехалову мосту. На груди офицера блистал георгиевский крест; рука его, еще не исцеленная от тяжелой раны, была перевязана. Он не обращал никакого внимания на развалины Москвы, на разбросанные по улицам трупы... взоры его стремились прямо вперед. На бледном лице его написаны были глубокая печаль и сильное нетерпение достигнуть желаемого места. Таким образом промчался он чрез Ехалов мост и направил путь к Красному селу. Подъехав к церкви Тихвинской божией матери, он остановился, и изумленный взор его блуждал по всем сторонам. Он соскочил с лошади и пристальнее стал всматриваться в место, на котором находился. «Здесь,— думал он — приходская наша церковь; тут — они жили!..»

Тщетно, бедный Изидор! тщетно будешь ты искать родительского дома! Свирепое пламя давно пожрало мирную хижину, где проводил ты счастливые дни юности и осенние ветры успели уже развеять и пепел ее!.. Изидор долго стоял, как вкопанный, на одном месте. Вдруг громко вскрикнул он и бросился к высокому дереву, простиравшему к нему длинные обгорелые ветви. Он узнал клен, осенявший последнее свидание его с Анютою, и без чувств упал на землю. Бывшие с ним казаки подняли его и отнесли в дом, уцелевший от общего пожара.

Там пролежал он целый день в беспамятстве. Когда наступила ночь, он встал и, не сказав никому ни слова, вышел из дому и поспешными шагами пошел к своему саду. Один из товарищей его последовал за ним. Изидор подошел к клену. В это время выглянула из-за тучи луна, и при бледном свете ее видно было, что он с изумлением отскочил назад, как будто встретил что-то неожиданное! Потом он опять приблизился к дереву.

— Это ты, Анюта? — сказал он томным и вместе радостным голосом.— Отчего платье твое облито кровью?.. Где кинжал?

Ветер ударил в сухие ветви высокого клена — и в шорохе ветвей, и в свисте ветра товарищу Изидора послышался голос, отвечающий: «В моем сердце!..» Изидор глубоко вздохнул.

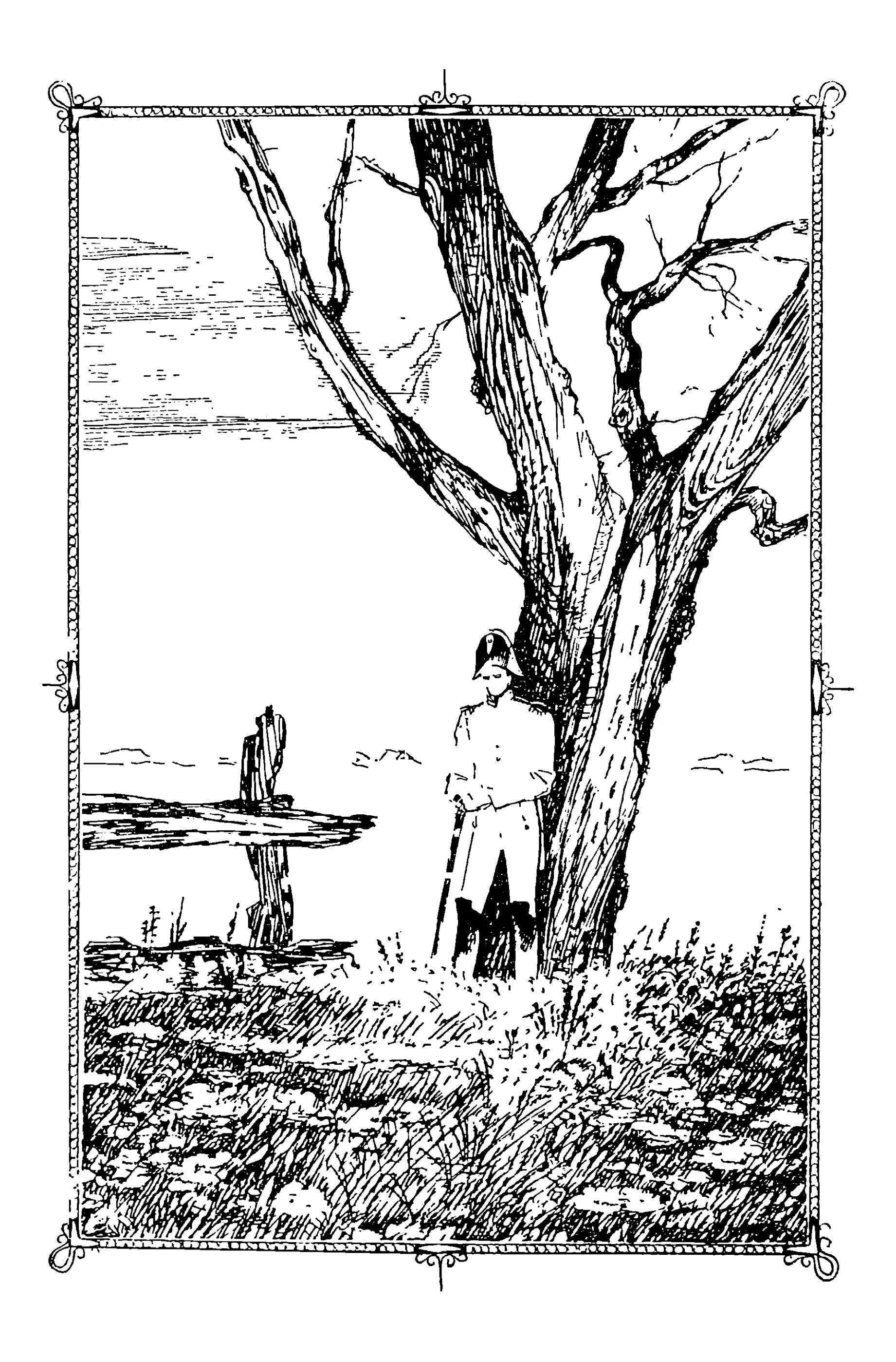
— Сядь подле меня, Анюта! — сказал он, опускаясь на дерновую скамью.— Я рад, что тебя вижу...

Луна скрылась за облаками, ночная темнота опять разостлалась по воздуху, и с нею водворилась глубокая тишина. Молодой офицер закутался в плащ и решился пробыть всю ночь при Изидоре, чтобы в случае нужды подать ему руку помощи; но Изидор был спокоен до самого рассвета. Тут встал он с скамьи и пошел с товарищем в дом, не отвечая ни слова на все его вопросы.

Таким образом провел он несколько дней. Пока солнце светило на горизонте, он спокойно оставался дома, не говорил ни с кем, но иногда улыбался, когда товарищи его ласкали и изъявляли участие в судьбе его... Но как скоро наставала ночь, то невозможно было удержать его; он спешил к любезному своему клену. Товарищи, любившие храброго и доброго Изидора, попеременно стерегли его и всякий раз слышали, что он с кем-то разговаривает. Иногда рылся он между сгоревшими бревнами — остававшимися на том месте, где прежде стоял дом — и как будто чего-то искал. Однажды (это было в четвертый день после вступления россиян в Москву) товарищ его, по обыкновению, подошел к нему на рассвете, чтоб проводить его домой. Изидор неподвижно сидел под кленом... Глаза его еще были открыты, но душа уже оставила бренное свое жилище. Окостеневшая рука его держала заржавленный кинжал... Перед ним лежал полуистлевший человеческий череп...

— Признаюсь откровенно,— сказал Двойник, когда я перестал читать,— что мне не очень нравится конец вашей повести. Для меня невероятным кажется свиданье Изидора с тенью Анюты, о котором вы намекаете. Неужели вы в самом деле думаете, что это возможно?

— Я думаю,— отвечал я,— что невозможного в таком явлении ничего нет. Этого рода предметы так для нас отвлеченны, так далеко превышают человеческое понятие, что безрассудно было бы отвергать их возможность. Правда, что доказать возможность эту не менее трудно; но я столько читал и слышал рассказов о людях, являвшихся после смерти, что в мнении моем некоторые из них по крайней мере заслуживают вероятие. Один лейпцигский врач, например, который и теперь еще жив, на-



писал целую книгу под заглавием: «Явление жены моей после смерти». Сколько припомнить могу, явления эти начались тем, что, спустя несколько дней по смерти докторши, страстно любимой мужем, гитара ее, висевшая на стене, сама собою начала издавать звуки, а потом и целые аккорды. Когда доктор приучился к этому необыкновенному явлению, то в один вечер ему послышался голос покойницы... Сначала она произносила только по нескольку слов; спустя немного времени стала с ним разговаривать, а кончилось тем, что и сама показалась. Несмотря, однако ж, на любовь его к покойнице, первое ее появление до чрезвычайности его испугало. Наконец он к тому привык: с нетерпением ожидал ее прихода, разговаривал с нею часто и долго и советовался во всех делах — одним словом, она по-прежнему осталась верным ему другом и сохранила после смерти все те приятные качества, которые украшали ее при жизни, с тою только разницею, что не так уже была капризна. Доктор сообщил о счастии своем нескольким друзьям, которые рассказали о том своим знакомым,— и, таким образом, свидания его с покойною женою сделались известны всему городу. Многие смеялись над ним, иные сожалели, считая его помешанным. Но когда доктор решился громко утверждать, что это точно справедливо, и когда наконец напечатал книгу, где подробно описал явления жены своей, тогда нашлись люди, которые ему поверили. И в самом деле, какую причину мог иметь человек, известный и ученый, обманывать целый свет и подвергать себя насмешкам неверующих, если бы действительно он не имел свиданий с покойницею?

— Ах, почтенный Антоний! — сказал Двойник,— я не буду спорить о возможности таких явлений, но, впрочем, как неудачно выбран пример, вами предлагаемый!

— Почему неудачно? Я сам читал эту книгу; она находится в моей библиотеке, и, если прикажете, я тотчас вам ее принесу.

— Верю, верю, любезный друг! книга эта и мне известна; я даже могу рассказать вам, чем кончилось самое происшествие, а именно: доктор ваш лет пятнадцать сряду утверждал, что жена ему является, и многие в том не сомневались,— как вдруг совесть его стала мучить, и он признался, что все рассказы его и книга, им напечатанная, не что иное, как одна выдумка.

— Неужели? — вскричал я с удивлением.

— Точно так. Доктор и теперь живет в Лейпциге, но лишился уважения публики и, верно, жалеет о прежних своих рассказах.

— Помилуйте! какую же он в том находил пользу?

— Для меня довольно понятно, как он был до того доведен. Сначала, может быть, для шутки или чтоб чем-нибудь отличиться, рассказывал он свои чудесные приключения. Чем менее ему верили, тем более он утверждал, что говорит правду; наконец, чтоб не прослыть лжецом, решился даже напечатать о том книгу, полагая, что тогда никто в справедливости сомневаться не станет.

— Поэтому если б доктор не вздумал чрез несколько лет раскаяться в своей лжи, то многие остались бы в твердом уверении, что докторша действительно являлась ему после смерти?

— Без сомнения. Я уверен, что многие чудесные происшествия этого рода оканчивались бы таким же вздором, если б выдумавший оные был столько совестен, как ваш доктор.

— Согласитесь однако, что случается много таких происшествий, в которых сомневаться никак нельзя. Мне пришел теперь на мысль анекдот, и я вам перескажу его. В одной знатной шведской фамилии хранится перстень, который я сам видел у графа Ст**, бывшего в конце прошедшего столетия посланником в Париже. Это большой изумруд, изображающий голову Юпитера и принадлежащий, без сомнения, к величайшим редкостям, дошедшим до нас от римлян. Граф рассказывал мне следующее странное происшествие, в котором перстень этот играл значительную роль.

Мать графа имела поместье в окрестностях Вены и часто посещала столицу, где много у ней было знакомых и родных. Однажды приехала она туда поздно ввечеру и — не помню, по какой причине — не остановилась в занимаемом ею обыкновенно доме, а расположилась в одном известном трактире. Графиня очень устала от дороги и потому, замкнув дверь, легла спать. Лишь только она уснула, как вдруг пробуждена была страшным шумом, как будто происходившим под полом. Она приподнялась в постели и сквозь кисейную занавеску, при свете ночника, увидела, что какой-то предмет, которого ясно разглядеть не могла, медленно выходит из-под полу! Предмет этот поднимался выше, выше — и потом начал подходить к кровати... Не успела она еще придумать,

что ей делать, как занавесь вдруг раздернулась — и пред глаза графини предстала женщина высокого роста, бледная как смерть и закутанная в белой окровавленной простыне!.. В первую минуту она чрезвычайно испугалась. Собравшись, однако, с духом, подумала, что ей пригрезился страшный сон. Она протирала себе глаза, но тщетно: привидение стояло пред нею неподвижно! Графиня была женщина твердого духа и чистой совести и потому, перекрестясь, спросила:

— Чего ты от меня требуешь? Если могу тебе быть полезною, говори; если же нет, исчезни и оставь меня в покое!

— Обещайся исполнить мою просьбу,— отвечало привидение громко и внятно, хотя губы его не шевелились.

— Обещаюсь,— сказала графиня,— если просьба твоя не заключает в себе ничего, противного святой вере и законам.

— Так выслушай меня. В жизни я была законная жена трактирщика, хозяина этого дома. Изверг возненавидел меня и решился убить. Сегодня ровно минуло три года, как, зазвав меня в эту самую комнату в глубокую полночь, он запер дверь и из-под кровати вытащил большой топор, заранее им приготовленный... Сначала я думала, что он меня только стращает, и со слезами упала к его ногам. Но он безжалостно разрубил мне голову... Потом завернул тело мое в простыню и зарыл под полом. На другой день он объявил, что не знает, куда я делась; плакал, сулил большие деньги тому, кто меня отыщет, и, таким образом обманув всех, остался ненаказанным. Никто не подозревает его в убийстве, а кости мои до сих пор остаются непохороненными! Требую от тебя,— продолжал мертвец, бросив грозный взгляд на графиню, внимавшую ему с ужасом,— требую, чтобы завтра же ты съездила к министру и настояла, чтобы отрыли мои кости и предали их земле.

— Охотно исполню твое желание,— отвечала графиня.— Но скажи сама, можно ли это сделать? Чем докажу я справедливость жалобы моей на твоего мужа? Положим даже, что меня послушают, и вследствие того здесь под полом действительно найдут человеческие кости, твой муж тогда скажет, что он не знает, по какому случаю они тут очутились.

— Объяви, что я сама тебе о том рассказала,— продолжало привидение.

— Хорошо; но кто мне поверит, и не сочтут ли слов моих бредом?

Мертвец призадумался.

— Твоя правда,— сказал он по некотором молчании.— Я тебя, однако, научу, что сделать должно, чтобы тебе поверили. Изумрудный перстень твой известен всем здесь в городе; министр сам видел его несколько дней тому назад. Кинь его ко мне в голову, и завтра, когда отроют кости, он находиться будет в моем черепе.

При сих словах мертвец стал на колени, сбросил с себя простыню и положил раздвоенную голову на постель. Графиня вздрогнула... однако, перекрестившись, снова ободрилась, сняла с пальца перстень, бросила его в раздвоенную голову мертвеца и слышала, как он зазвенел, ударясь об кость...

— Благодарствую,— сказало, вставая, привидение и исчезло сквозь пол.

Графиня, проснувшись на другое утро, все происшествие это сочла за странную грезу. Увидев, однако, что перстня нет на руке, она так живо вспомнила все подробности страшного видения, что не могла сомневаться в справедливости оного. Немедленно поехала она к министру, объяснила все дело и настояла, чтоб подняли пол в той комнате, где она ночевала. Действительно найдены были там человеческие кости и остатки полуистлевшей простыни, на которой видны еще были следы запекшейся крови. Трактирщик нагло уверял, что ему неизвестно, чьи это кости. Но когда графиня, по обещанию, данному мертвецу, обвинила его в убийстве, рассказав в подробности все ею виденное, и когда в разрубленном черепе нашли изумрудный перстень, то он побледнел, упал к ее ногам и признался в своем преступлении. Кости в тот же день были погребены на кладбище, а трактирщик вскоре потом получил должное наказание.

— Анекдот, вами рассказанный,— возразил Двойник,— довольно занимателен, и меня немного подирал мороз по коже, когда описывали вы, как мертвец раздвоенную голову свою подносил графине и как перстень зазвенел, ударясь о пустой череп... Удивляюсь мужеству графини, ибо редкий мужчина мог бы сохранить при этом хладнокровие; но позвольте предложить вам маленькое сомнение. Анекдот ваш имеет большое сходство с повестью о двух друзьях, о которых говорит Цицерон; помните ли вы ее?

— Не совсем,— отвечал я.

— И я не очень помню подробностей,— продолжал Двойник,— но вот, кажется, как дело происходило: Цицерон рассказывает, что двое аркадян путешествовали вместе и, прибыв в Мегару, остановились в разных домах. Ночью один из них увидел во сне, что товарищ его убедительно просит прийти к нему на помощь, потому что хозяин трактира, в котором он остановился, намерен его зарезать. Видевший сон пробудился; но, считая явление это обыкновенным сном, не встал с постели и вскоре опять заснул. Товарищ его снова ему является, заклиная его со слезами как можно поспешить к нему.

— Хозяин уже приближается ко мне с большим ножом,— говорил он ему.— Если ты не поспешишь, то будет поздно!..

Путешественник вторично просыпается, но никак не может решиться поверить сну и опять засыпает. Наконец друг его является ему в третий раз и упрекает его в медленности.

— Теперь уже поздно,— говорит он.— Я зарезан и зарыт в таком-то месте. Постарайся по крайней мере, чтобы убийца мой не остался ненаказанным и чтобы над телом моим совершены были должные обряды.

Путешественник на другой день идет отыскивать друга своего, находит убитого в означенном месте и изобличает трактирщика в убийстве.

Не согласитесь ли вы со мною, что есть некоторое сходство между этими двумя историями? — продолжал Двойник.— Что до меня касается, то мне кажется, что происшествие с графинею Ст** не что иное, как подражание Цицерону, раскрашенное, преувеличенное и приноровленное к новейшему вкусу.

— В вашей воле верить или не верить,— отвечал я.— Справок забирать теперь невозможно, ибо ни Цицерона, ни графини нет на свете; но я могу представить вам другой анекдот, который, кажется, менее подвергнуть можно сомнению. К известной английской фамилии Турбот, незадолго еще пред сим, принадлежал один молодой человек, который имел друга, любимого им страстно. Оба они вели жизнь развратную, ничему не верили и часто шутили над смертию, полагая в безумном своем кощунстве, что человек не имеет бессмертной души, и что одни слабоумные могут страшиться будущей жизни! Однажды, сидя за полною чашею пунша, они опять начали

разговор об этом предмете и, воспаленные спиртовыми парами, дали друг другу клятву в том, что первый из них, который умрет, непременно явится другому, буде, против чаяния, после смерти удостоверится, что душа его бессмертна. Мысль эта столько показалась им забавною, что они шутя написали собственною кровию своею клятву, каждый на особом листе; потом разменялись листами и условились, что как скоро оставшийся в живых возьмет в руки полученное им от умершего друга обязательство, то сей последний непременно должен ему явиться.

Чрез несколько лет после того друг Турбота умер. Турбот сожалел о кончине его, но совсем забыл о клятвенном обещании. Прошло еще несколько лет,— как в один день Турбот пошел к себе в библиотеку, чтоб отыскать книгу, в которой имел нужду. Он отворил шкаф и нечаянно положил руку на исписанный кровию друга его лист, остававшийся столь долгое время в забвении. Вдруг слышит он голос, зовущий его по имени... Он оглянулся и увидел покойника, стоящего за ним! Тут вспомнил он о взаимной клятве и содрогнулся... Друг сказал ему:

— Турбот! доколе не протекло еще время невозвратно,— покайся, исправься! Я познал, что душа бессмертна; познал, что есть возмездие делам нашим в той жизни: тяжки настоящие мои страдания, но я заслужил их. Покайся, Турбот! доколе время не протекло невозвратно... Вот что оставляю тебе в знак прежней дружбы и в память нашего свидания!..

Сказав слова сии, он положил руку на дубовый стол, стоявший пред ним, и исчез. Турбот подошел к столу и с ужасом увидел, что толстая дубовая доска прогорела насквозь!.. Следы пяти пальцев несчастного друга его ясно были видны. Турбот после сего явления совершенно переменил образ жизни своей, обратился к вере и чрез несколько времени скончался с чувствованиями и надеждами истинного христианина. Стол и доныне хранится в его семействе.

— Рассказанное вами происшествие весьма нравоучительно,— сказал Двойник,— и я очень далек от того, чтоб отвергать его возможность. Милосердый создатель наш, с нежностию отца пекущийся о человеке, бесчисленными и различными путями ведет его ко благу. Я твердо уверен, что допускаются им иногда таковые явления для

предостережения заблужденных. Однако я убежден и в том, что из тысячи таковых анекдотов, рассказываемых и печатаемых, может быть найдется не более одного справедливого. Заметьте, что почти все они один на другой похожи; происшествие с Турботом имеет разительное сходство с явлением, о котором повествует Штиллинг в сочинении своем «Феория духов». И там является мертвец, увещевает и предостерегает знакомых, и, наконец, взяв в руку книгу, прожигает ее пальцами насквозь.

— Скажите мне, пожалуйте, какого вы мнения об этой «Феории духов»? — спросил я у Двойника.— Я давно о ней слышал, но до сего времени она не попадалась мне в руки.

— Штиллинг,— отвечал Двойник,— был человек, достойный уважения по добрым качествам и пламенной ревности к распространению полезных и назидательных истин. В сочинениях его, кои все стремятся к одной цели, вы найдете весьма много хорошего: но и он, как и многие другие, не во всем соблюдал меру; и потому-то иногда, особливо в «Феории духов», вместо страха, который думает произвесть в читателях, возбуждает совсем другое чувство... Он рассказывает, например, что в известном учебном заведении в Брауншвейге, называемом Carolinum, за несколько лет пред сим умер один профессор. Спустя немного времени после смерти его некоторые ученики заметили, что он по-прежнему прохаживается по спальным их комнатам в колпаке и халате. Они об этом донесли начальникам, из которых один, тоже профессор, никак не хотел тому верить. Однажды он вошел в спальню учеников и, в гордом неверии своем, отважился громко просить покойника, чтобы он и ему явился. Не успел он договорить приглашения, как действительно предстал пред него умерший, с строгим видом и грозя ему пальцем!.. Вы можете себе представить, как испугался наш профессор! но послушайте далее. Ночью вдруг кто то будит профессора; он открывает глаза и видит пред собою умершего! Покойник смотрит на него пристально и сердито. Наконец профессор решается спросить, чего он хочет? Покойник не отвечает ни слова, но делает движение губами, как будто курит трубку. Другого ответа он добиться никак не мог. В следующую ночь то же явление, те же вопросы и то же непонятное движение губами. Профессор в отчаянии напрягает ум свой, и наконец ему

приходит счастливая мысль спросить у покойника: не за тем ли он является, что, может быть, его беспокоят долги, при жизни им не заплаченные? Покойник головою делает утвердительный знак, но продолжает шевелить губами.

— Не забыл ли ты заплатить за курительный табак?

Покойник повторяет тот же знак. На другой день забирается справка, и действительно находят, что усопший остался должным одному купцу два талера и несколько грошей за курительный табак. Кто опишет радость нашего профессора, коему наскучили ночные явления! Он спешит заплатить два талера и ввечеру ложится спать в сладкой надежде, что уже ничто не потревожит его. Но не тут-то было! В полночь опять является неугомонный покойник, но так, что его не весьма ясно различить можно. Привидение сие, казалось, не так уже было плотно, как в прежние разы, и в некоторых местах было даже прозрачно. Оно продолжает делать знаки и движения, так, однако же, неясно, что бедный профессор никак разобрать их не может. Он догадывается, что это должны быть еще какие-нибудь долги; но какие? вот до чего добиться трудно. По долгом старании ему наконец удается разобрать, что знаки покойника имеют сходство с движением, какое делают, показывая на стене китайские тени и продергивая разрисованные стекла сквозь волшебный фонарь. Он опять забирает справку и узнает, что покойник, за несколько дней пред кончиною, взял у одного приятеля два такого рода стекла, которых, однако, не успел возвратить ему при жизни. Профессор отыскал стекла, отдал их настоящему хозяину, и с того времени привидение перестало являться... Но чему вы смеетесь, почтенный Антоний?

— Я воображаю себе,— отвечал я,— какая бы в России сделалась суматоха, если б у нас вошло в моду, чтобы люди, не заплатившие долгов своих, являлись после смерти и делали знаки!

— Надобно надеяться, что этого никогда не будет,— сказал Двойник.— Но обратимся опять к Штиллингу. В той же «Феории духов» вы найдете следующее рассуждение, довольно любопытное и оригинальное. Упоминая о привидении, которое будто бы в некоторых знатнейших германских домах является всегда перед кончиною одного из членов фамилии и которое в целой Германии

известно под именем Белой женщины (die weiße Frau), Штиллинг входит в ученые исследования, кто такая была при жизни эта Белая женщина? Ему достоверным кажется, что Белая женщина — не графиня Орламинде, как обыкновенно полагают, но баронесса фон Лихтенштейн, из древней и знаменитой фамилии фон Розенберг, жившая в половине пятнадцатого столетия. Рассказав множество анекдотов об известном этом привидении, которое, по словам его, является во многих замках Богемии, также в Берлине, Бадене и Дармштадте, он упоминает о том, что покойница при жизни была католического исповедания, и, наконец, заключает таким образом: «Вероятно, Белая женщина после смерти *переменила закон* свой; иначе она бы не показывала такого благорасположения к лютеранским фамилиям». Вообще Штиллинг, кажется, не очень жалует католиков. В той же книге он повествует о привидении, которое и поныне беспокоит жителей одного дома. Они часто слышат, как оно ходит по чердаку, вздыхая и кряхтя, как будто на плечах у него тяжелая ноша, которую оно сбрасывает иногда с таким шумом, что полы в доме трещат и окна дрожат. Два раза некоторым из жителей удавалось подсмотреть это привидение, и тогда оно показывалось в виде старого капуцина с большою бородою и в довольно замаранном колпаке.

Однажды в доме этом скончался набожный и добродетельный ткач, и заметили, что в это время привидение шумело более обыкновенного. Штиллинг увеличившийся этот шум объясняет так: дух был монах. Известно, что католические монахи уверены, что, кроме их веры, нет спасения; и потому духу чрезвычайно было досадно, что несмотря на то лютеранин в глазах его переселился в вечное блаженство, между тем как он, будучи католиком, все еще не избавился от страданий!

Но всего страннее показалось мне следующее рассуждение: один из жителей того же дома, честный и добрый подмастерье, очень желал видеть капуцина. Однажды услышав, что дух идет по лестнице на чердак, он тихонько пошел за ним и вдруг отворил дверь, обратясь лицом к тому месту, где происходил шум. К сожалению, он не успел его увидеть, а только показалось ему, что какая-то серая тень скрылась в хворосте, лежавшем в углу. Подмастерье бросился туда, долго рылся в хворосте, однако ничего не нашел. Автор, выхваляя отважность подмастерья, говорит, что он, будучи набожным чело-

веком, конечно не имел причины опасаться капуцина; но что между тем поступил весьма неосторожно, роясь в хворосте голыми руками, потому что испарения духа могли бы произвесть очень опасные нарывы и болячки на руках...

— Полно! — вскричал я,— полно, господин Двойник! мне кажется, вы шутите! Возможно ли, чтоб это было напечатано в «Феории духов»?

— Прочитайте самую книгу,— возразил Двойник,— и вы между многими весьма назидательными истинами найдете и рассказанное мною о задолжалом профессоре, о Белой женщине и об отважном подмастерье. Но как бы то ни было, обратимся к какому-нибудь иному предмету. Если бы кто подслушал сегодняшний разговор наш, то верно бы, подумал, что мы ни о чем ином говорить не умеем.

— И у меня,— сказал я,— от всех привидений, явлений и мертвецов, которых сегодня ввечеру мы выводили на сцену, голова закружилась. Я полагаю, почтенный Двойник, причиною этому то, что вы, с позволения вашего, сами принадлежите к числу привидений; и потому разговор с вами неприметным образом, по какому-то магнетическому влиянию, клонится к предметам отвлеченным. Я неоднократно замечал в течение жизни своей силу этого магнетического влияния, которое иногда берет над нами верх против нашей воли. Так например, я знаю одного человека, в общем мнении слывущего не совсем глупым, но который между тем ничем не заменяемою пустотою своею приобрел такую неограниченную власть над всеми знакомыми, что никто не в состоянии говорить с ним об ином чем, кроме как о пустяках. Сколько раз покушался я начать с ним разговор о предметах, хотя немного серьезных! Он молчит, пучит глаза, смотрит на вас пристально и наконец до того доведет вас глупым и ничего не говорящим взглядом своим, что вы против воли от серьезного предмета перейдете к такому, который ему под силу, то есть к самому пустому.

— Весьма справедливо,— отвечал Двойник,— сделанное вами замечание относительно магнетического влияния посторонних лиц; однако еще чаще встречаем мы людей, которых не постороннее влияние, но какая-то внутренняя сила принуждает говорить, кстати и не кстати, об одном и том же предмете. Возьмите в пример Клита, нам обоим довольно коротко знакомого. Начните с ним разговор

о чем хотите... Будьте уверены, что он непременно сведет его на любимый свой предмет, то есть на самого себя. Ему говорят о Наполеоне.

— И я умру подобною смертию,— отвечает он,— кто так, как мы оба, привык работать головою, тот должен ожидать этого...

Вы спрашиваете у него, слышал ли он новую певицу?

— Слышал,— отвечает он,— но что касается до меня, то я никогда не имел приятного голоса, хотя, смею сказать, не совсем невежда в музыке, и проч.

Однажды как-то при нем заговорили о превращении Навуходоносора в быка... «Вот уж тут,— подумал я,— не к чему придраться Клиту». Поверите ли, что я ошибся, любезный Антоний? Мой Клит и тут нашелся...

— Что касается до меня,— сказал он с громким хохотом (ибо он всегда, и весьма часто один, смеется остроте своей), что касается до меня, то я никак бы не горевал, если б меня превратили в быка. Я не люблю мясного, да и по слабому здоровью употреблять его не могу: итак, я кушал бы травку и не имел бы никаких забот!

Он, верно, ожидал, что все закричат в один голос:

— Помилуйте, господин Клит! Какое бы это было для земного шара несчастие, если б вы сделались быком!

Никто, однако, не сказал ни слова. Еще я знаю другого...

— Будем говорить о чем-нибудь ином,— прервал я Двойника.— Всех подобных чудаков не пересчитаешь; да и какое нам до них дело? Вы обещались, любезный Двойник, сообщить мне что-нибудь из ваших сочинений; я жду этого с нетерпением. А между тем, чтобы не сбиться нам опять на прежнюю дорогу, сделаем между собою условие, что как скоро кто-нибудь из нас, по магнетическому влиянию вашему, заговорит о привидениях то другой тотчас его остановит.

— Весьма охотно! Итак, позвольте рассказать вам повесть, которую слышал я от одного полковника, по имени Ф**. Я буду говорить собственными его словами. Однако... не лучше ли оставить повесть эту до завтра?

— Как прикажете, любезный Двойник; и мне кажется, что сегодня слишком уже поздно.

Вечер третий

ПАГУБНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОБУЗДАННОГО ВООБРАЖЕНИЯ

В мае 17** года предпринял я путешествие в Германию с молодым графом N..., которого отправил туда отец для окончательного учения в славном Лейпцигском университете. Наши родители служили долгое время вместе на поле чести и сохранили тесную связь дружбы в преклонных летах; а потому я не мог отказать в неотступной просьбе старому графу, который единственного наследника своего имени и богатства желал вверить сыну испытанного и неизменного друга.

Сопутнику моему (я назову его Алцестом) было тогда не более двадцати лет. Природный ум, развитый и украшенный добрым воспитанием, благородные качества души и пленительная наружность оправдывали чрезмерную к нему горячность отца и любовь всех, кто только знал его. Я пятнадцатью годами был старее его и чувствовал к нему привязанность старшего брата к младшему. В нем не были заметны недостатки и слабости, столь обыкновенные в молодых людях, которые с младенческих лет видят себя отличенными от других знатною породою и богатством. Одна только черта в его характере меня тревожила: Алцест, одаренный пылким воображением, имел непреодолимую страсть ко всему романическому, и, по несчастию, ему никогда не препятствовали удовлетворять оной. Он заливался слезами при чтении трогательного повествования; я даже неоднократно видел его страстно влюбленным в героиню какого-нибудь романа. Романические сочинения хотя еще не имели тогда таких страстных приверженцев и защитников, как ныне,— но Гетевы Вертер и Шарлотта и Жан-Жакова «Новая Элоиза» были уже известны. Я знал, что несколько молодых людей в Германии до того потеряли рассудок от чтения сего рода произведений, что, желая подражать Вертеру, лишили себя жизни! К тому же в то время отвлеченная и запутанная философия Канта и Фихте была в большой моде в немецких университетах, и студенты, с свойственным неопытному юношеству жаром, предавались занятию наукою, которую и сами изобретатели едва ли понимали.

Итак, я не без основания опасался, что неодолимая

склонность Алцеста предаваться собственному слишком пылкому воображению может иметь пагубные для него последствия. Впрочем, меня некоторым образом успокоивало то, что он с терпением принимал дружеские мои советы. Несмотря на разность лет, отношения наши друг к другу основаны были на взаимном уважении. Алцест весьма обрадовался, узнав, что я согласен быть ему товарищем. Ему назначено было прожить два года в Лейпциге. Старый граф полагал, что сын его соделается чрез то более достойным высокого назначения, на которое знаменитое происхождение, заслуги отца и несметное богатство давали ему право. Итак, сколь ни трудно ему было расставаться с обожаемым сыном, но мысль, что разлука эта послужит к его пользе, превозмогла жестокую горесть родительского сердца,— и мы пустились в путь, снабженные достаточным числом векселей и сопровождаемые слезами и благословениями почтенных наших стариков.

Дорогою я не пропускал случая остерегать любезного спутника моего от влияния неукротимого его воображения, и мне казалось, что старания мои не совсем были безуспешны. Прибыв в Лейпциг, мы остановились в Гриммской улице, в доме, приготовленном для нас банкиром Фр.**, который предуведомлен был о нашем прибытии.

Первые две недели протекли в осматривании города и прелестных его окрестностей. Банкир познакомил нас в нескольких домах, коих хозяева, вопреки германской бережливости, любили принимать иностранцев. Читатель, которому случалось быть в Германии, конечно не оставил без замечания хорошего расположения немцев к русским. Итак, никому не покажется удивительным, что молодой, пригожий и богатый русский граф, изъясняющийся на немецком языке как природный саксонец, вскоре обратил на себя внимание всего небольшого, но многолюдного города. Алцест, имея в свежей памяти мои советы, был вежлив и ласков со всеми; но, казалось, не примечал ни своекорыстной похвалы матушек, ни приветливой улыбки дочек... Отвлеченные рассуждения важных и чинных профессоров и глубокие расчеты предприимчивых купцов занимали его более, нежели пленительные взгляды и шутливые разговоры лейпцигских красавиц.

Подарив несколько времени бесшумным удоволь-

ствиям, новыми нашими знакомыми нам доставленным мы вскоре принялись за настоящее дело, за которым приехали в Германию. Алцест с жаром предался ученым занятиям, и я должен был отвлекать его от трудов излишних и для здоровья вредных.

Таким образом прожили мы около трех месяцев, как вдруг заметил я в товарище своем незапную перемену. Он сделался задумчив, убегал моего сообщества и охотно оставался один в своей комнате. Сначала приписывал я это какой-нибудь болезни или огорчению; но Алцест на вопросы мои отвечал, что он здоров и счастлив, и просил о нем не беспокоиться. Между тем задумчивость его час от часу увеличивалась. Когда казалось ему, что никто за ним не примечает, вздохи вырывались из груди его — и я поневоле должен был заключить, что им овладела сильная страсть к неизвестному мне предмету. Я внимательнее стал за ним примечать; но долго не мог ничего открыть. С некоторого времени он совершенно отстал от всех наших знакомых. Целые дни просиживал, запершись, в своей комнате, в которую неохотно впускал даже камердинера своего, находившегося при нем с самого младенчества. Не зная, каким образом объяснить странное поведение Алцеста, я решился поговорить о том с верным Иваном; но и от него ничего не узнал удовлетворительного. Старый слуга, покачав головою, сказал мне с печальным видом:

— Ведь то-то и беда, что вы, господа, ничему не верите; я боюсь, чтоб графа нашего не заколдовали! Лучше было бы оставаться нам дома; здесь хорошему ничему не бывать.

Что мне оставалось делать при таких обстоятельствах? Я любил Алцеста, как родного брата; трогательные просьбы почтенного отца его отзывались в душе моей; обязанность, принятая мною на себя, решительно требовала, чтобы я не допускал молодого графа предаваться задумчивости, тем более меня беспокоившей, что я не понимал ее причины. Я принял твердое намерение принудить его объясниться, хотя и не мог скрыть сам от себя, сколь таковая мера была затруднительна при пылком и непреклонном нраве юного моего друга.

Однажды Алцест, отобедав вместе со мною, по обыкновению намерен был удалиться в свою комнату.

— Не хотите ли вы прогуляться? — сказал я ему.— Погода прекрасная, и я поведу вас в такое место, кото-

рого вы еще не видали и которое вам, верно, понравится.

— Извините меня, любезный Ф...,— отвечал он,— я не могу идти с вами. У меня болит голова; мне надобно отдохнуть! — Сказав это, он поклонился и ушел к себе.

Я почти предвидел этот ответ; но, решившись во чтоб то ни стало принудить его к объяснению, я последовал за ним немного погодя и остановился у дверей. Граф ходил взад и вперед по комнате; потом подошел к окну, тяжело вздохнул и опять начал ходить. Я слышал, как он разговаривал сам с собою; казалось, будто он с нетерпением кого-то ожидал. Наконец он опять приблизился к окну.

— Вот она! — воскликнул он довольно громко, подвинул стул и сел.

В эту минуту я вдруг отворил дверь. Алцест вскочил поспешно, задернул у окошка занавесь и спросил у меня, закрасневшись и дрожащим голосом:

— Что вам угодно?

— Любезный граф! — отвечал я ему.— Я давно заметил, что вы от меня таитесь, и потому пришел спросить вас о причине этой скрытности, этой холодности, к которым не могу привыкнуть.

Он смешался и по некотором молчании сказал, потупив глаза в землю:

— Я люблю и уважаю вас по-прежнему, но,— прибавил он почти с сердцем,— мне нужно быть одному, и вы крайне меня обяжете, если оставите меня в покое.

— Алцест! — возразил я,— я поехал с вами из угождения к почтенному родителю вашему и по собственному вашему желанию. Если мое присутствие вам в тягость, если я потерял вашу доверенность, то мне делать здесь нечего, и я немедленно отправлюсь назад. Прощайте! от всей души желаю вам счастия!

Алцест взглянул на меня; он заметил, что глаза мои наполнены были слезами, и доброе сердце его не могло противостоять горести друга. Он зарыдал и бросился ко мне на шею.

— Будь великодушен! — вскричал он,— прости меня! Я чувствую, что виноват пред тобою... Но с некоторых пор я сам не знаю, что делаю, что говорю... Сильная страсть, как бездонная пропасть, поглотила все чувства мои, все понятия!

Я обнял его и просил успокоиться.

— Вы меня удивляете,— сказал я.— Мне неизвестен предмет любви вашей; не понимаю даже, когда и где вы могли с ним познакомиться, но надеюсь, что он достоин Алцеста, и прошу мне открыть сердце ваше.

— Ах! — воскликнул он,— это не девушка,— это ангел. Я не знаю еще ни имени ее, ни звания, но уверен, что и то и другое соответствует такой небесной красоте! Вы увидите ее, любезный Ф..., и не будете удивляться моей страсти.

Он подвел меня к окну, отдернул занавесь и, указав на дом, находившийся против нашего, продолжал с восторгом:

— Взгляните и признайтесь, что вы никогда не видели подобного ангела!

Глаза мои быстро последовали направлению его перста; я увидел сидящую у окна девушку и в самом деле изумился! Никогда даже воображению моему не представлялась такая красавица. Гриммская улица не широка, и я мог рассмотреть все черты прелестного лица ее. Черные волосы небрежными кудрями упадали на плеча, белые, как карарский мрамор. Ангельская невинность блистала в ее взорах. Нет! ни гений Рафаэля, ни пламенная кисть Корреджия — живописца граций, ни вдохновенный резец неизвестного ваятеля Медицейской Венеры никогда не производили такого лица, такого стана, такого собрания прелестей неизъяснимых! Она взглянула на нас и улыбнулась. Какой взгляд, какая улыбка!

— Алцест,— сказал я,— не удивляюсь вашей страсти; она для меня теперь понятна... Но скажите, как могли вы победить любопытство ваше? Неужели не старались вы узнать имя этого ангела?

— Ах! — отвечал он,— я и сам недавно только узнал, что она здесь живет, хотя прелестный образ ее давно уже ношу в сердце. Месяца два тому назад я гулял за городом. Вечер был прекрасный, и я, задумавшись, забрел довольно далеко по большой дороге, ведущей в Алтенбург. Подходя к небольшому лесочку, я услышал спорящие между собою два голоса. Спор казался весьма жарким; но, не понимая языка, на котором говорили, я не мог отгадать, о чем шло дело. Из нескольких слов я успел только заключить, что изъяснялись по-испански.

Вы знаете, что я не любопытен, однако в эту минуту какая-то непонятная сила понуждала меня подойти ближе. Я увидел сидящую неподвижно под деревом

девушку с опущенными вниз глазами. Белый прозрачный вуаль, которым покрыто было ее лицо, не мешал мне различить ее прелестные черты! Она, казалось, не принимала никакого участия в том, что близ нее происходило, хотя, как я тотчас заметил, сама она была предметом слышанного мною жаркого спора. Перед нею стояли два человека, которых голос и движения изъявляли величайшую ярость. Один из них — высокий мужчина в красном плаще, в треугольной шляпе — хотел подойти к красавице; а другой — гораздо меньший ростом, худощавый, в светло-сером сюртуке, в круглой серой шляпе с широкими полями — не допускал его. Ссора кончилась дракою. Уже красный плащ повалил на землю своего соперника, уже протягивал он руки к сидящей под деревом девушке,— а я все еще стоял неподвижно, не зная, кому из них предложить свою помощь... Наконец взор, брошенный мною на лицо высокого мужчины, решил мое недоумение. Вы не можете представить, какая адская радость выражалась в его физиогномии! Уже схватил он за руку девицу, как вдруг я выскочил из-за кустов.

— Остановись! — закричал я ему по-немецки.— Я не позволю никакого буйства!

Неожиданное мое появление удивило их. Красный плащ взглянул на меня пристально и громко захохотал.

— Пускай же эта госпожа сама решит, кому она хочет принадлежать! — вскричал он. Я подошел к ней, почтительно поклонился и сказал:

— Ожидаю ваших приказаний, милостивая государыня!

Но она все молчала... Я догадался, что она была в обмороке.

Между тем мужчина в сером сюртуке подошел к своему сопернику.

— Вентурино! — сказал он ему,— теперь ты со мною не сладишь. Советую тебе удалиться!

— Хорошо! — отвечал красный плащ,— мы с тобою в другой раз разочтемся. А вас,— продолжал он, обратясь ко мне,— вас, граф, поздравляю от всего сердца. Рыцарский ваш подвиг в свое время будет достойно вознагражден.— Выговорив сии слова, он опять захохотал и скрылся между деревьями. Еще несколько минут спустя после того слышен был вдали громкий его хохот, который, не знаю почему, вселял в меня ужас!

Оставшись с соперником красного плаща, я изъявил сожаление и сердечное участие свое в положении страдалицы.

— Это пройдет,— отвечал он, схватил ее под руку, и она открыла глаза!

Я бросился к ней, но незнакомец не допустил меня предложить ей мои услуги. Он сам вывел ее из лесочка, посадил в коляску и, сев подле нее, приказал кучеру ехать. Я был в таком смущении, что не успел выговорить ни одного слова; когда же опомнился, то коляска была далеко. Не знаю, обмануло ли меня воображение мое, но я заметил, что при прощании со мною на лице незнакомца показалась та же адская улыбка, которая прежде поразила меня в его сопернике.

Тут Алцест задумался и, помолчав несколько секунд, продолжал.

— С этой роковой минуты образ неизвестного мне ангела не выходил из моей памяти. Не поверяя никому чувствований сердца, я старался отыскать сам предмет любви моей и как безумный бродил по всем лейпцигским улицам. Но все поиски оставались тщетными. Единственное утешение мое состояло в том, чтобы, сидя в своей комнате, предаваться сладкой надежде когда-нибудь с нею опять встретиться. Образ ее сопровождал меня повсюду; но вместе с ним преследовали меня и пронзительный хохот красного плаща, и адская радость, изображавшаяся в чертах человека в сером сюртуке! Представьте ж себе мое восхищение, когда, сегодня поутру, нечаянно взглянув на этот дом, я увидел у окна свою прелестную незнакомку!.. Теперь я счастлив! Мы смотрим друг на друга... она мне кланяется и улыбается... и, если самолюбие меня не обманывает, то она не совсем ко мне равнодушна.

Во все продолжение его рассказа я не спускал глаз с сидящей против нас красавицы. Она как будто догадывалась, что о ней говорят; от времени до времени приятная улыбка являлась на ее розовых устах, но чем более я в нее всматривался, тем страннее она мне казалась. Не знаю сам отчего, но какой-то страх овладел мною. Мне представилось, будто из-за прекрасных плеч ее попеременно показывались две безобразные головы: одна в треугольной черной шляпе, другая в круглой серой с большими полями. Стыдясь сам своего ребячества, я оставил Алцеста, дав ему наперед обещание упо-

требить все силы для получения верных и подробных сведений о незнакомой красавице.

В тот день было уже поздно, и я отложил исполнение своего обещания до другого утра. Между тем мне хотелось развлечь себя чтением, но глаза мои пробегали страницы, не передавая занятой незнакомкою душе моей ни одной мысли. Комната Алцеста была над моею спальней, и ко мне доходили его вздохи, слышались шаги его; он прохаживался по комнате и всякий раз у окна останавливался. Признаюсь, что и я не мог удержаться, чтоб не подойти к окошку. Незнакомка все еще сидела на том же месте. Удивительно, что прелестный образ ее и в моем воображении никак не мог разлучиться с отвратительным видом обоих соперников! Красный плащ и серый сюртук мелькали перед моими глазами в глубине ее комнаты, которая вся была видна из моих окошек. Настала ночь; незнакомка закрыла окно и отошла. При свете зажженных ламп я видел, что она села за арфу, и вскоре сладкие звуки итальянской музыки очаровали слух мой.

Наконец я лег спать, однако с трудом мог заснуть. В самом глубоком сне звуки арфы раздавались в ушах моих и смешивались с пронзительным хохотом, о котором рассказывал Алцест...

На другой день рано поутру я занялся собиранием сведений о незнакомке и узнал без больших хлопот, что весь тот дом занят приезжим профессором Андрони, прибывшим из Неаполя несколько недель тому назад. Андрони — сказано мне — испросил от Университетского Совета позволение читать лекции чистой математики, механики и астрономии и вскоре откроет курс сих наук. Он, по-видимому, человек весьма достаточный, ибо за наем дома платит довольно дорого, а за несколько дней перед его приездом прибыл сюда его обоз, состоящий из многих повозок и нескольких тяжело навьюченных мулов. Сам он живет в нижнем этаже, а верхний занимает дочь его, Аделина, девица красоты необыкновенной. Она еще ни с кем не знакома, и до сих пор ее видали только у окна. Впрочем, любимая его наука механика, и комнаты дочери его, сколько могли заметить соседи, наполнены разными машинами и инструментами, привезенными из Неаполя в обозе.

С сими известиями я поспешил к Алцесту. Он кинулся ко мне на шею и в радостном восторге воскликнул:

— Любезный Ф...! мы будем слушать его лекции...

мы с ним познакомимся... мы сблизимся с Аделиною!..

— Очень хорошо,— отвечал я,— но не забудьте, что с завтрашнего дня начинается ярмонка, которая продолжится две недели, и что лекции господина Андрони, вероятно, не прежде начнутся, как по окончании оной.

Мы решились, однако, того же утра идти к нему и просить о принятии нас в число его слушателей. Граф не мог дождаться минуты, которая должна была познакомить нас с отцом Аделины. Он тотчас хотел к нему отправиться, хотя не было еще семи часов утра, и я с трудом мог упросить его дождаться удобнейшего времени. Он надеялся ее увидеть!.. Наконец ударил час, нетерпеливо ожиданный,— и мы почтительно постучались у дверей профессора. Андрони встретил нас сам.

— Это он!— шепнул мне на ухо Алцест.

На нем был богатый малиновый халат с крупными золотыми цветами. Маленький черный паричок с толстым пучком придавал какой-то странный вид длинному орлиному носу, огненным глазам и оливковому цвету лица, доказывавшим южное происхождение профессора. Он просил нас сесть и тонким пронзительным голоском спросил:

— Что к вашим услугам?

Никогда не видывал я физиогномии более отвратительной. Какая-то язвительная насмешливость изображалась в вздернутых ноздрях, в судорожном кривлянии рта и в пискливом его голосе. Но я вспомнил, что он отец Аделины, и с учтивостию сказал ему, что он видит пред собою русских дворян, желающих посещать его лекции. Он внес имена наши в записную книжку, поблагодарил за честь и сделал несколько вопросов о России. Казалось, что ему известно было многое, до отечества нашего относящееся. Графа он либо не узнал, либо притворился, что никогда его не видывал. Заметив, что я со вниманием рассматриваю все предметы в его покоях, он с велеречием начал рассказывать о редкостях, вывезенных им из Египта, и о драгоценных манускриптах, найденных в развалинах Помпеи и Геркулана, главный надзор над коими некогда вверен ему был его величеством королем Неаполитанским. Он обещался, когда раскрыты будут ящики, привезенные в обозе, показать нам остовы чудовищ, извлеченных из пучин Скиллы и Харибды посредством изобретенной им машины. Будучи страстным охотником до древностей, я слушал рассказы его

со вниманием, хотя неприятный голос его такое же на меня произвел действие, какое испытываем, когда острым железом царапают стекло или когда режут пробку.

Между тем Алцест, попеременно бледнея и краснея, ожидал минуты, в которую удастся ему молвить слово об Аделине. Потеряв наконец терпение, он прервал речь профессора и сказал ему дрожащим от робости голосом:

— Государь мой! позвольте мне... я некогда имел счастие... дочь вашу... каково ее здоровье?..

Андрони обратил на него огненные глаза, и тонкие губы его скривились в улыбку.

— А, а! — вскричал он, — так это вы? понимаю!..

Он призадумался и потом прибавил: — Я очень благодарен вам за услугу, мне оказанную; но имею важные причины желать, чтобы вы не сказывали никому о случае, нас познакомившем... Я вижу, — продолжал он, заметив замешательство графа, — что тайна эта уже не может называться тайною, но если вы никому иному не вверили ее, кроме вашего товарища, то я буду спокоен, когда господин полковник Ф... даст мне честное слово, что он никому о ней говорить не будет.

Требование профессора крайне меня удивило и увеличило отвращение, которое я уже к нему имел. Все неприятные впечатления, внушенные мне рассказом Алцеста и собственным моим наблюдением, как будто слились в одну точку в душе моей, и я хотел было сказать ему наотрез, что я тогда только соглашусь хранить его тайну, когда он объяснит причины, побуждающие его к такому требованию. Но Алцест предупредил меня; страшась прогневать отца Аделины, он поспешил его уверить, что я с удовольствием удовлетворю его желание, — и я принужденным нашелся дать ему честное слово. После того мы откланялись, и Андрони проводил нас до сеней, повторяя неоднократно, что посещения наши всегда будут ему приятны.

Мы оставили дом его с разными чувствами. Алцест не помнил себя от восхищения, что успел проложить себе путь к сближению с Аделиною. Я же, напротив того, был задумчив и печален. Какое-то унылое предчувствие наполняло мою душу, хотя и сам я не понимал, отчего оно во мне возродилось. Странная фигура и отвратительное лицо профессора, неприятный его голос и злобная усмешка сливались в воображении моем с сверхъесте-

ственною красотою его дочери и с адским хохотом красного плаща... и все это вместе составляло смесь, от которой я чувствовал, что волосы мои подымались дыбом!

Возвратившись домой, я старался успокоиться, смеясь сам над собою. «Андрони,— думал я,— не что иное, как чудак, каких на свете много. Он человек ученый, и это достоинство может заставить забыть неприятный голос его. Красный плащ, вероятно, какой-нибудь пренебреженный любовник; а Аделина... Аделина — прелестная девушка, в которую до безумия влюблен Алцест... Во всем этом ничего нет удивительного».

С сими размышлениями я подошел к окну и опять увидел Аделину. Она взглянула на меня, поклонилась мне с неизъяснимою приятностию,— и печальные предчувствия мои исчезли как сон!

На другой день мы опять явились у Андрони. Он принял нас, как старых знакомых, и, побеседовав немного с нами, сам предложил пойти в верхний этаж. Легко представить себе можно, с каким восхищением Алцест принял такое предложение! Казалось, что профессор это заметил; он обратился ко мне и сказал с усмешкою:

— Вы теперь не увидите моей дочери; она никогда не жила в большом свете и потому чрезвычайно застенчива.

Алцест тяжело вздохнул и печально взглянул на меня. Я понял причину его печали, и сам не мог не пожалеть о том, что не увижу Аделины. Андрони, по-видимому, не замечал нашего огорчения. Он показывал нам модели разных машин и объяснял в подробности их действия. Большие орга́ны с флейтами обратили на себя мое внимание. Андрони дернул за снурок, и прекрасная музыка загремела. Я не мог довольно похвалить верность игры и приятный тон инструмента.

— Это ничего не стоящая безделка!— сказал мне Андрони,— орга́ны эти составлены мною в часы, свободные от важнейших занятий.

В это время очаровательная гармония раздалась в ближней комнате, в которую дверь была заперта.

— Моя Аделина играет на арфе,— сказал профессор, обратясь к нам с улыбкою. Мы слушали со вниманием. Никакое перо не в состоянии изобразить всей обворожительности, всей прелести игры ее. Я вне себя был от удивления! Алцест просил профессора позволить ему послушать вблизи небесную игру его дочери.

— Аделина моя крайне стыдлива,— отвечал Андрони,— похвалы ваши приведут ее в замешательство, и я уверен, что она не согласится играть в вашем присутствии. К тому же,— прибавил он,— она не ожидала вашего посещения и теперь еще в утреннем уборе. В другой раз ей приятно будет с вами познакомиться.

Пробыв еще немного, мы распрощались с хозяином и возвратились домой, очарованные талантами Аделины.

Вечером посетил нас профессор. Он одет был по-старинному, однако ж весьма богато. Тот же черный паричок прикрывал его голову, но кафтан был на нем желтый бархатный, камзол и исподнее платье глазетовые, и маленькая стальная шпага висела на левом его бедре.

— Я пришел предложить вам погулять по ярмонке,— сказал он.— Дочь моя никогда не видала такого многолюдства, и вы меня обяжете, если не откажетесь прогуляться с нами.

Разумеется, что мы с удовольствием согласились на его предложение.

Бывали ль вы в Лейпциге во время ярмонки, любезный читатель? Если нет, то трудно мне будет изобразить вам картину, представившуюся глазам нашим, когда мы подошли к площади Неймарк. Бесчисленное множество людей обоего пола и всех состояний в разных видах и одеяниях толпились по улицам; нижние этажи всех домов превращены были в лавки, которых стены и окна испещрены развешанными хитрою рукою разноцветными товарами. На площади так было тесно, что мы с трудом могли пройти по оной.

Здесь взгромоздившийся на подмостки шарлатан, в шляпе с широким мишурным галуном, в кафтане, вышитом золотыми блестками, выхвалял свои капли и божился, что они исцеляют от всех болезней. Далее, на таких же подмостках, коверкались обезьяны. Тут вымазанный смолою и осыпанный пухом и перьями проказник выдавал себя за дикаря, недавно вывезенного из Новой Голландии; а там — большой деревянный слон удивлял зрителей искусными движениями хобота. Со всех сторон, на всех европейских языках купцы предлагали нам товары. Увлеченные толпою, которая пробиралась в один из домов, окружающих площадь, мы вошли в залы, где щегольски одетые, расчесанные и распудренные игроки

с бриллиантовыми перстнями на всех пальцах метали банк. В Лейпциге правительство на время ярмонки отступает от строгих правил и позволяет азартные игры.

Алцест, в начале прогулки нашей, желая идти с Аделиною, подал ей руку; но Андрони предупредил его, подскочив с торопливостию, и сам схватил ее за руку. Такая неучтивость профессора сильно огорчила графа. Мне самому она показалась странною, хотя, впрочем, я с удовольствием видел заботливость Андрони удалять графа от своей дочери. Странность профессора, красота Аделины и возрастающая к ней страсть моего друга делали неприятное на меня впечатление; но вскоре необыкновенное зрелище, представлявшееся глазам моим со всех сторон, привлекло на себя все мое внимание. Занимаясь рассматриванием разнообразных предметов, находившихся предо мною, и оглушенный шумом толпившегося около нас народа, я не замечал, что глаза всех обращены были на нас. Громкие восклицания нескольких студентов, восхищавшихся красотою Аделины, наконец вывели меня из рассеянности: я взглянул на прелестную нашу спутницу. Она шла подле отца с потупленными вниз очами, не обращая ни малейшего внимания на то, что вокруг нее происходило. Можно было подумать, что она ничего не видит и ничего не слышит. Меня удивило такое равнодушие в молодой прекрасной девушке.

Распростясь с Андрони и его дочерью и возвратясь домой, граф с восхищением говорил об Аделине.

— Вы, кажется, совсем не разговаривали с нею? — спросил я у него.

— Признаюсь,— отвечал он,— я почти уверен, что бедная Аделина весьма несчастна! Отец ее более похож на тирана, нежели на отца. Нельзя по крайней мере не подумать этого, видя столь непонятную робость и молчаливость. Беспрестанная ее задумчивость огорчает меня до глубины сердца. При прощании я спросил у ней, весело ли ей было на ярмонке, и, не получив никакого ответа, повторил мой вопрос.

— Аделина! что же ты не отвечаешь, когда говорят с тобою? — вскричал профессор и с сердцем дернул ее за руку. Она вздрогнула, робко на меня посмотрела и вполголоса сказала:

— Весело.

При всем том, любезный Ф..., я имею причины надеяться, что она ко мне неравнодушна. Во время прогул-

ки нашей она иногда взглядывала на меня с таким чувством, с таким выражением!..

— Алцест! — прервал я его. — Вы чувствительны и добродетельны; скажите откровенно, какие, думаете вы, будет иметь последствия эта страсть, которая совершенно вами овладела?

— Какие последствия? — вскричал он с жаром. — Можете ли вы ожидать иных, кроме женитьбы, если я ей понравлюсь и если отец ее на то будет согласен?

— А ваш родитель?

— Батюшка меня любит и не пожелает моего несчастия. Союз с таким ангелом, как Аделина, для меня не унизителен, не бесчестен. Она могла б быть украшением трона!

Я замолчал, зная, что противоречие не произведет ничего доброго, а напротив, еще больше раздражит пылкого молодого человека. Но с первою почтою счел я обязанностию известить обо всем старого графа.

День ото дня знакомство Алцеста с профессором Андрони делалось теснее. Я также посещал его довольно часто. Старик принимал нас ласково, но никогда не случалось нам наслаждаться сообществом его дочери. Он всегда находил какой-нибудь предлог, которым старался извинить ее отсутствие; то она, по словам его, не совсем была здорова; то занималась необходимыми по хозяйству делами, — одним словом, он, очевидно, хотел, чтоб мы не были вместе с нею. Казалось, что он опасался, чтоб мы не открыли какой-нибудь важной для него тайны. Признаюсь, мне неоднократно приходило на мысль, что Андрони не отец Аделины, а ревнивый опекун, влюбленный в свою воспитанницу.

Между тем Алцест ежедневно проводил целые часы у окна и любовался Аделиною, которая, по-видимому, также находила удовольствие на него смотреть. Вскоре они завели взаимные между собою сношения знаками. Алцест уверен был, что она к нему неравнодушна, и любовь его еще более от того воспламенилась. Тщетно просил я его не предаваться так слепо страсти своей: советы мои не имели никакого действия!

И я, с своей стороны, — хотя, впрочем, совершенно с другою целию — часто наблюдал за Аделиною, когда она сидела у окна. Я не мог не удивляться необыкновенной красоте ее; но, при всем том, я видел в ней нечто странное, нечто такое, чего никак не мог объяснить себе.

На ее лице ни одного раза не заметил я ни выражения восторга, ни движения любопытства — одним словом, никакой страсти. Такая холодная нечувствительность, так сказать, отталкивала мое сердце и в иные минуты производила во мне невольный страх, которого я внутренно стыдился. Что касается до Алцеста, он не видал в ней никаких недостатков. Он любил ее так горячо, что каждый взгляд ее, каждое движение приводило его в восторг.

Таким образом провели мы несколько недель, и страсть Алцеста перестала быть тайною. Все в городе говорили о близкой женитьбе молодого, богатого русского графа на дочери профессора Андрони, а я с нетерпением ожидал ответа на письмо, отправленное мною в Россию.

Однажды, рано поутру, пошел я к профессору, чтоб попросить у него объяснения одной трудной математической задачи. В нижнем этаже дверь была заперта, и я, считая себя домашним человеком, решился идти вверх, надеясь там найти его. В первой комнате не было никого, и я пошел далее. Вообразите ж себе, каким был я объят ужасом, когда, отворив двери, увидел Аделину, лежавшую без чувств на диване!.. Голова ее, опустившаяся с дивана, лежала на полу; длинные черные волосы, не связанные и ничем не придерживаемые, совершенно закрывали прекрасное лицо ее. Мне показалось, что в ней нет ни малейшей искры жизни. Я громко закричал, и в самое это мгновение вошел Андрони...

— Скорей пошлите,— бегите за доктором!— кричал я ему.— Дочь ваша умирает, а может быть, уже...

Андрони хладнокровно подошел ко мне, взял меня за руку и отвел далее от дивана.

— Государь мой!— сказал он,— мне неизвестны русские обыкновения, но полагаю, что у вас также, как у нас, в Италии, молодому человеку не позволяется входить без спросу в комнату молодой девицы.

Равнодушие его меня взбесило.

— Господин профессор!— отвечал я,— насмешка эта вовсе не у места. Удивляюсь хладнокровию вашему при виде умирающей дочери... Позвольте вам, однако, заметить, что близкое наше знакомство дает мне некоторое право принимать участие в положении Аделины.

При сих словах какая-то язвительная насмешливость выразилась в резких чертах Андрони.

— Если участие ваше основано на дружеском ко мне

и дочери моей расположении,— сказал он,— то вы, конечно, правы. Но в таком случае я должен вам объявить, что беспокойство ваше напрасно. Дочь моя здорова; это ничего не значащий припадок.

Он приблизился к ней, схватил ее за руку и громко назвал по имени. Она в тот же миг открыла глаза и взглянула на меня как будто ни в чем не бывало!.. Андрони вывел ее в другую комнату, затворил дверь и возвратился ко мне.

— Я надеюсь, что вы теперь успокоились?— сказал он, усмехаясь.

Я был в крайнем замешательстве и не знал, что отвечать. Мы раскланялись с профессором; он проводил меня до дверей, и мне показалось, что он запер за мною задвижкой. Я невольно остановился и стал прислушиваться. Все было тихо и безмолвно; потом услышал я какой-то странный шум, как будто заводят большие стенные часы. Опасаясь, наконец, чтоб Андрони не застал меня подслушивающего у дверей, я поспешно сошел с лестницы. Выходя на улицу, невольно взглянул я вверх и, к удивлению моему, увидел Аделину, сидящую у окна в полном блеске красоты и молодости!

Необыкновенная, можно сказать, чудная сцена сия сделала глубокое на меня впечатление. Я решился рассказать о ней графу. Не успел я начать мое повествование, как вошел к нам Андрони. Я замолчал.

— Вы, конечно, рассказываете графу о болезни моей дочери?— спросил он улыбаясь.— Господин полковник,— продолжал он, обратясь к Алцесту,— принимает самое живое участие в моей дочери! Маленький обморок, ничего не значащий припадок, которому часто бывают подвержены молодые и слишком чувствительные девушки, крайне испугал его. Хочу, однако, доказать вам, что дочь моя вне всякой опасности, и я, нарочно для этого, пришел вас попросить сделать мне честь пожаловать ко мне на бал сегодня вечером.

— На бал?— вскричали мы оба в один голос.

Чтобы понять, от чего произошло наше удивление, надобно заметить, что, кроме нас, Андрони не принимал никого в дом свой. Несмотря на все старания студентов и других молодых людей, никому, кроме нас, до сих пор не посчастливилось увидеть ее иначе, как только в окошко; и потому, невзирая на то, что мы уже некоторым образом привыкли к странностям профессора, намерение его —

дать бал — изумило нас. Андрони не мог не заметить этого.

— Приглашение мое вас удивляет? — сказал он нам. — Но я давно желал познакомить дочь мою с здешним модным светом. Пора отучать ее от робости, не приличной ее летам. Прощайте; спешу заняться приготовлениями к балу. Вечером мы увидимся!

Пожав нам руки, он поспешно удалился.

Мы остались одни. Тщетно старался я внушить Алцесту недоверчивость к Андрони и умолял его быть осторожным. Я, к крайнему огорчению, увидел, что советы и наставления мои были ему неприятны. Когда рассказывал я ему, в каком положении застал Аделину, на лице его изобразилось сильное беспокойство; но он ничего не находил необыкновенного ни в поступках старика, ни в внезапном выздоровлении дочери. Мысль, что он весь вечер проведет с Аделиною, совершенно овладела его воображением, и он не обращал никакого внимания на слова мои.

Настал вечер, столь нетерпеливо ожиданный графом, и мы отправились в дом профессора, который, в праздничном бархатном кафтане своем, встретил нас с веселым видом. Вошед в залу, я не мог не удивиться искусству, с каким успел ее убрать Андрони в такое короткое время. Все было странно, но все прекрасно, все со вкусом. Глаза наши при входе не были поражены ярким светом ламп и многочисленных свечей. Алебастровая огромная люстра, висевшая посреди комнаты, изливала томный свет, как будто происходивший от сияния луны. Вдоль по стенам стояли померанцевые деревья, коих промежутки украшены были расставленными в фарфоровых вазах цветущими растениями, наполнявшими воздух благоуханием. Казалось, что профессор для украшения залы своей истощил все оранжереи Лейпцига и окрестностей. На зеленых ветвях больших померанцевых дерев висели разноцветные лампы, которых блеск сливался с сиянием от алебастровой люстры, и озаренные сим чудным светом двигающиеся по зале в разных направлениях гости, у которых на лице написано было любопытство и удивление, придавали всему вид чего-то волшебного.

Собрание было весьма многочисленно, несмотря на то что незапное и неожиданное приглашение Андрони совершенно было противно германскому этикету. Почти ни

один из гостей не был знаком с хозяином; но никто не отказался от бала: все любопытствовали видеть вблизи прелестную Аделину, о которой рассказывали в городе чудеса.

При входе в залу глаза графа искали ее между лейпцигскими красавицами, но ее тут не было. Профессор объявил гостям, что дочь его скоро будет, и просил начать танцы, не дожидаясь ее прибытия. Все с участием спрашивали об ее здоровье и получили в ответ, что она занята необходимыми делами, по окончании которых непременно явится. В другое время дамы, удостоившие профессора посещением своим, вероятно, обиделись бы тем, что хозяйка их не встретила; но тут, где все было необыкновенно, где все носило на себе печать какой-то чудной странности, никто не изъявил неудовольствия за такую неучтивость. Танцы начались. По тогдашнему обыкновению, в Германии каждый кавалер при открытии бала избирал даму, с которою уже танцевал в продолжение всего вечера. Алцест, который во весь тот день занимался сладостною мечтою, что Аделина будет его дамою, обманутый в своей надежде, с печальным видом сел под померанцевое дерево и с рассеянностию смотрел на веселящихся гостей.

Бал начался менуэтом, а за ним следовали и другие танцы. В средине одного шумного экосеза вдруг отворилась дверь и вошла в залу Аделина... Она одета была весьма богато, в испанском вкусе. Малиновое бархатное платье, вышитое золотом, богатый кружевной воротник, которого частые складки прикрывали высокую грудь ее, драгоценные каменья, украшавшие ее волосы, давали ей вид величественный и важный. При входе она с приятностию поклонилась. Андрони взял ее за руку и повел к стулу; а Алцест, увидев ее, в восторге своем не мог удержаться от громкого восклицания. Все оглянулись... гости забыли об экосезе и обступили Аделину, которая, с приметною робостию встав с своего стула, кланялась на все стороны.

Не могу изобразить впечатления, произведенного ее появлением во всем собрании! В самом деле, она блеском красоты своей помрачала всех лейпцигских красавиц. Дамы перешептывались друг с другом; мужчины с завистию посматривали на Алцеста, который между тем пожирал ее глазами. Профессор с трудом мог уговорить гостей окончить начатый экосез. Сам он ни на минуту не

отходил от Аделины, которая на делаемые ей вопросы отвечала едва внятным голосом. Андрони часто говорил за нее, приписывая чрезмерную робость ее незнанию немецкого языка и непривычке находиться в таком многолюдном обществе. Что касается до меня,— мысль о ревнивом опекуне опять пришла мне на ум... и хотя, с одной стороны, мысль эта внушала мне отвращение к Андрони, но, с другой — она служила мне некоторым утешением, потому что горячность профессора к Аделине считал я оплотом против любви графа.

Все гости, не исключая меня, желали, чтоб Аделина танцевала, и все приступали к Андрони... Он с замешательством извинялся, говоря, что дочь его, родившаяся в южной Европе и воспитанная в уединении, не имеет понятия о танцах, употребительных в Германии. Долго просьбы наши были безуспешны. Наконец, убежденный нашею докучливостию, профессор перед самым концом бала объявил нам, хотя, впрочем, с видимою досадою, что, для удовлетворения желания таких дорогих гостей, дочь его протанцует фанданго. Испанская пляска сия в тогдашнее время еще мало была известна в Германии; многие из гостей даже никогда не слыхивали ее названия, и любопытство собрания от того увеличилось. Загремела музыка, гости стали в пространный круг, и Аделина начала пляску свою.

Неоднократно случалось мне во время пребывания моего в Гишпании видеть самых лучших танцовщиц, но я должен признаться, что ни одна из них не танцевала с таким искусством, как Аделина! Прелестные ножки ее двигались с неимоверным проворством; все движения тела были живописны. Но при всем том мне показалось, что в ней недостает той живости, той непринужденности, без которых самый искусный балетмейстер сходен с бездушною куклою, прыгающею на пружинах. Несколько раз в продолжение пляски Аделина сбивалась с такта и столь явно, что Андрони за нужное счел сложить вину на музыкантов, приписывая это их неведению и неискусству. Пляска кончилась при громких рукоплесканиях восхищенных зрителей. Аделина, казалось, весьма устала; она чрез силу дотащилась до стула с помощию отца, и Андрони довольно ясно дал заметить гостям, что бал кончился.

Стали разъезжаться; мы с Алцестом были в числе последних. Граф стоял как вкопанный и в безмолвном вос-

торге не спускал глаз с Аделины. Между тем бо́льшая часть разноцветных ламп погасла; померкнувший свет алебастровой люстры и темная тень от деревьев всем предметам давали вид неопределенный. Мне сделалось что-то грустно и вместе страшно; я настоятельно начал просить графа пойти домой и с трудом мог его уговорить. Когда мы выходили из залы, я нечаянно оглянулся, и мне показалось, будто из того угла, где сидели музыканты, вышел высокий мужчина в красном плаще и в треугольной шляпе... Медленными шагами прошел он чрез комнату и скрылся во внутренние покои. На лице его выражалось что-то зверское. Я не мог не вспомнить о Вентурино... Возвратясь домой, я рассказал о том графу, но он не хотел мне верить.

На другой день рано поутру разбудила меня эстафета, присланная из Дрездена. Корреспондент мой уведомлял меня, что банкир N. N., у которого хранилась значительная сумма, принадлежавшая графу, объявил себя банкротом. Присутствие мое в Дрездене было необходимо, и я принужденным нашелся немедленно послать за курьерскими лошадьми. Легко себе представить можно, каково мне было оставить графа в его положении! Но от Лейпцига до Дрездена не так далеко, особливо для русского. «Пробежать верст полтораста,— думал я,— мне не в диковинку. Если возвращение мое сделается нужным, верный Иван отправит ко мне эстафету, и я тотчас явлюсь в Лейпциге». Сколько я, однако, ни старался утешить себя такими рассуждениями, какая-то непонятная тоска стесняла мою грудь! Чудное появление Вентурино в доме Андрони беспрестанно приходило мне на ум. Распростившись уже с графом, я опять к нему воротился и умолял его не посещать профессора в мое отсутствие. Но он не слушал меня и не понимал! Я с сокрушенным сердцем оставил его.

Не буду говорить о пребывании моем в Дрездене. Неудовольствия, с которыми я там боролся, потеря весьма значительной суммы, все это ничего не значит в сравнении с ужасными событиями, ожидавшими меня в Лейпциге! На третий день получил я эстафету от Ивана, который умолял меня возвратиться к графу. «Барин мой,— писал он,— со времени отъезда вашего был неразлучен с проклятым итальянцем. Сегодня поутру он уведомил меня, что женится на дочери фигляра!.. Он даже не хочет дожидаться ни возвращения вашего, ни родительского

благословения. Напрасно валялся я у ног его!.. Поспешите! может быть, вы успеете предупредить несчастие».

Письмо это крайне меня испугало. В продолжение нескольких минут я не мог опомниться, наконец как сумасшедший побежал на почтовый двор. Просьбы мои, и в особенности звенящий кошелек, придали несколько живости почтмейстеру, и не прошло еще часу, как я сидел уже в дорожной коляске. Но какое мучение ожидало меня на пути! Кто не путешествовал по Саксонии, кто не испытал над собою флегмы саксонских почтальонов, тот не может понять моей досады, моего отчаяния! Ни просьбы, ни обещания, ни деньги, ни угрозы не в состоянии были принудить двигаться проворнее почтальонов, которых бесчувственность в этом отношении может равняться только с неповоротливостию тяжелых лошадей, ими управляемых. Как часто дорогою вспоминал я о любезной нашей России!

Измученный напрасным старанием хотя немного оживить почтарей и терзаемый ожиданием несчастий, которые представлялись моему воображению, я дотащился наконец до Лейпцига. Это было поздно ввечеру. Когда въехал я в заставу, медленное движение коляски показалось мне еще несноснее; я с нетерпением выскочил и побежал по Гриммской улице, оставя далеко за собою изумленного своего саксонца. При входе в комнату Алцеста встретил меня Иван, бледный как полотно.

— Где граф? — спросил я.

— Граф сегодня ввечеру обвенчался и переехал к своему тестю,— отвечал он мне дрожащим голосом...— Я хотел идти за ним, но меня не пустили!..

Не расспрашивая его ни о чем более, я бросился в дом Андрони. В сенях попался мне навстречу высокий мужчина, которого лицо показалось мне знакомым. Я узнал Вентурино. Он одет был в черную мантию, какую обыкновенно носят в Германии духовные особы. На голове у него был распудренный парик с длинными локонами. «Вентурино в пасторском облачении!» — подумал я... и воображению моему ясно представилось, что такое беззаконное переряжение должно непременно означать какой-нибудь злой умысел, которого цель, однако, для меня была непонятна!

В первой комнате нашел я профессора, занимающегося чтением,— и он, казалось, вовсе меня не заметил.

— Ради бога!— вскричал я.— Что вы сделали с моим другом?

— А! это вы, господин полковник?— сказал Андрони, обратясь ко мне с спокойным видом.— Мы не ожидали, чтобы вы так скоро кончили дела ваши. Зять мой очень обрадуется, когда узнает, что вы возвратились.

— Зять ваш?— отвечал я с сердцем.— Неужели вы думаете, что я позволю вам ругаться над моим другом?..

— Вы забываетесь, господин полковник!— возразил Андрони, не теряя хладнокровия.— Говорите потише; вы можете испугать графиню, да и графу не очень приятно будет видеть любезного наставника своего в таком положении.

Насмешка его вывела меня из терпения.

— Изверг рода человеческого!— закричал я в исступлении.— Говори, что значит эта комедия? Зачем ты товарища своего — такого же плута, как ты сам — нарядил в пасторы?.. Но я разрушу ваши козни. Немедленно веди меня к Алцесту!

Андрони очевидно смешался при этих словах. Он побледнел, губы у него задрожали, и огненные глаза его засверкали от ярости... Вскоре, однако, он опять пришел в себя.

— Государь мой!— произнес он, задыхаясь от злости,— вы не имеете права повелевать мною. Завтра поутру Алцест отмстит за оскорбленную честь своего тестя! Но сегодня вы его не увидите. Новобрачные желают быть одни. Итак, советую вам удалиться и не забывать, что вы находитесь в моем доме и что угрозы ваши совершенно бесполезны.

— Завтра поутру,— отвечал я, смущенный уверительным его голосом,— завтра поутру я с тобою разделаюсь! Не воображай, что ты избегнешь заслуженного наказания!

Я вышел из комнаты, захлопнул дверь и услышал за собою пронзительный хохот Андрони...

Возвратясь домой, я предался размышлению. Замешательство Андрони ясно доказывало, что мнимый пастор, встретившийся со мною, был не кто иной, как Вентурино. Но какие причины могли побудить профессора к столь беззаконному поступку? Какую пользу находил он в поругании собственной дочери, соединив ее с графом такими узами, которые могли быть расторгнуты без малейшего труда? Я терялся в догадках, однако твердо ре-

шился на другой день поутру объявить местному начальству о преступлении профессора. Признаюсь, я с некоторым удовольствием помышлял о том, что Алцесту приключение сие может послужить уроком, который навсегда излечит его от страсти к романическому... С сими мыслями я лег спать, хотя и предчувствовал, что беспокойство мое не даст мне во всю ночь сомкнуть глаз.

Было около полуночи, когда я услышал, что кто-то бежит ко мне по лестнице. Немного погодя дверь отворилась, и я, к крайнему изумлению, увидел графа — в халате, с растрепанными волосами!.. Вид его показывал человека, находящегося в отчаянии.

— Любезнейший Ф...! — вскричал он, бросившись ко мне на шею.— Спасите меня... спасите от сумасшествия!

— Что с вами сделалось, любезный Алцест? — спросил я, испугавшись и вскочив поспешно с постели.

Граф был в таком положении, что почти не мог говорить. Из отрывистых и несвязных речей его узнал я наконец такое происшествие, при воспоминании которого и теперь еще у меня волосы становятся дыбом!

На другой день отъезда моего в Дрезден сильная страсть Алцеста дошла до того, что он решился просить у Андрони руку Аделины. Старик, по-видимому, весьма обрадовался этому предложению, но требовал — по причинам, которые впоследствии обещался объяснить, чтобы бракосочетание совершено было втайне. Влюбленный Алцест на все согласился. Ввечеру призван был пастор в дом Андрони, и обряд совершен в присутствии одного отца, без свидетелей. Аделина после того удалилась в свою спальню... Чрез несколько времени впустили туда и Алцеста. «Вы без труда поверите, любезный Ф...,— говорил мне граф,— что я с восторгом бросился в объятия жены моей. Мысль, что я обладаю Аделиною, что наконец могу назвать ее своею, приводила меня в неизъяснимое восхищение. Вообразите же себе, как я испугался, когда, осыпав ее поцелуями, заметил, что она не отвечает на ласки мои! Она лежала, как будто лишенная всех чувств... В смятении моем не знал я, что делать; вспомнив, однако, что на уборном столике стояла склянка с крепким уксусом, я вздумал потереть ей виски и грудь. Но какими словами опишу вам ужас, меня объявший, когда от сильного натирания вдруг прелестная грудь моей Аделины лопнула и из отверстия показался... боль-

шой клочок хлопчатой бумаги! Сам не помню, как я выбежал из комнаты и как очутился здесь!

Я не знал, что подумать, услышав рассказ Алцеста. Мне вообразилось, что несчастный друг мой лишился ума, и я всячески старался его успокоить.

— Опомнитесь, любезный граф! — говорил я ему.— Вам, верно, пригрезился какой-нибудь страшный сон!

— Нет! — отвечал он, обливаясь слезами,— я не спал... Я видел ясно хлопчатую бумагу, высунувшуюся из груди бедной моей Аделины... Пойдемте, пойдемте! я докажу вам, что это не сон!

Желая его успокоить, я поспешил одеться и пошел с ним. Войдя в сени, граф от сильного волнения чувств пришел в такую слабость, что, конечно, упал бы, если б я не подхватил его под руку. Он дрожал всеми членами, и я с трудом взвел его на лестницу. Я сам был в ужасном положении... Сердце мое сильно билось; печальные предчувствия теснились в моей душе. В глубоком молчании прошли мы первые комнаты, где не встретили никого. Наконец отворил я спальню — и оцепенел при виде того, что мне представилось! Аделина на кровати лежала полунагая. Профессор сидел подле нее. На горбатом носу его надеты были большие очки; левою рукою он упирался об Аделину, а в правой держал кривую иглу, которою зашивал ей грудь!.. Из одного конца прорехи, еще не зашитой, торчала хлопчатая бумага. На обнаженном боку Аделины усмотрел я глубокое отверстие, в которое, при входе нашем, Вентурино вложил длинный ключ, какие употребляются для заведения больших стенных часов. Злодеи так были заняты своею работою, что не заметили, как мы вошли в комнату.

Не успел я еще опомниться, как Алцест с ужасным криком бросился на Андрони. На лице его изображалась ярость... Он замахнулся на него тростью и, может быть, убил бы его на месте, если б Вентурино не удержал его руку.

Андрони пришел в исступление от злости. Он схватил тяжелый молот, подле него лежавший, и ударил Аделину прямо в голову!.. В одно мгновение лицо ее совершенно преобразилось! Прелестный носик ее сплюснулся, белые жемчужные зубы посыпались из раздробленных челюстей!..

— Вот твоя жена! — приговаривал Андрони, продолжая ударять молотом по Аделине... От одного удара пре-



красные голубые глаза ее выскочили из глазных ямок и отлетели далеко в сторону... Бешенство овладело бедным Алцестом... Он схватил с полу глаза своей Аделины и стремглав выбежал из комнаты, громко смеясь и скрежеща зубами!.. Я последовал за ним. Вышед из дому, Алцест остановился на минуту; потом испустил жалостный вопль и вдруг, как стрела, помчался вдоль по Гриммской улице.

Я не мог догнать его. Когда уже был я на улице, мне слышался хохот Вентурино, пронзительный крик Андрони и стук молота, как будто разбивающего колеса в больших стенных часах.

Остаток ночи и весь следующий день бродил я, с верным Иваном, по Лейпцигу и тщетно искал графа. В глубокую полночь возвратился я домой... без него! В окошках дома, занимаемого Андрони, не было огня. Дворник, отворяя нам дверь, рассказал мне, что в то же утро профессор выехал из города в открытой коляске. Подле него сидел высокий мужчина в красном плаще и в треугольной шляпе. За ними следовало несколько телег с разною поклажею.

На другой день пришел ко мне начальник городской полиции и объявил, что на берегу реки Эльстер, подле самого глубокого места, найден батистовый платок с меткою С. А. и два финифтяные глаза. Платок был Алцестов, но тело несчастного моего друга не могли отыскать.

Я поспешно уехал в Россию. В самый день отъезда вошел в комнату мою один из служителей старого графа, отправленный ко мне курьером. Под Варшавою разбили его лошади; он целые три недели без памяти пролежал на почтовом дворе и оттого замедлил приездом. Я распечатал пакет. Граф писал ко мне:

«Умоляю вас всем, что для вас дорого, любезный Ф..., спешите исторгнуть сына моего из пропасти, в которую без вас он неминуемо повергнется! Если нужно, употребите силу, передаю вам родительскую власть мою. Профессор, о котором вы пишете, мне слишком известен. Он человек весьма ученый и притом искуснейший механик — вентрилок. Я познакомился с ним еще в молодых летах в Мадрите. Некоторый случай сделал его непримиримым врагом моим, и он поклялся мстить мне и всему моему роду... Ради бога, не теряйте времени!»

Возвратясь в отечество, я уже не застал в живых старого графа...

— Почтенный Двойник! — сказал я, выслушав рассказ о *пагубном влиянии необузданного воображения.*— Вы не хотели верить возможности появления Анюты в повести, которую имел я честь вам прочитать, а сами рассказали мне теперь совершенную небылицу. Есть ли какое-нибудь в том правдоподобие, чтоб человек влюбился в куклу? И можно ли так искусно составить куклу, чтоб она гуляла по улицам, плясала на балах, приседала и улыбалась... и между тем бы никто не заметил, что она не живая?

— Что касается до первого вопроса вашего,— отвечал Двойник,— может ли человек влюбиться в куклу? то, мне кажется, мудреного в этом ничего нет. Взгляните на свет: сколько встретите вы кукол обоего пола, которые совершенно ничего иного не делают и делать не умеют, как только гуляют по улицам, пляшут на балах, приседают и улыбаются. Несмотря на то, частехонько в них влюбляются и даже иногда предпочитают их людям, несравненно достойнейшим! К тому же происшествие это совсем не ново: вспомните о Пигмалионе, который, как говорит предание, влюбился в статую, им самим сделанную, пред которою наша кукла по крайней мере имеет то преимущество, что она двигалась.

— Может ли быть кукла, спрашиваете вы еще,— продолжал Двойник,— так искусно составлена, чтоб была похожа на живую? Ах, любезный Антоний! до чего не умудрится ум человеческий! Сколько примеров могу я вам напомнить об автоматах, не менее моей куклы удивительных! Не помню, где читал я, что какой-то механик составил деревянного ворона, который при въезде одного римского императора в город Ахен подлетел к нему и проговорил внятным голосом весьма красноречивое приветствие на латинском языке... Кому неизвестно, что знаменитый Алберт (ученый астролог, живший в тринадцатом столетии и прозванный Великим) составил куклу, над которою трудился беспрерывно тридцать лет? Кукла эта, названная *Андроидою Алберта Великого,* по свидетельству тогдашних писателей, так была умна, что Алберт советовался с нею во всех важных случаях; но, к сожалению, один из его учеников, которому надоела неумолкаемая болтливость этой куклы, однажды в сердцах разбил ее на части. И в наши времена видели во всех столицах Европы одного искусника, который возил с собою и показывал за деньги небольшого деревянного тур-

ку, умеющего играть в шахматы и обыгрывающего известнейших игроков. Подобных примеров мог бы я насчитать множество, если бы у меня была не такая плохая память. В тысяча восемьсот пятнадцатом году физик Робертсон, бывший пред тем в России и показывавший фантасмагорические представления, хвалился, что он изобрел нового рода клавикорды, которые выговаривали целые слова человеческим голосом. Я сам видел клавикорды эти в Париже: к ним приделана была кукла в человеческий рост, щегольски одетая в женское платье, с модною на голове шляпкою. Робертсон садился за клавикорды, и, по мере того как перебирал клавиши, кукла выговаривала (правда, голосом довольно диким) несколько слов, как-то: papa, maman, mon frêre, ma soeur, vive le roi![1] и тому подобное. Множество русских, бывших в то время в Париже, конечно, не забыли об этой кукле Робертсона.

— При всем том,— возразил я,— вы никак меня не уверите, чтобы человек умный, каким описываете молодого графа, мог влюбиться в куклу. Пускай бы это случилось с глупцом; но человек такой умный...

— Умный! умный!— прервал меня с некоторою досадою Двойник.— Да можете ли вы в точности определить, что такое умный человек? и разве никогда не случалось вам видеть, что люди, слывущие в свете умными, делают такие глупости, которые непростительны были бы дуракам?

— В самом деле,— отвечал я,— нередко случалось мне видеть это, и я никогда не мог понять, отчего это происходит? Сделайте дружеское одолжение, любезный Двойник, объясните мне загадку эту и вместе с тем научите, каким образом должно определять степень ума у людей? Вы, верно, более меня в этом имеете сведений; а я, признаюсь, в течение жизни моей с умными людьми неоднократно попадал впросак. Я чувствительно вам буду обязан.

— Вы знаете, дражайший Антоний, что я не в силах вам отказать в чем бы то ни было, а потому постараюсь исполнить ваше желание. Но оставим разговор этот до другого раза. Назначенное нами для разлуки время давно протекло. Прощайте!

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

---

[1] папа, мама, мой брат, моя сестра, да здравствует король! (фр.)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вечер четвертый

На другой день, лишь только уселись мы по обыкновенным местам, Двойник начал разговор так:

— Я обещался объяснить вам, любезнейший Антоний, почему люди, слывущие в свете умными, часто делают глупости; а потом научить вас, каким образом должно определять степень ума человеческого. Обязанность, принятая мною, не легка, почтенный друг; и потому я должен просить вас заранее принять замечания мои с дружескою снисходительностью. Ум человеческий и вообще все, что только относится к душевным способностям человека, есть такая загадка, которую совершенно разрешить нам удастся разве в будущей жизни.

Всевышнему угодно было понятия наши об отвлеченных предметах ограничить резкою чертою, чрез которую умнейший человек при всем старании, при всех усилиях своих никак, сам собою, переступить не может. Все, что находится за сею чертою, навсегда останется для нас неизвестным, и потому не ожидайте от меня совершенно удовлетворительного истолкования и, так сказать, анатомии человеческого ума. Замечания мои основаны на простой опытности: я смотрел на людей, наблюдал их действия, размышлял о причинах и всякий раз более удостоверялся, что каждое усилие переступить чрез начертанную нам границу не только бесполезно, но ведет нас кратчайшим путем к заблуждению.

В свете обыкновенно называют человека умным, не определяя ни рода, ни степени его ума. Но слово *ум* есть выражение общее, которое не представляет нам никакого точного понятия. Ум разделить можно на большое число родов, совершенно между собою различных и один от другого не зависящих. Так, например, остроумие, проницательность, здравый рассудок, понятливость и прочее суть различные роды ума, из которых человек может обладать иными, не имея в себе ни малейшего признака других. Вы, верно, встречали людей, например, очень острых, но которые совершенно лишены здравого рассудка; или, напротив, таких, которые с избытком наделены сим последним, но зато не имеют ни малейшей

остроты. Иногда случается также, что качества, приобретаемые воспитанием, как, например, ученость,— которая сама по себе не дает еще права на название умного человека,— в свете принимаются за ум. Бывает и то, что такие качества, которые назвать можно второстепенными — ибо они сами собою не составляют еще ума, как например хитрость,— доставляют человеку славу умного потому только, что они более других в глаза бросаются. Начнем определением, который род ума пред прочими должен иметь преимущество.

Самое короткое размышление удостоверит вас, что важнейший, полезнейший и необходимейший из родов ума есть здравый рассудок. К другим родам относится он, как алмаз к прочим драгоценным каменьям. Но что я говорю?— яхонт, изумруд драгоценны и без алмаза; но острота, проницательность и все другие роды ума без здравого рассудка — ничто. Он есть краеугольный камень всего здания, необходимый регулятор или правильник всех прочих родов, которые без него бродят, сами не зная, где и зачем, как стадо без пастыря. К несчастию, не всегда обращают должное внимание на неоцененное это качество, о котором большая часть людей и не помышляет, потому что другие роды ума блистательнее. Заметьте, любезный Антоний, что если для совершения какого-нибудь дела представляются два кандидата, из которых один не учен, не остр, не ловок, но имеет здравый рассудок,— а другой, хотя совершенно лишен оного, но зато остер, сметлив, хитер, то, наверное, предпочтут последнего, хотя первый, без сомнения, во всяком случае был бы полезнее.

Из сказанного мною вы некоторым образом сами объяснить себе можете, почему люди, слывущие умными, делают непростительные глупости. Примеры приведут это еще в большую ясность: X, например, имеет здравый рассудок, остроту и прочее, но нет у него проницательности; будьте уверены, что всякий хитрый глупец его обманет и доведет до глупости. Y не имеет недостатка в разных родах ума; он даже и не без проницательности, но не понятлив и не сметлив, так что хотя проникает людей, но не скоро; и потому человек, имеющий гораздо менее ума, может заставить его сделать глупость, прежде нежели успеет он опомниться. Наконец Z остер, понятлив, учен, хитер, одним словом: в глазах света считается умнейшим человеком, но, к несчастию, не имеет здра-

вого рассудка; и потому Z всегда и на каждом шагу будет делать глупости.

Обратимся к другим родам ума. Исчислить все оные невозможно или по крайней мере весьма трудно; к тому же вы сами в состоянии дополнить мое исчисление, буде пожелаете. Главнейшие, после здравого рассудка, роды ума, по мнению моему, суть: проницательность, понятливость, глубокомыслие, дальновидность, ясность, сметливость (le tacte) и остроумие (der Scharfsinn), которого не должно смешивать с остротою (der Witz). Есть еще роды ума, названные мною выше второстепенными, таковы: хитрость, острота и тому подобное. Ко всем этим родам прибавьте еще два качества, из которых одно природное, другое же приобретается воспитанием, а именно: память и ученость,— и вы будете иметь материалы, из соединения коих в разных количествах составляется целое, называемое в свете *умом.*

Постараемся определить яснее некоторые из таковых родов:

О *здравом рассудке* я говорил выше, и потому здесь прибавлю только, что этот род гораздо реже других встречается большими массами.

Проницательность также принадлежит к редким дарам природы. Вы часто увидите людей, не имеющих недостатка в других родах ума и даже в здравом рассудке, но без малейшей проницательности. Такой человек может быть весьма полезным во многих случаях, но только не в таких, где познание людей должно быть главнейшею потребностью.

Понятливость весьма также нужна; но не так часто в свете встречается, как противоположные ей качества: тупость и бестолковость.

Глубокомыслие есть тот род ума, который менее других необходим в общежитии. В ученых исследованиях, особенно о предметах отвлеченных, обойтись без него нельзя; но для текущих дел жизни он не столько нужен. Люди глубокомысленные бывают обыкновенно молчаливы и задумчивы; оттого-то происходит, что многие глупцы,— которые стараются казаться задумчивыми, часто морщат лоб и при том умеют молчать,— в свете слывут глубокомысленными.

Дальновидность есть способность из настоящего выводить верные заключения о будущем и некоторым образом предвидеть конец начатого дела или последствия

какого-либо действия. Сей род ума встречается весьма редко.

Ясность есть качество, в важных делах очень нужное, но при том также довольно редкое. Бывают люди умные, которые при здравом рассудке, при проницательности, остроумии и большом обилии хороших мыслей, вовсе не имеют ясности. Голова у них подобна сараю, в котором без разбора и порядка набросаны разнообразные и разноценные вещи.

Сметливость (le tacte) есть такое качество, которое объяснить всего труднее. На русском языке нет ему даже настоящего названия; ибо сметливость не совсем выражает то понятие, которое заключается во французском слове (le tacte). Это какое-то чутье или инстинкт, вовсе не зависящий от прочих родов ума, однако более других имеющий сродство с здравым рассудком. Он помогает нам, например, из многих средств, ведущих к одной и той же цели, избрать именно не только удобнейшее, но и приличнейшее. Он научает нас избегать всего, в чем только можем мы неприятным образом столкнуться с мнениями других; одним словом, он не допускает нас ни до одного шага, который бы вредил достижению предполагаемой нами цели, или был бы неприличен или бесполезен. Русские в чужих краях славятся этим качеством, как весьма между ими не редким.

Остроумие (der Schagfsinn) не требует больших объяснений. Оно обыкновенно бывает сопряжено с здравым рассудком, по крайней мере в некоторой степени; без понятливости же и проницательности даже и существовать оно не может. Отличительная черта его — быстрота. Остроумие назвать можно *конем* прочих родов ума.

Перейдем теперь к второстепенным родам ума, кои суть: острота, хитрость и ум гостинный (esprit de société).

Остротою (der Witz) называю я способность говорить острые слова, в каждом предмете без труда находить смешную сторону и т. п. С остротою часто соединена бывает колкость ума, а иногда порождает она склонность к насмешливости, которая есть порок. Когда у вас будут дети, любезный Антоний, не радуйтесь их остроте и не поощряйте их к оной. Часто, очень часто острота служит ко вреду того, кто ее имеет, и я знаю не одного человека, который внутренно жалеет о том, что он слишком остер.

Качество это, конечно, само по себе не только не вредно, но даже полезно и приятно; но беда в том, что переход от остроты к колкости и от колкости к насмешливости так легок и так заманчив, что редко кто от него удержаться может.

Хитрость — слово, не требующее никакого объяснения. Я замечу только, что много есть людей хитрых, которые при том очень глупы.

Гостинный ум (esprit de société) также не требует больших объяснений, хотя выражение это совершенно ново. Оно означает способность приятным образом занимать компанию, особливо дам. По достоинству род сей принадлежит к числу последних, но притом он один из полезнейших — если не для общества, по крайней мере для того, кто им обладает. Впрочем, гостинный ум разделяется на разные разряды, смотря по разным гостиным. Часто случается, что человек, который блестит умом в одной гостиной, совершенно глупеет, переходя в другую.

Для составления себе ясного понятия о человеке, слывущем умным, надлежит наблюдать со вниманием: который из описанных здесь родов в нем первенствует и в какой мере или в каком количестве он одарен прочими родами? Итак, если услышите вы, что кого-нибудь называют умным, то советую вам сделать следующую над ним поверку:

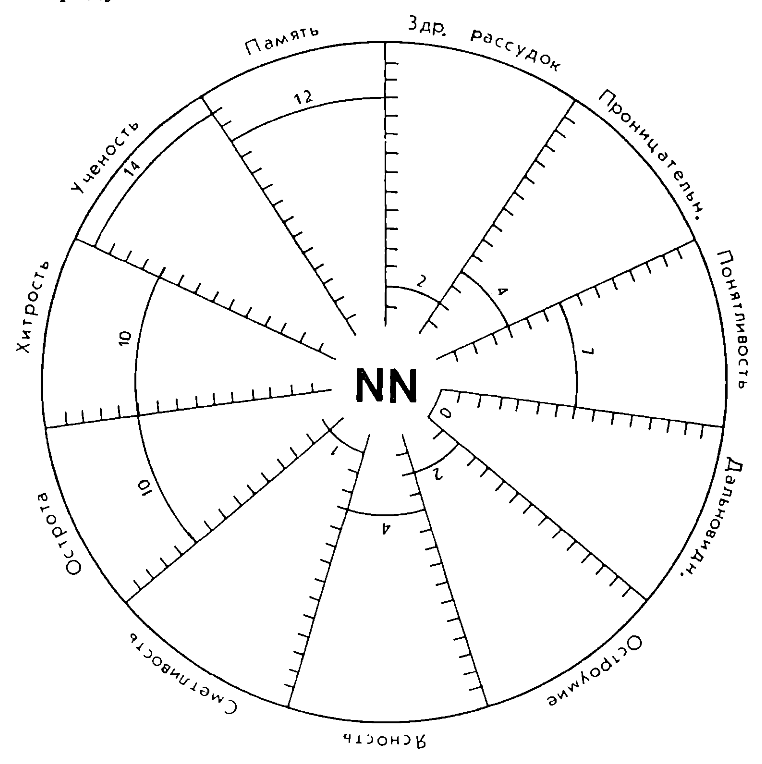
N. N. слывет умным; посмотрим, сколько он имеет:

здравого рассудка,	ясности,
проницательности,	сметливости,
понятливости,	остроты,
глубокомыслия,	хитрости,
дальновидности,	учености,
остроумия,	памяти?

Положите примерно, что высшая степень каждого рода ума будет 15 градусов, и изобразите потом следующую фигуру, в которой легко означить можно, сколько градусов имеет N. N. в каждом роде ума. (Смотри фигуру первую).

Вы видите, что по фигуре сей N. N. имеет здравого рассудка 2 градуса, проницательности 4, понятливости 7,

дальновидности ничего, остроумия 2, ясности 4, сметливости 1, остроты 10, хитрости 10, учености 14, памяти 12 градусов.



Итак, взглянув на фигуру эту, можете вы вдруг обозреть, из чего составляется ум N. N. Вы видите, что он человек чрезвычайно ученый и что первенствующий в нем род ума есть память, за которою следуют острота, хитрость и так далее. Приведите все роды в порядок по числу градусов, и выйдет следующее заключение: N. N. с чрезвычайною ученостию соединяет необыкновенную память, имеет весьма много остроты и хитрости и довольно понятливости; нет у него также недостатка в некотором количестве проницательности и ясности; но зато остроумия и здравого рассудка очень мало, сметливости и того меньше, дальновидности совсем нет, а глубокомыслия и не ищите.

Но если по сей одной фигуре вы вздумаете судить и о способностях N. N., то вы непременно ошибетесь; постараюсь изложить вам яснее, почему.

Чтоб составить себе точное понятие о человеке, относительно способностей его, надлежит сверх определения родов ума, которым он одарен, принять еще в соображение и другие свойства души, имеющие с умом теснейшую связь. Все пороки и слабости человеческие, как то: ненависть, злоба, подлость, мстительность, зависть, корыстолюбие, самолюбие, эгоизм, гордость, надменность, тщеславие, упрямство, легкомыслие, имеют сильнейшее на наш ум влияние. Весьма часто они управляют умом, вместо того чтоб ум управлял ими, и от этого превратного положения проистекают действия совсем противные тем, какие произвел бы один ум без влияния пороков или страстей. Разные роды ума человека со всеми их оттенками и разного рода пороки его со всеми также оттенками находятся в беспрестанном движении и борьбе между собою. Сердце человеческое, любезный Антоний, такой лабиринт, в котором самый искусный наблюдатель не скоро найдет нить Ариадны. Итак, если для определения степени ума человеческого необходимо иметь немалое количество сметливости и проницательности, то тем более требуются оные при составлении понятия о других душевных свойствах. Здесь надлежало бы мне войти в подробное описание этих свойств и определить каждое из них, как выше поступил я с родами ума; но это потребовало бы весьма много времени и увлекло бы меня за пределы дружеской беседы нашей. Двойник ваш, любезный Антоний, не для того является вам, чтобы читать философские лекции: он имеет целью только усладить ваше уединение. Итак, я постараюсь сколь можно короче изложить мысли мои о предмете, раздробление которого завело бы нас слишком далеко.

Я говорил выше, что пороки имеют сильнейшее влияние на ум человеческий,— и вам, быть может, показалось странным, что я упомянул токмо о порочных свойствах души, не сказав ни слова о добрых ее качествах, как то: о великодушии, твердости, решительности, добродушии, сострадательности и прочее. Неоспоримо, что и добрые качества имеют тесную связь с умом нашим; но я потому об них не упомянул, что они ни в каком случае не затмевают его и, следственно, не препятствуют природному его действию; пороки же и слабости, напротив, пор-

тят его и дают ему совершенно ложное направление.

Пороки человеческие так же, как и роды ума, разделить можно на высшие и низшие разряды. К высшему разряду принадлежат: зависть, злоба, самолюбие, эгоизм, гордость и тому подобное; к низшему — тщеславие, легкомыслие, ветреность, нескромность и прочее. Первые буду я называть собственно пороками, последние слабостями. И те и другие имеют вредное влияние на наш ум, и потому необходимо нужно принять их в соображение при определении способностей человека. Избегая всякого подробного описания, я не могу, однако, не коснуться, хотя мимоходом, некоторых из означенных пороков, требующих особенного пояснения.

Самолюбие, например, и *эгоизм* часто смешиваются один с другим, хотя, по мнению моему, оба сии порока имеют свои собственные, совершенно отличные черты и производят разные действия, а потому должны подлежать особенному разделению.

Самолюбие имеет, конечно, близкое сродство с эгоизмом, но в таком же сродстве находится оно и с другими пороками, и поэтому многие не без причины называют оное корнем всех прочих пороков. Здесь, однако, должно заметить, что под словом «самолюбие» не разумею я того чувства собственного достоинства, которое, не выходя из границ умеренности, нимало не предосудительно для человека; от такого самолюбия не изъяты люди самые скромные и добродетельные. Любить себя до некоторой степени позволено и должно; но ставить себя выше ближнего, считать себя лучшим и совершеннейшим, унижая, пренебрегая и презирая других без основания,— вот самолюбие, о котором я говорю! Эгоизм обыкновенно соединен бывает с большим количеством самолюбия; но последнее это свойство часто встречается и без эгоизма. Я знаю людей, которые при чрезмерном самолюбии не только не имеют ни малейшего эгоизма, но даже в высшей степени одарены всеми противоположными ему качествами. Они добры, щедры, всегда готовы, не колеблясь, жертвовать собственным имением и спокойствием для блага других; но при том внутренно величают себя и терзаются завистью, когда находят в других высокие добродетели.

Эгоист, напротив того, никогда не может быть ни прямо великодушным, ни добрым, ни щедрым. Все действия его клонятся только к собственной его пользе; все в мире

относит он собственно к себе. Он щедр и сыплет деньгами, чтоб достигнуть того, что считает для себя полезным или приятным; но скуп и жалеет о копейке, когда не предвидит никакой для себя пользы. Он в состоянии сделать добро, но с тем, чтобы оно не стоило ему ни труда, ни денег. Иногда он может решиться даже и на великодушный поступок; но посмотрите на него внимательно, и вы увидите, что он имел при том цель, собственно к нему относящуюся. По наружности он кажется приверженным к друзьям своим; но это потому только, что он имеет в них нужду или просто к ним привык и без них ему скучно; доставьте ему другое, приятнейшее занятие,— он об них и не вспомнит. Скажу еще более: он, кажется, обожает жену свою и страстно любит детей; но и это чувство в нем, так сказать, не бескорыстно: он любит их для себя, а не для них. Если жена его или дети умрут, он всячески стараться будет скорее забыть их; он будет бояться плакать, чтоб не испортить своих глаз... И притом, если он не глуп, то будет уметь скрыть холодность сердца своего под личиною твердости духа.

Таковое описание эгоиста вам, может быть, покажется преувеличенным, но вы ошибетесь, любезный Антоний! Таких людей на свете более, нежели вы думаете; но так как они, для собственной своей пользы, иногда бывают добры и ласковы, то эгоизм их не всякому заметен.

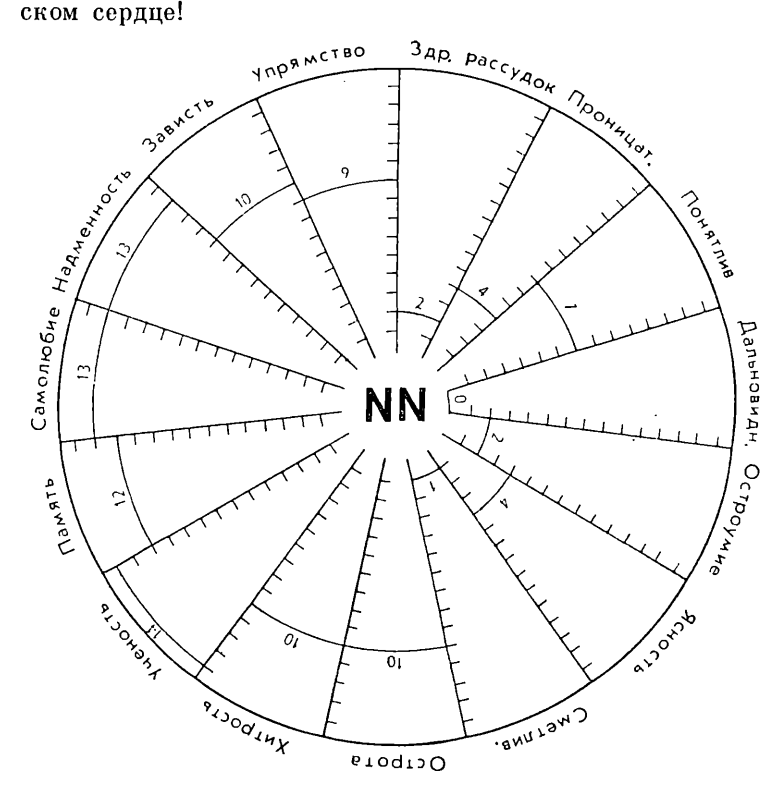
Здесь должен я сказать также несколько слов еще об одном пороке, который в свете чаще встречается, нежели как вы, может быть, полагаете: это *зависть*. Поэты описывают ее в образе женщины тощей и исхудалой, с ехидным взглядом, с жалом вместо языка, с вялыми губами, с ядоточными устами... Невидимо вкрадывается она в пышные палаты вельможи и в хижину бедного и не только заседает иногда в собраниях ученых и знатных людей, но часто занимает первое место в гостиных большого света. Как испугалась бы иная дама, когда бы у ней вдруг открылись глаза и она бы увидела, что гнусное это исчадие повсюду ее сопровождает, и в то самое время, когда она, терзая добрую славу других, в гордом ослеплении считает себя поборницею добродетели, зависть стоит за ее плечами и шепчет ей на ухо...

Но порок этот, по несчастию, не всегда принимает на себя вид такой отвратительный и потому иногда находит путь к сердцу благороднейших людей. Так, мой друг!— бывают люди, справедливо заслуживающие уважение

наше по отличным качествам ума и сердца, которые сами не замечают, что в их суждения о ближнем вмешивается зависть. Правда, что она, являясь в обществе уважаемого человека и будучи закрыта непроницаемым покрывалом, редко кем узнана быть может; но при всем том она по-прежнему остается завистью. Возьмите в пример Фрола: он добр, чувствителен, умен, великодушен; он верный друг своих друзей и не враг своих врагов... Казалось бы, что зависть не найдет места в благородном его сердце. Увы! даже и туда она вкрасться умеет. Заметьте, что Фрол — который готов извинять слабости других, который иногда, по излишней снисходительности, находит добродетели там, где их нет решительно,— этот самый Фрол, как скоро дело идет о людях, равных ему добрыми качествами, судит необыкновенно строго и даже находит некоторое в том удовольствие, чтобы отыскивать в них недостатки!

Зависть эта еще заметнее в суждениях Фрола о людях к нему близких, связанных с ним коротким знакомством и дружбою; ибо он преимущественно в кругу друзей и знакомых желает быть первым и не терпит соперничества,— и потому-то очень редко оспаривает совершенства посторонних лиц. Он защищает их слабости и даже иногда ставит выше себя тех, которые занимают гораздо низшую против него степень нравственного совершенства. Но как скоро покажется ему, что кто-нибудь, в кругу его знакомых, может похитить у него первенство, которое считает он природным своим достоянием, тогда зависть, неприметным для него самого образом, берет верх над добротою его сердца. Тогда не упускает он случая обращать внимание на недостатки своего соперника и увеличивать их, хотя бы он был самый близкий к нему человек. Перед ним, например, выхваляют ум друга его; он на то соглашается, но притом замечает, что ум этот был бы еще совершеннее, если бы не был затмеваем таким-то недостатком. Вы видите его невеселым, даже печальным; спросите о причине — и он скажет вам, что досадует на друга своего за то, что сей последний, несмотря на изящные свои качества, не может отстать от такой-то слабости. «Если б этот человек,— говорит он с видом душевного прискорбия,— при отличных способностях и редких добродетелях, которыми он так щедро наделен природою, имел более основательности, более постоянства и прочего,— что бы из него было!..» Иногда он, под видом

дружеского участия, бранит друга своего в кругу знакомых за недостатки, которых тот вовсе не имеет, и просит его преодолеть слабости, которых в нем нет! Таким образом, мало-помалу, разрушает он приобретенное другом его уважение и на развалинах оного опять садится на первое место... При всем том он прольет последнюю каплю крови за того, кого старается унизить во мнении других. Он для спокойствия его продаст последний кафтан свой и готов идти в землекопы, чтоб только облегчить его участь, если б нужда того потребовала. Вот, любезный Антоний, какие странные противоречия встречаются в бедном человеческом сердце!



Но обратимся опять к фигурам нашим. Я сказал выше, что фигура, означающая одни роды ума N. N., недостаточна для составления понятия и о способностях его. Вы теперь сами чувствуете, что показание душевных его

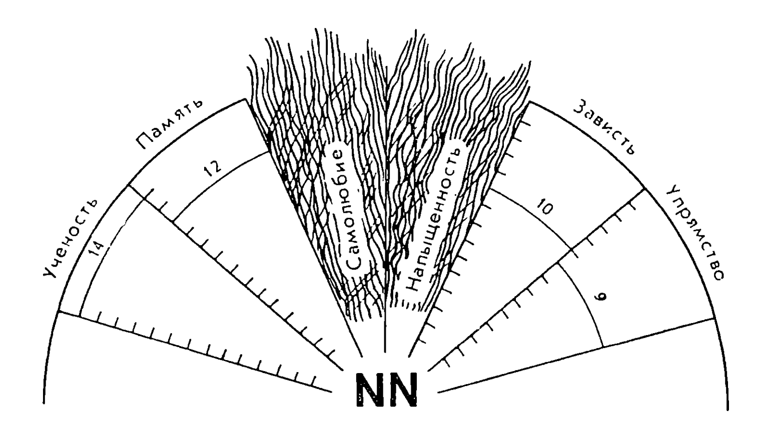
недостатков для полного о нем понятия необходимо; итак, к той фигуре надобно б было прибавить еще множество разделений с означением, какие N. N. имеет пороки и слабости и в какой мере. Но так как фигура вышла бы слишком велика, если бы для каждого порока сделали вы особое разделение, то довольно будет заметить по крайней мере главнейшие. Положим, например, что N. N. особенно самолюбив, надменен, завистлив и упрям; итак, к означенной фигуре прибавьте еще четыре разделения для упомянутых пороков. Таким образом, фигура, представляющая полное понятие о N. N., будет следующая. (Смотри фигуру вторую.)

Дополненная эта фигура может дать вам довольно ясное и точное понятие о способностях N. N. Вы увидите, что при всей хитрости и остроте своей он часто должен ошибаться по недостатку здравого рассудка и сметливости. При взгляде на чрезмерное количество *самолюбия, напыщенности* и нераздельного с ними *упрямства* вам не покажется удивительным, что три эти качества, составляющие в сложности 35 градусов, во всех случаях будут превозмогать здравый рассудок, проницательность, понятливость и сметливость N. N., которых у него всего на все только 14 градусов.

Обратив внимание на десять градусов *зависти,* вы без труда поймете, что порок этот, соединенный с самолюбием, надменностию и упрямством, мог бы затмить несравненно большую меру здравого рассудка, нежели сколько оного имеет N. N.,— и вы из всего того выведете справедливое заключение, что человек, подобный N. N., не заслуживает названия умного и никуда почти не может быть употреблен с пользою. Несмотря однако на то, он в общем мнении всегда будет слыть очень умным, потому что ученость, память, хитрость и острота его должны обморочить людей невнимательных и ленивых, которые составляют несравненно большую часть так называемой публики.

В заключение сих замечаний я должен еще сказать вам, что душевные недостатки наши имеют то особенное свойство, что они увеличиваются в удивительной прогрессии, если человек не постарается заблаговременно истреблять их. Оттого-то происходит, что умнейшие люди, как, например, Вольтер и другие, гордостию и самолюбием доведены были до таких заблуждений, в которых изобличены быть могут людьми самого обыкновенного и простого ума. Недостаток, дошедший до такой степени,

далеко превышает 15 градусов (принятые мною за высшую степень); а потому я изображаю оный таким образом. (Смотри фигуру третью.)



Вот, любезный Антоний, наблюдения, сделанные мною над умом человеческим. Они, мне кажется, могут служить достаточным ответом на два вопроса: первый — почему люди, слывущие в свете умными, часто делают глупости? и второй — каким образом можно определить степень ума человеческого? В исчислении разных родов ума и душевных недостатков пропущены мною весьма многие; но повторяю, что вы сами, смотря по обстоятельствам, можете оные дополнить.

— От искреннего сердца благодарю вас, почтенный Двойник, за принятый вами на себя труд. В заключениях ваших я нахожу много справедливого; но позвольте сделать вам еще один вопрос. Вы научили меня, каким образом составлять фигуру, показывающую степень ума и способностей; это очень хорошо. Наставьте же меня теперь, как мне должно *узнавать* разные роды ума человека и душевные его качества? Без необходимого сего познания мне ни к чему не послужат фигуры ваши; ибо не зная человека, я не могу определить: сколько градусов того или другого рода ума или порока он имеет?

— Эта задача,— сказал Двойник,— еще мудренее первых двух. Трудно, очень трудно разрешить ее. Вы хотите научиться узнавать разные роды ума человека и душевные его способности? Вообразите себе, любезный Антоний, открытый сверху сосуд, в котором находится

множество веществ не в равном количестве, беспрестанно движущихся так, что то один предмет взберется наверх, то другой. Положим, что вы желаете знать, какие вещества заключаются в этом сосуде и в каком именно количестве, но что опрокинуть его, чтоб увидеть дно, вы не в силах; что в таком случае вам делать остается? Стоять перед сосудом, внимательно наблюдать, какие предметы наверх взбираются и которые из них чаще прочих показываются; наконец дождаться, пока все предметы одни за другими явятся пред глаза ваши,— и только тогда вы с некоторою вероятностию судить можете о том, что заключается в сосуде. Почти таким же образом, но с большим терпением, должно наблюдать и человека... Бывают, конечно, люди, которые так проницательны и имеют такое верное чутье, что с первого почти взгляда угадывают, что в сосуде кроется; но такие люди редки, очень редки; да и они иногда ошибаются. К этому прибавить я должен еще и то, что если природа не одарила вас достаточным количеством здравого рассудка, проницательности и сметливости, то никакими уроками невозможно научить вас познанию людей.

— Когда так (не прогневайтесь, почтенный друг, за мою откровенность!), то, по мнению моему, фигуры ваши совершенно бесполезны; ибо того, кто не одарен природною способностию познавать людей, они научить тому не могут; а тот, кто от природы получил сию способность, не имеет в фигурах никакой нужды.

— Любезный Антоний!— отвечал Двойник,— я не виноват, что разрешение первых двух вопросов родило третий, на который удовлетворительного ответа я дать вам не в силах. Впрочем, я должен вам заметить, что вы крайне ошибаетесь, полагая, что тот, кто от природы получил способность познавать людей, не имеет никакой нужды в предложенных мною фигурах. Фигуры эти имеют целью привести в надлежащий порядок сделанные уже над кем-нибудь наблюдения и представляют легкий способ означать, в какой между собою мере находятся различного рода умы и недостатки человека, нам уже известного. Одним словом, они могут служить к пояснению понятий наших по сему предмету и способствовать к тому, чтоб с большею легкостию и некоторою вероятностию выводить заключение: как такой-то человек в таком-то случае поступит? Я ласкаю себя надеждою, что, смотря с этой точки на сообщенные мною вам мысли и

замечания, вы не найдете их совершенно бесполезными. Но оставим эти разговоры до другого удобного случая... Теперь ваша очередь прочитать что-нибудь из своих сочинений. Впрочем, довольно уже поздно... Итак, до будущего свидания.

Тут мы расстались.

Вечер пятый

— Начинайте же, любезнейший Антоний! — сказал Двойник, посетивший меня на следующий вечер.

— Охотно, почтенный Двойник. Но прежде нежели исполню я желание ваше, я должен спросить у вас, читаете ли вы «Литературные новости», издаваемые при «Русском инвалиде»?

— Нет! Признаюсь, я так занят, что недостает у меня на то времени.

— В таком случае без зазрения совести прочту вам повесть моего сочинения, напечатанную несколько лет тому назад в упомянутых «Новостях».

ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА

Лет за пятнадцать пред сожжением Москвы недалеко от Проломной заставы стоял небольшой деревянный домик с пятью окошками в главном фасаде и с небольшою над средним окном светлицею. Посреди маленького дворика, окруженного ветхим забором, виден был колодезь. В двух углах стояли полуразвалившиеся анбары, из которых один служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укрепленную поперек анбара веху. Перед домом из-за низкого палисадника поднимались две или три рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты черной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца выкопан был в земле небольшой погреб для хранения съестных припасов.

В сей-то убогий домик переехал жить отставной почтальон Онуфрич с женою Ивановною и с дочерью Марьею. Онуфрич, будучи еще молодым человеком, лет двадцать прослужил в поле и дослужился до ефрейторского чина; потом столько же лет верою и правдою продолжал службу в московском почтамте; никогда, или по крайней мере ни за какую вину, не бывал штрафован и наконец вышел в чистую отставку и на инвалидное со-

держание. Дом был его собственный, доставшийся ему по наследству от недавно скончавшейся престарелой его тетки. Сия старушка, при жизни своей, во всей Лафертовской части известна была под названием *Лафертовской Маковницы*, ибо промысл ее состоял в продаже медовых маковых лепешек, которые умела она печь с особенным искусством. Каждый день, какая бы ни была погода, старушка выходила рано поутру из своего домика и направляла путь к Проломной заставе, имея на голове корзинку, наполненную маковниками. Прибыв к заставе, она расстилала чистое полотенце, перевертывала вверх дном корзинку и в правильном порядке раскладывала свои маковники. Таким образом сидела она до вечера, не предлагая никому своего товара и продавая оный в глубоком молчании. Лишь только начинало смеркаться, старушка собирала лепешки свои в корзинку и отправлялась медленными шагами домой. Солдаты, стоящие на карауле, любили ее, ибо она иногда потчевала их безденежно сладкими маковниками.

Но этот промысл старушки служил только личиною, прикрывавшею совсем иное ремесло. В глубокий вечер, когда в прочих частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях ее дома расстилалась ночная темнота, люди разного звания и состояния робко приближались к хижине и тихо стучались в калитку. Большая цепная собака Султан громким лаем провозглашала чужих. Старушка отворяла дверь, длинными костяными пальцами брала за руку посетителя и вводила его в низкие хоромы. Там, при мелькающем свете лампады, на шатком дубовом столе лежала колода карт, на которых от частого употребления едва можно было различить бубны от червей; на лежанке стоял кофейник из красной меди, а на стене висело решето. Старушка, предварительно приняв от гостя добровольное подаяние — смотря по обстоятельствам,— бралась за карты или прибегала к кофейнику и к решету. Из красноречивых ее уст изливались рекою пророчества о будущих благах, и упоенные сладкою надеждою посетители при выходе из дома нередко вознаграждали ее вдвое более, нежели при входе.

Таким образом жизнь ее протекала покойно в мирных сих занятиях. Правда, что завистливые соседи называли ее за глаза колдуньею и ведьмою; но зато в глаза ей низко кланялись, умильно улыбались и величали бабушкою. Такое к ней уважение отчасти произошло от того,

что когда-то один из соседей вздумал донести полиции, будто бы Лафертовская Маковница занимается непозволительным гаданием в карты и на кофе и даже знается с подозрительными людьми! На другой же день явился полицейский, вошел в дом, долго занимался строгим обыском и наконец при выходе объявил, что он не нашел ничего. Неизвестно, какие средства употребила почтенная старушка в доказательство своей невинности; да и не в том дело! Довольно того, что донос найден был неосновательным. Казалось, что сама судьба вступилась за бедную Маковницу, ибо скоро после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору, упал на гвоздь и выколол себе глаз; потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу; наконец, в довершение всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде ничем больна, вдруг пала. Отчаянный сосед насилу умилостивил старушку слезами и подарками,— и с того времени все соседство обходилось с нею с должным уважением. Те только, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафертовской части, как например: на Пресненские пруды, в Хамовники или на Пятницкую,— те только осмеливались громко называть Маковницу ведьмою. Они уверяли, что сами видали, как в темные ночи налетал на дом старухи большой ворон с яркими, как раскаленный уголь, глазами; иные даже божились, что любимый черный кот, каждое утро провожающий старуху до ворот и каждый вечер ее встречающий, не кто иной, как сам нечистый дух.

Слухи эти наконец дошли и до Онуфрича, который, по должности своей, имел свободный доступ в передние многих домов. Онуфрич был человек набожный, и мысль, что родная тетка его свела короткое знакомство с нечистым, сильно потревожила его душу. Долго не знал он, на что решиться.

— Ивановна!— сказал он наконец в один вечер, подымая ногу и вступая на смиренное ложе,— Ивановна, дело решено! Завтра поутру пойду к тетке и постараюсь уговорить ее, чтоб она бросила проклятое ремесло свое. Вот она уже, слава богу, добивает девятой десяток; а в такие лета пора принесть покаяние, пора и о душе подумать!

Это намерение Онуфрича крайне не понравилось жене его. Лафертовскую Маковницу все считали богатою, и Онуфрич был единственный ее наследник.

— Голубчик!— отвечала она ему, поглаживая его по

наморщенному лбу,— сделай милость, не мешайся в чужие дела. У нас и своих забот довольно: вот уже теперь и Маша подрастает; придет пора выдать ее замуж, а где нам взять женихов без приданого? Ты знаешь, что тетка твоя любит дочь нашу; она ей крестная мать, и когда дело дойдет до свадьбы, то не от кого иного, кроме ее, ожидать нам милостей. Итак, если ты жалеешь Машу, если любишь меня хоть немножко, то оставь добрую старушку в покое. Ты знаешь, душенька...

Ивановна хотела продолжать, как заметила, что Онуфрич храпит. Она печально на него взглянула, вспомнив, что в прежние годы он не так хладнокровно слушал ее речи; отвернулась в другую сторону и вскоре сама захрапела.

На другое утро, когда еще Ивановна покоилась в объятиях глубокого сна, Онуфрич тихонько поднялся с постели, смиренно помолился иконе Николая-чудотворца, вытер суконкою блистающего на картузе орла и почтальонский свой знак и надел мундир. Потом, подкрепив сердце большою рюмкою ерофеича, вышел в сени. Там прицепил он тяжелую саблю свою, еще раз перекрестился и отправился к Проломной заставе.

Старушка приняла его ласково.

— Эй, эй! племянничек,— сказала она ему,— какая напасть выгнала тебя так рано из дому да еще в такую даль! Ну, ну, добро пожаловать; просим садиться.

Онуфрич сел подле нее на скамью, закашлял и не знал, с чего начать. В эту минуту дряхлая старушка показалась ему страшнее, нежели лет тридцать тому назад турецкая батарея. Наконец он вдруг собрался с духом.

— Тетушка!— сказал он ей твердым голосом,— я пришел поговорить с вами о важном деле.

— Говори, мой милой,— отвечала старушка,— а я послушаю.

— Тетушка! недолго уже вам остается жить на свете; пора покаяться, пора отказаться от сатаны и от наваждений его.

Старушка не дала ему продолжать. Губы ее посинели, глаза налились кровью, нос громко начал стукаться об бороду.

— Вон из моего дому!— закричала она задыхающимся от злости голосом.— Вон, окаянный!.. и чтоб проклятые ноги твои навсегда подкосились, когда опять ты ступишь на порог мой!

Она подняла сухую руку... Онуфрич перепугался до полусмерти; прежняя, давно потерянная гибкость вдруг возвратилась в его ноги: он одним махом соскочил с лестницы и добежал до дому, ни разу не оглянувшись.

С того времени все связи между старушкою и семейством Онуфрича совершенно прервались. Таким образом прошло несколько лет. Маша пришла в совершенный возраст и была прекрасна, как майский день; молодые люди за нею бегали; старики, глядя на нее, жалели о прошедшей своей молодости. Но Маша была бедна, и женихи не являлись. Ивановна чаще стала вспоминать о старой тетке и никак не могла утешиться.

— Отец твой,— часто говаривала она Марье,— тогда рехнулся в уме! Чего ему было соваться туда, где его не спрашивали? Теперь сидеть тебе в девках!

Лет двадцать тому назад, когда Ивановна была молода и хороша, она бы не отчаялась уговорить Онуфрича, чтоб он попросил прощения у тетушки и с нею примирился; но с тех пор как розы на ее ланитах стали уступать место морщинам, Онуфрич вспомнил, что муж есть глава жены своей,— и бедная Ивановна с горестью принуждена была отказаться от прежней власти. Онуфрич не только сам никогда не говорил о старушке, но строго запретил жене и дочери упоминать о ней. Несмотря на то, Ивановна вознамерилась сблизиться с теткою. Не смея действовать явно, она решилась тайно от мужа побывать у старушки и уверить ее, что ни она, ни дочь нимало не причастны дурачеству ее племянника.

Наконец случай поблагоприятствовал ее намерению: Онуфрича на время откомандировали на место заболевшего станционного смотрителя, и Ивановна с трудом при прощанье могла скрыть радость свою. Не успела она проводить дорогого мужа за заставу, не успела еще отереть глаз от слез, как схватила дочь свою под руку и поспешила с нею домой.

— Машенька! — сказала она ей,— скорей оденься получше; мы пойдем в гости.

— К кому, матушка? — спросила Маша с удивлением.

— К добрым людям,— отвечала мать.— Скорей, скорей, Машенька; не теряй времени; теперь уже смеркается, а нам идти далеко.

Маша подошла к висящему на стене в бумажной рам-

ке зеркалу, гладко зачесала волосы за уши и утвердила длинную темно-русую косу роговою гребенкою; потом надела красное ситцевое платье и шелковый платочек на шею; еще раза два повернулась перед зеркалом и объявила матушке, что она готова.

Дорогою Ивановна открыла дочери, что они идут к тетке.

— Пока дойдем мы до ее дома,— сказала она,— сделается темно, и мы, верно, ее застанем. Смотри же, Маша, поцелуй у тетки ручку и скажи, что ты соскучилась, давно не видав ее. Она сначала будет сердиться, но я ее умилостивлю; ведь не мы виноваты, что мой старик спятил с ума.

В сих разговорах они приблизились к дому старушки. Сквозь закрытые ставни сверкал огонь.

— Смотри же, не забудь поцеловать ручку,— повторила еще Ивановна, подходя к двери. Султан громко залаял. Калитка отворилась, старушка протянула руку и ввела их в комнату. Она приняла их за обыкновенных вечерних гостей своих.

— Милостивая государыня тетушка!— начала речь Ивановна.

— Убирайтесь к черту!— закричала старуха, узнав племянницу.— Зачем вы сюда пришли? Я вас не знаю и знать не хочу.

Ивановна начала рассказывать, бранить мужа и просить прощенья; но старуха была неумолима.

— Говорю вам, убирайтесь!— кричала она,— а не то!..— Она подняла на них руку.

Маша испугалась, вспомнила приказание матушки и, громко рыдая, бросилась целовать ее руки.

— Бабушка сударыня!— говорила она,— не гневайтесь на меня; я так рада, что опять вас увидела!

Слёзы Машины наконец тронули старуху.

— Перестань плакать,— сказала она,— я на тебя не сердита: знаю, что ты ни в чем не виновата, мое дитятко! Не плачь же, Машенька! Как ты выросла, как похорошела!

Она потрепала ее по щеке.

— Садись подле меня,— продолжала она,— милости просим садиться, Марфа Ивановна! Каким образом вы обо мне вспомнили после столь долгого времени?

Ивановна обрадовалась этому вопросу и начала рассказывать: как она уговаривала мужа, как он ее не по-

слушался, как запретил им ходить к тетушке, как они огорчались, и как, наконец, она воспользовалась отсутствием Онуфрича, чтоб засвидетельствовать тетушке нижайшее почтение.

Старушка с нетерпением выслушала рассказы Ивановны.

— Быть так,— сказала она ей,— я не злопамятна; но если вы искренно желаете, чтоб я забыла прошедшее, то обещайтесь, что во всем будете следовать моей воле! С этим условием я приму вас опять в свою милость и сделаю Машу счастливою.

Ивановна поклялась, что все ее приказания будут свято исполнены.

— Хорошо,— молвила старуха,— теперь идите с богом; а завтра ввечеру пускай Маша придет ко мне одна, не ранее, однако, половины двенадцатого часа. Слышишь ли, Маша? Приходи одна.

Ивановна хотела было отвечать, но старуха не дала ей выговорить ни слова. Она встала, выпроводила их из дому и захлопнула за ними дверь.

Ночь была темная. Долго шли они, взявшись за руки, не говоря ни слова. Наконец, подходя уже к зажженным фонарям, Маша робко оглянулась и прервала молчание.

— Матушка! — сказала она вполголоса,— неужели я завтра пойду одна к бабушке, ночью и в двенадцатом часу?..

— Ты слышала, что приказано тебе прийти одной. Впрочем, я могу проводить тебя до половины дороги.

Маша замолчала и предалась размышлениям. В то время когда отец ее поссорился с своей теткой, Маше было не более тринадцати лет; она тогда не понимала причины этой ссоры и только жалела, что ее более не водили к доброй старушке, которая всегда ее ласкала и потчевала медовым маком. После того, хотя и пришла уже она в совершенный возраст, но Онуфрич никогда не говорил ни слова об этом предмете; а мать всегда отзывалась о старушке с хорошей стороны и всю вину слагала на Онуфрича. Таким образом, Маша в тот вечер с удовольствием последовала за матерью. Но когда старуха приняла их с бранью, когда Маша при дрожащем свете лампады взглянула на посиневшее от злости лицо ее, тогда сердце в ней содрогнулось от страха. В продолжение длинного рассказа Ивановны воображению ее пред-

ставилось, как будто в густом тумане, все то, что в детстве своем она слышала о бабушке... и если б в это время старуха не держала ее за руку, то, может быть, она бросилась бы бежать из дому. Итак, можно вообразить, с каким чувством она помышляла о завтрашнем дне.

Возвратясь домой, Маша со слезами просила мать, чтоб она не посылала ее к бабушке; но просьбы ее были тщетны.— Какая же ты дура,— говорила ей Ивановна,— чего тут бояться? Я тихонько провожу тебя почти до дому, дорогой тебя никто не тронет, а беззубая бабушка тоже тебя не съест!

Следующий день Маша весь проплакала. Начало смеркаться — и ужас ее увеличился; но Ивановна как будто ничего не примечала,— она почти насильно ее нарядила.

— Чем более ты будешь плакать, тем для тебя хуже,— сказала она.— Что-то скажет бабушка, когда увидит красные твои глаза!

Между тем кукушка на стенных часах прокричала одиннадцать раз. Ивановна набрала в рот холодной воды, брызнула Маше в лицо и потащила ее за собою.

Маша следовала за матерью, как жертва, которую ведут на заклание. Сердце ее громко билось, ноги через силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертовскую часть. Еще несколько минут шли они вместе; но лишь только Ивановна увидела мелькающий вдали между ставней огонь, как пустила руку Машину.

— Теперь иди одна,— сказала она,— далее я не смею тебя провожать.

Маша в отчаянье бросилась к ней в ноги.

— Полно дурачиться!— вскричала мать строгим голосом.— Что тебе сделается? будь послушна и не вводи меня в сердце!

Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери. Тогда был в исходе двенадцатый час; никто с нею не повстречался, и нигде, кроме старушкина дома, не видно было огня. Казалось, будто вымерли все жители той части города; мрачная тишина царствовала повсюду; один только глухой шум от собственных ее шагов отзывался у нее в ушах. Наконец пришла она к домику и трепещущею рукою дотронулась до калитки... Вдали на колокольне Никиты-мученика ударило двенадцать часов. Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху



и доходили до ее слуха. Внутри домика кот громко промяукал двенадцать раз... Она сильно вздрогнула и хотела бежать... но вдруг раздался громкий лай цепной собаки, заскрипела калитка — и длинные пальцы старухи схватили ее за руку. Маша не помнила, как взошла на крылечко и как очутилась в бабушкиной комнате... Пришед немного в себя, она увидела, что сидит на скамье; перед ней стояла старуха и терла виски ее муравьиным спиртом.

— Как ты напугана, моя голубка! — говорила она ей. — Ну, ну! темнота на дворе самая прекрасная; но ты, мое дитятко, еще не узнала ее цены и потому боишься. Отдохни немного; пора нам приняться за дело!

Маша не отвечала ни слова; утомленные от слез глаза ее следовали за всеми движениями бабушки. Старуха подвинула стол на средину комнаты, из стенного шкафа вынула большую темно-алую свечку, зажгла ее и прикрепила к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым светом. Все пространство от полу до потолка как будто наполнилось длинными нитками кровавого цвета, которые тянулись по воздуху в разных направлениях — то свертывались в клуб, то опять развивались, как змеи...

— Прекрасно! — сказала старушка и взяла Машу за руку. — Теперь иди за мною.

Маша дрожала всеми членами; она боялась идти за бабушкой, но еще более боялась ее рассердить. С трудом поднялась она на ноги.

— Держись крепко за полы мои, — прибавила старуха, — и следуй за мной... не бойся ничего!

Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова; перед нею плавно выступал черный кот с сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала... Маша невольно раскрыла глаза — те же кровавые нитки все еще растягивались по воздуху. Но, бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что на нем зеленый мундирный сюртук; а на место прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытараща глаза, устремляло взоры прямо на нее... Она громко закричала и без чувств упала на землю...

Когда она опомнилась, дубовый стол стоял на старом месте, темно-алой свечки уже не было и на столе по-прежнему горела лампада; бабушка сидела подле нее и смотрела ей в глаза, усмехаясь с веселым видом.

— Какая же ты, Маша, трусиха!— говорила она ей.— Но до того нужды нет; я и без тебя кончила дело. Поздравляю тебя, родная,— поздравляю тебя с женихом! Он человек очень мне знакомый и должен тебе нравиться. Маша, я чувствую, что недолго мне осталось жить на белом свете; кровь моя уже слишком медленно течет по жилам и временем сердце останавливается... Мой верный друг,— продолжала старуха, взглянув на кота,— давно уже зовет меня туда, где остылая кровь моя опять согреется. Хотелось бы мне еще немного пожить под светлым солнышком, хотелось бы еще полюбоваться золотыми денежками... но последний час мой скоро стукнет. Что ж делать! чему быть, тому не миновать.

— Ты, моя Маша,— продолжала она, вялыми губами поцеловав ее в лоб,— ты после меня обладать будешь моими сокровищами; тебя я всегда любила и охотно уступаю тебе место! Но выслушай меня со вниманием: придет жених, назначенный тебе тою силою, которая управляет большею частию браков... Я для тебя выпросила этого жениха; будь послушна и выдь за него. Он научит тебя той науке, которая помогла мне накопить себе клад; общими вашими силами он нарастет еще вдвое,— и прах мой будет покоен. Вот тебе ключ; береги его пуще глаза своего. Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны мои деньги; но как скоро ты выйдешь замуж, все тебе откроется!

Старуха сама повесила ей на шею маленький ключ, надетый на черный снурок. В эту минуту кот громко промяукал два раза.

— Вот уже настал третий час утра,— сказала бабушка.— Иди теперь домой, дорогое мое дитя! Прощай! может быть, мы уже не увидимся...— Она проводила Машу на улицу, вошла опять в дом и затворила за собой калитку.

При бледном свете луны Маша скорыми шагами поспешила домой. Она была рада, что ночное ее свидание с бабушкой кончилось, и с удовольствием помышляла о будущем своем богатстве. Долго Ивановна ожидала ее с нетерпением.

— Слава богу!— сказала она, увидев ее.— Я уже

боялась, чтоб с тобою чего-нибудь не случилось. Рассказывай скорей, что ты делала у бабушки?

Маша готовилась повиноваться, но сильная усталость мешала ей говорить. Ивановна, заметив, что глаза ее невольно смыкаются, оставила до другого утра удовлетворение своего любопытства, сама раздела любезную дочку и уложила ее в постель, где она вскоре заснула глубоким сном.

Проснувшись на другой день, Маша насилу собралась с мыслями. Ей казалось, что все случившееся с нею накануне не что иное, как тяжелый сон; когда же взглянула нечаянно на висящий у нее на шее ключ, то удостоверилась в истине всего, ею виденного,— и обо всем с подробностью рассказала матери. Ивановна была вне себя от радости.

— Видишь ли теперь,— сказала она,— как хорошо я сделала, что не послушалась твоих слез?

Весь тот день мать с дочерью провели в сладких мечтах о будущем благополучии. Ивановна строго запретила Маше ни слова не говорить отцу о свидании своем с бабушкой.

— Он человек упрямый и вздорливый,— примолвила она,— и в состоянии все дело испортить.

Против всякого ожидания Онуфрич приехал на следующий день поздно ввечеру. Станционный смотритель, которого должность ему приказано было исправлять, нечаянно выздоровел, и он воспользовался первою едущею в Москву почтою, чтоб возвратиться домой.

Не успел он еще рассказать жене и дочери, по какому случаю он так скоро воротился, как вошел к ним в комнату прежний его товарищ, который тогда служил будочником в Лафертовской части, неподалеку от дома Маковницы.

— Тетушка приказала долго жить!— сказал он, не дав себе даже времени сперва поздороваться.

Маша и Ивановна взглянули друг на друга.

— Упокой господи ее душу!— воскликнул Онуфрич, смиренно сложив руки.— Помолимся за покойницу, она имеет нужду в наших молитвах!

Он начал читать молитву. Ивановна с дочерью крестились и клали земные поклоны; но на уме у них были сокровища, их ожидающие. Вдруг они обе вздрогнули в одно время... Им показалось, что покойница с улицы смотрит к ним в комнату и им кланяется! Онуфрич и бу-

дочник, молившиеся с усердием, ничего не заметили.

Несмотря на то что было уже поздно, Онуфрич отправился в дом покойной тетки. Дорогою прежний товарищ его рассказывал все, что ему известно было о ее смерти.

— Вчера,— говорил он,— тетка твоя в обыкновенное время пришла к себе; соседи видели, что у нее в доме светился огонь. Но сегодня она уже не являлась у Проломной, и из этого заключили, что она нездорова. Наконец, под вечер, решились войти к ней в комнату, но ее не застали уже в живых: — так иные рассказывают о смерти старухи. Другие утверждают, что в прошедшую ночь что-то необыкновенное происходило в ее доме. Сильная буря, говорят, бушевала около хижины, тогда как везде погода стояла тихая; собаки из всего околотка собрались перед ее окном и громко выли; мяуканье ее кота слышно было издалека... Что касается до меня, то я нынешнюю ночь спокойно проспал; но товарищ мой, стоявший на часах, уверяет, что он видел, как с самого Введенского кладбища прыгающие по земле огоньки длинными рядами тянулись к ее дому и, доходя до калитки, один за другим, как будто проскакивая под нее, исчезали. Необыкновенный шум, свист, хохот и крик, говорят, слышен был в ее доме до самого рассвета. Странно, что до сих пор нигде не могли отыскать черного ее кота!

Онуфрич с горестию внимал рассказу будочника, не отвечая ему ни слова. Таким образом пришли они в дом покойницы. Услужливые соседки, забыв страх, который внушала им старушка при жизни, успели ее уже омыть и одеть в праздничное платье. Когда Онуфрич вошел в комнату, старушка лежала на столе. В головах у ней сидел дьячок и читал псалтырь. Онуфрич, поблагодарив соседок, послал купить восковых свеч, заказал гроб, распорядился, чтоб было что попить и поесть желающим проводить ночь у покойницы, и отправился домой. Выходя из комнаты, он никак не мог решиться поцеловать у тетушки руку.

В следующий день назначено быть похоронам. Ивановна для себя и для дочери взяла напрокат черные платья, и обе явились в глубоком трауре. Сначала все шло надлежащим порядком. Одна только Ивановна, прощаясь с теткою, вдруг отскочила назад, побледнела и сильно задрожала. Она уверяла всех, что ей сделалось дурно; но после того тихонько призналась Маше, что ей показалось, будто покойница разинула рот и хотела

схватить ее за нос. Когда же стали поднимать гроб, то он сделался так тяжел, как будто налитой свинцом, и шесть широкоплечих почтальонов насилу могли его вынесть и поставить на дроги. Лошади сильно храпели, и с трудом можно было их принудить двигаться вперед.

Эти обстоятельства и собственные замечания Маши подали ей повод к размышлениям. Она вспомнила, какими средствами сокровища покойницы были собраны, и обладание оными показалось ей не весьма лестным. В некоторые минуты ключ, висящий у нее на шее, как тяжелый камень давил ей грудь, и она неоднократно принимала намерение все открыть отцу и просить у него совета; но Ивановна строго за ней присматривала и беспрестанно твердила, что она всех их сделает несчастными, если не станет слушаться приказаний старушки. Демон корыстолюбия совершенно овладел душою Ивановны, и она не могла дождаться времени, когда явится суженый жених и откроет средство завладеть кладом. Хотя она и боялась думать о покойнице и хотя при воспоминании об ней холодный пот выступал у нее на лице, но в душе ее жадность к золоту была сильнее страха, и она беспрестанно докучала мужу, чтоб он переехал в Лафертовскую часть, уверяя, что всякий их осудит, если они жить будут на наемной квартире тогда, когда у них есть собственный дом.

Между тем Онуфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила в нем неприятное впечатление, когда вспоминал он о той, от которой он ему достался. Он даже всякий раз невольно вздрагивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде жила старуха. Но Онуфрич был набожен и благочестив и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистою совестью; и потому рассудив, что ему выгоднее жить в своем доме, нежели нанимать квартиру, он решился превозмочь свое отвращение и переехать.

Ивановна сильно обрадовалась, когда Онуфрич велел переноситься в лафертовский дом.

— Увидишь, Маша,— сказала она дочери,— что теперь скоро явится жених. То-то мы заживем, когда у нас будет полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши, когда мы въедем к ним на двор в твоей карете, да еще, может быть, и четверней!..

Маша молча на нее смотрела и печально улыба-

лась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме.

За несколько дней перед их разговором (они еще жили на прежней квартире), Маша в одно утро задумавшись сидела у окна. Мимо ее прошел молодой хорошо одетый мужчина, взглянул на нее и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась и сама не знала от чего вдруг закраснелась! Немного погодя тот же молодой человек прошел назад, потом обернулся, прошел еще и опять воротился. Всякий раз он смотрел на нее, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже минуло семнадцать лет, но до сего времени никогда не случалось, чтоб у нее билось сердце, когда кто-нибудь проходил мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда села к окну — для того только, чтоб узнать, забьется ли сердце, когда опять пройдет молодой мужчина... Таким образом она просидела до вечера, однако никто не являлся. Наконец, когда подали огонь, она отошла от окна и целый вечер была печальна и задумчива; она досадовала, что ей не удалось повторить опыта над своим сердцем.

На другой день Маша, только что проснулась, тотчас вскочила с постели, поспешно умылась, оделась, помолилась богу и села к окну. Взоры ее устремлены были в ту сторону, откуда накануне шел незнакомец. Наконец она его увидела; глаза его еще издали ее искали, а когда подошел он ближе, взоры их как будто нечаянно встретились. Маша, забывшись, приложила руку к сердцу, чтоб узнать, бьется ли оно?.. Молодой человек, заметив сие движение и, вероятно, не понимая, что оно значит, тоже приложил руку к сердцу... Маша опомнилась, покраснела и отскочила назад. После того она целый день уже не подходила к окну, опасаясь увидеть молодого человека. Несмотря на то, он не выходил у нее из памяти; она старалась думать о других предметах, но усилия ее были напрасны.

Чтоб разбить мысли, она вздумала ввечеру идти в гости к одной вдове, жившей с ними в соседстве. Входя к ней в комнату, к крайнему удивлению, увидела она того самого незнакомца, которого тщетно забыть старалась. Маша испугалась, покраснела, потом побледнела и не знала, что сказать. Слезы заблистали у ней в глазах. Незнакомец опять ее не понял... он печально ей поклонился, вздохнул — и вышел вон. Она еще более смешалась и с досады заплакала. Встревоженная соседка посадила

ее возле себя и с участием спросила о причине ее огорчения. Маша сама неясно понимала, о чем плакала, и потому не могла объявить причины; внутренно же она приняла твердое намерение сколько можно убегать незнакомца, который довел ее до слез. Эта мысль ее поуспокоила. Она вступила в разговор с соседкой и начала ей рассказывать о домашних своих делах и о том, что они, может быть, скоро переедут в Лафертовскую часть.

— Жаль мне,— сказала вдова,— очень жаль, что лишусь добрых соседей; и не я одна о том жалеть буду. Я знаю одного человека, который очень огорчится, когда узнает эту новость.

Маша опять покраснела; хотела спросить, кто этот человек, но не могла выговорить ни слова. Услужливая соседка, верно, угадала мысли ее, ибо она продолжала так:

— Вы не знаете молодого мужчины, который теперь вышел из комнаты? Может быть, вы даже и не заметили, что он вчера и сегодня проходил мимо вашего дома; но он вас видел и нарочно зашел ко мне, чтоб расспросить у меня об вас. Не знаю, ошибаюсь ли я или нет, а мне кажется, что вы крепко задели бедное его сердечко! Чего тут краснеть? — прибавила она, заметив, что у Маши разгорелись щеки.— Он человек молодой, пригожий и если нравится Машеньке, то, может быть, скоро дойдет дело и до свадьбы.

При сих словах Машенька невольно вспомнила о бабушке. «Ах!— сказала она сама себе,— не это ли жених мне назначенный?» Но вскоре мысль эта уступила место другой, не столь приятной. «Не может быть,— подумала она,— чтоб такой пригожий молодец имел короткую связь с покойницею. Он так мил, одет так щеголевато, что, верно, не умел бы удвоить бабушкина клада!» Между тем соседка продолжала ей рассказывать, что он хотя из мещанского состояния, но поведения хорошего и трезвого, и сидельцем в суконном ряду. Денег у него больших нет, зато жалованье получает изрядное, и кто знает? может быть, хозяин когда-нибудь примет его в товарищи!

— Итак,— прибавила она,— послушайся доброго совета: не отказывай молодцу. Деньги не делают счастья! Вот бабушка твоя,— прости, господи, мое согрешение!— денег у нее было неведь сколько; а теперь куда все это девалось?.. И черный кот, говорят, провалился сквозь землю — и деньги туда же!

Маша внутренно очень согласна была с мнением соседки; и ей также показалось, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем, нежели богатой и принадлежать — бог знает кому! Она чуть было не открылась во всем; но, вспомнив строгие приказания матери и опасаясь собственной своей слабости, поспешно встала и простилась. Выходя уже из комнаты, она, однако, не могла утерпеть, чтоб не спросить об имени незнакомца.

— Его зовут Улияном,— отвечала соседка.

С этого времени Улиян не выходил из мыслей у Маши: все в нем, даже имя, ей нравилось. Но чтоб принадлежать ему, надобно было отказаться от сокровищ, оставленных бабушкою. Улиян был не богат, и, верно, думала она, ни батюшка, ни матушка не согласятся за него меня выдать! В этом мнении еще более она уверилась тем, что Ивановна беспрестанно твердила о богатстве, их ожидающем, и о счастливой жизни, которая тогда начнется. Итак, страшась гнева матери, Маша решилась не думать больше об Улияне: она остерегалась подходить к окну, избегала всяких разговоров с соседкою и старалась казаться веселою; но черты Улияна твердо врезались в ее сердце.

Между тем настал день, в который должно было переехать в лафертовский дом. Онуфрич заранее туда отправился, приказав жене и дочери следовать за ним с пожитками, уложенными еще накануне. Подъехали двое роспусок; извозчики с помощию соседей вынесли сундуки и мебель. Ивановна и Маша, каждая взяла в руки по большому узлу, и маленький караван тихим шагом потянулся к Проломной заставе. Проходя мимо квартиры вдовы-соседки, Маша невольно подняла глаза: у открытого окошка стоял Улиян с поникшею головою; глубокая печаль изображалась во всех чертах его. Маша как будто его не заметила и отворотилась в противную сторону; но горькие слезы градом покатились по бледному ее лицу.

В доме давно уже ожидал их Онуфрич. Он подал мнение свое, куда поставить привезенную мебель, и объяснил им, каким образом он думает расположиться в новом жилище.

— В этом чулане,— сказал он Ивановне,— будет наша спальня; подле нее, в маленькой комнате, поставятся образа; а здесь будет и гостиная наша и столовая. Маша может спать наверху в светлице. Никогда,— продолжал он,— не случалось мне жить так на просторе;

но не знаю, почему у меня сердце не на месте. Дай бог, чтоб мы здесь были так же счастливы, как в прежних тесных комнатах!

Ивановна невольно улыбнулась. «Дай срок! — подумала она, — в таких ли мы будем жить палатах!»

Радость Ивановны, однако, в тот же день гораздо поуменьшилась: лишь только настал вечер, как пронзительный свист раздался по комнатам и ставни застучали.

— Что это такое? — вскричала Ивановна.

— Это ветер, — хладнокровно отвечал Онуфрич, — видно, ставни неплотно запираются; завтра надобно будет починить.

Она замолчала и бросила значительный взгляд на Машу, ибо в свисте ветра находила она сходство с голосом старухи.

В это время Маша смиренно сидела в углу и не слыхала ни свисту ветра, ни стуку ставней — она думала об Улияне. Ивановне страшнее показалось то, что только ей одной послышался голос старухи. После ужина она вышла в сени, чтоб спрятать остатки от умеренного их стола; подошла к шкафу, поставила подле себя на пол свечку и начала устанавливать на полки блюда и тарелки. Вдруг услышала она подле себя шорох, и кто-то легонько ударил ее по плечу... Она оглянулась... за нею стояла покойница в том самом платье, в котором ее похоронили!.. Лицо ее было сердито; она подняла руку и грозила ей пальцем. Ивановна, в сильном ужасе, громко вскричала. Онуфрич и Маша бросились к ней в сени.

— Что с тобою делается? — закричал Онуфрич, увидя, что она была бледна, как полотно, и дрожала всеми членами.

— Тетушка! — сказала она трепещущим голосом... Она хотела продолжать, но тетушка опять явилась пред нею... лицо ее казалось еще сердитее — и она еще строже ей грозила. Слова замерли на устах Ивановны...

— Оставь мертвых в покое, — отвечал Онуфрич, взяв ее за руку и вводя обратно в комнату. — Помолись богу, и греза от тебя отстанет. Пойдем, ложись в постель: пора спать!

Ивановна легла, но покойница все представлялась ее глазам в том же сердитом виде. Онуфрич, спокойно раздевшись, громко начал молиться, и Ивановна заметила, что по мере того, как она вслушивалась в молитвы, вид

покойницы становился бледнее, бледнее — и наконец совсем исчез.

И Маша тоже беспокойно провела эту ночь. При входе в светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькала перед нею,— но не в том грозном виде, в котором являлась она Ивановне. Лицо ее было весело, и она умильно ей улыбалась. Маша перекрестилась — и тень пропала. Сначала она сочла это игрою воображения, и мысль об Улияне помогла ей разогнать мысль о бабушке; она довольно спокойно легла спать и вскоре заснула. Вдруг, около полуночи, что-то ее разбудило. Ей показалось, что холодная рука гладила ее по лицу... она вскочила. Перед образом горела лампада, и в комнате не видно было ничего необыкновенного; но сердце в ней трепетало от страха: она внятно слышала, что кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает... Потом как будто дверь отворилась и заскрипела... и кто-то сошел вниз по лестнице.

Маша дрожала как лист. Тщетно старалась она опять заснуть. Она встала с постели, поправила светильню лампады и подошла к окну. Ночь была темная. Сначала Маша ничего не видала; потом показалось ей, будто на дворе, подле самого колодца, вспыхнули два небольшие огонька. Огоньки эти попеременно то погасали, то опять вспыхивали; потом они как будто ярче загорели, и Маша ясно увидела, как подле колодца стояла покойная бабушка и манила ее к себе рукою... За нею на задних лапах сидел черный кот, и оба глаза его в густом мраке светились, как огни. Маша отошла прочь от окна, бросилась на постель и крепко закутала голову в одеяло. Долго казалось ей, будто бабушка ходит по комнате, шарит по углам и тихо зовет ее по имени. Один раз ей даже представилось, что старушка хотела сдернуть с нее одеяло; Маша еще крепче в него завернулась. Наконец все утихло, но Маша во всю ночь уже не могла сомкнуть глаз.

На другой день решилась она объявить матери, что откроет все отцу своему и отдаст ему ключ, полученный от бабушки. Ивановна во время вечернего страха и сама бы рада была отказаться от всех сокровищ; но когда поутру взошло красное солнышко и яркими лучами осветило комнату, то и страх исчез, как будто его никогда не бывало. Наместо того веселые картины будущей счастливой жизни опять заняли ее воображение. «Не вечно же

будет пугать меня покойница,— думала она,— выйдет Маша замуж, и старуха успокоится. Да и чего теперь она хочет? Уж не за то ли она гневается, что я никак не намерена сберегать ее сокровища? Нет, тетушка! гневайся сколько угодно; а мы протрем глаза твоим рублевикам!»

Тщетно Маша упрашивала мать, чтоб она позволила ей открыть отцу их тайну.

— Ты насильно отталкиваешь от себя счастие,— отвечала Ивановна.— Погоди еще хотя дня два,— верно, скоро явится жених твой, и все пойдет на лад.

— Дня два! — повторила Маша,— я не переживу и одной такой ночи, какова была прошедшая.

— Пустое,— сказала ей мать,— может быть, и сегодня все дело придет к концу.

Маша не знала, что делать. С одной стороны, она чувствовала необходимость рассказать все отцу; с другой — боялась рассердить мать, которая никогда бы ей этого не простила. Будучи в крайнем недоумении,— на что решиться, вышла она со двора и в задумчивости бродила долго по самым уединенным улицам Лафертовской части. Наконец, не придумав ничего, воротилась домой. Ивановна встретила ее в сенях.

— Маша! — сказала она ей,— скорей поди вверх и приоденься: уж более часу сидит с отцом жених твой и тебя ожидает.

У Маши сильно забилось сердце, и она пошла к себе. Тут слезы ручьем полились из глаз ее. Улиян представился ее воображению в том печальном виде, в котором она видела его в последний раз. Она забыла наряжаться. Наконец строгий голос матери прервал ее размышления.

— Маша! долго ли тебе прихорашиваться? — кричала Ивановна снизу.— Сойди сюда!

Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела!.. На скамье, подле Онуфрича, сидел мужчина небольшого росту, в зеленом мундирном сюртуке; то самое лицо устремило на нее взор, которое некогда видела она у черного кота. Она остановилась в дверях и не могла идти далее.

— Подойди поближе,— сказал Онуфрич,— что с тобою сделалось?

— Батюшка! это бабушкин черный кот,— отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который стран-

ным образом повертывал головою и умильно на нее поглядывал, почти совсем зажмурив глаза.

— С ума ты сошла! — вскричал Онуфрич с досадою.— Какой кот? Это господин титулярный советник Аристарх Фалелеич Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей руки.

При сих словах Аристарх Фалелеич встал, плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша громко закричала и подалась назад. Онуфрич с сердцем вскочил с скамейки.

— Что это значит? — закричал он.— Эдакая ты неучтивая, точно деревенская девка!

Однако ж Маша его не слушала.

— Батюшка! — сказала она ему вне себя,— воля ваша! это бабушкин черный кот! Велите ему скинуть перчатки; вы увидите, что у него есть когти.— С сими словами она вышла из комнаты и убежала в светлицу.

Аристарх Фалелеич тихо что-то ворчал себе под нос. Онуфрич и Ивановна были в крайнем замешательстве, но Мурлыкин подошел к ним, все так же улыбаясь.

— Это ничего, сударь,— сказал он, сильно картавя,— ничего, сударыня, прошу не прогневаться! Завтра я опять приду, завтра дорогая невеста лучше меня примет.

После того он несколько раз им поклонился, с приятностию выгибая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фалелеич сошел с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился; но, дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать, как стрела. Большая соседская собака с громким лаем во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать.

Ударило двенадцать часов; настало время обедать. В глубоком молчании все трое сели за стол, и никому не хотелось кушать. Ивановна от времени до времени сердито взглядывала на Машу, которая сидела с потупленными глазами. Онуфрич тоже был задумчив. В конце обеда принесли Онуфричу письмо; он распечатал — и на лице его изобразилась радость. Потом он встал из-за стола, поспешно надел новый сюртук, взял в руки шляпу и трость и готовился идти со двора.

— Куда ты идешь, Онуфрич? — спросила Ивановна.

— Я скоро ворочусь,— отвечал он и вышел.

Лишь только он затворил за собою дверь, как Ивановна начала бранить Машу.

— Негодная! — сказала она ей,— так-то любишь и почитаешь ты мать свою? Так-то повинуешься ты родителям? Но я тебе говорю, что приму тебя в руки! Только смей опять подурачиться, когда пожалует к нам завтра Аристарх Фалелеич!

— Матушка! — отвечала Маша со слезами,— я во всем рада слушаться, только не выдавайте меня за бабушкина кота!

— Какую дичь ты опять запорола? — сказала Ивановна.— Стыдись, сударыня; все знают, что он титулярный советник.

— Может быть, и так, матушка,— отвечала бедная Маша, горько рыдая,— но он кот, право кот!

Сколько ни бранила ее Ивановна, сколько ее ни уговаривала, но она все твердила, что никак не согласится выйти замуж за бабушкина кота; и наконец Ивановна в сердцах выгнала ее из комнаты. Маша пошла в свою светлицу и опять принялась горько плакать.

Спустя несколько времени она услышала, что отец ее воротился домой, и немного погодя ее кликнули. Она сошла вниз; Онуфрич взял ее за руку и обнял с нежностию.

— Маша! — сказал он ей,— ты всегда была добрая девушка и послушная дочь!

Маша заплакала и поцеловала у него руку.

— Теперь ты можешь доказать нам, что ты нас любишь! Слушай меня со вниманием. Ты, я думаю, помнишь о маркитанте, о котором я часто вам рассказывал и с которым свел я такую дружбу во время Турецкой войны: он тогда был человек бедный, и я имел случай оказать ему важные услуги. Мы принуждены были расстаться и поклялись вечно помнить друг друга. С того времени прошло более тридцати лет, и я совершенно потерял его из виду. Сегодня за обедом получил я от него письмо; он недавно приехал в Москву и узнал, где я живу. Я поспешил к нему; ты можешь себе представить, как мы обрадовались друг другу. Приятель мой имел случай вступить в подряды, разбогател и теперь приехал сюда жить на покое. Узнав, что у меня есть дочь, он обрадовался; мы ударили по рукам, и я просватал тебя за его единственного сына. Старики не любят терять времени — и сегодня ввечеру они оба у нас будут.

Маша еще горче заплакала; она вспомнила об Улияне.

— Послушай, Маша! — сказал Онуфрич,— сегодня поутру сватался за тебя Мурлыкин; он человек богатый, которого знают все в здешнем околотке. Ты за него выйти не захотела; и признаюсь,— хотя я очень знаю, что титулярный советник не может быть котом или кот титулярным советником,— однако мне самому он показался подозрительным. Но сын приятеля моего — человек молодой, хороший, и ты не имеешь никакой причины ему отказать. Итак, вот тебе мое последнее слово: если не хочешь отдать руку свою тому, которого я выбрал, то готовься завтра поутру согласиться на предложение Аристарха Фалелеича... Поди и одумайся.

Маша в сильном огорчении возвратилась в свою светлицу. Она давно решилась ни для чего в свете не выходить за Мурлыкина; но принадлежать другому, а не Улияну,— вот что показалось ей жестоким! Немного погодя вошла к ней Ивановна.

— Милая Маша! — сказала она ей,— послушайся моего совета. Все равно, выходить тебе за Мурлыкина или за маркитанта: откажи последнему и ступай за первого. Отец, хотя и говорил, что маркитант богат, но ведь я отца твоего знаю! У него всякий богат, у кого сотня рублей за пазухой. Маша! подумай, сколько у нас будет денег... а Мурлыкин, право, не противен. Хотя он уже не совсем молод, но зато как вежлив, как ласков! Он будет тебя носить на руках.

Маша плакала, не отвечая ни слова; а Ивановна, думая, что она согласилась, вышла вон, дабы муж не заметил, что она ее уговаривала. Между тем Маша, скрепя сердце, решилась принесть отцу на жертву любовь свою к Улияну. «Постараюсь его забыть,— сказала она сама себе,— пускай батюшка будет счастлив моим послушанием. Я и так перед ним виновата, что против его воли связалась с бабушкой!»

Лишь только смерклось, Маша тихонько сошла с лестницы и направила шаги прямо к колодезю. Едва вступила она на двор, как вдруг вихрь поднялся вокруг нее, и казалось, будто земля колеблется под ее ногами... Толстая жаба с отвратительным криком бросилась к ней прямо навстречу, но Маша перекрестилась и с твердостию пошла вперед. Подходя к колодезю, послышался ей жалостный вопль, как будто выходящий с самого дна. Черный кот печально сидел на срубе и мяукал унылым голосом. Маша отворотилась и подошла ближе; твердою рукою

сняла она с шеи снурок и с ним ключ, полученный от бабушки.

— Возьми назад свой подарок! — сказала она.— Не надо мне ни жениха твоего, ни денег твоих; возьми и оставь нас в покое.

Она бросила ключ прямо в колодезь; черный кот завизжал и кинулся туда же; вода в колодезе сильно закипела... Маша пошла домой. С груди ее свалился тяжелый камень.

Подходя к дому, Маша услышала незнакомый голос, разговаривающий с ее отцом. Онуфрич встретил ее у дверей и взял за руку.

— Вот дочь моя! — сказал он, подводя ее к почтенному старику с седою бородою, который сидел на лавке. Маша поклонилась ему в пояс.

— Онуфрич! — сказал старик,— познакомь же ее с женихом.

Маша робко оглянулась — подле нее стоял Улиян! Она закричала и упала в его объятия...

Я не в силах описать восхищения обоих любовников. Онуфрич и старик узнали, что они уже давно познакомились,— и радость их удвоилась. Ивановна утешилась, узнав, что у будущего свата несколько сот тысяч чистых денег в ломбарде. Улиян тоже удивился этому известию, ибо он никогда не думал, чтоб отец его был так богат. Недели чрез две после того их обвенчали.

В день свадьбы, ввечеру, когда за ужином в доме Улияна веселые гости пили за здоровье молодых, вошел в комнату известный будочник и объявил Онуфричу, что в самое то время, когда венчали Машу, потолок в лафертовском доме провалился и весь дом разрушился.

— Я и так не намерен был долее в нем жить,— сказал Онуфрич.— Садись с нами, мой прежний товарищ, налей стакан цимлянского и пожелай молодым счастия и — многие лета!

— Эта повесть,— сказал Двойник,— более мне нравится, чем Изидор и Анюта; напрасно, однако ж, вы не прибавили развязки. Иной и в самом деле подумает, что Машина бабушка была колдунья.

— Для суеверных людей развязок не напасешься,— отвечал я.— Впрочем, кто непременно желает знать развязку моей повести, тот пускай прочитает «Литератур-

ные новости» 1825 года. Там найдет он развязку, сочиненную почтенным издателем «Инвалида», которую я для того не пересказал вам, что не хочу присвоивать чужого добра. Да неужто вы не верите гаданию на картах и на кофейной гуще?

— Виноват, дражайший Антоний; нимало не верю. Из любопытства я нарочно знакомился со всеми ворожеями и ворожейками, которых только отыскать мог, и каждое новое такого рода знакомство более и более меня утверждало в моем неверии.

— Согласитесь, однако, что иногда отгадывают будущее по картам!

— Соглашаюсь, любезный друг, но это ничего не доказывает. Что мудреного, если, часто гадая, что-нибудь и отгадаешь? Самому записному вралю иногда случается сказать правду; но за то не перестает он быть вралем.

— Но,— прервал я Двойника,— вам, верно, не случалось встречать настоящих ворожеек, а потому вы и не верите гаданию. Что, например, скажете вы о госпоже le Normand, которая, говорят, предсказала судьбу первой супруге Наполеона, императрице Иозефине, тогда, когда Наполеон и не помышлял еще о разводе?

— Я имел честь лично познакомиться с госпожою le Normand в бытность мою в Париже. Иозефина была еще в свежей памяти у парижан, и я точно помню, что носились слухи, будто бы le Normand ей предсказывала, что она умрет на соломе. Вы знаете, что пророчество это не сбылось. Между тем ворожея лет десять после того воспользовалась давно забытыми слухами и напечатала, что она когда-то предсказывала Иозефине участь, ее постигшую... В то время новые и важнейшие происшествия занимали французов и изгладили из памяти их бедную Иозефину с мнимым предсказанием le Normand; и никто не счел за нужное противоречить ее хвастовству. Что касается до меня, то, познакомившись с нею, я удостоверился в том, в чем и прежде не сомневался, а именно что она не что иное, как обыкновенная шарлатанка. Я опишу вам в подробности наше знакомство.

В одно утро я на площади Лудовика XV взял фиакр и приказал ему ехать к le Normand. Жилище ее известно всем извозчикам в Париже, и потому фиакр мой, не требуя дальнейших объяснений, привез меня прямо к ее квартире. При входе в переднюю горничная встретила меня с таинственным видом и спросила, что мне угодно?

Я отвечал, что желаю посоветоваться с знаменитою ее госпожою.

— Покорнейше прошу подождать немного,— сказала она, отворяя дверь в гостиную,— барыня теперь занята.

Я вошел в гостиную и, подходя к окну, увидел, что горничная уже успела выбежать на улицу и весьма прилежно разговаривает с моим кучером, который, вероятно, не мог доставить ей никаких обо мне сведений.

Меня заставили довольно долго дожидаться, и я от скуки принялся рассматривать комнату, в которой находился. Она была убрана в новейшем вкусе: на камельке и столах бронзы, на стенах картины, а на окнах фарфоровые горшки с цветами. Прохаживаяся вдоль и поперек по комнате, я заметил, что зеленая занавесь, которая закрывала стеклянную дверь, ведущую во внутренние покои, от времени до времени шевелилась, и один раз мне удалось на одно мгновение увидеть два большие черные глаза, которые, как я после удостоверился, принадлежали самой волшебнице. Наконец, та же горничная пришла мне объявить, что госпожа le Normand меня ожидает. Отворили стеклянную дверь, и я вступил в храм Пифии, которая присела передо мною новейшим манером. Я увидел женщину лет за сорок, среднего роста, довольно дородную, с большими черными глазами и такими же бровями. Горничная подала мне стул и вышла вон.

На столе, среди комнаты, стояли небесные глобусы и лежали разные математические инструменты, а между ними набитые чучелы: небольшой крокодил, ящерица и змея. По стенам развешаны были картины, представляющие разные магические фигуры. В одном углу стоял человеческий скелет, завешенный черным флером; в другом заметил я на полке три или четыре стеклянные банки с уродами в спирте. На просьбу мою открыть мне будущую судьбу, она отвечала вопросом: на каких картах я хочу, чтоб она загадала, на больших или на маленьких?

— Какая между ними разница? — спросил я.

— Гадание на маленьких картах стоит пять франков, а на больших десять.

— В таком случае прошу загадать на больших.

Волшебница взяла колоду карт, которые действительно были весьма большого размера, с странными изображениями и магическими знаками, помешала их, пошептала над ними, так же как и у нас в России это делается,

и потом разложила их на столе. Тут начала она рассказывать мне многое, о котором могу объявить вам только, что ничего из сказанного со мною не сбылось.

Окончив гадание, волшебница встала, опять присела передо мною и весьма милостиво приняла от меня десять франков. Потом спросила: не хочу ли я, чтоб она написала мой гороскоп, в котором означено будет все, что со мною должно случиться в течение жизни?

— Очень хорошо,— отвечал я.

— Какой гороскоп прикажете, большой или маленький?

— А какая между ними разница?

— Большой стоит два луидора, а маленький один; но зато в большом гораздо более подробностей.

— Ну, так напишите мне большой; я люблю подробности.

Дней чрез несколько я заехал опять к ней, получил подробный гороскоп и заплатил два луидора... Вот вам верное и точное описание моего знакомства с знаменитою госпожою le Normand.

— А гороскоп? — спросил я у Двойника.

— Гороскоп как гороскоп,— отвечал он.— В нем весьма подробно описано все, что должно было со мною случиться; но, к несчастию, волшебница на письме так же ошиблась, как на словах, то есть ни одно из предсказаний ее не сбылось. Если вы собираете рукописи знаменитых людей, то я готов подарить вам этот гороскоп, который с начала до конца писан рукою госпожи le Normand.

— Покорно благодарю. Расскажите мне лучше, отчего так часто встречаются между умными и образованными людьми такие, кои верят гаданию, волшебству и колдовству?

— От того, любезный Антоний, что — как справедливо говорится пословица — на каждого мудреца довольно простоты. Кстати припоминаю я теперь, что между многими другими родами ума и душевных недостатков, не помещенными в сделанном мною выше исчислении, забыто также *легковерие*, которое между тем очень часто играет немаловажную роль в деяниях людских. Впрочем, правду сказать, нынешний свет скорее упрекать можно в неверии, нежели в легковерии. В древние времена это было совсем напротив. Геродот и Диодор Сицилийский, Цицерон и Плиний, Юлий Кесарь и Юлиан верили волшебству, колдовству и привидениям. Известнейшие древ-

ние авторы, и между нами сам Платон, говорят об этих предметах, как о вещах весьма обыкновенных.

В средние веки еще более преданы были этому суеверию. Ужас меня берет всякий раз, когда я читаю, сколько в то время пострадало невинных людей за мнимое волшебство,— сколько сожжено и казнено ведьм и колдунов! И это случалось не только в Испании, которую привыкли мы обвинять за ее инквизицию, но в учтивой Франции и в важной Германии, и тогда уже славившихся просвещением! В царствование Генриха IV во Франции, по приговорам судов и парламентов, сожжено множество колдунов, ведьм и оборотней. В 1628 году Деборд (Desbordes), камердинер герцога Лотарингского Карла IV, обвинен был в колдовстве. Рассказывают, что герцог возымел на него подозрение с того времени, как камердинер сей, будучи с ним на охоте, дал ему и всей многочисленной компании великолепный пир, без малейших к тому приготовлений и не имея при себе ничего, кроме маленького ящичка, из которого он брал все, что нужно было для пиршества. В тот же день Деборд приказал трем казненным ворам, которых трупы висели на виселицах, сойти с оных и потом опять возвратиться на прежние места. В другой раз он велел изображенным на обоях лицам отделиться от стен и стать посреди комнаты. Бедного Деборда судили формальным порядком и публично сожгли на костре.

Преследования колдунов продолжались еще в царствование Лудовика XIV и после оного. В Германии также, и уже после того, как возникла Реформация, во время Тридцатилетней войны и даже долгое время после оной, во всех концах, у католиков и лютеран, публично жгли ведьм,— и число сих жертв самого непростительного суеверия теперь кажется нам неимоверным!

Древние не так жестоко поступали с колдунами, хотя и у них встречаем мы примеры людей, осужденных на смерть за волшебство. Тацит рассказывает, что Тиберий обучался магии и потом, осудив на смерть всех волшебников, вместе с ними велел умертвить и учителя своего Фрасивула. Во времена Клавдия также казнили одного римлянина за волшебство. Павзаний говорит, что в Афинах учреждено было особенное судилище для отыскания и наказания волшебников. Но примеры смертных казней у них не так были часты, хотя суеверие это для них, погруженных во мраке идолопоклонничества, извинительнее было, нежели для нас. Признаюсь, что я имею некоторое

пристрастие к древним; и потому, может быть, повести римлян и греков о ведьмах и привидениях для меня несравненно занимательнее всего, что в теперешнее время о том пишут и рассказывают.

— Часто ли,— спросил я у Двойника,— в их творениях встречаются подобные рассказы?

— Весьма часто,— отвечал он.— В то время вовсе не знали так называемых крепких умов (esprits forts). Как подумаешь, любезный Антоний, как с тех пор свет переменился! Тогда славнейшие мудрецы боялись отвергать то, чего не понимали; а теперь — посмотрите на детей, едва из школы вышедших: они никому и ничему не верят, никого и ничего не боятся; а что касается до отвлеченных предметов, так им море по колено!

— Не верьте этому, почтенный Двойник! не верьте, пожалуйте! Бедные дети принимают только на себя вид крепких умов, между тем как у них совсем иное на душе. Виноваты не они, а родители и воспитатели, которые не умеют ни укрощать самолюбия их, ни давать правильное направление неопытному и пылкому их уму. Но я прервал начатый вами разговор о древних. Весьма бы мне приятно было, если бы вы рассказали какое-нибудь древнее происшествие о привидениях или колдовстве.

— Вы уже слышали от меня,— отвечал Двойник,— приключение двух аркадян, о котором повествует Цицерон. Оно почерпнуто им из Спевзиппа. Ту же самую историю рассказывает Валерий Максим с небольшими отступлениями. Вообще, сказать можно, что в редком авторе не найдете вы чего-либо касательно сего предмета. Геродот — кроме других этого рода анекдотов — рассказывает о привидении, являвшемся два раза Ксерксу пред войною персов с греками. Плутарх, Аппиан и Флор упоминают о явлении, которое видел Брут. Плиний рассказывает даже, что к одному из собственных его невольников неоднократно лазило привидение в окно для того, чтоб остричь ему волосы... Приключения с мертвецами, которые беспокоят живых, потому что кости их не погребены, также очень часто у них встречаются. Тот же Плиний с большими подробностями рассказывает случившееся с философом Афенодором, который, прибыв в Афины, нанял за весьма дешевую цену дом, остававшийся долгое время без жильцов по той причине, что в полночь приходило туда привидение в образе сухого и угрюмого старика в цепях, с длинною бородою и всклоченными волосами. Афе-

нодор переехал жить в тот дом и узнал от старика, что кости его зарыты на дворе. На другой день их отрывают, погребают торжественно — и с того времени в доме сделалось спокойно.

— Если вы желаете иметь сведения о тогдашних ведьмах,— продолжал Двойник,— то можете оные почерпнуть также из творений древних авторов. Читали ль вы «Золотого осла» Апулеева?

— Нет,— отвечал я.

— Жаль,— сказал Двойник,— эта книга весьма любопытна во многих отношениях. На русском языке есть перевод Кострова, напечатанный в Москве 1780 года. Перевод этот довольно хорош, но писан языком грубым и ныне обветшалым. Если когда-нибудь вздумают сделать новое издание, то надобно будет, кроме исправлений касательно языка, выпустить несколько неблагопристойных сцен и выражений. В Апулее найдете вы, кроме любопытных подробностей о жизни древних, об Элевзинских таинствах и прочем, множество страшных историй, которые даже годились бы для баллад. Если вам угодно, я расскажу из него повесть об одном купце, по имени Сократе, зарезанном ведьмою, которая заткнула потом рану его грецкою губкою... Бедный Сократ, не заметив этого, ходил еще несколько часов и разговаривал с своими товарищами. Наконец он почувствовал жажду и лишь только выпил воды, как губка намокла, выпала из раны, и он без дыхания упал на землю... Я должен, однако, предварить вас, что история эта ужасна!

— Так лучше не рассказывайте,— прервал я Двойника.— Я не люблю ужасных историй.

— В таком случае расскажу вам другую повесть, тоже из Апулея. Телефрон на пиршестве у Биррены повествует следующим образом: «В молодости моей отправился я из Милета, чтоб видеть олимпийские игры и осмотреть все достопамятности славной вашей области. Прошед всю Фессалию, прибыл я, к несчастию моему, в город Лариссу, где бродил по улицам и старался сыскать себе пропитание, будучи весьма беден и не имея даже насущного хлеба. Нечаянно пришел я на площадь и увидел старика высокого роста, который стоял на камне и громким голосом кричал народу: «Если кто согласен стеречь мертвого, тот пусть со мною торгуется о цене». С удивлением спросил я у одного из проходящих: что это значит? «Неужели,— сказал я ему,— в стране вашей мертвецы уходят?» — «Молчи, мо-

лодой человек! — отвечал он.— Ты, видно, иностранец и не помышляешь о том, что находишься среди Фессалии, где волшебницы обыкновенно обезображивают лицо у мертвых и уносят некоторые части тела для своих чар!» Слова эти еще более возбудили мое любопытство, и я опять спросил у него: «Скажи, пожалуй, каким же образом у вас стерегут мертвых?» — «Во-первых,— отвечал он,— должно целую ночь стоять на карауле, не смыкая глаз, и пристально смотреть на лежащий перед тобою труп, ни под каким видом не оглядываясь ни на одну минуту; в противном случае эти проклятые старухи, превратившись в какое-нибудь животное, так искусно и проворно подкрадываются, что даже солнце не могло бы их приметить. Они обыкновенно принимают на себя вид собак, мышей, птиц, а иногда даже мух; между тем, силою волшебства своего, стараются погрузить в глубокий сон того, кто охраняет тело. Одним словом, невозможно описать всех хитрых уловок, употребляемых волшебницами для достижения своей цели... Несмотря на то, за эту опасную должность редко платят более пяти или шести золотых статиров. Но я забыл упомянуть еще об одном важнейшем обстоятельстве, а именно: если обязавшийся стеречь тело поутру не возвратит оного в совершенной целости, то у него самого насильно отрезывают те части, которые во время ночи украдены будут у мертвого».

Узнав обо всем обстоятельно, я смело подошел к старику и сказал ему решительно: «Полно тебе кричать; я готов стеречь твоего мертвеца,— скажи только, много ли я за то получу?» — «Шесть золотых статиров,— отвечал он.— Но послушай, юноша! — не забывай, что тебе поручено будет стеречь сына такого человека, который в целом городе считается из первых, и потому непременно ты должен охранить его от проклятых Гарпий».— «Экой вздор! — отвечал я смеясь,— разве ты не видишь, что я человек неутомимый и неусыпный. Уверяю тебя, что взор самого Аргуса не быстрее моего».

Старик, не сказав на это ни слова, повел меня в один дом, у которого большие вороты были заперты. Мы взошли на двор чрез маленькие задние дверцы, и он ввел меня в темный покой, где все окна были закрыты. Там увидел я женщину в черном платье, обливающуюся слезами. К ней подвел меня старик, сказав, что я берусь охранять тело ее мужа. Она откинула на обе стороны длинные волосы, закрывавшие лицо, которое, несмотря на печаль и

смущение, показалось мне прекрасным, посмотрела на меня пристально и сказала: «Прошу тебя убедительно, старайся как можно тщательнее исполнить принятую тобою обязанность!» — «Об этом не беспокойтесь,— отвечал я,— обещайтесь только дать мне еще сколько-нибудь сверх договоренной цены». Она согласилась и немедленно повела меня в другой покой, где лежало тело ее мужа, покрытое белою пеленою. Открыв его, она подозвала приглашенных нарочно для сего свидетелей и показала им, что тело нисколько не повреждено: нос на своем месте, глаза не испорчены, уши и губы целы и подбородок таков, как был прежде. Один из свидетелей между тем записывал все ее слова на таблице, к которой приложила она печать свою и удалилась.

«Милостивая государыня! — закричал я вслед за нею.— Прикажите дать мне все нужное!» — «А что тебе надобно?» — был ее ответ. «Мне нужна,— сказал я,— во-первых, большая лампада с достаточным количеством масла на всю ночь; потом несколько кружек вина и что-нибудь из кушанья, оставшегося от ужина».— «Как тебе не стыдно! — прервала она меня с досадою.— Ты требуешь остатков от ужина в таком доме, где с отчаяния уже несколько дней о кушанье и не помышляли. Или ты думаешь, что тебя сюда на пир позвали? Пристойнее бы тебе плакать и горевать вместе с нами,— потом подозвав служанку,— Миррена! — сказала она ей,— подай сюда тотчас лампаду с маслом». После того заперли меня с мертвым телом и удалились в другую часть дома.

Оставшись один для охранения покойника, я хорошенько протер себе глаза, чтоб приготовиться к новой своей должности, и от скуки начал петь, прохаживаясь по комнате. Между тем день склонился к вечеру, настала ночь, и повсюду водворилось глубокое молчание. Наконец, когда наступила полночь, вдруг объял меня страх и ужас! Я увидел маленького зверька, подобного кунице, который, вбежав в комнату, стал прямо против меня и так пристально вперил на меня острые глаза свои, что дерзость этой маленькой твари привела меня в смущение. «Убирайся отсель, мерзкая тварь! — закричал я,— убирайся в свою нору, пока не ушибу тебя!» Зверек тотчас убежал и скрылся от моих взоров. Потом вдруг объял меня такой сильный и непреодолимый сон...»

Тут вспомнил я обещание, данное нами друг другу, и, хотя против желания, прервал Двойника.

— Повесть ваша весьма любопытна,— сказал я,— и мне бы очень хотелось знать, что происходило после того, как Телефрон заснул, но мы обещались взаимно напоминать друг другу, как скоро заговорим о подобных предметах, и я должен исполнить свое обещание. Прошу вас, однако, на этот только раз, сделать исключение из правила.

— Нет, любезный Антоний! — отвечал Двойник.— Вы знаете русскую пословицу: не давши слова, крепись, а давши, держись; и потому никак на то не могу согласиться. А чтоб вы более меня не просили, я теперь же вам откланяюсь... Прощайте!

Вечер шестой

— Сегодня,— начал Двойник при свидании нашем в следующий вечер,— расскажу я вам истинное приключение, случившееся с одним москвичом, моим приятелем. Я тогда же написал оное с собственных его слов. Вот оно:

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДИЛИЖАНСЕ

Однажды вечером, в дружеской беседе разговор зашел об учрежденных по петербургскому тракту дилижансах. Некоторые из приятелей моих, собственным опытом дознавшие пользу и выгоды этого учреждения, хвалили оное; а молодой Р., которого пламенная привязанность ко всему русскому иногда доводит до несправедливых суждений, утверждал, что дилижансы наши гораздо превосходнее тех, какие существуют в чужих краях.

— Кареты,— говорил он,— несравненно покойнее, проводники учтивее. Главное же преимущество наших дилижансов пред иностранными состоит в скорой езде. Если дорога изрядная, то путешествие от Москвы до Петербурга не продолжается более трех суток; и вы согласитесь со мною, что такая скорость в чужих краях, особливо в Германии, показалась бы невероятною. Может ли быть,— продолжал он,— что-нибудь скучнее и утомительнее немецких дилижансов? Вообразите себе огромную повозку, запряженную высокими, длинными тучными аргамаками, которые от рождения своего никогда не бегали даже маленькою рысью. Нет! я однажды только испытал такое путешествие, да и то не рад был жизни. Сидя в огромном этом ящике, едва-едва подвигающемся вперед, я воображал, что нахожусь в лазаретной фуре... В самом деле, мол-

чаливые мои спутники походили на больных, которых везут в гошпиталь, и одно только разноголосное их храпенье, когда они спали, свидетельствовало о том, что я еду не с покойниками.

— Полно, братец! — прервал я молодого Р.— Qui dit trop, ne dit rien[1]. Я не езжал в русских дилижансах, но иностранные довольно мне известны. Правда, что они двигаются немного медленно, но медленность эта вознаграждается такими выгодами, которые едва ли можно найти в России.

— А чем бы именно? — спросил Р.

— Приятным обществом, весьма нередко встречаемым в иностранных дилижансах,— отвечал я.— Мне неоднократно случалось путешествовать в Германии, и скажу беспристрастно, что не проходило ни одного раза, чтоб не познакомился я с каким-нибудь человеком, занимательным по уму, просвещению или по крайней мере по оригинальности. Иногда встречались и такие знакомства, которых приятное впечатление и теперь, по прошествии десяти с лишком лет, не изгладилось еще из моей памяти.

— Скажи лучше, из твоего сердца,— подхватил Р.— Мне очень известно романическое твое воображение и страсть везде искать оригиналов, а таким тебе кажется даже тот, у кого кафтан необыкновенного покроя или криво застегнут. Длинная коса или запачканный табаком камзол достаточны, в твоих глазах, для того, чтобы поставить человека на степень оригинала,— и я нимало не сомневаюсь, что таких оригиналов ты находил в Германии много. Если же, вдобавок, случай привел сидеть тебе напротив или подле какой-нибудь круглоликой немочки, то не удивительно, что путешествия в Германии оставили приятное в тебе впечатление.

Все засмеялись; я закраснелся, посмотрел на часы,— и мы разошлись, не решив задачи: какие дилижансы лучше, наши или иностранные?

На другой день обыкновенная утренняя моя прогулка нечаянно довела меня до Мясницкой. Проходя мимо конторы дилижансов, я увидел карету, готовую отправиться в путь. Не знаю, вчерашний ли разговор побудил меня обратить особенное на нее внимание, или по другой какой причине,— довольно, что я очутился в конторе с твердым намерением ехать в Петербург.

---

[1] Кто много говорит, тот не говорит ничего (фр.).

— Много ли пассажиров? — спросил я у управляющего.

— В дилижансе занято одно только место,— отвечал он,— да вряд ли и будет более, потому что чрез час он должен отправиться, а никто не является.

Известие, что дилижанс пуст, почти отбило у меня охоту к путешествию; но сам не знаю почему, я вдруг решился записать свое имя и поспешил домой, чтоб приготовиться к отъезду. Не прошло еще часу, как я уже опять находился на Мясницкой. Спутник мой, закутанный в большом плаще, ожидал минуты отправления; мы сели в карету, ямщик ударил по лошадям,— и вот мы уже на пути к Петербургу.

Вы, верно, ожидаете, что дорогою приключилось со мною что-нибудь необыкновенное, достойное моего повествования, а вашего любопытства? Если так, то вы в совершенном заблуждении. Мы доехали до столицы Севера без малейшего приключения; лошади везде были готовы, дорога была прекрасная, ничего в экипаже не ломалось,— одним словом, я удостоверился, что дилижансы наши если не лучше, то по крайней мере не хуже иностранных. Но если и не встретилось со мною никакого происшествия, выходящего из обыкновенного порядка, то в замену сего знакомство с моим товарищем и рассказы его показались мне столь занимательными и необыкновенными, что по приезде в Петербург я немедленно написал в подробности все слышанное мною.

Садясь в дилижанс, я быстрым взором окинул моего спутника. Он показался мне человеком лет пятидесяти. Широкий плащ, которым он был закутан, препятствовал мне рассмотреть все черты лица его; но пламенные черные глаза являли душу пылкую и твердую, а густые навислые брови и глубокие морщины на высоком челе показывали мужа, испытанного горестями и несчастиями. Мне не нужно, кажется, упоминать, что при первом взгляде на незнакомого родилось во мне сильное желание с ним сблизиться. На приветствие мое он отвечал с учтивостию, в которой, однако, заметно было отвращение вступать со мною в разговор, и мы, сказав друг другу несколько слов, оба замолчали. По произношению его я тотчас отгадал, что незнакомец мой не русский. Он прижался к одному углу, а я к другому, и таким образом проехали мы первую станцию в совершенном безмолвии. От времени до времени я посматривал на него сбоку. Один

раз незнакомец вынул из кармана платок, раскрыл немного плащ, и я заметил у него в петлице знаки св. Лудовика и Почетного легиона. «Без сомнения, француз!» — подумал я и, по прибытии в Черную Грязь, поспешил выйти из кареты и спросить у проводника об имени моего спутника. Проводник подал мне подорожный лист, и я прочитал: «Отставной французской службы полковник Фан-дер-К...» Вот все, что мог я узнать о товарище моем в продолжение первого дня.

Настала ночь, и проводник велел остановиться, чтоб зажечь фонари. Фан-дер-К... вдруг обратился ко мне; на лице его изображалось беспокойство.

— Милостивый государь! — сказал он,— позвольте мне спросить, не будет ли вам противно, если фонари останутся незажженными?

Вопрос этот немного удивил меня, но я отвечал ему на французском языке:

— Нимало не противно, государь мой; для меня все равно.

— Мне весьма приятно, что вы говорите по-французски,— сказал полковник,— я свободнее могу объясниться с вами. Вы так снисходительны, что я осмеливаюсь еще просить вас, чтобы вы сами приказали проводнику не зажигать фонарей. Он вас, верно, охотнее послушается.

Я тотчас исполнил его желание; несмотря, однако, на настоятельные мои просьбы проводник никак не согласился.— Я должен оберегать экипаж и пассажиров,— был его ответ.— Ночь темная, и если случится какое несчастие, то мне беда будет.

Сопутник мой, по-видимому, слушал разговор наш с возрастающим беспокойством. Заметив наконец, что все старания напрасны, он тяжело вздохнул и сказал печальным голосом:

— Чувствительно благодарю вас за принятый труд; вижу, что делать нечего!

Пожелав мне покойного сна, он опять прижался в угол.

Сколь ни показалась мне странною просьба о незажигании фонарей, но я не мог никак решиться спросить о причине оной. В лице полковника, в словах его и во всей его наружности заключалось что-то таинственное, чего проникнуть я никакими догадками не мог, но что сильно увеличило желание мое познакомиться с ним короче. При слабом свете фонарей я видел, что товарищ мой

сильно был встревожен. Я слышал, что тяжелые вздохи вырывались из его груди; меня самого объяло уныние. Немного погодя он привстал и оборотился ко мне. Мне показалось, что он всматривается, сплю ли я? и я закрыл глаза. Он вынул карманные часы,— они пробили двенадцать.

— Боже мой! — сказал он вполголоса,— какая страшная ночь!

Притворившись спящим, я наблюдал за ним целую ночь: он провел ее в непрестанном беспокойстве; перед рассветом он успокоился и заснул. Тщетно старался я последовать его примеру; несмотря на усталость мою, сон убегал меня упорно.

Тверская мостовая разбудила моего товарища. Он пристально взглянул на меня.

— Вы почти не спали прошлую ночь,— сказал я ему.— Вы, конечно, нездоровы?

— Нездоров? — отвечал он.— Дай бог, чтобы я был нездоров! По несчастию, ничто меня не берет; здоровье у меня железное!.. Государь мой! — продолжал он по некотором молчании, заметив мое удивление,— поступки мои должны казаться вам странными, и если я вас обеспокоил, то надеюсь, что вы меня простите. Это совершенно было против моей воли. Я очень знаю, что общество мое должно для вас и для каждого быть тягостным,— и потому я никак бы не решился ехать в дилижансе, если б не полагал наверное, что буду один. В конторе мне сказали, что места никем не заняты; увидев вас, я подумал, что вы, может быть, займете которое-нибудь из наружных мест; а когда вы сели со мною в карету, то поздно уже было воротиться.

Я начал было уверять его, что он напрасно считает сообщество свое для меня неприятным; но он прервал меня на первых словах.

— Убедительно прошу вас оставить комплименты,— сказал он.— Я знаю самого себя. Если достанет у вас терпения выслушать меня до конца, то вы, надеюсь, обо мне пожалеете... Мы друг с другом не знакомы; внутренний голос говорит мне, однако, что вы добрый человек и примете во мне участие. Доверенность моя к вам самого меня удивляет; я никому на свете совершенно не открывался. Но, видно, так угодно судьбе.

— Полковник! — вскричал я, с жаром схватив его руку.— Не сомневайтесь в том, что доверенность ваша

относиться будет к человеку, умеющему ее ценить; и если в чем-нибудь я могу вам быть полезным, то за особенное почту счастие...

— Я уверен в вашей искренности,— отвечал полковник,— но никакая человеческая сила не в состоянии помочь моему горю. Повремените немного,— вы все узнаете! Если не ошибаюсь, мы здесь должны переменить лошадей. Рассказ мой будет длинен, и чтоб нам не помешали, я начну его, как скоро опять пустимся в дорогу.

Читатель легко себе может представить, с каким нетерпением я ожидал минуты, которая должна была сблизить меня с человеком, возбудившим во мне живейшее участие несмотря на недавнее знакомство .наше.

Лишь только экипаж наш подвинулся опять вперед, товарищ мой начал свое повествование.

— Вы видите пред собою,— сказал он,— человека, который бесспорно назвать себя может несчастнейшим из смертных. Но вы удивитесь, когда я скажу вам, что несчастие мое происходит от обезьяны!

— От обезьяны! — вскричал я с изумлением.— Вы, конечно, шутите!

— От обезьяны,— повторил полковник с тяжелым вздохом,— от обезьяны, которой судьба тесно сопряжена с моею... Увы! сколько уже прошло тому лет, как шутки не приходят мне на ум! Выслушайте меня, и странность эта объяснится.

Я родился на острове Борнео. Отец мой, прослуживший лучшую часть жизни республике Соединенных Штатов, взял наконец отставку и решился последние свои дни провести в Борнео, где за несколько лет пред тем женился. Я был младший из детей и от роду имел не более нескольких недель, когда отец мой, оставя службу, поселился в небольшом поместье. Дом наш с одной стороны имел вид на море, а с другой — прилегал к густому лесу, простирающемуся до неизвестных стран, лежащих посреди Борнео. И поныне еще ни один европеец не проникал в те места. Подвиг этот предоставлен, может быть, будущим векам; но до сего времени не удавалось никому преодолеть препятствия, повсюду встречающие смельчаков, которые отваживаются углубиться в непроходимые леса сего острова. На каждом шагу бездонные пропасти и ревущие потоки останавливают путешественника. Дикие звери грозят ему смертию со всех сторон, и во мраке непроницаемых

лесов каждый шаг может пробудить ядовитых змей, скрывающихся в густой, высокой траве. Одним словом, многократные покушения правительства победить препятствия, которыми природа оградила внутренность острова, до сего времени не имели иного последствия, кроме погибели большого числа людей.

Но ужаснейшие и лютейшие враги европейцев, отваживающихся на отчаянное это предприятие, суть большого рода обезьяны, которыми наполнены дремучие леса острова. Животные эти — в совершенную противоположность прочим зверям, которые более или менее боятся человека, — нападают на людей, не страшась даже огнестрельного оружия. Одаренные неимоверным инстинктом, они нападения свои производят как будто по обдуманному плану. Самые сильные из них, вооружившись толстыми дубинами, составляют главную линию атаки, между тем как бесчисленное множество прочих со всех сторон бросают в неприятелей камнями, и так метко, что ни один не пролетает даром. Иногда обезьяны, скрывшись в самых дальних ветвях необозримой вышины дерев, допускают пройти мимо своего убежища, потом с быстротою стрелы опускаются на землю, вскакивают на плечи, острыми когтями выдирают глаза и грызут голову.

Вот, любезнейший друг, каковы обезьяны в моем отечестве! Все природные жители острова и большая часть простолюдинов из европейцев твердо уверены, что обезьяны эти суть особенный род диких людей, одаренных умом; и в этом мнении они тем более утверждаются, что животные сии, столь лютые против взрослых мужчин, оказывают особенную привязанность к женщинам и детям, которых редко убивают, но стараются увлекать с собою во глубину непроходимых лесов своих. Многие, и весьма ученые, испытатели природы последнее это обстоятельство сначала поставляли в числе басен, но теперь никто не сомневается в справедливости оного, и я сам, по несчастию, могу служить неопровергаемым тому доказательством.

Полковник Фан-дер-К... замолчал; печальные воспоминания, казалось, сильно волновали его душу; наконец он ободрился и продолжал:

— Я сказывал вам, что мне было не более нескольких недель, когда отец мой поселился в поместье своем. Первые четыре года жизни моей не оставили никакого впечатления в моей памяти, и оттого единственно я могу назвать

их счастливыми, ибо все без исключения воспоминания мои, как острые ножи, раздирают мое сердце.

Мне минуло четыре года. В одно утро, когда я играл недалеко от родительского дому под присмотром няньки, толпа обезьян незапно показалась из лесу и нас окружила. На жалостный вопль устрашенной няни моей служители бросились к нам, но уже поздно! Хищники увлекли нас далеко в лес, и вскоре крик служителей совершенно потерялся из моего слуха. Участь няни моей осталась в неизвестности. Я не могу вспомнить ни времени, ни обстоятельств разлуки нашей. Сей первый период в жизни моей покрыт для меня туманом, и мне только представляется, как давно виденный сон, что похитители мои с удивительною скоростию бежали со мною. Обезьяна, державшая меня в лапах, вероятно, всячески старалась меня беречь; ибо, когда вскоре потом вся толпа остановилась на лужайке, окруженной густым лесом, меня, ничем не поврежденного, посадили на мягкую траву. Помнится мне, что животные эти подняли громкий визг и крик, и что, при появлении одной большой обезьяны, все утихли. Обезьяна эта взяла меня в лапы и унесла с собою.

Не знаю, что происходило со мною в первые дни моего похищения. Воспоминания мои сливаются в живые и ясные картины около того только времени, когда я уже совсем привык к новому образу жизни. Память моя представляет мне пространную и покойную пещеру, где я жил с обезьяною. Набросанный в углу мягкий мох составлял для нас покойное ложе, и воспитательница моя холила и лелеяла меня с чрезвычайною нежностию.

Не знаю, будут ли вам понятны чувства, поселившиеся тогда в душе моей... Не покажется ли вам странным, если я вам признаюсь, что за нежность воспитательницы моей я платил взаимною любовию? что на ласки ее отвечал я ласками? Не забудьте, что мне не более было четырех лет, и что в этом нежном возрасте едва развивающаяся душа не имеет еще той разборчивости, которая впоследствии столь резко отличает нас от прочих животных. Посмотрите со вниманием на дитя, которого вскармливают рожком: вы заметите, что оно нежность свою обращает к этому бездушному предмету, и тогда вам менее покажется удивительным привязанность моя к твари, одаренной некоторым умом.

Я провел более четырех лет в этом положении. Вскоре научился я с легкостию лазить на самые гладкие и высо-



кие пальмы, сбивать камнями плоды с дерев, прыгать чрез рвы,— одним словом, в прогулках наших я редко отставал от воспитательницы моей, которая любовалась моими успехами. Она не препятствовала мне отлучаться из пещеры одному, радовалась, когда я возвращался домой, и награждала меня нежными ласками, когда приносил я добычу, состоявшую в кокосовых орехах, бананах и других плодах. Странно, что другие обезьяны, встречавшиеся со мною, никогда не причиняли мне ни малейшего вреда; казалось, что дикий народ этот, так сказать, усыновил меня из уважения к моей воспитательнице.

Я совершенно забыл говорить; воспитательницу мою, не знаю сам почему, я прозвал Туту,— и она знала свое имя. Это был единственный звук, уподобляющийся человеческому языку. Впрочем, я во всем подражал моей воспитательнице: я визжал и пищал, как она. Во все время пребывания моего с нею родительский дом вовсе не приходил мне на ум; я был счастлив. Туту моя ни на одну минуту не изменялась в привязанности своей ко мне; я не понимал языка ее, но нежные ласки и горячая ко мне любовь ее понятны были сердцу младенца!.. Не помню в ней ни капризов, ни других признаков дурного или избалованного нрава. Скажу более: в продолжение целой жизни моей я мало встречал женщин такого кроткого и доброго характера, такой непринужденной любезности и ничем непоколебимой веселости. Увы! нравственные совершенства этой доброй твари усугубляют ужасную вину, которая до конца бедственной жизни моей, а может быть и долее, будет тяготить мою душу!..

В одно утро, по обыкновению, я отправился за добычею. Все, что в этот роковой день со мною приключилось, со всеми подробностями навсегда впечатлелось в моей памяти. Когда я пробежал довольно большое пространство, изощренный навыком взор мой открыл на самой вершине высокой пальмы птичье гнездо. Увидеть оное и взлезть на дерево было дело одного мгновения. Но как изобразить вам удивление, меня поразившее при виде, открывшемся предо мною! Глазам моим представилось море во всем своем величии. Необыкновенное это зрелище с первого взгляда поглотило все мое внимание. Я забыл о птичьем гнезде...

Темные и для меня еще непонятные картины теснились в уме моем. Нечаянно обратил я взор немного в сторону, и новый предмет с быстротою молнии зажег в душе

моей луч воспоминания о прежнем бытии. Это был родительский дом! Какая-то непобедимая сила заставила меня слезть с дерева и повлекла ближе, ближе к незнакомому предмету... Вышед из леса и подошед к дому, я увидел детей, сидящих перед оным и занимающихся невинными играми. Я остановился в недальнем от них расстоянии; они меня не замечали. Наконец я подошел еще ближе; жалостный вопль вырвался из груди моей, и я невольно протянул к ним руки.

— Маменька, маменька! — вскричала вдруг младшая сестра моя, девочка лет семи.— Подите скорей сюда, посмотрите, посмотрите!

Голос человеческий, голос сестры моей, слово «маменька!» разбудили в спящей душе моей давно забытые чувства; но я не мог еще понять оных. Добрая мать моя на крик детей к нам вышла и, увидев меня пред ними с распростертыми руками:

— Милосердый бог! — вскричала она,— это Фриц! — и бросилась ко мне! В одно мгновение окружили меня братья, сестры, отец, мать, служители. Матушка крепко прижала меня к сердцу; но я не умел отвечать на ее ласки. Рассказы родителей, впоследствии времени, дополнили в памяти моей понятие о том, что со мною происходило; но тогда я не понимал ничего... я стоял на одном месте как вкопанный, как бездушный. Темные воспоминания о прежнем существовании боролись во мне с привычкою к дикой жизни, с привязанностию к воспитательнице моей. Неизъяснимая горесть, соединенная с невольным страхом, вдруг стеснила мое сердце. Слабая искра давних воспоминаний, едва только во мне взгоревшаяся, потухла от сильного натиска диких чувствований, к которым привык я в лесу.

— Туту, Туту! — вскричал я, вырвался из объятий матери и больно укусил ее в руку... С трудом меня схватили, связали мне руки и ноги и отнесли в дом, где чрез несколько времени я успокоился.

Новое перерождение мое в человека совершалось хотя постепенно, но довольно быстро. В первую неделю я уже начал понимать слова родственников моих; вскоре после того я сам понемногу начал объясняться и тем несказанно обрадовал матушку, которая, по заботливой своей ко мне нежности, опасалась, что я навсегда лишился способности говорить. По прошествии трех или четырех месяцев по возвращении моем в родительский дом не осталось

во мне никаких следов дикости, кроме необыкновенной в летах моих силы, проворства и ловкости.

Долговременное пребывание мое в лесу не имело вредного влияния даже на умственные мои способности. Казалось, что судьба желала вознаградить с лихвою потерянное время; ибо успехи мои в учении так были велики и быстры, что вскоре я далеко превзошел всех детей одного со мною возраста. При всем том в глубине сердца моего сохранялась сильная привязанность к дикой воспитательнице моей; но я до сего времени не понимаю, по какому тайному побуждению я всегда старался скрыть чувство это от моих родителей? Может быть, это происходило оттого, что родители мои при всяком случае показывали сильнейшую ненависть к обезьянам. Несчастные эти твари внушают такой ужас всем вообще жителям острова Борнео, что убиение одной из них считается благополучным происшествием. Как часто младенческий ум мой тревожим был мыслию, что добрая моя Туту огорчается моим отсутствием и ищет меня повсюду: в любимых дуплах наших, в пещерах и ямах, которые часто были свидетелями взаимной нашей привязанности! Я ужасался, помышляя, что в поисках своих она может приблизиться к жилищу нашему; что жестокая пуля пронзит верное сердце ее, и что я увижу неодушевленный труп ее, с торжеством влекомый к нам в дом... Воображению моему представлялось, что в глазах моих благодетельницу мою — вторую мою мать — терзают безжалостно и окровавленные члены ее бросают на съедение голодным собакам... В эти минуты отчаяние сжимало юное мое сердце; я делался молчалив и не способен к учению, и любимые мои игрушки не в состоянии были меня развеселить! Мне слышался знакомый голос любезной моей Туту; мне казалось, что она манит меня к себе,— и я почти готов был возвратиться в лес.

Прошло около трех лет после возвращения моего к родителям. В один вечер все семейство наше, собравшись на прелестный луг перед домом, наслаждалось благорастворенным воздухом. Перед нами не более как в четверть версты расстилался лес, как густая зеленая занавесь. Вдруг пронзительный крик раздался к нам из лесу... Я вздрогнул; сердце мое узнало голос бедной Туту.

— Что это за крик? — спросила матушка.

— С некоторых пор,— отвечал мой родитель,— проклятые обезьяны опять являются около дому нашего. Но

я взял свои меры: у нас всегда в готовности заряженные ружья!

Я ужаснулся, мороз подирал меня по коже, волосы стали дыбом... Я бы рад был пожертвовать жизнию, чтобы только предостеречь мою воспитательницу; но за мною строго присматривали. Приблизиться к лесу мне не было никакой возможности; а если б и удалось обмануть бдительный надзор всех домашних, то как бы я мог объяснить ей опасность, которой она подвергалась? Отчаянье овладело мною при мысли о моем бессилии, и я горько заплакал! Отец мой взглянул на меня внимательно, шепнул что-то матушке на ухо... меня отвели домой и уложили спать. Кровать моя стояла подле самого окна; я слышал, как спустили с цепи собаку, как слуги ходили около дому и бренчали ружьями. Под самым окном моим один из них остановился,— стук шомпола и щелканье курка раздались в ушах моих. По мне выступил холодный пот... С растерзанным сердцем я сложил руки и целую ночь молился о спасении бедной моей Туту.

В продолжение нескольких дней не преставали стеречь обезьяну. Не могу описать вам мучительного положения, в котором я находился. Я должен был скрывать свои чувствования; никто бы их не понял; все с ужасом и омерзением говорили о предмете, наполнявшем мое сердце. Наконец родители мои, по-видимому, перестали опасаться; ночной караул не так уже стал строг и потом вовсе прекратился.

Однако я долго не мог успокоиться; мысль, что несчастная воспитательница моя будет поймана или убита, беспрестанно меня тревожила,— и всякий раз, когда я ложился спать, я прислушивался с трепетом, не услышу ли знакомого голоса. В одну ночь показалось мне, что кто-то тихо царапается в окно; я привстал с постели и при свете луны узнал мою воспитательницу. Как изобразить, что я почувствовал?.. Радость ее видеть, опасение, чтоб ее не поймали, попеременно волновали мою душу. Тихонько отворил я окно, она протянула ко мне лапу; с жаром схватил я ее и прижал к груди. Нежные ласки напомнили мне счастливую и беззаботную жизнь, которую проводил я в лесу. В сердце моем, как дальний отголосок, отозвалось желание возвратиться в пещеру; но любовь моя к родителям, к братьям и сестрам одержала верх над этим желанием. Мне тогда уже было одиннадцать лет; я начинал понимать свое достоинство, и, несмотря на привязанность

мою к бедной Туту, я чувствовал различие, существующее между человеком и обезьяною. Осыпав ее ласками, я старался объяснить ей знаками, чтоб она удалилась. Она как будто поняла меня,— с быстротою стрелы побежала прочь и вскоре скрылась из моих глаз.

С этого времени добрая Туту каждую ночь посещала меня, и долго свидания наши происходили без малейшего препятствия. Обыкновенно я ожидал ее прибытия; проницательный взор мой еще издали узнавал ее, несмотря на темноту ночи, и я заблаговременно отворял окно. Иногда сон преодолевал меня; тогда Туту легонько отворяла окошко, которого никогда я не запирал задвижкою, протягивала ко мне лапу и осторожно меня будила. Увы! сердце мое не предчувствовало ужасного происшествия, долженствовавшего прекратить наши свидания!

В один вечер я много резвился с братьями и сестрами и от усталости крепко заснул, лишь только лег в постель. Говорят, что сны предвещают нам будущее, и что душа наша, так сказать, отделяясь от тела, имеет способность открывать нам то, что наяву от нас бывает скрыто. Может быть, это справедливо; но я по крайней мере в тот день не испытал прозорливости души моей. Еще поныне живо помню тогдашний мой сон. Мне снилось, будто я играю с братьями и сестрами и будто Туту участвует в наших играх. Мне представилось, что никто из родных моих не чувствует к ней той ненависти, которая столько ужасала меня наяву; напротив того, все ласкали бедную Туту, и душа моя плавала в восхищении. Упоенный столь сладостным зрелищем, я бросился в объятия батюшки и со слезами благодарил его за оказываемую любовь... Вдруг страшный крик раздался в ушах моих; я проснулся и вскочил с постели! Предо мною стоял батюшка; ярость изображалась во всех его чертах; в левой руке держал он зажженный фонарь, в правой обнаженную саблю. Вдали слышал я жалостный вопль, который постепенно становился слабее и слабее... я узнал голос бедной моей Туту!

С трепетом взглянул я на батюшку.

— Мне не удалось убить проклятую обезьяну,— сказал он,— надеюсь, однако, что впредь она не будет тревожить твоего сна.

Матушка вошла в комнату.

— Что это значит? — вскричала она,— одеяло Фрица в крови!— Она бросилась ко мне.

— Это ничего,— отвечал батюшка.— Проходя мимо

его комнаты, мне послышалось, что кто-то отворяет окно; я выглянул из дверей и при свете луны увидел большую обезьяну, стоящую у Фрицова окна. Я побежал к себе, взял саблю и фонарь и, к счастию, успел возвратиться в самую ту минуту, как обезьяна, отворив окно, протягивала лапу к Фрицу.... Из всех сил ударил я саблею, и отрубленная лапа отлетела прочь, а обезьяна скрылась в лес. Думаю, что у нее пройдет охота посещать Фрица!

Долго не мог я опомниться и не понимал, что со мною делалось; рассказ батюшкин все объяснил... С ужасом взглянул я на одеяло — отрубленная лапа бедной Туту лежала у ног моих... Я пришел в исступление! Батюшка концом сабли поднял лапу и бросил ее в открытое окно.

Не помню, что со мною далее происходило; думаю, что я упал в обморок...

На другой день батюшка и матушка всячески старались разогнать грусть, меня терзавшую,— но я не отвечал на их ласки. В сердце моем возродилось какое-то чувство, которое как бы отталкивало меня от них. Мне кажется, что я уже не так нежно любил отца моего... Я не мог не видеть в нем гонителя доброй моей Туту, которую я привык почитать своею благодетельницею! Ввечеру я вышел на крыльцо; воспоминание о вчерашнем дне стесняло мое сердце,— я хотел подышать чистым воздухом. На лугу перед домом большая дворная собака наша играла с каким-то предметом, которого различить я не мог. Сам не понимаю, почему пришло мне в голову закричать «апорт!», и собака, приученная к повиновению, тотчас принесла ко мне в зубах — обгложенную лапу бедной моей Туту... я узнал ее и без чувств упал на землю.

Печальное это происшествие сделало глубокое впечатление на нрав мой; я перестал быть ребенком, детские игры нимало меня не забавляли. Я учился хорошо; но когда, в часы отдохновения, братья и сестры мои предавались веселости, свойственной их летам, я сидел один в задумчивости, и все старания родителей моих меня рассеять были тщетны. О бедной моей Туту я не имел никакого известия и не знал, пережила ли она последнее наше свидание.

Таким образом протекло несколько годов. Сестры мои вышли замуж, братья вступили в службу. Мне минуло восемнадцать лет, когда отец мой скончался; матушка вскоре за ним последовала, и я остался один — один с

своею тоскою... Я убегал знакомства с соседями; во всей окружности меня знали под именем Молчаливого Фрица. Время мое делилось между чтением и обработыванием сада моего. Иногда я ходил гулять и всегда один; на плече у меня висело ружье, но единственно потому, что на острове Борнео все жители таким образом вооружены. Впрочем, в этих уединенных прогулках никогда мне не случалось употреблять свое оружие. Часто я углублялся в лес, но и там бродил в совершенной безопасности. Казалось, будто между мною и страшными для прочих жителей обезьянами заключен был тайный союз, который препятствовал им нападать на меня.

Однажды я сел отдохнуть под высокое кокосовое дерево. Мне послышался шорох, происходящий на самой вершине. Я поднял голову и увидел большую обезьяну, медленно спускающуюся ко мне. Зрелище это, которое всякого другого привело бы в ужас, нимало меня не обеспокоило. Я пристальнее стал всматриваться,— сердце мое сильно билось... Я заметил, что у обезьяны недоставало одной лапы, и все сомнения мои исчезли: это была Туту! Бедная тварь меня узнала; она бросилась ко мне, визжала, прыгала и всячески старалась изъявить свою радость. Я отвечал на ее ласки и не мог удержать слез, видя ее изувеченною и вспомнив, что привязанность ко мне была причиною ее несчастия.

Полковник немного помолчал и печально взглянул на меня. Заметив, что я растроган его рассказом, он пожал мне руку и продолжал:

— Я уверен, что вы не осудите меня, если я вам признаюсь, что встречу эту я считал величайшим для себя благом. Лишенный родителей, разлученный с родственниками, не имея ни друзей, ни знакомых, мог ли я быть равнодушным к этому доброму животному, которое за меня так жестоко пострадало и, несмотря на то, любило меня с прежнею горячностию?

Всякий день ходил я в лес для свидания с бедною Туту: я видел в ней единственное существо, принимающее во мне участие, и привязанность моя к ней день от дня увеличивалась. Но теперь я приближаюсь к такой эпохе жизни моей, которой воспоминание раздирает мое сердце... дайте мне время собраться с духом...

Глубокая печаль выражалась в мужественных чертах полковника; я сам чрезвычайно был тронут. Рассказ спутника моего перенес воображение мое как будто в новый

мир, в котором все являлось мне в странном и необыкновенном виде. При всем том взаимная друг к другу привязанность полковника и Туту для меня была понятна. Я вспомнил, как часто случалось мне видеть, до какой степени может простираться в человеке страсть к лошадям, собакам, кошкам и другим животным! И страсть эта, иногда поглощающая священные чувства родства и дружбы, обыкновенно не основана на тех побудительных причинах, которые привязанность Фан-дер-К... к обезьяне соделывали достойною уважения. С нетерпением ожидал я продолжения; но полковник весь тот день провел в унылой задумчивости, которую прервать не имел я духу. Эта ночь еще была беспокойнее первой. Я наблюдал за ним со вниманием; мне казалось, что он видит пред собою какой-нибудь предмет, его ужасающий. Он что-то говорил вполголоса; я не мог различить слов его, но мне слышалось неоднократно имя его воспитательницы — бедной Туту.

На другой день товарищ мой продолжал рассказ свой таким образом:

— Сколь искренно ни любил я добрую Туту, сколь ни казалась для меня утешительною привязанность единственного существа в мире, которое принимало во мне участие, однако она не могла удовлетворить вполне требований души моей. Я достиг уже тех лет, когда сердце юноши начинает биться иным против прежнего размером; когда воркованье горлицы и страстная песнь соловья для него становятся понятными; когда журчанье вод, шорох листьев, аромат цветов говорят ему языком таинственным и вместе с сладкою тоскою вливают новую, еще не разгаданную жизнь в алчущую грудь его. И во мне возродились чувства, дотоле неизвестные, и волнения одинокого сердца моего повлекли меня к людям, которых прежде убегал я упорно!..

На острове Борнео 20 февраля, в день Льва Катанского, празднуют ежегодно собирание плодов, которые в это время бывают обильнее, нежели в прочие времена года. В этот день большая часть жителей собирается на берегу моря на пространном лугу, усеянном тенистыми деревьями. С самого восхождения солнца молодые люди обоего пола в прохладной сени занимаются разными играми или при звуке музыки кружатся в веселых плясках. Старики и старухи, сидя на мягкой мураве, смотрят на веселую беспечность детей своих, с удовольствием воспоминая о протекшей молодости. Настает время обеда, и общество

разделяется на разные группы. Богатые разноцветные ковры расстилаются по зеленой ниве, и заботливые хозяйки расставливают привезенные с собою съестные припасы.

Молодые люди посещают рассеянные по всему лугу семейственные круги, и везде их принимают с непринужденным гостеприимством. Со всех сторон слышны радостные песни. Весь тот день посвящен веселости, и вы не увидите ни одного печального лица. У кого грусть на сердце, тот или забывает ее на время, или остается дома. Когда солнце начнет склоняться к западу и вечерняя прохлада расстилается по воздуху, тогда все собираются в полукруг; посреди оного возвышается высокий гладкий шест, на вершине которого блестит вызолоченный деревянный орел с распростертыми крыльями.

Пылкие юноши, побуждаемые нетерпеливым желанием отличиться, наперерыв стараются показать свое искусство перед зрителями и из самопалов бросают в орла тупые стрелы. Вскоре орел разлетается на части; голова, крылья, ноги, хвост упадают на землю, и на шесте остается крепко утвержденное туловище птицы. Тут начинаются другого рода игры. Должно с одного приема взлезть на гладкий и зыбкий шест, снять с вершины остаток орла и с ним спуститься на землю. Действие это требует особенной ловкости и силы и редко кому удается. Победитель из рук прекрасной девушки, при радостном крике зрителей, получает венок, сплетенный из цветов и сопровождаемый поцелуем.

Настало 20 число февраля. С утра мне не приходило в голову участвовать в общем празднике. По обыкновению моему, я бродил по лесу, стараясь разогнать грусть, меня терзавшую. Нечаянно приблизился я к лугу... Издали слышен был громкий крик и радостные песни веселящегося народа; во мне родилась мысль идти далее. Долго желание это боролось с робостию; наконец я решился подойти ближе и остановился в нескольких шагах от одной веселой группы. Мне показалось, что приход мой изумил всех; начали пошептывать между собою, и я хотел было возвратиться назад в лес,— как вдруг одна дама, немолодых уже лет, отделилась от других и подошла ко мне.

— Это вы, Фриц? — сказала она, взяв меня за руку, и я узнал в ней приятельницу дома нашего, которая при жизни матушки часто у нас бывала и знала меня в малолетстве.

Воспоминание о доброй моей матери, которая так нежно нас всех любила, и чувство теперешнего моего сиротства

и одиночества меня чрезвычайно растрогали. Слезы навернулись на глазах моих; я поцеловал у нее руку и не в силах был противиться приглашению занять место в веселом кругу ее семейства. Все приняли меня с непринужденною учтивостию; девицы приветствовали нового гостя с ласковым добросердечием, между ними была младшая дочь хозяйки, прелестная Амалия... Ах, друг мой! зачем жестокая судьба в тот день против воли привела меня в круг людей, которых до того времени избегал я по какому-то унылому предчувствию! Зачем взоры мои при первой встрече с Амалией невольно искали ее взоров? Зачем голос ее, и только один ее голос при первом поражении слуха моего привел мое сердце в трепет и наполнил его неизъяснимым чувством сладостной грусти?

Я сел подле нее... Мой друг! вы имеете чувствительное сердце; вы, верно, любили! Увольте меня от описания того робкого недоумения, той сладостной надежды и страстного восхищения, которые попеременно наполняли и волновали мою душу! Я мало говорил с Амалией, но мы скоро поняли друг друга...

Начались обыкновенные игры. Все собрались в пространный полукруг около шеста. Амалии назначено было вручить венок счастливому победителю. Молодые люди, вооруженные самопалами, с приметным рвением спешили окружить шест. Я горел нетерпением присоединиться к ним; робость меня удерживала. Один раз я схватил самопал, но руки мои задрожали, и я принужден был отдать его другому. Вскоре орел разлетелся на куски. На вершине шеста осталось одно туловище... Счастливец, которому удастся его снять, должен получить из рук Амалии венок, сопровождаемый поцелуем! Я в первый раз видел Амалию; но кто, кроме меня, мог иметь право на этот венок — на этот поцелуй? Я твердо решился лезть на шест, но ноги мои прикованы были к земле. Я внутренно рвался с досады на самого себя, но не в силах был преодолеть свою робость. Между тем молодой человек, прекрасный собою, приближается; он скидает с себя кафтан, бросает страстный взгляд на Амалию — и смело обеими руками хватается за шест. И я взглянул на Амалию — и задрожал от ревности... Я посмотрел опять на шест; молодой человек поднимался кверху... Голова моя закружилась, я бледнел и краснел попеременно... Вот уж он приблизился к самой вершине; он протягивает руку, дотрогивается до орла... Глаза мои затмились, я не мог смотреть долее... я ничего не видел. Вдруг

раздался крик зрителей. Поднимаю глаза... соперник мой не мог удержаться наверху и быстро скользил к земле... Орел еще был на шесте. Опять я взглянул на Амалию, и она глядела на меня улыбаясь. Улыбка эта меня оживила; я страшился, чтоб кто-нибудь другой меня не предупредил. Одно мгновение — и я стою у шеста; еще один взгляд на Амалию — и я поднимаюсь кверху... Чрез несколько секунд достиг я вершины, снял орла и спустился с ним вниз. Тут встретили меня рукоплескания зрителей; но они едва касались слуха моего и не доходили до сердца; оно занято было одним только чувством... предощущением поцелуя Амалии! Я бросился к ее ногам; она упала в мои объятия,— мы оба забыли о венке...

С этого рокового вечера началась совершенно новая для меня жизнь. На другое утро рано я был уже в доме Амалии: меня приняли ласково, как старинного друга, как близкого родственника. Не прошло еще двух недель, как я сделался женихом Амалии; свадьбе нашей назначено быть чрез два месяца.

Дни протекшего счастия! Вы, как молния, пролетели мимо меня и в быстром полете своем навсегда истребили спокойствие моей души!.. Зачем не разрушили вы и памяти моей? зачем не увлекли с собою воспоминания, что я некогда был счастлив?..

Мой друг! я действительно тогда был счастлив. Весь день проводил я с Амалиею, кроме нескольких минут по восхождении солнца, посвящаемых той, которая, после Амалии, для меня всего дороже была в мире. Вы отгадаете, что я говорю о бедной Туту. Всякое утро ходил я в лес; всякое утро Туту меня там встречала. Казалось, что она меня еще более любила с тех пор, как я, познакомившись с Амалиею, не так долго, как прежде, оставался с нею. Одна мысль меня тревожила,— одного только недоставало к совершенному моему благополучию: Амалия не знала связи моей с Туту, и я не мог решиться ей о том сказать.

Я имел случай заметить, что и она питала такую же ненависть, такое же отвращение к большим обезьянам, как прочие жители острова Борнео. Однако я ласкал себя надеждою, что любовь ее ко мне преодолеет это предубеждение, и при первом удобном случае намерен был поговорить с нею.

Однажды, когда пришел я к Амалии, мне показалось, что она не так ласково меня приняла, как обыкновенно.

Не зная, чему приписать это, я с нетерпением ожидал минуты, когда мы будем одни. Она, казалось, и сама того желала, ибо вскоре потом пошла в сад, куда и я за нею последовал. Лишь только мы вошли в уединенную аллею, Амалия обратилась ко мне.

— Фриц! — сказала она,— мы недавно знакомы друг с другом, но я люблю вас нежно,— вы это знаете! Скоро настанет день, в который священный обряд должен соединить нас неразрывными узами. Теперь еще время одуматься,— тогда будет поздно...

— Что вы говорите, Амалия? — прервал я ее с жаром.— Что с вами сделалось?

— Выслушайте меня спокойно,— отвечала она.— Мы дали слово принадлежать друг другу; но я скорей соглашусь от вас отказаться, нежели быть виною вашего несчастия... Дайте мне договорить, Фриц! Я знаю, что вы любите другую...

У меня не стало терпения ее выслушать.

— Амалия! — вскричал я,— любезная Амалия! Я вас не понимаю. Кто мог внушить вам такое гнусное мнение обо мне? Как! я люблю другую?..

— Неоткровенность эта,— сказала Амалия со слезами,— почти обиднее для меня, нежели неверность ваша. Не думайте обманывать меня далее; я докажу вам, что мне известно все... Я знала, что вы всякое утро один ходите в лес, и любопытство побудило меня стараться узнать, какие вы к тому имеете причины. Сегодня, еще до света, я уже была близ дома вашего; солнце взошло, и я увидела, как вы приближались к лесу, как оглядывались на все стороны, опасаясь, чтоб вас кто-нибудь не приметил; я следовала за вами и спряталась за дерево. Ах, Фриц! я увидела, что вы с нетерпением кого-то ожидали; на лице вашем написано было беспокойство... Я дрожала как лист от страха и от мучительной неизвестности... Наконец, вы увидели кого-то вдали, и печаль ваша превратилась в восхищение. «Вот она!» — вскричали вы громко, бросились далее в лес и скрылись из глаз моих... Слово «она» открыло мне тайну вашу, Фриц!.. Вы меня обманули!

— Милая, любезная Амалия! — вскричал я и упал к ее ногам.— Теперь настала минута совершенно открыть вам мое сердце; но не вините меня в неверности! Вы все узнаете... Та, с которою имел я сегодня свидание, которую посещаю всякое утро в лесу, не женщина!

— Что вы говорите, Фриц? Возможно ли?

— Точно так, любезная Амалия! Выслушайте меня с терпением; давно желал я открыть вам эту тайну.

Мой друг! мы сели на дерновую скамью, и я рассказал Амалии происшествия жизни моей с того времени, как обезьяны меня похитили и утащили в лес. Я старался описать ей живейшими красками все добрые качества Туту, чтоб возбудить в ней участие к бедной этой твари. Я не мог удержаться от слез, когда говорил о том, как она пострадала за привязанность свою ко мне; наконец, я рассказал, как после долговременной разлуки мы опять увиделись,— как в продолжение нескольких лет Туту была единственным предметом, наполнявшим мое сердце.

— О Амалия! — сказал я, кончив мой рассказ,— вы добры и чувствительны; вы не пожелаете, чтоб я заплатил гнусною неблагодарностию за оказанные мне благодеяния и любовь; вы не будете препятствовать моим свиданиям с Туту, а может быть, со временем я столько буду счастлив, что вы согласитесь ее видеть. Нежная, добрая Туту достойна любви вашей.

— Нет! — вскричала Амалия, с ужасом вскочив с скамейки.— Нет, Фриц! это уже слишком много. Видеть вашу Туту?.. Я думаю, я умерла бы от страха. Фриц! — продолжала она, заметив мое смущение,— рассказ ваш так меня поразил, что я не знаю, что вам отвечать. Дайте мне опомниться; я должна собраться с мыслями, с духом... Прошу вас, оставьте меня сегодня одну. Завтра мы будем продолжать разговор наш. Я, право, думаю, что я нездорова,— мне надобно отдохнуть.

Я не мог выговорить ни слова; поцеловал у нее руку и тихими шагами пошел домой. Мой друг! это был последний поцелуй, последнее свидание мое с Амалиею...

Несколько часов спустя после того мне принесли записку от Амалии. Записка эта — я должен признаться — дышала любовию; но между тем Амалия требовала,— решительно требовала, чтоб я совсем отказался от Туту... Она описывала мне ужас и омерзение, которые с малых лет ей внушены были к этим обезьянам.

«Никогда,— говорила она,— никогда, Фриц, я не буду в силах равнодушно смотреть на эту связь. Всякий раз, когда ты от меня удалишься, я буду думать, что ты спешишь к Туту, которая, несмотря на романическую твою привязанность, все-таки не что иное, как гнусная обезьяна! Одну из нас ты должен непременно оставить! Избирай между нами... Если ты хотя немного меня любишь, Фриц,

то выбор этот для тебя не будет затруднителен. Неужели ты променяешь меня на обезьяну?»

Мой друг! Вам известно, чем я был обязан бедной Туту; скажите, мог ли я согласиться на то, чтобы ее покинуть?.. Но я страстно любил Амалию; представьте же, в каком я находился положении! Я бросился в дом Амалии; там приняла меня ее мать.

— Я все знаю,— сказала она,— говорите, на что вы решились?

— Я пришел просить Амалию сжалиться над бедною Туту!..

— Государь мой! — отвечала она,— если б дочь моя была столько слаба, что согласилась бы делить любовь вашу с обезьяною, то я бы до того не допустила. Чего не должна я опасаться вперед, когда и теперь уже вы для невесты не можете пожертвовать такою мерзкою тварью? Нет, государь мой! вы не увидитесь с Амалией до тех пор, пока не дадите честного слова, что связь ваша с обезьяной навсегда прекратилась!

Она ушла, а я с отчаянием в сердце возвратился домой.

Остаток дня того провел я в мучительном беспокойстве. Сделаться неблагодарным против моей воспитательницы мне казалось невозможным; да и как мог я ее оставить? Я твердо был уверен, что Туту, как скоро я прекращу свиданья наши, решится выйти из лесу; и тогда она подвергнется неминуемой гибели... С другой стороны, как мог я отказаться от Амалии, которую любил я страстно, которую неоднократно клялся любить вечно?.. Ах, друг мой! я был в ужаснейшем положении!

Во всю ночь я не мог сомкнуть глаз ни на одну минуту. Рано поутру, лишь только солнце озарило остров, я встал с своего ложа, по обыкновению моему накинул ружье на плечо и пошел в лес. Там встретила меня Туту. Бедная Туту старалась веселыми прыжками и ужимками показать, как она рада была меня видеть! Но я стоял перед нею как вкопанный, с поникшею головою. Туту не привыкла видеть меня в таком положении; она еще более начала ко мне ласкаться и нечаянно дернула лапою за шнурок, на котором висел у меня на шее портрет Амалии; он упал на землю... Мой друг! я взглянул на прелестные черты ее; потом невольно посмотрел на Туту, и в эту минуту Амалия в сердце моем взяла верх над обезьяною. Я поднял портрет и в первый раз в жизни оттолкнул от себя Туту; потом

отворотился от нее и хотел выйти из лесу. Я намерен был идти к Амалии. Сделав несколько шагов, я оглянулся... Туту тихонько шла за мною; я закричал на нее с досадою, еще сделал несколько шагов, опять оглянулся и увидел, что она все за мною следует... Тут бешенство овладело мною... Я представил себе, что она в состоянии сыскать меня даже у Амалии... Мысли мои помутились... Я сам не знал, что делал. Ружье было заряжено; одно мгновение — раздался выстрел... бедная Туту пала к ногам моим, и я в то же время упал на землю, лишенный памяти...

Не знаю, сколько времени продолжался мой обморок. Когда я пришел опять в себя, Туту лежала подле меня, плавая в крови. Угасающий взор ее встретился с моим взором... Я бросился к ней, чтоб перевязать ее рану. Увы! уже было поздно! Она еще раз полизала мою руку — руку своего убийцы, и умерла в моих объятиях. Тут фурии отчаяния овладели мною... Я убил благодетельницу мою, вторую мою мать!.. Я ожидал, что земля разверзется подо мною; я недостоин был жить на свете. Сердце мое наполнилось ненавистью к Амалии; я стыдился и вместе ненавидел всех. Мне показалось страшно быть в отцовском доме: я боялся, чтоб он не обрушился над моею головою. Все меня пугало, все внушало мне ужас. Куда ни бросал я взоры, умирающая Туту представлялась моим глазам; везде я слышал ее голос... На другой день я отправился на французском корабле в Европу.

Не буду рассказывать вам подробно дальнейших похождений моей жизни... Я вступил в службу Французской республики, надеясь в пылу кровавых битв забыть Туту и заглушить упреки совести моей. Я искал смерти, но она упорно меня убегала... Везде, везде тень убитой Туту меня преследовала! В пылу сражения, когда пули летали мимо ушей моих, свист их казался мне визгом бедной обезьяны. Ночью, когда товарищи отдыхали на биваках около огня, я один лежал с открытыми глазами; образ Туту показывался мне и в темной дали, и в дыму, клубящемся над огнем бивак, и в уединенном облаке, отделяющемся от темного неба. Когда утомленные вежды мои смыкались,— я незапно пробуждался и видел лежащую подле меня Туту, плавающую в крови и лижущую мои руки... Ах, мой друг! вы мне, верно, не поверите — да и собственный мой рассудок тому противится,— но я не могу не думать, что тень, меня преследующая, есть тень моей бедной Туту. Иногда, особливо в глухую пол-

ночь, я вижу ясно образ моей Туту; я ощущаю ее ласки; мне кажется... нет! мне не кажется, а я точно чувствую, что она лижет мою кровожадную руку...

Так кончил рассказ полковник Фан-дер-К... Я не отвечал ему ни слова. Тогда день клонился к вечеру, и мне самому показалось, что, кроме нас обоих, в карете находится еще третье существо, которого глаза мои различить не могли. Настала полночь, и мне послышалось, что кто-то царапает по стеклу окна... Я прижался в угол, закрыл глаза; однако заснуть не мог. Во всю ночь тяжкие вздохи полковника и визг бедной Туту раздавались в ушах моих.

На другой день, рано поутру, мы прибыли в Петербург; я расстался с Фан-дер-К... и с тех пор не видал его. Говорят, что он вскоре потом поехал в Новую Голландию, где съеден был дикими... Мир тени его! Лучше быть съедену дикими, нежели мучиться угрызениями совести.

— Рассказанную вами теперь повесть,— сказал я Двойнику,— охуждать я не буду как из свойственной мне учтивости, так и потому, что она действительно показалась мне довольно занимательною. При всем том не могу не заметить, что все рассказы ваши немного отзываются какою-то оригинальностию, которая не всякому понравится. Намедни говорили вы о графе, который помешался в уме оттого, что влюбился в куклу. А теперь и того лучше... Полковник — военный человек, привыкший к ужасам войны,— сходит с ума оттого, что когда-то застрелил обезьяну!.. Воля ваша, почтенный Двойник, а такие происшествия что-то не в природе!

— Не в природе? — вскричал Двойник,— я вижу, любезный Антоний, что вы не очень внимательно наблюдали природу человека. Нет деяния столь безумного, до которого не мог бы доведен быть человек, не умеющий обуздать своего воображения... Это говорю я относительно похождений графа N. Что же касается до полковника Фан-дер-К..., то безумие его (если так назвать это можно) происходило от иных причин. Фан-дер-К... мучила совесть — этот верный и строгий Аргус, которого сто глаз бдительно надсматривают за всеми поступками нашими, пока мы сами не усыпили его. Страдания полковника проистекли от неблагодарности его к Туту; а неблагодарность, любезный

Антоний, есть преступление столь гнусное, что чувствительный человек, имевший несчастие поступить так бесчеловечно с благодетельницей своей — хотя бы она была и обезьяна,— никогда не может быть покоен, если не найдет средств загладить вину свою! В свете на каждом шагу мы встречаем людей неблагодарных; но порок этот оттого не менее гнусен, что он обыкновенен.

— Согласен, почтенный Двойник, что смотря с этой точки на мучения Фан-дер-К..., их понять нетрудно. Не буду спорить с вами также и о том, что неблагодарность часто в свете встречается. Но согласитесь же и вы со мною, что, с другой стороны, столь же нередко встречаем мы людей, требующих благодарности, не имея ни малейшего на то права. Нет ничего обыкновеннее, как слышать упреки в неблагодарности, и я часто удивлялся бесстыдству некоторых людей, кои или требуют неистощимой признательности за самые маловажные услуги, или даже называют себя благодетелями за то, что в таком-то случае не столько нам вредили, сколько, по мнению их, они имели к тому возможности!

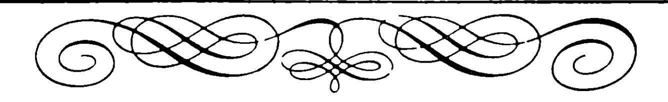
— И то и другое нехорошо, любезный Антоний; и для того-то поставьте себе за правило: за оказанные вам благодеяния или услуги считайте себя вечным должником, хотя бы вы имели счастие воздать за оные во сто крат; собственные же ваши услуги и благодеяния, как бы они ни были велики, считайте всегда безделками. Но пора нам расстаться; мы сегодня просидели долее обыкновенного.

— Прощайте, почтенный Двойник! Если б вы не так устали, то я бы желал узнать от вас: в самом ли деле обезьяны на острове Борнео таковы, как изображает их Фан-дер-К...?

— Охотно удовлетворю ваше любопытство. Но оставим до зав... тра... э... тот... раз... го... вор... Про... щай... те!..

Двойник исчез, и последние слова его так уже были невнятны, что я до сих пор еще не знаю, точно ли он их произнес, или мне только так показалось.

КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ



МОНАСТЫРКА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Солнце было на закате, и багрово-огненные лучи его, озаряя покрытый черными тучами небосклон, предвещали непогоду, когда ямщик мой остановил лошадей у довольно крутого пригорка и слез с козел, чтоб затормозить колесо.

— Далеко ли до Р**? — спросил я его.

— Да буде ще верстов з пьять добрых! — отвечал он.

— А дорога хороша?

— А тож! дорога гладка, от як тик; тилки пискив богато![1]

«Так не скоро же мы доедем,— подумал я, печально взглянув на четверку измученных лошадей, через силу тащивших легкую, открытую мою коляску.— Дай бог только, чтоб дождь не промочил меня до костей!»

Читателю, желающему знать, куда я ехал и почему так опасался дождя, да будет известно, что я спешил на крестины к знакомому мне помещику, жившему от меня верстах в семидесяти. Дней за пять перед тем он сам приезжал звать меня в крестные отцы родившемуся у него первому ребенку, и я принужден был принять его при-

[1] А как же! дорога гладкая, вот как ток; только песков много! (Здесь и далее примечания и переводы автора.— *Ред.)*

глашение, хотя в то время очень был занят важными для меня делами и потому внутренно сожалел, что выбор его пал на меня. Крестины, по особенному случаю, назначены были часу в восьмом утра, тотчас после ранней обедни, и мне непременно должно было прибыть туда накануне. Село приятеля моего находилось немного в стороне от столбовой Черниговской дороги, и я расчел, что для выигрышу времени мне выгоднее ехать на почтовых, нежели на своих, хотя таким образом делал я кругу более двадцати верст. «Станции в Малороссии теперь довольно исправны,— думал я,— и лошади везде хорошие; и так я легко могу совершить путь свой до сумерек!» В тот день погода была прекрасная, и я, завернувшись от пыли в шинель, сел в коляску и пустился в дорогу.

Человек предполагает, а бог располагает! — говорит пословица, справедливость которой я узнал тут на опыте. Не успел я проехать и половины дороги, как поднялся ветер, и в скором времени нагнал множество дождевых туч. Лошади попадались мне везде только что возвратившиеся с гону, и хотя на каждой станции, к утешению моему, предсказывали мне, что на следующей я найду *коней свижых,* но предсказания эти, к несчастию, не сбывались: лошади везде равно были утомлены от случившихся в то время частых разъездов курьеров и фельдъегерей. Наконец на предпоследней станции мне решительно объявили, что лошадей нет вовсе,— кроме одной курьерской тройки, которую дать мне было невозможно. С нетерпением выскочил я из коляски и спросил записную тетрадь писаря, чтоб удостовериться, что меня не обманывают. В Малороссии не на всех станциях есть казенные смотрители. Усастый, тучный украинец, не отвечая мне ни слова, покривил рот, почесал подбритую в кружок голову, медленными шагами вышел в другую комнату и минут через пять принес запачканный лист бумаги, вероятно, служивший ему, между прочим, для упражнения в чистописании, и на котором, кроме выписок из подорожних, нацарапано было так много постороннего, что надлежало иметь особенное искусство для извлечения из каллиграфического сего лабиринта того, что мне нужно было узнать.

— Что это за вздор? — вскричал я с досадою, бросив на пол поданную мне бумагу,— разве нет у тебя порядочной тетради?

Писарь хладнокровно нагнулся, поднял с полу бумагу и подал мне ее опять, не говоря ни слова.

— Что ж ты не отвечаешь? Нет у вас другой тетради?

— Не ма![1]

— Как «не ма»! Разве не приказано вам иметь всегда особую чистую книгу для внесения подорожень и означения вышедших в разгон лошадей?

— Эге![2]

— Ну!.. так зачем же ее нет?

— Э! пане! не все то робитца, що приказу́ють![3]

— Как! — вскричал я с возрастающим гневом,— ты, кажется, насмехаешься надо мною? Ты хвастаешься, что не все делается, что приказывается?

— Ни, пане, не фастаю!

— Как же ты смеешь не исполнять приказаний начальства?

— А колы в ме́не не ма бумаги, пане?[4]

Делать было нечего! Я принял опять запачканный лист из рук писаря, занялся разбиранием спутанного счета лошадей и открыл, что за действительным расходом и оставлением фельдъегерской тройки, десять лошадей должны находиться на станции.

— Где же эти лошади? — спросил я.

Писарь с прежним хладнокровием отвечал, что нет ни одной дома, что тройку взял сам содержатель станции, а остальных велел отдать под экипаж знакомой ему барыне, за несколько часов проехавшей к нему в гости, без подорожней. Тщетно грозил я пожаловаться начальству; флегматик писарь отвечал преравнодушно: «Як заугодно!»

Наконец флегма его вывела меня совершенно из терпения, и я,— признаюсь теперь в грехе,— потерял из виду, что добиваю уже пятый десяток лет. Мне вздумалось тряхнуть военною стариною, и я начал требовать лошадей неотступно, угрожая в противном случае жалобою, наказанием и — бог знает чем! Но лишь только я возвысил голос, как писарь мой притворился совсем глухим и, не обращая внимания на бесполезный крик мой, не отвечал ни слова. Чем громче я кричал, тем более он морщился, показывал пальцем на ухо и твердил только:

— Звыните, ваше благородие, я ничо́го не чую.

Угрозы мои не изменили ни одной черты неподвиж-

---

[1] Нет; не имеется!

[2] Выражение утвердительное: да! конечно!

[3] Э! сударь, не все то делается, что приказывают!

[4] А когда у меня нет бумаги?

ной физиономии упрямого украинца, и глухота его прошла тогда только, когда я успокоился и, решившись испытать иные средства, всунул ему в руку целковый. Тогда он поклонился низенько и объявил, что хотя лошадей у него действительно не имеется, но можно нанять пару у священника, а другую у шинкаря еврея, и таким образом доехать до следующей станции, где не будет, верно, никакой остановки, потому что там город и, в случае нужды, достать можно обывательских. Разумеется, что я охотно согласился. Не прошло получаса, как коляска моя, за двойные прогоны, была заложена тощею четверкою, и я отправился в путь, провожаемый низкими поклонами обоих хозяев, которые оба убедительно просили меня поберечь лошадей и ехать тише, чтоб их не загнать.

Просьбы сии, как я вскоре заметил, были совершенно излишние, ибо лошади шли обычным шагом, нимало не тревожась ударами ямщика, прельщенного обещанием на водку и всячески старавшегося понудить их прибавить хотя немного шагу. Таким образом дотащился я до того пригорка, у которого благосклонный читатель видел меня в начале сей главы.

Лошади мои, сбежав с пригорка маленькою рысью, продолжали путь тем же ровным шагом, какой принят был ими при выезде из станции. Углубленный в размышления о скорой и исправной нашей русской езде, коей — как гласят многие печатные книги — нет подобной в целой Европе, я было забыл о тучах, надо мною висевших, как вдруг полившийся крупный дождь вывел меня из задумчивости. Верх моей коляски — признаться немного подержанной — поднять было невозможно, и потому я, закутавшись крепко в шинель, должен был, для охранения себя от дождя, ограничиться желанием, чтоб непогода прекратилась. Но желания мои остались без исполнения: когда мы доехали до маленького города Р**, шинель и праздничный под нею кафтан промокли до последней нитки! Я поневоле решился остановиться тут на ночь, чтоб на другой день на рассвете отправиться к месту моего назначения.

— Слава богу! — вскричал я невольно громким голосом, когда коляска остановилась пред небольшим, по наружности чистеньким домиком, где, по уверению ямщика, я мог найти ночлег и отдых от утомительного путешествия. В окнах домика светился огонь, внутри слышен был звук гитары, сопровождаемый довольно приятным голосом, а в дверях ласково встретила меня старушка,

освещенная сальною свечкою, которую держал стоявший подле нее оборванный мальчишка. Слышанные мною еще прежде вступления в дом звуки малороссийской любимой моей песни: «Не ходы, Грыцю, на вечерныци», к тому же усталость от дороги и лихорадочная дрожь от дождя расположили меня заранее находить прекрасным все, что увижу я в этом доме; и расположение это нимало не изменилось, когда представилась мне на глаза певица довольно красивой наружности, которая при входе моем замолкла и, поклонившись с веселою улыбкою, положила гитару на стол.

— Это дочь моя,— сказала старушка полурусским и полуукраинским наречием,— она играет и на гуслях, да теперь они отданы в починку столяру. Довольно дорого мне стоило ее воспитание; да ведь нельзя же иначе! Сами вы знаете, наше дело дворянское.

В Малороссии мне во многих маленьких городках, на большой дороге лежащих, случалось останавливаться в трактирах такого роду, и везде почти я находил старушку хозяйку, молодую дочь и гитару; везде мне на первых порах хозяева намекали тем или другим образом, что они дворяне; везде также я — если о том осведомлялся у других — узнавал, что дворянство это довольно сомнительно, но об этом в другой раз! Шляхетные мои хозяева угостили меня очень хорошо, напоили чаем и подали вкусный ужин, после которого, пожелав им доброй ночи, я поспешил улечься на кожаной софе, чтоб поспать несколько часов.

Лишь только я потушил огонь и закрыл глаза, как почувствовал, что с головы до ног осыпан целым роем насекомых, коих пользы на свете, несмотря на все напряжения ума моего, я до сих пор еще не мог постигнуть. Конечно, трудно найти человека, который бы любил этих насекомых; но не легко тоже найти и такого, который бы до такой степени имел к ним отвращение, как я! С ужасом вскочил я с постели, зажег свечку и хотя издали, но с некоторым удовольствием, смотрел, как испуганные мои неприятели спешили скрыться в своих убежищах. Зная, что после того мне решительно невозможно будет сомкнуть глаза в этом доме, я охотно бы поискал другой квартиры: но в то время уже было поздно, и дождь шел проливной; к тому же ничто меня не удостоверяло, что на новой квартире я избегну этой язвы, и потому я принял намерение просидеть, не ложась, целую ночь.

Желая хотя немного разогнать скуку, начал я искать какой-нибудь книги для чтения, но поиски мои были напрасны. Между тем нечаянно попался мне в руки дамский рабочий мешок, или ридикюль, в котором, как мне показалось, были какие-то бумаги. От природы я не любопытен и очень хорошо знаю, что никогда не должно заглядывать в дамские ридикюли, а особливо читать без позволения хранящихся в оных бумаг; но пусть читатель вообразит себя на моем месте, и тогда он, верно, не строго меня осудит, если признаюсь ему, что я обрадовался этой находке. Не медля нимало, я начал опоражнивать мешок и, вынув из него носовой платок, ножницы, игольник, моток ниток, восковой огарок и завернутый в тряпке мозольный пластырь, наконец добрался до бумаг. Сначала разбор их мне показался не очень занимательным: несколько записок о забранном в лавке чае, сахаре и цикорном кофе; несколько счетов за обеды и ужины проезжающих; рецепт воды для умыванья — и два любовные письма, из которых, судя по слогу, одно было от дьячка, а другое от приходского учителя. Я хотел было положить мешок на место, как увидел еще пакет с письмами, которых почерк показался мне, при первом уже взгляде, отличным от прочих. Но как удивился я, усмотрев, что письма эти совершенно иного разбору, нежели другие бумаги, так что я понять не мог, какими судьбами они попали в мешок хозяйской дочери! По-видимому, они писаны были за несколько лет пред тем воспитанницею Смольного монастыря к ее подруге; но, без подписи, не представляли никаких подробных сведений о сочинительнице. Это еще более возбудило мое любопытство, и я с нетерпением ожидал утра.

На рассвете хозяйка крепко постучалась в мою дверь, полагая, что я еще сплю. Она изумилась, увидев меня на ногах, и никак не могла понять, отчего я не мог спать на софе. Она уверяла, что у нее в целом доме нет ни одного клопа, да и быть не может, потому что она имеет легкое и верное от них средство, а именно: всякий год, когда цветет конопля, расставлять по углам комнат по три свежих стебля. Не находя никакой надобности доказывать ей, что средство ее либо вовсе недействительно, либо не каждый год ею употребляется, я оставил ее в приятном заблуждении и принялся расспрашивать о найденных мною в мешке письмах; но она ничего о них не знала. Призванная на помощь дочь, узнав, о чем идет дело, нахмурила брови и

бросила на меня сердитый взгляд; но, пошарив немного в мешке, удостоверившись, что любовные послания целы, и ощупав сверх того положенную мною туда ассигнацию, успокоилась и приняла прежний умильный вид. Она рассказала мне, что письма эти забыты у них в доме года за два перед тем одною проезжею госпожою, которой имени она не помнит; что сначала была их целая связка, но что потом они растерялись. Вот все, что мог я узнать! Хозяйская дочь охотно согласилась подарить их мне, и я оставил дворянский трактир с твердым намерением употребить все старания, чтоб разведать подробнее о неизвестной сочинительнице писем.

Чтобы читатель мог видеть, основательно ли было мое любопытство, предлагаю на благоусмотрение его найденные мною в вышереченном мешке три письма.

Глава II

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Ах! Маша, милая Маша! Вот уж целую неделю я прожила у тетушки в Малороссии и все еще не привыкла! Что будет со мною вперед — не знаю! а теперь мне кажется, что никогда не привыкну ни к жизни этой, ни к этим людям! И во сне, и наяву мне грезится Петербург, и Нева, и монастырь, и ты, мой милый друг! и Р**, и С**, и Ф**, и все вы, добрые, незабвенные мои подружки! Ах, Маша! пиши ко мне; не забывай, что мы обещались вечно любить друг друга, когда еще были в *кофейных!* Сколько раз мы потом возобновляли это обещание и в *голубых* и в *белых!* Не забудь этого, моя Маша! А я теперь имею нужду в твоей дружбе — более нежели когда-нибудь: я чувствую себя здесь совершенно одинокою; кажется, как будто весь свет меня бросил, или я живу в другом свете! — Но ведь ты еще не знаешь, отчего мне здесь так грустно?

В продолжение целой дороги от Петербурга до Барвенова я, хотя беспрестанно думала о монастыре, но при всем том с удовольствием помышляла и о близком свидании моем с родными. Мне так хотелось видеть тетеньку и кузин! (Скажу мимоходом, что здесь я называю их сестрицами.) Я воображала, что тетенька будет похожа

на А**, а кузин я представляла себе: старшую, как Н** (которая теперь попала в пепиньерки), меньшую, как тебя, моя Маша, или по крайней мере как Р**. Как же я ошиблась в своих расчетах!

Мы прибыли в Барвеново довольно рано утром.

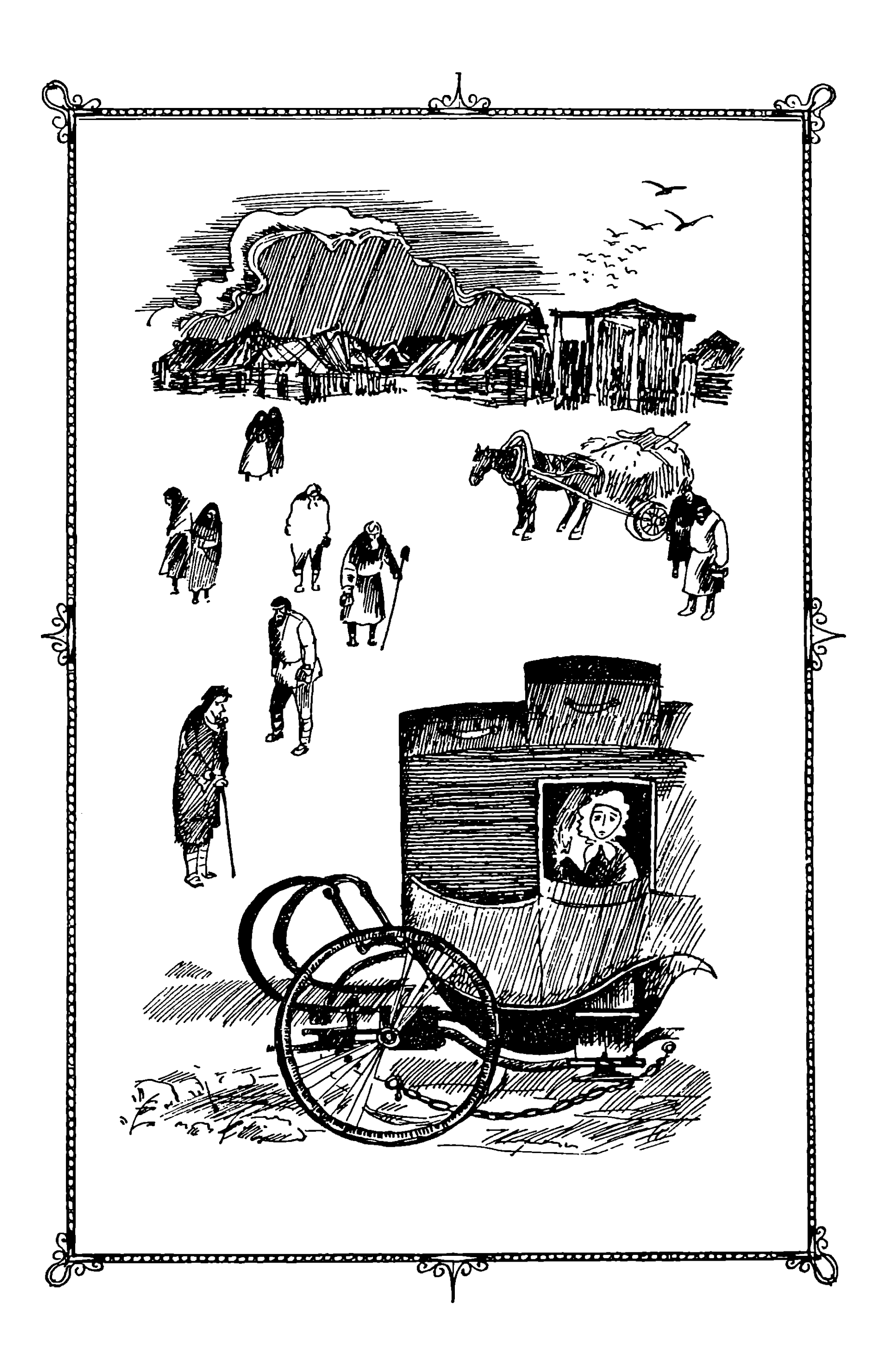
— Это Барвеново! — сказала мне с веселым видом женщина, которую посылали за мною в Петербург.

Я поспешно высунула голову из кареты, чтоб скорее увидеть это Барвеново, столько мне расхваленное дорогой... Ах, Маша! мне стыдно тебе признаться... Я думала, что Барвеново хоть немножко похоже на Царское Село или хоть на Каменный остров; а вместо того — поверишь ли? — таки нимало, нимало! Я увидела множество домиков низеньких, маленьких; вместо кровель на них коекак набросана была почерневшая солома... Все без труб, Маша, а иные так перевисли на один бок, что страшно смотреть... Улицы узкие, кривые, грязные!

«Так это Барвеново!» — подумала я, и сердце во мне забилось, точно как бывало в монастыре перед экзаменом. Из домиков выбежали дети и женщины: первые в изорванных рубашках, а последние почти тоже в одних рубашках, только носят они здесь род передников — кадрилье красные с синим и зеленым. Они низко поклонились (мне или карете — не знаю); и мужики, тут бывшие, тоже сняли шапки и низко кланялись. Ты думаешь, верно, любезная Маша, что мужики здесь такие, как в Петербурге кучера, или, может быть, как чухонцы, которые там продают масло? Совсем нет! На них длинные белые кафтаны и такие же шапки... шляп я здесь вовсе не видала, а голова у них, ma chère[1], совсем обрита, только наверху оставлен хохол. Впрочем они, кажется, *такие добрые!*

Мы переехали чрез узкую плотину и чрез мост, который был еще уже и притом без перил, повернули влево и взъехали на двор, прямо к крыльцу. Двор был полон людей; они все бежали за каретой и кричали: «Се наша панночка, се наша панночка!» Женщины и дети, следовавшие за нами с самого въезда в село, остановились на улице и смотрели на нас в ворота. На крыльце стояла дама высокая, толстая, седая, в большом мужском колпаке и в красной стамедовой юбке; на шее у нее накинут был ситцевый платок, едва прикрывающий плечи. Ноги ее, Маша! ноги были босы! Она подала мне руку, поце-

[1] моя милая *(фр.— Ред.)*.



ловала меня в губы и сказала: «Здорово, Галечка! Як же ти пидросла!»

Маша! не показывай никому моего письма: эта дама была — моя тетенька! (Здесь никто меня не называет Анютою... тетенька и сестрицы зовут Галечкой, люди почти все панночкой, а иные Ганною Трохвымовною, по батюшке. Они говорят, что Анюта или Галечка все равно; но мне это не нравится... пожалуйста, милая Машенька, никогда не зови меня Галечкою.)

Мы вошли в комнату небольшую, но довольно чисто прибранную: она бы мне нравилась, если б не так была низка, а то мне бывает в ней душно! Почти вслед за нами вбежали мои кузины. «От се дочки́ мои,— сказала мне тетенька,— се Праску́та, а се Гапочка!»

Они были в утреннем наряде, то есть волоса связаны широкою черной лентой, в черных салопах, без корсетов, и — пожалуйста, Маша! не рассказывай никому! — в больших кожаных сапогах! Впрочем, они *такие добрые!* особливо Гапочка мне нравится. Они очень друг на друга похожи и недурны собою, но только слишком толсты и краснощеки. Во всем монастыре у нас нет ни одной такой толстой, краснощекой, как мои кузины.

Мы скоро между собою познакомились. Они бог знает как рады были, что я приехала. Расспрашивали про Петербург, про монастырь, про балы — я даже устала от рассказов. Потом я принуждена была показывать им все свои платья — вот тут-то бы ты их послушала! Нынешние модные рукава им не нравятся, да и нельзя им надеть рукавов из газа: руки у них такие красные! Больше всего им полюбилась моя шляпка с перьями — знаешь, от m-me Xavier? Впрочем, у них более нарядов, нежели у меня, только без вкуса! Довольно жемчугу и брильянтов, но все старинные фасоны. Я советовала тетеньке послать в Петербург к m-r Дювалю или к Ремплеру, но она и слышать об этом не хочет. «Що ти городышь, Галя! — сказала она мне,— ти збылась с пантелыку!» (Это, по-здешнему, кажется, значит: ты с ума сошла.)

После обеда кузины повели меня по хозяйству, показывали винокурню, мельницу, амбары, подвалы и сарай, где откармливают свиней, Маша! — какие же они толстые! Кузины очень хорошо знают хозяйство; говорят, и я должна приучаться к этому...

Более всего мне надоел язык, которым здесь изъясняются. Поверишь ли, что я почти ничего не понимаю?

Вчера ввечеру сидела я в комнате и читала книжку; тетенька на крыльце разговаривала с винокуром. Ты не знаешь, что такое винокур, Маша? Это жид, который делает вино. Они много говорили о барде... я ничего не понимала, только слышала, что тетенька говорила. «Береги барду, береги барду!» — а жид отвечал: «Как зе, васе благородие, не берец; барда прекрасная, барда отлицная!» Я в Петербурге читала Жуковского сочинения и помнила, что он говорит о бардах... барда, в дистракции мне как-то представилось, что которую так хвалят, должна быть жена какого-нибудь барда, или поэта... и только что ушел винокур, я подбежала к тетеньке и просила познакомить меня с бардою. «А що тоби с нею робыть! — отвечала тетенька.— Я чу́ла, що миются бардой, щоб шкура була билие...» Ах, Маша! как же мне стыдно было, когда я узнала, что такое барда! Здесь барда не то, что у вас в Петербурге: здесь так называют гущу, которая остается на дне, когда делают вино!

Но ты, может быть, не поняла тетенькиных слов? Она сказала мне, если перевесть их на русское: «А что тебе с нею делать? Я слышала, что моются бардою для того, чтоб кожа сделалась белее...» Миются, по-малороссийски значит моются, а шкурой называют мою кожу, Маша!

Но тебе, я думаю, надоело и письмо мое, и малороссийское наречие. В другой раз я буду писать к тебе про тетеньку, как будто она говорит по-русски. Прощай, милая Машенька! кланяйся Р** и С** и поцелуй за меня Ф**. С будущею почтой опять к тебе писать буду.

P. S. Я забыла тебе сказать, что тетенька не целый день ходит босая, а кузины надевают сапоги только по утрам, особливо, когда на дворе грязно. К обеду они обыкновенно одеваются довольно порядочно: тетенька на голове носит шелковый темный платок, почти как у нас купчихи, только другим манером; а у кузин платьев довольно и все почти новые, только талии слишком коротки, и всегда они ходят без корсета. Я предлагала им свои, да им они не впору,— слишком узки. Прощай, любезная Машенька!

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Вот еще прошла неделя, любезная Маша, с тех пор как я сюда приехала. О Петербург! я никогда тебя не забуду. Какая разница между Петербургом и Барвеновом! Я успела познакомиться с нашими соседями, и познако-

милась довольно коротко. Здесь, Машенька, не так, как в столице: когда здесь с кем-нибудь познакомишься, так это не на шутку! Гости приезжают обыкновенно часу в десятом утра и остаются до поздней ночи, а иногда до другого дня. Тут нельзя не познакомиться коротко! С утра до ночи сидишь вместе, обо всем переговоришь, что есть на душе. A propos ma chére![1] сколько у тебя душ? Я до сих пор не знаю, может быть и ты сама еще о том не думала? Здесь это первый или второй вопрос, когда с кем познакомишься; я могла бы тебе рассказать, сколько душ у каждой из наших соседок. При этом случае я узнала, что и у меня их триста, в том числе около пятидесяти в бегах; только я еще не могла добиться, ma chère, куда они бежали и зачем.

Сначала разговоры эти казались мне очень странными; но теперь начинаю к ним привыкать. Вообще люди здесь все *такие добрые*, и мне очень жаль, если ты, судя по первому моему письму, их не полюбишь. Меня здесь все любят и ласкают, и только что узнали, что я приехала из Петербурга, как начали к нам съезжаться соседи одни за другими. Всякий день гости, так что у меня голова идет кругом. А как здесь много кушают, Маша! ты представить себе этого не можешь. Поутру пьют чай с сухарями и кренделями; потом, часа через два, сни́дают, то есть завтракают; потом обедают; после того полдничают; потом пьют чай и, наконец, вечеряют, то есть ужинают. Не думай, что я шучу, Маша! После ужина еще подают изюм, миндаль и разные варенья. Кроме того, кузины мои целый день грызут каленые орехи; я не понимаю, как у них зубы не ломаются!

Тетенька меня очень любит, и я тоже ее люблю; я просила ее, чтобы она не носила по утрам мужского колпака и не ходила босиком. Она за то не рассердилась, однако и не послушалась меня. «И матушка, и бабушка, и прабабушка ходили в колпаках,— отвечала она,— и я сама к тому с малолетства привыкла, а теперь, на старости, не кстати мне перенимать ваши моды. А что касается до того, что ты меня видела босиком, так сама ты в том виновата: я так обрадовалась, когда ты приехала, что забыла и чулки надеть!»

Тетенька мне все это сказала не так, как я к тебе пишу; но я обещалась в письмах своих не употреблять малорос-

---

[1] Кстати, моя дорогая! *(фр.— Ред.)*

сийского наречия; ты бы ведь ни слова не поняла, и я насилу понимаю! И это правда, ma chère, что тетеньку я с тех пор не видала босиком: она по утрам ходит в шерстяных чулках, но, правду сказать, без башмаков.

С каким нетерпением я ожидаю от тебя писем! Всякий раз, когда наш жид приезжает из города (здесь у всякого помещика есть свой жид), бегу к нему навстречу... Мне кажется, что я в состоянии буду его поцеловать, когда он привезет мне от тебя письмо! Ах, Маша! неужели ты меня забыла? Нет, этого быть не может! Мы так давно друг друга любим!

Прощай, милая Машенька! Бог с тобою! Сегодня я не могу писать к тебе много потому, что мы едем на бал к здешнему хорунжему (это такой чин): я обещалась причесать моих кузин по-петербургски, и они в первый раз сегодня надевают корсеты, которые мы кое-как здесь сшили. Прощай, Маша!

ПИСЬМО ТРЕТИЕ

Благодарю тебя за письмо твое от 5 июня, милая, любезная Маша! Как мне было весело его получить! Как я рада, что ты меня не забыла! Какая ты добрая! Ты еще не получила моих писем? Как долго ходит почта! Если б я была государь, у меня всякий день ездили бы фельдъегери из Петербурга в Барвеново и из Барвенова в Петербург.

Ах, Маша! на прошедшей неделе я писала к тебе, что еду на бал... Как много нового со мною с тех пор случилось! Если б ты знала! но я тебе все расскажу по порядку.

На бале очень было весело... Он начался в шесть часов, и мы танцевали почти до рассвета... Французских кадрилей здесь вовсе не знают. Польские, экосезы, простые кадрили — вот, кажется, все, да и то совсем не так, как учила нас мадам Дидело! Мазурку мы протанцевали одну — только очень нехорошо! Мой кавалер был учитель арифметики из здешнего поветового училища. Он много стучит ногами, и сапоги у него очень пахнут дегтем. Мне дух этот не нравится, а тетенька и кузины говорят, что он очень полезен для здоровья. Учитель этот из здешних танцоров считается лучшим, и он сам, кажется, в том уверен. В мазурке,— ты знаешь, когда кавалер обнимает даму одною рукою и вертит ее кругом се-

бя? — он так швырнул меня, что я отлетела далеко от него и чуть-чуть не упала. Тетенька говорит, что я сама виновата, потому что у меня талья слишком тонка, так что здесь и обхватить ее не умеют.

Машенька! знаешь ли ты Блистовского, который в Петербурге служит в гвардии? Чин его штабс-ротмистр; у него два креста: один в петлице, а другой на шее, и еще белая медаль на голубой ленте. Его зовут Владимиром Александровичем. Он воспитывался в Петербурге у какого-то аббе Николя. Росту он высокого, волосы каштановые кудрявые, глаза голубые, похожие на твои, и усы у него, ma chère, небольшие, но прекрасные, каких еще ни у кого я не видала! Нрав у него тихий и скромный, и очень доброе сердце. Он говорит, что видал тебя часто на Невском проспекте и один раз на бале, не помню у кого-то. Он очень знаком и дружен с твоим братом. Если ты его не знаешь, так, пожалуйста, ma chère, справься об нем. Мне очень, очень нужно узнать об его нраве; и напиши ко мне с первою почтою. Слышишь ли, ma chère, пожалуйста не забудь, с первою почтою!

У него здесь в соседстве тысяча душ, и он приехал сюда покупать лошадей для полка; кажется, это называют: за ремонтом? Тебе очень легко о нем узнать можно: спроси только об офицере, который поехал за ремонтом в Малороссию...

Я познакомилась с ним на бале. Когда учитель меня швырнул в сторону, я бы упала, если б меня не поддержал Блистовский. Учителю очень было стыдно,— он извинялся тем, что на нем новые сапоги, которые забыл он подмазать мелом, и более танцевать не хотел. Чтоб не расстроить мазурки, Блистовский заступил его место. Ах! Маша! как он мило танцует и как легко с ним вальсировать! Ты представить себе не можешь!

Кажется, Маша, я ему очень понравилась. По крайней мере он сказал мне это в тот же вечер на бале. Но, может быть, он только пошутил? Ведь за молодыми людьми, говорят, это бывает! Однако он, кажется, такой скромный и, верно, в этом на других не похож.

На другой день после бала он приезжал к нам. Праскута думает, что это для нее, потому что на бале он танцевал с нею круглое польское; а потом, когда мы уезжали, подал ей шаль. Но это быть не может! Не правда ли, Маша? Скажу тебе откровенно, по секрету: я знаю, что он не для нее приезжает. Вчерась, когда мы ходили

гулять — за грибами,— он сказал мне тихонько, что ездит для меня, и даже — Маша! пожалуйста, не говори о том никому — он спросил у меня позволения говорить с тетушкой... я ничего ему не отвечала... Напиши мне, ma chère, хорошо ли я сделала, что ему не отвечала? Чтоб он не подумал, что я на него рассердилась!

Блистовский очень хорошо играет на флейте и поет. Голос у него очень, очень приятный! Вчера ввечеру он аккомпанировал мне, когда играла я на клавикордах, а потом мы пели дуэт... Итальянская музыка тетеньке не очень нравится. Праскута и Гапочка тоже поют, и поют охотно; но они никогда не учились. При гостях они не любят петь малороссийские песни, которые все прекрасны... Вместо их здесь в большой моде: *Кто мог любить так страстно, как я любил тебя,* и еще: *Всех цветочков боле розу я любил.* Тетушка тоже иногда поет: *Я в пустыню удаляюсь* и *Заря утрення взошла, ко мне Машенька пришла.*

Тетенька только третьего дня узнала, что я пою. У нас был Блистовский; я по просьбе его села за клавикорды и спела: Di tanti palpiti. Тетенька с нетерпением меня слушала.

— По-каковски это? — сказала она, когда я перестала.— Голос хорош, но что за песня, в которой ни слова понять нельзя. Неужто вас в монастыре учили петь только по-французски да по-немецки? Лизавета Филипповна! спойте-ка, пожалуйте, песенку, которую прислали вам из Киева. Вот эта мне нравится: она и нежна и чувствительна!

Лизавета Филипповна сидела за пяльцами. (Это одна барышня, которая иногда гостит у нас по нескольку дней.) Она посмотрела сбоку на Блистовского, покраснела и, опять потупив глаза в пяльцы, начала петь песенку, присланную из Киева. У нее голос прекрасный, Маша; только Блистовский говорит, что мой ему лучше нравится. Постараюсь достать от Лизаветы Филипповны эту песню и спишу ее для тебя, буква в букву, с сохранением малороссийского выговора. Она начинается так:

Долг велыть з тобой растатця,
Честь велыть тебья забить.

Песня эта, должно быть, русская; но здесь так странно выговаривают русские слова, что часто их понять нельзя. Ты, может быть, не догадаешься, например: что

велыть тебья забить должно значить то же, что *велит тебя забыть*, но здесь все уверены, что это чистое русское наречие.

Я пришлю тебе и ноты к этой песне, любезная Маша! Голос довольно хорош, не знаю, как понравятся тебе слова. Здесь от них с ума сходят. Это любимая песня в здешних обществах.

Прощай, милая Машенька; не забудь справиться о Блистовском и отвечай мне с первою почтою. Мысленно тебя обнимаю тысячу раз!

Приехав в село Н**, я тотчас по окончании священного обряда и взаимных поздравлений начал осведомляться о сочинительнице писем. Лишь только приятель мой прочитал первое письмо, как догадался, кем оно писано.

— Это моя родственница,— сказал он с довольным видом,— прекрасная и прелюбезная женщина, которая, к сожалению, теперь немного нездорова и потому не могла приехать на крестины. Вам надобно с нею познакомиться; она воспитана в Смольном монастыре, очень умна, добра, и в целой губернии пользуется общим уважением. Когда-нибудь расскажу вам ее приключения, не совсем обыкновенные. Позвольте мне прочитать эти письма и показать их жене моей. Она знакома с нею с самого приезда ее из Петербурга.

Я подал ему письма, и он начал читать их с приметным удовольствием; но, дочитав до конца, призадумался и отдал мне их назад.

— Вы хотели показать их супруге вашей? — спросил я.

— Да,— отвечал он, смешавшись несколько,— но лучше оставить это до другого раза.

Я посмотрел на него с удивлением.

— Послушайте,— продолжал он, заметив это,— скажу вам откровенно причину, почему не хочу показывать жене писем этих. Лизавета Филипповна, о которой упоминается в третьем письме, именно моя жена. Вы знаете, каковы женщины, даже самые добрые! Она, конечно, ее очень любит; но при всем том... я не хотел бы...

— Понимаю!..— отвечал я и спрятал письма в карман.

Вскоре потом я лично познакомился с сочинительницею писем. Она рассказала мне все приключения жизни

своей и позволила их издать в свет. Некоторые другие особы, также игравшие роли в сих приключениях, пополнили то, чего недоставало в ее рассказах, и таким образом составилась книга, которая ныне представляется публике.

Глава III

ОТЕЦ АНЮТЫ

Трофим Алексеевич Орленко происходил от древней малороссийской фамилии и считал между предками своими двух или трех полковников и даже одного генерального писаря. Когда, по воле незабвенной Екатерины, Малороссия приняла новое образование и последний гетман клейноды звания своего, бунчук и булаву, положил в фамильный архив для вечной памяти потомства, тогда многие чиновники прежнего правления начали искать мест при новых властях. Но отец Трофима Алексеевича не захотел приобретенный на службе старинный казачий чин бунчукового товарища переменить на предлагаемый ему новый, майорский, и потому решился провесть остаток дней на покое, в небольшом предковском имении, находившемся в Сосницком повете.

— Я человек прежнего века,— говаривал он своему сыну,— и поздно мне перестроиваться на новый лад, но ты, Трофим, молод и здоров; тебе открывается новое поле: служи царице-матушке нашей верою и правдою, как следует казаку. Об одном только прошу тебя: служи в коннице. Не могу вообразить сына своего в царской службе иначе, как на коне и с доброю саблею в руках!

И молодой Орленко охотно обещался исполнить желание почтенного отца. Когда минуло ему восемнадцать лет, старик повез его в Батурин, явился к фельдмаршалу, которого, по старой привычке, все еще называл гетманом, представил ему сына и принят был ласково. Фельдмаршал благословил молодого Трофима, подарил ему прекрасную верховую лошадь с Кошарского завода и пятьсот рублей. Сверх того вручил он ему письмо к шефу гусарского полка, стоявшего неподалеку от Батурина, и чрез несколько дней старик Орленко имел удовольствие видеть сына своего в гусарском мундире, на борзом коне и с саблею в руках. Но не долго довелось ему любоваться Трофимом: вскоре потом полку назначен был

поход. Молодой Орленко был исправен на службе и храбр против неприятеля; начальники и товарищи любили его за правоту и добродушие. В турецкую войну получил он георгиевский крест за отбитие пушки, а во французскую кампанию с Суворовым заслужил ордена св. Анны и Иоанна Иерусалимского. Как часто в роскошных долинах благословенной Италии и на снежных высотах сурового Сен-Готгарда, в пылу сражения и среди увеселений на зимних квартирах, вспоминал он о старом отце и о радости, с какою встретит он его по возвращении в отечество! Но когда, украшенный ранами и лаврами, он получил чистую отставку с чином майора и приехал в свою деревню, то не застал уже в живых почтенного старика.

Трофим Алексеевич, отдав должную дань благодарности памяти покойного, принял в собственное распоряжение доставшееся ему имение и тотчас занялся устройством хозяйственной части. Он выстроил новую винокурню и скотный двор, вычинил кубы и котлы, и, удовлетворив таким образом необходимейшим потребностям малороссийского хозяйства, приступил к починке собственного дома, который находился в самом жалком положении. Исправив кровлю и выкрасив ее ярким красным цветом с белыми отводами, перестлав вновь все полы и огородив двор и сад палисадником, он вздумал, что дом этот для него одного слишком просторен и слишком красив, а оттого родилась в нем мысль, что молодая хозяйка была бы в этом доме не лишняя. Мысль эта очень ему понравилась, и так как в военной службе он сделал привычку действовать решительно, то на другой же день отправился с визитами к соседям, чтоб высмотреть, не встретит ли девушки с теми качествами, каких желал он будущей своей жене. Казалось, что судьба благоприятствовала его намерению: дочь первого соседа, к которому он заехал, так ему полюбилась, что он не счел за нужное продолжать свои поиски. Недели чрез две после первого посещения он сделал предложение, которое принято было с явною радостию отцом и с тайным удовольствием дочерью; а так как немного оставалось до великого поста, то и поспешили сыграть свадьбу,— и Трофим Алексеевич на масленице имел уже удовольствие потчевать гостей блинами, испеченными под хозяйственным надзором молодой его супруги.

Кому неизвестно, что вступающие в супружество по любви, а не по принуждению, живут обыкновенно в те-

чение первых недель после свадьбы в совершенном блаженстве и что все предметы, настоящие и будущие, представляются им в радужных цветах? Но увы! цвета сии от времени бледнеют; а по мере того, как яркость их теряется, и супружеское блаженство становится умереннее, умереннее и, наконец, от оного остается либо очень мало, либо ничего, либо хуже, чем ничего. Участь эта, как известно всякому, за немногими исключениями постигает почти всех женатых и замужних смертных. Но Трофиму Алексеевичу посчастливилось попасть именно в число тех немногих, коих супружеское блаженство от времени не уменьшается, а возрастает. Жена его (о редкость, достойная удивления!) ни в нраве своем, ни в обхождении с мужем нимало не переменилась после свадьбы. Она сохранила ту же скромность, ту же уступчивость, ту же упредительную привется, которые пленили нашего майора, когда была она девицею. Прошел уже целый год после женитьбы, и ему все еще казалось, что невозможно быть счастливее его; но когда в конце года родилась у него дочь, живое подобие обожаемой жены, тогда он почувствовал, чего недоставало ему прежде для совершенного счастия.

Такое положение Трофима Алексеевича продолжалось беспрерывно в течение нескольких лет. Коротких знакомых у них было весьма немного: соседи, видя его уединенный образ жизни, мало-помалу от него отстали, и он о том не горевал, ибо в кругу маленького семейства его скука известна была по одному только названию. Между хозяйственными занятиями, взлелеиванием маленькой Анюты и взаимными ласками время протекало приятно и неприметно. Иногда приезжала к ним гостить двоюродная его сестра, бывшая замужем за подкоморием ближнего повета. Анна Андреевна Лосенкова была женщина простая, добродушная, и Трофим Алексеевич любил и уважал ее за отличные качества ее души, которые заставляли забывать совершенную ее необразованность и незнание правил светского общежития. Уединенная их жизнь немного изменялась только во время Сосницкой ярмонки. Тогда приезжал в тамошние свои поместья один дальний родственник Трофима Алексеевича, познакомившийся с ним уже после его женитьбы, которого большая часть имения находилась в Полтавской губернии. С этим родственником необходимо нужно познакомить читателей моих покороче.

Клим Сидорович Дюндик считал себя старшим в роде и от всей родни своей, которая была небогата, требовал особенного почтения, хотя по душевным качествам никто менее его не имел на то права. Он был подл и низок в отношении к высшим, надменен и горд с равными и низшими, притом зол, мстителен, глуп и хвастлив; но, владея тремя тысячами душ, пользовался некоторым уважением и даже однажды выбран был дворянством в поветовые маршалы! Он немало гордился этим, хотя на следующее трехлетие его вновь и не выбрали — по его словам, за твердость характера и неуступчивость против губернатора, а по уверению других, за совершенную неспособность к делам, глупость и надменность. Впрочем, при всем слабоумии его не недоставало в нем ни хитрости, ни некоторой ловкости к достижению своих намерений. Он, например, успел, угощая губернских чиновников и всячески угождая знатным людям, выхлопотать представление, по коему получил Владимирский крест за устроенный будто бы в имении его лазарет, в котором, как он божился, лечили больных безденежно. Когда какой-нибудь случайный человек проезжал через его деревню, он всегда к нему являлся с приглашением отобедать или по крайней мере выкушать чаю. Часто проезжий соглашался, и тогда Клим Сидорович обыкновенно умел наводить разговор на благотворительность и другие христианские добродетели, рассказывал о лазарете своем и показывал план, чисто и красиво начерченный губернским архитектором, которому он заплатил за это довольно дорого.

— Как жаль,— говорил он,— что ваше превосходительство не изволите проезжать чрез имение мое в Черниговской губернии! Я бы нижайше просил остановиться в моем доме: вы, может быть, удостоили бы посещением и больницу мою.

Так говорил он, когда был в Полтавской губернии. В Черниговской же, напротив того, он приглашал посетить больницу, находящуюся, по словам его, в Полтавской губернии, показывая, впрочем, тот же план, который он всегда возил с собою. Проезжающий, не имея времени поверять его рассказы, благодарил за хлеб-соль и, возвращаясь в Петербург, нимало не сомневался, что у Дюндика в имении есть превосходный лазарет. Случилось даже, что в то самое время, когда представление о нем поступило в Петербург, два чиновника, угощенные Климом Сидоровичем, один в Черниговской, а другой в Пол-

тавской губерниях, встретились у того самого вельможи, от которого зависело дать ход представлению. Вельможа, знав, что они оба недавно были в Малороссии, вздумал спросить их мнения.

— Я его очень хорошо знаю,— сказал один из них,— предобрейший человек, истинный друг человечества! В Полтавской губернии у него превосходный лазарет на пятьдесят кроватей... я знаю этот лазарет...

— Вы ошибаетесь,— прервал его другой чиновник, живший с ним не в ладах,— правда, что Клим Сидорович истинный христианин и что у него в имении есть устроенная примерно больница, но не в Полтавской губернии, а в Черниговской.

— Помилуйте,— возразил первый,— я будто не знаю, что говорю! Лазарет именно в Полтавской губернии, я это точно знаю... я его видел.

— Ведь и я не слеп,— вскричал второй,— и я его видел в Черниговской губернии!

Вельможа, чтоб решить спор, посмотрел в представление; но там о лазарете сказано было глухо, не упоминая, где именно он устроен. Итак, не имея причины сомневаться в справедливости обоих чиновников, он вообразил, что у Дюндика устроены больницы в двух губерниях; а как, впрочем, два, никогда ни в чем несогласные, чиновника на этот раз единодушно утверждали, что Клим Сидорович истинный христианин и друг человечества, то вельможа счел за священную обязанность о нем ходатайствовать, в чем и успел совершенно.

Клим Сидорович, как сказал я выше, приезжал обыкновенно в соседство Трофима Алексеевича на время Сосницкой ярмонки. Поместье его было в близком от города расстоянии, и во все продолжение ярмонки к нему съезжались знакомые, которых угощал он завтраками, обедами и ужинами, пуншем и чаем. У таковых хлебосолов в Малороссии скатерть никогда со стола не снимается, ибо, кроме регулярных покормок, повара должны целый день иметь в готовности кушанье для приезжающих в необыкновенное время гостей, которых, по правилам общежития, хозяин обязан всегда потчевать кушаньем и которые очень редко отказываются, в какой бы час они ни приехали. Впрочем, не должно думать, что такое хлебосольство разорительно. Съестные припасы в Малороссии дешевы и к тому же употребляются домашние. Винокуренный завод снабжает мясом и лакомым

для украинцев салом, крестьяне — яйцами и птицею; водка и наливки также не покупаются; пунш для обыкновенных гостей составляется с спиртом, настоенным на муравьях и называемым мурашко́вым, а для редких гостей подают ром, который в новейшие времена умудрились также делать дома из хлебного вина. Гости неприхотливы, едят с благодарностию предлагаемое и, в угождение хозяину, стараются наперерыв рассказывать новости о том, что слышали на ярмонке, что прочитали в «Московских ведомостях» и что происходит у каждого в соседстве. Таким-то образом и Клим Сидорович, совсем потерявший из виду родственника своего, узнал, что он вышел в отставку, успел жениться и живет в своей деревне, занимаясь хозяйством. Сначала новость эта не возбудила в нем никакого любопытства, ибо он не обращал большого внимания на небогатую свою родню; но когда он услышал, что родственник его майор и кавалер трех орденов, то и запылала в нем родственная любовь.

— А,— сказал он,— да я его очень хорошо знаю; он мне близкий родственник, внучатный брат. Удивляюсь, что он еще у меня не был! Верно, не знает, что я здесь. Покойный отец мой записал его в службу, и я даже неоднократно ему помогал, посылая к нему в полк деньги!

Разумеется, что все это была ложь, но Клим Сидорович редко упускал случай солгать что-нибудь в свою похвалу. Между тем, будучи внутренно не совсем уверен, что майор Орленко к нему явится, он в тот же день отправил к нему человека с приглашением к обеду. Он не сомневался, что такое приглашение будет принято с благодарностию; но в какую пришел он досаду, когда посланный возвратился с поклоном от Трофима Алексеевича и с извинением, что ему никак нельзя быть! Что начать в таком случае? С одной стороны, не позволяла ему гордость сделать первое посещение, с другой,— больно было показать пред прочими гостями, что майор Орленко не очень дорожит его родством. Конечно, он бы мог выдавать его за неблагодарного, не чувствующего оказанных ему благодеяний, и он было уже на то решился; но увидев, что все отзываются о майоре с уважением, он догадался, что, может быть, ему не поверят, и потому решился съездить к нему, сколь ни казалось ему это горьким. Но и тут Клим Сидорович умел охранить свое

самолюбие: он объявил, что ему нужно осмотреть один отдаленный хутор, и, возвращаясь оттуда, заехал к майору как будто нечаянно.

Трофим Алексеевич принял его учтиво, но довольно холодно, ибо физиономия его и приемы сначала не пришлись ему по сердцу. Но когда Дюндик с уверительностию стал говорить о тесной дружбе, соединявшей их родителей, о важных услугах, оказанных его отцом покойному бунчуковому товарищу, и когда мимоходом коснулся обязанностей истинного христианина и лазарета на пятьдесят кроватей, тогда Орленко усомнился в своем искусстве отгадывать качества людей по физиономии, крепко пожал ему руку и обещался непременно приехать на другой день. Таким образом началось знакомство между двумя родственниками.

С того времени майор Орленко всякий раз посещал Клима Сидоровича, когда он приезжал в Черниговскую губернию. Будучи сам правдив и добродушен, он легко поверил, что внучатный брат его, которого, впрочем, видал редко, действительно так добр, каковым хотел казаться, и, полагая сверх того, что отец его был облагодетельствован отцом Дюндика, он во всяком случае оказывал ему всевозможное уважение. Он даже, согласясь на неотступные его просьбы, решился съездить, хоть на короткое время, в Полтавскую губернию, чтоб познакомиться с его женою. Уже назначен был день отъезда, как вдруг судьба посетила его таким несчастием, которое совершенно разрушило его спокойствие. Добрая жена, его единственный и верный друг, нечаянно простудившись, впала в сильную горячку, на девятый день прекратившую ее жизнь, несмотря на помощь врача, призванного из ближайшего города.

Легко представить себе можно отчаяние бедного Орленка! В продолжение нескольких дней он не мог пролить ни одной слезы, не мог выговорить ни одного слова, и доктор начал опасаться, что он не в силах будет перенести сей удар. Двоюродная сестра его, Лосенкова, услышав о сем несчастии, поспешила к нему и усильнейшими просьбами с трудом могла уговорить его употреблять хотя немного пищи. Наконец ласки маленькой его дочери, пятилетней Анюты, нашли доступ к стесненному его сердцу. Он крепко прижал ее к груди, в первый раз после смерти жены слезы полились из глаз его, и доктор начал надеяться на сохранение его жизни. Но надежда

эта скоро разрушилась! Орленко день ото дня становился слабее, прогрустил еще месяца четыре, и, наконец, слуга его, пришедший, по обыкновению, утром в его комнату, не нашел уже его в живых. В письменном столике его найдено короткое завещание, сочиненное за несколько дней до кончины. В нем он назначил Клима Сидоровича опекуном дочери своей и просил его быть ей покровителем и благодетелем. Анна Андреевна, с горькими слезами отдав последний долг покойному, запечатала завещание в пакет и отправила его по почте к Климу Сидоровичу; а невинную малютку Анюту взяла с собой, чтоб воспитать ее вместе с двумя своими дочерьми.

Глава IV

ТЕТУШКА И ОПЕКУН

Анна Андреевна Лосенкова жила в принадлежащем ей селе Барвенове, в расстоянии около ста верст от деревни покойного Орленка. Муж ее, бывший подкоморием, оставил после смерти своей имение довольно расстроенное и двух малолетних дочерей, почти одних лет с Анютою. Анна Андреевна не имела ни малейшего понятия ни об английском сельском домоводстве, ни о педагогике, а потому ей и не приходило на мысль в затруднительном своем положении прибегнуть к «Московским ведомостям» для приискания искусного управителя и ученой гувернантки. Вместо сего легкого и верного средства она, по простоте своей, отслужив усердно молебен и твердо полагаясь на помощь всевышнего, решилась принять в собственное свое попечение и детей и имение. И в самом деле молитва ее за богом не пропала! При наблюдении простого правила, чтоб расходы всегда были менее прихода, успела она в короткое время выплатить все долги мужа. Притом дети ее, видя перед глазами пример доброй, скромной и некапризной матери, еще в младенческих летах показывали хороший нрав и добрые качества. Бедная сирота Анюта тотчас с ними подружилась, и не прошло еще двух месяцев, как она совершенно привыкла к семейству Лосенковых. Добрая тетушка любила ее как свою дочь, а дети считали Анюту родною сестрою. В этих летах впечатления, произведенные несчастием, хотя бывают сильны, но непродолжительны, и в сердце

невинной малютки скоро изгладились следы печальных воспоминаний о смерти родителей.

О Климе Сидоровиче долго не было ни малейшего слуху, и тетушка начала уже опасаться, не потерялось ли на почте отправленное к нему завещание. К некоторому ее успокоению, она, однако, узнала, что управитель его получил уже приказание принять имение покойного в свое ведение. Из этого она должна была заключить, что завещание до него дошло; но при всем том не понимала, отчего сам опекун не приехал наведаться о сироте или по крайней мере не написал хотя несколько строчек. Доброй тетушке и в голову не приходило, чтоб опекун так мало заботился о вверенном попечению его залоге; она обманывалась в нем так же, как обманулся и покойный Орленко, и беспокоилась уже о том, не занемог ли он.

Читатель, для которого открыто сердце Клима Сидоровича, весьма бы, однако, ошибся, если б подумал, что завещание покойного майора принято им было с неудовольствием. Напротив того, он весьма оному обрадовался, ибо тут представлялся ему новый случай хвалиться перед всеми своею добродетелью. Чего не рассказывал он о благодеяниях, какими и сам он и отец его осыпали все семейство майора! Многие ему верили, ибо в рассказах своих он упоминал о таких подробностях, которые, казалось, не могли быть совершенною выдумкою. Некому было доказывать его неправду, а к тому же и сам майор в завещании своем припоминал о благодеяниях, семейству его оказанных. Зато завещание сие хранилось у Клима Сидоровича как драгоценность вместе с планом славного лазарета, и он в течение нескольких месяцев никогда не выезжал со двора, не взяв его с собою. Но в продолжение сих хвастливых рассказов он совершенно забыл о бедной Анюте. Наконец, когда один из его знакомых спросил однажды случайно, куда она теперь пристроена, Клим Сидорович вспомнил, что ему необходимо нужно, для света, принять какие-нибудь меры в отношении к ней. Сначала ему вздумалось, что удобно было бы взять ее к себе; ибо и у него были две дочери, немногими годами постарее Анюты. В голове его тотчас родилась мысль о выгодах, могущих произойти от этого доброго дела, и ему уже чудились разные трогательные сцены, пленявшие его воображение. Например, ему представлялось, что заедет в дом его, по дороге, какой-нибудь

знатный сановник — чего доброго, может быть, и министр! После обеда или во время чая (как случится) войдут в комнату три девочки, чисто умытые, с расчесанными косами и, на этот раз, все три в одинаких платьях. «Это, конечно, ваши дочери?» — спросит министр. «Только две из них, ваше высокопревосходительство! третья — бедная сиротка, которую я воспитываю совершенно наравне с родными моими детьми. Без меня ей, несчастной, некуда деваться; но я помню учение святого евангелия и думаю себе, что бог, ваше высокопревосходительство, за то не оставит моих детей! Подойди ближе, Анюта! не бойся, миленькая! Не правда ли, что тебе у меня хорошо жить?» Анюта, помня прежде данное ей приказание, поцелует у него с нежностию руку, и министр подумает: какой благодетельный человек! А это при случае пригодится. Конечно, случиться может и так, что министр заедет в такой день, когда Марфа Петровна (супруга Клима Сидоровича), может быть, накануне немного неосторожно потрепала сиротку по щекам и следы еще на другой день отчасти будут видны; но ведь и это беда небольшая! Министр, верно, не заметит, что у сиротки одна щека краснее и пухлее другой; а если, против чаяния, спросит, от чего? так можно же сказать, что у нее болят зубы!

Таким образом, роскошное воображение Клима Сидоровича представляло ему в разных видах пользу, какую он может извлечь для себя, приняв Анюту в свой дом, и чем более он о том помышлял, тем более представлялось ему выгод. «Когда она вырастет,— думал он,— так мы выдадим ее замуж! Девочка, кажется, будет недурна собою; к тому же у нее без малого триста душ, а в теперешнее тяжелое время и это не безделица! Почему же не отдать ее, например, за секретаря генерального суда? У меня будет свой ходатай по тяжбам, да еще какой! и тогда кто против Клима Сидоровича!»

Между тем бедная Анюта играла и резвилась с своими сестрами, не помышляя о том, что у нее есть опекун, от которого она совершенно зависит; а доброй тетушке и во сне не грезилось, что опекун этот мысленно отрекомендовал уже Анюту министру и потом выдал ее замуж за секретаря генерального суда! Но милосердый промысл, пекущийся о сирых, избавил ее от корыстных видов, угрожавших ей со стороны опекуна.

Клим Сидорович на этот раз ошибся в расчете. Вспо-

миная, в планах своих, о Марфе Петровне, он хотя отдавал ей полную справедливость, придумывая заранее средства, как скрыть от министра распухлые щеки бедной Анюты (ибо Марфа Петровна была во всех отношениях достойная его супруга), но не предвидел, чтобы предложение взять Анюту в дом могло быть ею отвергнуто. К счастию Анюты, Марфа Петровна была очень не в духе в ту самую минуту, когда Клим Сидорович явился к ней с предложением. Она только что успела разбранить еврея-шинкаря, возвратившегося с ярмонки и не умевшего купить на салоп именно такого атласу, какой она приказывала. Большие, как смоль, глаза ее сверкали еще от гнева, когда муж вошел в комнату. Если б он догадался выждать благоприятное время, то дело было бы в шляпе; но «на каждого мудреца довольно простоты» говорит пословица, кольми же паче на Клима Сидоровича! Будучи уверен, что спекуляция его послужит еще к утишению ее гнева, он со всевозможным красноречием начал рассказывать, какие выгоды они могут получить от этого благодеяния; но не успел он еще договорить, как Марфа Петровна раскричалась:

— Убирайся ты сам и с глупой своей девчонкой! Чтоб и духу ее не слышно было в моем доме! Мой дом не богадельня! Мой дом не воспитательный! Вот тебе — на! Мне и свои дуры надоели, а я еще стану возиться черт знает с кем!

Смекнул муженек, что пришел не вовремя, но ошибку поправить уж было поздно!

На другой день он, однако, опять отважился начать разговор о том же. Марфа Петровна тогда была в хорошем расположении и потому выслушала мужа до конца. Внутренно доводы его показались ей довольно убедительными, и она даже колебалась в своем упрямстве; но, вспомнив правило, которого всегда держалась: ни в чем не уступать мужу и исполнять волю свою, не слушая ни просьб его, ни убеждений,— она сказала наотрез:

— Не хочу, не хочу! и никогда хотеть не буду — хоть ты тресни!

После этого Клим Сидорович не смел уже ее более беспокоить, из опыта зная, что старания его ни к чему бы не послужили.

Прошло около года после смерти майора, и добрая тетушка успела уже так свыкнуться с мыслию, что Анюта действительно ее дочь, что на вопрос: сколько у нее де-

тей? она, верно, отвечала бы: трое! Анюта между тем любила ее как родную мать и, верно бы, горько расплакалась, если б кто-нибудь вздумал ее разуверить в том, что она не родная дочь Анны Андреевны. От Клима Сидоровича не было никаких отзывов и, казалось, что ничто не могло потревожить семейного спокойствия тетушки, как вдруг, совсем неожиданно, получила она письмо, погрузившее ее в горесть, близкую к отчаянию. Но прежде, нежели расскажу читателю содержание сего письма, должен я поневоле обратиться опять к опекуну нашей сироты.

Совершенно потеряв надежду уговорить жену свою после двух неудачных покушений, о которых рассказал я выше, Дюндик совсем перестал думать об Анюте, вспоминая о ней только изредка, когда, увлекаемый желанием похвастаться перед новым гостем, он вынимал из ящика завещание покойного майора. Таким образом случилось однажды, что обедал у него соседний помещик, отставной полковник, находившийся перед тем долгое время в отсутствии. Помещик был человек умный и просвещенный и знал лично майора, когда был еще в службе. Узнав из рассказов хозяина, что майор уже с год, как умер и оставил малолетнюю дочь, он с участием стал расспрашивать о теперешней ее судьбе. Клим Сидорович сначала немного смешался; но вскоре, опомнясь, отвечал, что отдал ее на воспитание родной тетке, которой за то платит из собственного своего кармана значительную сумму.

— Однако,— заметил полковник,— Анна Андреевна, сколько мне известно, хотя добрая женщина, но не в состоянии доставить дитяти приличное воспитание.

— Конечно так,— отвечал опекун, запинаясь,— но извольте видеть... я, конечно, охотно взял бы ее к себе; да у меня... видите ли... в доме тесновато: детская не очень большая... впрочем, может быть, со временем... конечно, по долгу христианскому...

Помещик, имея, как умный человек, довольно точное понятие о Климе Сидоровиче, поспешил вывесть его из замешательства.

— Почему бы вам не отдать ее в Смольный монастырь! — сказал он.— Там она получила бы такое образование, какого и в столице детям своим было бы трудно доставить частному человеку; здесь же это вовсе невозможно.

— Да я, право, не знаю... конечно, ваша правда... только я думаю, что это очень затруднительно...

— Нисколько! Стоит подать прошение.

— Да я не знаю, кому и как!

— Я охотно вам в этом помогу.

— Ну! а если ее в самом деле примут? Ведь надобно будет отвезть ее в Петербург. Сами посудите, как это затруднительно.

— И на это есть средство,— сказал полковник,— я недели через две думаю сам ехать в столицу, куда везу также свою дочь, уже принятую в Смольный. Поверьте мне Анюту на руки; я рад буду оказать эту маловажную услугу дочери майора Орленка.

Климу Сидоровичу отговариваться было нечем; к тому же для него было все равно, в Петербурге ли она будет воспитываться, или в селе Барвенове. Он согласился на предложение полковника, вручил ему письмо к Анне Андреевне, в котором, по праву опекуна, требовал, чтоб она отдала ему Анюту для доставления в Петербург,— и на другой день уже рассказывал всем, что, заботясь о воспитании этой бедной сиротки, он уговорил полковника взять ее с собою, и что полковник, по дружбе к нему, на то согласился.

Полковник, желая выполнить в точности принятую на себя обязанность, сам поехал в Барвеново. По прочтении письма бедная тетушка громко зарыдала и бросилась целовать Анюту. Требование сие пришло так неожиданно, что она было занемогла не на шутку от горестной мысли с нею расстаться. Рассказы тронутого полковника о Смольном монастыре, о образе тамошнего воспитания детей, о материнском попечении августейшей их покровительницы ее немного успокоили; но она просила со слезами оставить Анюту хотя еще на несколько дней. Полковник не мог отказать неотступным ее просьбам и прожил целую неделю в Барвенове. Он успел короче познакомиться с тетушкой и, узнав ее кроткое сердце, ее скромную и незаносчивую добродетель, возымел к ней искреннее уважение. «Если б невозможно было поместить Анюту в монастырь,— подумал он,— то несравненно бы полезнее для нее было оставаться у доброй, хотя необразованной тетушки, нежели у злой и полупросвещенной Марфы Петровны».

Не буду описывать горести тетушки, когда в последний раз при прощании обняла она заплаканную Аню-

ту и, перекрестив ее, посадила к полковнику в карету.

— Ой! загубила я свою Галечку![1] — говорила она, обливаясь слезами, и долгое время ласки собственных ее малюток не могли развлечь глубокой ее печали.

Глава V

СМОЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ И ВЫПУСК ИЗ ОНОГО

Кто имеет понятие о образе жизни и воспитании в Смольном монастыре, тот легко поверит, что Анюте немного нужно было времени, чтоб привыкнуть к новому своему положению. Вскоре она коротко познакомилась с подружками своими, и среди невинных забав и нетягостного учения время протекало неприметно. Анюту все в монастыре любили: она была доброе и ласковое дитя, притом так послушна и прилежна, что никогда не подавала ни малейшего повода к неудовольствию. Таким образом быстро протекло несколько лет, и маленькая деревенская девочка Анюта сделалась прелестною молодою девицею, в которой не осталось ни малейших следов прежнего воспитания. Время выпуска ее из монастыря приближалось между тем скорыми шагами, и сердце в ней сжималось от невольного трепета при мысли о роковой минуте, долженствовавшей разлучить ее навсегда с милыми подружками, с добрыми наставницами, с тихою и однообразною монастырскою жизнию. Анюта оставила Малороссию в самых нежных младенческих летах, и Смольный монастырь с тех пор сделался для нее как бы новою родиною, в которой сосредоточивались все ее мысли, желания и заботы. Вне монастырских стен одна только тетушка иногда занимала ее воображение, да и та представлялась ей совсем в ином виде, нежели какова была в самом деле. Все местные впечатления, вывезенные ею из Барвенова, давно уже исчезли из ее памяти и уступили место другим картинам, заимствовавшим краски свои от новых понятий, развивавшихся в ее уме. Тетушка, например, представлялась ей в образе одной инспектрисы, более других ею любимой, а двоюродных сестер она уподобляла тем из своих подружек, которые наиболее ей нравились. Даже тетушкин дом в селе Бар-

[1] Ой! потеряла я свою Анюту!

венове получил в ее воображении другой фасад и совсем иное расположение комнат. Он казался ей, конечно, меньше монастыря,— однако не слишком меньше! И комнаты в нем, как ей помнилось, были светлые, высокие и богато убранные, хотя, впрочем, не такие огромные, как, например, большая монастырская зала! Что ж касается до сада — о! так тетушкин сад был гораздо пространнее и милее монастырского, и сколько в нем было цветов! Анюта очень твердо помнила, что тетушка позволяла ей рвать цветов сколько угодно и что, несмотря на то, количество их никогда не убавлялось.

Наконец настало время выпуска; частные испытания кончились и наступили публичные. Как сильно билось сердце Анюты, когда приблизился последний день пребывания ее в монастыре! Почти целую ночь не смыкала она глаз, а когда засыпала на короткое время и воображение представляло ей веселые и заманчивые картины светской жизни, тогда мысль о разлуке с монастырем и о неизвестности будущей судьбы пробуждала ее внезапно.

Дочь полковника Р**, поступившая в монастырь в одно время с нею, принадлежала к тому же выпуску, и отец ее взял Анюту к себе вместе с дочерью. В продолжение пребывания их в Смольном он опять вступил в службу и совсем поселился в Петербурге; итак, Анюте пришлось остаться у него в доме до тех пор, пока тетушка, с которою он между тем сохранил дружеские сношения, пришлет за нею из Малороссии. Анюта связана была тесною дружбою с дочерью полковника, и добрая Маша во всех отношениях заслуживала привязанность своей подруги и платила ей взаимною любовью. Они поверяли друг другу все, что у них было на сердце,— а в первое время вступления их в свет было о чем поговорить между собою! Все казалось им так странно, так дико,— все им представлялось в ином виде, нежели как они воображали прежде! В первые разы, когда они являлись в обществе, им казалось, что все обращают внимание на каждое их слово, на каждое их движение! По вечерам они сообщали друг другу мысли свои и замечания о виденном ими в продолжение дня; разговоры эти часто не прекращались и тогда, когда они уже лежали в постеле, а иногда лучи восходящего солнца находили их еще не спящими.

Таким образом прошло несколько месяцев. Полков-

ник успел в это время познакомить их с достопамятностями пышного Петербурга и посетил с ними ближайшие окрестности столицы. Как полюбились Анюте веселые острова Невы! Как понравились ей роскошные сады Петергофа, Царского Села и Павловска! Будущая сельская жизнь в Барвенове в воображении ее украшалась мыслию, что тетушкин сад похож хотя на один из тех, которыми любовалась она в Петербурге.

Около конца мая приехала женщина, присланная тетушкою за Анютою. Клара Кашпаровна была толстая и добрая немка лет за пятьдесят, родом из Белых Меж[1], которую тетушка считала женщиною опытною, ибо она говорила по-немецки и несколько раз бывала в Киеве на контрактах. Во всей окружности Барвенова Клара Кашпаровна была в большой чести, потому что превосходно варила варенья, приготовляла наливки и умела покупать дешево все, что ей поручали. Кроме того, никто не умел с такою бережливостью скроить платье и из обрезков материи, по-видимому негодных, составить наколку или другой наряд или же выгадать жилет хотя дворецкому! Она охотно согласилась съездить в Петербург на счет тетушкин и, сверх удовольствия, надеялась извлечь некоторую пользу из этого путешествия, запасясь в столице новыми выкройками для малороссийских модниц.

Но Петербург не очень ей понравился. Она чувствовала себя как будто связанною в доме полковника и потому, исправив данные ей в Малороссии поручения, беспрестанно поспешала отъездом.

— Ну что здесь за жизнь! — твердила она Анюте.— На улицах так тесно, что индо ходить нельзя: того и смотри, что собьют с ног, особливо на Невском пришпекте! А дома-то уж чересчур высоки, лезешь, лезешь на лестницу, словно на колокольню, так что ноги подкашиваются; а из окошка посмотришь — так голова закружится! То ли дело у нас, в Барвенове!

Анюте очень не хотелось оставить Петербург, но делать было нечего! Ударил наконец час разлуки, день ото дня отлагаемый; все прощальные визиты были кончены, все было готово к отъезду, все предлоги к дальнейшей отсрочке были истощены! В последний раз еще поехала она в монастырь распроститься со всеми... в последний раз посетила она классы, дортуары, сад! Каждая комната, каждый уголок стоил ей новых слез! В продолже-

[1] Немецкая колония в Черниговской губернии.

ние долговременного там пребывания сердце ее успело породниться даже с бездушными предметами, находившимися пред глазами ее с младенческих лет! Оставляя монастырь и Петербург, ей казалось, что везут ее в другое государство,— в другую часть света!

Дома дорожная карета была уже заложена. Полковник с Машею проводили Анюту до Трех Рук. Там они еще раз обнялись и возобновили обещание писать с каждою почтою, еще раз друг друга перекрестили и расстались — надолго! Анюта, сев в карету, прижалась в уголок, и слезы под зеленым вуалем лились ручьем из глаз ее, пока наконец благодетельный сон представил воображению ее любезный монастырь, великолепный Петербург и милую, незабвенную Машу!

Глава VI

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МАЛОРОССИЮ

Из писем Анюты, помещенных во второй главе сей книги, читателям уже известно, в какое она пришла удивление, когда, по приезде в Барвеново, все нашла в ином виде, нежели как предполагала. Другая на месте ее, вероятно, потеряла бы всю бодрость духа и день и ночь проводила бы в слезах или, может быть, с досадою и презрением смотрела бы на тетушку и на сестер и наконец сама сделалась бы ненавистною для всех родных своих и знакомых. Но Анюта была не такова: напитанная доброю нравственностью и приученная к скромности, она и не помышляла насмехаться над другими, что они не так одеты, как она, или пренебрегать теми, которых случай лишил светского воспитания. За то все ее любили и уважали; сестры без зависти взирали на ее преимущества, а тетушка не могла ею налюбоваться. Анюта хотя всегда с сожалением вспоминала о Петербурге, но, повинуясь с покорностию определениям судьбы, искренно вознамерилась приучить себя к новому положению, в котором находилась. Когда же узнала она добрые качества и горячую к ней любовь тетушки, когда услышала от посторонних, что Анна Андреевна ее, оставленную после родителей сиротою, призрела с материнскою нежностию, тогда из благодарного сердца ее изгладились все сравнения между тетушкою и инспектрисою, между кузинами и монастырскими подружками. Она научилась собствен-

ным опытом, что не одеянье и не наружный блеск составляют достоинство человека; а полюбив искренно своих родных, она даже стала находить удовольствие в сельской жизни, которая в первые дни казалась ей столь неприятною.

Как правдивый историк, я, впрочем, нахожусь в необходимости признаться читателю, что и другое обстоятельство, независимое от добрых качеств тетушки, немало способствовало к украшению в глазах Анюты деревенской жизни в Барвенове. Штабс-ротмистр Блистовский, которого видела она на бале у хорунжего, сделал сильное впечатление на неопытное сердце, созданное для нежнейших чувствований. Сначала она сама того не знала; ей казалось, что он более других ей нравился потому только, что обращением своим напоминает ей любезный Петербург. В невинной неопытности своей она даже не примечала действия, произведенного ею на Блистовского, и его старания понравиться ей приписывала простой учтивости. Заблуждение, в котором находилась она относительно собственного своего сердца, еще усилилось, когда узнала она, что Блистовский недавно приехал из Петербурга, где видел и Машу; тогда ей показалось так натурально, что она с ним более любила говорить, нежели с другими! По возвращении ее с бала домой Блистовский не выходил у ней из мыслей; но как эти мысли о нем смешивались обыкновенно с воспоминаниями о Петербурге и о Маше, то она долго еще оставалась в заблуждении на счет истинных чувствований своего сердца.

Между тем Блистовский, более ее опытный, уверился при первом взгляде на Анюту, что от нее зависеть будет счастие или несчастие всей его жизни. Он долго жил в Петербурге, бывал в чужих краях и уже не раз приезжал в Малороссию, где находилась значительная часть его имения; однако ни в Петербурге, ни в Малороссии и нигде ни одна девушка не производила на него такого впечатления, как Анюта! И это впечатление не казалось ему действием одной красоты ее! Конечно, высокий стройный ее стан, большие голубые глаза, осененные длинными черными ресницами, и вся вообще прелестная наружность ее пленяли его взоры; но и прежде того случалось иногда, что сердце его билось сильнее при виде подобного стана, подобных глаз! Не один раз в жизни встречал он девушек, которые нравились ему своею красотою; но ни в ком еще не находил столько кротости и добродушия,

такой милой и невинной улыбки, такого пленительного выражения во всех чертах! Вступив с нею в разговор, он поражен был ее здравыми суждениями, и даже самая ее неопытность и незнание света придавали ей какую-то необыкновенную прелесть. «Нет! — подумал он,— такая наружность не может быть обманчивою!» И самому себе дал слово употребить все усилия, чтоб снискать ее любовь.

Блистовский был нрава твердого и решительного и, будучи притом богат и не имея родителей, зависел совершенно от себя. Он принял намерение не откладывать надолго решения судьбы своей, познакомиться с Анютою покороче и при первом случае с нею объясниться. На другой же день после бала он отправился в Барвеново.

В Малороссии в тех домах, где не успели еще променять старинного русского гостеприимства на новые светские приличия, не нужно много времени, чтоб коротко познакомиться с семейством и быть принятым, как родной. Правда, конечно, и то, что богатый и холостой гвардейский офицер в провинциях бывает всегда принимаем отлично хорошо; но если вникнуть внимательно в причины такого приема, то нетрудно открыть, что часто в этом руководствуются не одним гостеприимством. Мне самому случалось видеть в некоторых домах, как ласкали молодого человека, еще холостого, и как вскоре потом принимали его, когда он являлся в тот же дом уже женатый. Несходство между обоими приемами было разительное, хотя молодой человек в течение этого времени не переменился ни лицом, ни душою. Но как бы то ни было, а тетушка — как нам известно — не принадлежала к числу людей модного разбора и потому приняла Блистовского с обыкновенным радушием, нимало не заботясь о причинах его посещения. Анюта обрадовалась, когда он неожиданно вошел в комнату, и, в невинном заблуждении, не думала скрывать своего удовольствия, полагая, что она радуется только случаю поговорить о милой Машеньке! У бедной Праскуты тоже забилось сердце: она считала, что Блистовский приехал для нее, и покраснела по уши!

Мы не будем томить читателей наших распространением рассказа о том, что им уже известно из писем Анюты. Блистовский приезжал почти ежедневно в Барвеново, всякий день открывал новые достоинства в своей любезной и всякий день более влюблялся. Несколько раз просил он позволения у Анюты поговорить с тетушкою, но не

мог добиться решительного ответа. Наконец, получив ее согласие, он не замедлил им воспользоваться.

Это было перед вечером. Тетушка сидела в беседке, сколоченной из тонких латв, около которых обвивались хмель и красные бобы; она со вниманием слушала приказчика, доносившего об успехах жатвы.

— Милости просим, Владимир Александрович! —сказала она.— Не хотите ли поучиться хозяйству? Вот у нас жито в нынешнем году, благодарение милосердному богу, хорошо уродилось! Пятнадцать коп на десятине, а в ином месте, где поближе к селению, и еще более! Каков-то будет вымолот? Боюсь только, чтоб у нас конопли не побило градом, как у соседей. Вот у Ивана Ивановича вся, говорят, пропала, как будто подкошена! До сих пор господь нас миловал; как-то будет вперед!

Владимиру было не до конопли и не до жита, но надлежало подождать, пока кончится тетушкин разговор с приказчиком. Долго слушал он ее рассуждения о жатве и о молотьбе, о гречке, овсе и коноплях, о починках, необходимых в винокурне, и проч. От любовного нетерпения разговор этот ему показался еще длиннее, нежели каков был в самом деле, и он мысленно несколько раз перекрестился от радости, когда приказчик, приняв последнее приказание и наставление, поцеловал у барыни ручку и, низко поклонясь, удалился из беседки.

— Извините, Владимир Александрович! — сказала тетушка.— А я за хозяйскими хлопотами совсем забыла, что вам невесело меня слушать. Но не прогневайтесь, ведь вы у нас не чужие! Зачем вы оставили барышень? уж не поссорились ли вы с ними?

— Я пришел с вами поговорить наедине, Анна Андреевна! От вас зависит участь моя, счастие или несчастие всей моей жизни.

— С нами сила господня! что с вами сделалось? Какое влияние я, маленький человек, могу иметь на судьбу вашу? Или вы шутите со мною, Владимир Александрович?

— Я очень далек от шуток, тетушка! Позволите ли вы мне впредь всегда так вас называть?

— А почему же нет, мой батюшка? — пожалуй, если это вам делает удовольствие! Да что вам в этом?

— Тетушка! я люблю Анюту! сделайте меня счастливейшим из смертных: согласитесь отдать мне ее руку!

— Так вот дело-то в чем! — сказала тетушка протяжным голосом и призадумалась. Это предложение пришло

совсем неожиданно, хотя с некоторых пор посещения Блистовского сделались для ней весьма замечательными. Мы уже объяснили читателям, что Анна Андреевна не принадлежала к числу людей, оказывающих гостеприимство из каких-нибудь видов, и потому в другое время Блистовский мог бы ездить несколько лет в ее дом и ей бы на ум не приходило присматривать за ним и добиваться, не влюблен ли он в которую-нибудь из барышень. Но на этот раз особенный случай обратил ее внимание на частые посещения молодого офицера.

С некоторого времени тетушка заметила, что Праскута ее совершенно переменилась. Она сделалась печальна и задумчива; живой румянец на щеках ее начал пропадать, и часто глаза ее казались заплаканными. Сначала тетушка вообразила, что Праскута нездорова, и, несмотря на ее уверения в противном, поила ее разными травами и другими лекарствами из домашней лаборатории, но болезнь от того не прекращалась! Праскута все делалась задумчивее и печальнее, а тетушка более и более о ней беспокоилась. Наконец, при всей простоте своей, тетушка начала смекать, что странная болезнь Праскуты имеет какую-то связь с Блистовским. В самый тот день, когда Владимир посватался за Анюту, тетушка делала новые наблюдения над своею дочерью и еще более утвердилась в своих догадках. От глаз ее не скрылось, что Праскута попеременно бледнела и краснела, когда еще издали послышался знакомый стук коляски Блистовского; а когда коляска начала приближаться к крыльцу, Праскута встала из-за пялец и поспешила выйти из комнаты.

— Куда ты идешь, Праскута? — спросила Анна Андреевна.

— У меня есть дело, матушка! — отвечала Праскута, и тетушке показалось, что в глазах ее блистали слезы, когда, выходя из комнаты, она нечаянно оглянулась.

Бедная Праскута с некоторого времени заметила взаимную друг к другу любовь Владимира и Анюты!

Итак, вот о чем задумалась тетушка, услышав предложение Блистовского! Она любила Анюту столь же горячо, как родных дочерей своих, но при всем том не могла быть равнодушною к положению Праскуты. Она вообразила себе, какой удар для нее будет известие о сватовстве Владимира, — и сердце ее разрывалось при мысли, что счастие одной из дочерей ее сопряжено с не-

счастием другой. Наконец всегдашняя надежда Анны Андреевны на промысл божий ее ободрила. «Бог милостив! — подумала она,— и нас не оставит. Праскута еще так молода, что успеет полюбить другого! Анюта же, верно, будет счастлива за таким добрым человеком, каков Владимир Александрович».

Между тем Блистовский сидел как на иголках; он не мог понять причины недоумения тетушки и вообразил себе, что она, может быть, имеет на счет его какие-нибудь сомнения. Вскоре, однако, тетушка вывела его из беспокойства.

— Владимир Александрович! — сказала она дрожащим от умиления голосом,— я считаю вас добрым и честным человеком и надеюсь, что Галечка будет с вами счастлива. Возьмите ее, благословляю вас от всего сердца!

Владимир, вне себя от радости, кинулся на шею к Анне Андреевне. Он целовал ее руки, называл ее любезною, милою, доброю тетушкою и хотел тотчас бежать к Анюте.

— Погодите немного! — сказала растроганная тетушка,— дайте мне утереть слезы; пойдем вместе!

Из беседки до дому было очень недалеко, но Владимиру, принужденному идти медленно подле тетушки, дорога показалась несносно продолжительною.

— Вы, кажется, нарочно идете тише обыкновенного, тетушка? — сказал он.

— А мне так кажется,— отвечала она смеясь,— что вы сегодня ходите скорее обыкновенного.

Дошед до крыльца, Владимир никак не утерпел, чтоб не упредить тетушки.

— Анюта, моя Анюта! — вскричал он, вошед в комнату, где она с Гапочкою сидела на софе. Он с жаром схватил ее руку и пал к ее ногам. Анюта сперва пришла в замешательство, побледнела и не знала, что ей делать. Но взглянув нечаянно и видя, что тетушка стоит перед нею с веселою улыбкою, она, по какому-то внутреннему чувствованию, догадалась, что это значит. Голова ее невольно и ей самой неведомо опустилась на плечо Владимира, и уста их соединились в нежный поцелуй.

Вскоре в доме узнали, что Анюта невеста, и все пришли ее поздравить. И Праскута о том узнала; хотела... сойти вниз, но у нее не стало духа! Она сказалась больною, обвязала себе голову и легла в постель. Анна Андреевна пошла к ней: она не предлагала уже ей лекарства, а только нежно обняла ее, тихонько поплакала над

нею и благословила ее, не говоря ни слова. Потом возвратилась она к Анюте и старалась казаться веселою.

Настало время пить чай. Анюта села к столу, а Владимир поместился подле нее, чтоб ей помогать. На лице обоих любовников ясно изображались чувствования, которыми преисполнены были их сердца. Анюта в этот день разливала чай не с таким искусством, как обыкновенно, и добрая тетушка неоднократно журила ее за рассеянность. Владимир между тем не спускал ее с глаз и в восторге своем не замечал, что она забыла положить сахару в его чашку. Он предавался сладостным мечтаниям о будущем: иногда ему представлялось, что он женат уже на Анюте, что молодая супруга разливает чай у него дома, а тетушка приехала к ним погостить. Мысли его улетали еще далее... Вдруг Анна Андреевна поспешно вскочила со стула, поставила чашку на стол и вскричала:

— Ах, я дура! Прости меня, господи! Ну что я наделала? Галечка, друг мой! виновата пред тобою; виновата пред вами обоими! Ну как могла я согласиться на предложение Владимира Александровича! Боже мой, боже мой! что теперь делать!

Владимир испугался и тоже вскочил с места. Анюта смотрела на Анну Андреевну с удивлением, не говоря ни слова. Никто не понимал, что сделалось с тетушкой, которая между тем продолжала свои восклицания, будучи, по-видимому, весьма встревожена. Наконец Владимир подошел к ней и взял ее за руку:

— Помилуйте, тетушка! что с вами сделалось? — сказал он.

— Совсем забыла о Климе Сидоровиче! Правда, о нем уже давно нет ни духу ни слуху! как в воду канул. Между тем ведь я знаю, мои батюшки, что он жив и здоров, прости меня господи!

Владимир и Анюта все еще не понимали тетушки.

— Какой Клим Сидорович? — вскричали они оба почти в один голос.

— Да твой опекун, Галя! которому покойный отец твой, царство ему небесное, тебя вверил перед смертью и от которого ты зависишь! Без него нам ничего решить не можно; а я, старая дура, ведь совсем о нем забыла! Придется написать к нему; а пока от него не получим ответа, не прогневайтесь, дети! я беру слово свое назад!

Анюта редко слыхала о Климе Сидоровиче и, не имев никакого с ним сношения, едва помнила его имя, а тем

еще менее помышляла о том, что он может иметь какое-нибудь влияние на ее участь. В первый раз в жизни она услышала теперь, что покойный отец вверил ее попечению Дюндика. Владимир также изумился: он никогда не слыхал, что у Анюты есть опекун, и хотя не мог предполагать, чтобы опекун этот помешал его браку, но, предвидя, что переписка с ним может отдалить его счастие, он очень огорчился сим новым открытием. В этом расположении духа решился он испытать, нельзя ли обойтись без помощи Клима Сидоровича.

— Тетушка! — сказал он.— Мне кажется, вы напрасно так беспокоитесь. Если Анютин опекун давно не давал о себе известия, то это знак, что он о ней не заботится, а в таком случае незачем у него и спрашиваться. Вы заступаете место ее родителей, и, кроме вас, нам не нужно ни у кого просить согласия.

— Тише, мой батюшка, тише! Правда, что я считаю Анюту своею родною дочерью; правда и то, что Клим Сидорович мало о ней думает — не в упрек ему сказать! С тех пор как братец Трофим Петрович закрыл глаза, опекун-то, полно, справлялся ли об ней хоть один раз? но при всем том воля отцовская — воля божия. Скажи, мой друг Анюта: если б покойный отец твой был жив, ты бы его послушалась?

— Вы, верно, в том не сомневаетесь, тетушка!

— Нет, мой друг, не сомневаюсь! Итак, если ты слушалась бы его живого, так еще более должна почитать волю его, когда уже нет его на свете. Ведь правду я говорю, Галечка? Нет, Владимир Александрович! Воля ваша, а тут делать нечего! Спроситься Клима Сидоровича надобно!

Должно было покориться требованию тетушки! Сам Владимир чувствовал, что она совершенно права и что без согласия опекуна, назначенного отцом Анютиным, неприлично было бы располагать ее рукою. Итак, положили написать с первою почтою к Климу Сидоровичу, а до получения от него ответа не рассказывать никому о том, что случилось в этот вечер. Тетушка поуспокоилась, рассудив, что ответ она, без сомнения, получит благоприятный, потому что опекун не мог иметь никаких причин к отказу. Однако несмотря на то, что и прочие разделяли надежду тетушки, веселие этого вечера немного расстроилось сим неожиданным затруднением.

В первые минуты Владимир так поражен был поступ-

ком тетушки, что и не думал расспрашивать подробнее о новооткрытом опекуне. Но когда дело дошло до расчетов, чрез сколько времени можно иметь ответ, и Владимир при этом случае узнал, что опекун живет в Полтавской губернии, то ему вдруг пришла мысль, не тот ли самый это Клим Сидорович, с которым познакомился он в прошлом году? Когда же узнал притом, что он прозывается Дюндиком, то все сомнения его исчезли, но открытие это нимало его не радовало. Он довольно хорошо знал Клима Сидоровича и Марфу Петровну, и некоторые особенные обстоятельства заставляли его думать, что они не поспешат ответом на письмо. Мысль эта очень его тревожила. Пройдя несколько раз в задумчивости по комнате взад и вперед, он решился наконец сам ехать в Полтавскую губернию, несмотря на неприятность расстаться с Анютою по меньшей мере на неделю.

— Тетушка! — сказал он, когда намерение это в нем утвердилось,— мне кажется, всего лучше будет, если я сам съезжу к опекуну Анютину.

— И конечно так, Владимир Александрович! Поезжайте с богом! А мы между тем Анюту вашу беречь будем пуще глаза. Поэтому и мне не нужно писать длинного письма, что я, признаться, не очень и люблю. Да правду сказать, я не умела бы описать вас хорошенько; а теперь вы сами с ним познакомитесь, и он увидит, какого жениха себе нажила моя Галечка!

— Да я с ним уже знаком, тетушка! прошлого года я довольно часто видал его в Ромнах.

— Так это и того лучше! Стало быть, ему и раздумывать недолго будет, и вы скорее к нам возвратитесь. Ну, слава богу, все к лучшему! А я совсем не воображала, что вы его знаете. Смотри, пожалуй, как это кстати! Когда же вы располагаете ехать?

Владимир взглянул на Анюту и вздрогнул при мысли, что он должен ее оставить; наконец он сказал, собравшись с духом:

— Я думаю ехать завтра, тетушка! Чем скорее поеду, тем скорее ворочусь!

— Ну, так я к завтрему приготовлю свое письмецо!

И в самом деле, на другой же день ввечеру подъехала к низенькому крыльцу тетушкина дома телега с лихою тройкою. Владимир распростился со всеми, крепко прижал к сердцу Анюту, не внимая увещаниям доброй Анны

Андреевны; потом взгромоздился на повозку и поскакал во весь дух. Тетушка, Анюта и Гапочка остались на крыльце и смотрели ему вслед, пока не улеглась последняя пыль, поднятая на дороге скачущею тройкой.

Дом тетушкин как будто опустел после отъезда Владимира, и долго мирные жители Барвенова не могли привыкнуть к его отсутствию. Везде царствовало какое-то уныние, умноженное еще беспокойством о печальном положении Праскуты; но, к чести сей последней, я должен сказать, что известие о затруднении, встретившемся относительно сговора Анюты, нисколько ее не обрадовало.

Между тем, пока Владимир находиться будет на большой Полтавской дороге, мы расскажем читателям, отчего воспоминание о прежнем знакомстве с Климом Сидоровичем так сильно и неприятно на него подействовало. Но для сего нужно перенестись мысленно за год перед описанною нами в главе сей эпохою.

Глава VII

ЦЫГАНСКИЙ АТАМАН

Конная ярмонка приходила к концу, когда Владимир в прошлом году приехал в Ромны и, не дав себе времени переодеться, отправился в дорожном мундирном сюртуке на площадь, уже начинавшую пустеть. Продавцы, имевшие удачу в торговле, сламывали коновязи, весело прикрикивая на табуны свои, с которыми спешили на другие ярмонки. На площади оставались те только, которым не удалось сделать выгодной продажи; с печальным видом стояли они как вкопанные, опустив голову, или же прохаживались между лошадьми, с неудовольствием поглядывая на счастливых своих соперников.

По прибытии Владимира на площадь окружили его жиды и цыганы, предлагая наперерыв свои услуги.

— Позалуйте сюда, васе благородие! — говорил один.

— Я и в прослом году вам слузил, васе высокородие! — уверял другой.

— Ваше превосходительство! мы старые знакомые,— кричал третий,— уж мне грешно вас обманывать! Услужу вам, как отцу родному!

Больше всех вертелся около него один цыган, кото-

рого наружность особенно привлекла на себя внимание Блистовского. Он одет был лучше всех других: синий на нем кафтан из нелинючего сукна не был оборван, как у собратий его. Он опоясан был широким малиновым кушаком, окрашенным малороссийским червецом. Круглая поярковая шляпа его, на манер кучерской, несмотря на необыкновенную величину, едва прикрывала темя и надета была с небольшим наклоном к правому уху; из-под широкой палевой ленты, около шляпы этой обвязанной, торчал конец павлиньего пера; шея же повязана была алым платком, коего кончики висели на груди. Желтый цвет лица, небольшой орлиный нос и резкие черты явно свидетельствовали об индейском его происхождении, а черные беглые глаза, как раскаленные угли, сверкали из глазных ям. Из-под шляпы его вились густые черные кудри, и такого же цвета борода и усы покрывали всю нижнюю половину его лица. Росту он был небольшого, но широкие плечи и длинные жилистые руки показывали необыкновенную его силу. Хотя он больше других надоедал своею навязчивостию, но при всем том Блистовский не мог не любоваться его ловкостию и проворством. Прочие цыганы, по-видимому, оказывали ему уважение и называли его атаманом.

С самого прибытия Блистовского на конную площадь атаман пристал к нему, уговаривая его купить пару гнедых лошадей, которых продавец, казалось, вовсе не заботился приискивать покупщиков на свой товар. Это был человек лет пятидесяти, у которого черные усы начинали уже седеть. Несмотря на несносный жар, тогда бывший, подбритая голова его покрыта была круглою черною шапкою из бараньего меху и представляла странную несообразность с остальным одеянием его, состоявшим из широких холстинных шаровар и такой же рубахи, носившей на себе явные следы долговременного употребления. Кожу́х его, или нагольный тулуп, разостлан был на земле, и он сидел на нем с поджатыми босыми ногами, не обращая ни малейшего внимания на проходящих. Подле него, прямо против солнца, стояли сапоги, или чоботы, только что вымазанные дегтем; от времени до времени он бросал на них умильные взгляды, как будто любуясь игрою солнечных лучей, на них отражавшихся. На лице его изображалось какое-то страдательное довольствие судьбою своею, но самый строгий наблюдатель едва ли мог бы различить, происходит ли это довольствие от уве-

селительного зрелища лоснящихся сапогов, или от приятного вкуса огромной желтой дыни, которую он грыз, не замечая, что сок из нее лился ручьями по бритой бороде его и упадал крупным дождем на высокую мышковатую грудь. Путешественник, находящийся в первый раз на Украйне, вероятно, удивился бы странному его равнодушию; но Блистовский, сам малороссиянин, легко отгадал, что этот хладнокровный барышник должен быть крестьянин какого-нибудь помещика, поручившего ему продажу своих лошадей.

В справедливости догадки своей он еще более утвердился, когда, следуя приглашению цыганского атамана, подошел поближе к гнедым лошадям. Быв довольно искусным знатоком, он тотчас заметил в них явные признаки, что они очень долго ходили в дышле, хотя атаман клятвенно уверял, что это молодые верховые лошади, вызываясь притом сам на них проскакать, чтоб доказать, как они живы и исполнены огня.

Походив между коновязьми, Владимир, несмотря на уверения своих провожатых, вскоре увидел, что на ярмонке нет ничего достойного его внимания. Он хотел уже оставить площадь, как заметил в одном из отдаленнейших косяков несколько вороных лошадей, показавшихся ему столь видными, что он решился подойти поближе. Лишь только провожатые его заметили сие намерение, как закричали все в один голос:

— Васе благородие! не ходите туда! Залеть будете; ей зе богу залеть будете; там вас обманут. Купи́те лутце здесь, мы льуди цесные!

С такими восклицаниями провожали они его до тех пор, пока далее приняли его другие, такие же ревностные ходатаи. Из этого Владимир заключил, что площадь разделена на несколько отделений, из которых каждое имело своих особенных жидов и цыган, коих попечению вверена была продажа лошадей. Из всех прежних его провожатых один только атаман от него не отстал. Казалось, что он имел особенную пред всеми другими привилегию, которую, может быть, доставили ему между его земляками звание атамана, а между жидами широкие его плеча и жилистые руки. Присоединившись к новой партии, атаман начал играть и новую роль: он теперь уже хулил лошадей прежнего отделения и без меры расхваливал вороных, которые действительно оказались годными для покупки.

По требованию его выводили одну за другою, и между тем, как хозяин, объявив цену, в молчании ожидал решения Блистовского, цыганы и жиды, особливо атаман, превозносили их во всех статьях. Атаман попеременно садился на каждую, показывал их шаг, рысь и скачь и не мог ими нахвалиться.

— Да это такие кони,— говорил он с свойственным нации его жаром,— что им и конца не будет! Если ваше превосходительство их купите, они служить вам будут вечно; и дети ваши, дай бог им здоровья, меня за них благодарить будут еще на том свете!

В продолжение этих торгов новое лицо появилось между ими. Это был человек лет шестидесяти, с редкими и совсем седыми на голове волосами. Росту он был довольно высокого и собою дородный. На толстом и румяном лице его не видно было ни одной черты, хотя сколько-нибудь замечательной, или, лучше сказать, все черты лица его были равно незначительны. При первом взгляде выражение его физиономии могло бы показаться добрым, ибо на устах его всегда была видна улыбка; но при внимательном наблюдении всякий мог заметить, что улыбка сия, никогда не изменяющаяся и, так сказать, неподвижная, не имеет никакого значения, так как и большие выпуклые глаза его, которые по неопределенному их цвету и по невыразительности можно было бы назвать оловянными. Одеяние его также не представляло ничего особенного. На нем был зеленый довольно поношенный сафьянный картуз, светло-серый нанковый сюртук и такие же панталоны. Быв несколько времени безмолвным свидетелем уверток и уловок цыганского атамана, он наконец подошел к Владимиру, приподнял левою рукою картуз и, откинув голову назад, вместо того чтоб нагнуть ее наперед, сказал ему:

— Мое почтение! Позвольте спросить... чин ваш и фамилия?

— Штабс-ротмистр Блистовский.

— Конечно, изволите служить в *** драгунском полку, что стоит здесь около Андреевки?

— Я служу в *** гвардейском полку.

— А! честь имею рекомендоваться; я здешний помещик; вы, может быть, обо мне слыхали в Петербурге: Дюндик, бывший маршал дворянства.

При сих словах Клим Сидорович изъявил почтение свое Владимиру уже наклонением головы наперед и снял

картуз правою рукою. Притом — как будто желая поправить косынку, толсто обвернутую около шеи его,— он расстегнул верхние пуговицы сюртука и выставил напоказ Владимирский крест четвертой степени, бывший дотоле как бы в заключении вероятно для того, чтоб не слишком ослепить зрителей.

— Вы изволите покупать лошадей? — продолжал он вполголоса, обратясь к Владимиру с дружеским видом.— Что просят?

— Не слишком дорого! Они, кажется, недурны!

— Ну, если это для полка, так не советую! Дружески вам доложу, что лошади не крепкие... лошади слабые!

Продавец, стоявший до того времени неподвижно и почти безмолвно, пришел в некоторое движение, услышав, что новопришедший старается очернить достоинство его товара. Он несколько раз оглядывался, как бы желая призвать к себе на помощь атамана; но блудящие его взоры не находили своего говорливого наперсника: атаман, при первом вступлении в разговор Клима Сидоровича, скрылся в толпе. Увидев наконец, что ему придется отстаивать лошадей своих одному, он вышел из обычайной флегмы и, окинув с ног до головы Клима Сидоровича, сказал, бросая на него исподлобья сердитые взгляды:

— Вы, сударь, не в свое дело мешаетесь! Кони мои совсем без пороков, и я в другое время не отдал бы их за такую цену. Я за них отвечаю, кони добрые...

— Что ты врешь, мошенник! — прервал его Клим Сидорович с особенным ударением на последнее слово.— Эдакой плут! вздумал обманывать приезжих! да еще господ офицеров, покупающих по казенной надобности! Смотри, пожалуй, будто я не знаю твоих лошадей! Ведь они с Хлыновского завода?

— Нет! с Карлинского! Вот извольте посмотреть на тавро.

— Ну!.. еще-таки! Будто я не то же говорю? Хлыновский... Карлинский, будто не все равно! Все одна порода... На обоих заводах лошади все никуда не годятся!

Блистовский, хотя не согласен был с мнением нового знакомца своего, но из уважения к его сединам и из признательности за участие, не хотел явно показать недоверчивости своей к познаниям Клима Сидоровича и потому удалился от вороных лошадей, приняв, впрочем, намерение возвратиться к ним, когда оставит его Дюндик.

Несчастный продавец, обманутый в своей надежде, провожал их бранью — сперва тихонько, потом возвышая голос, по мере их удаления, и, наконец, когда почти совсем потерял их из виду, громкими проклятиями.

Между тем Клим Сидорович рассказывал Блистовскому с добродушною доверчивостию об услугах, оказанных им дворянству, об интригах, воспрепятствовавших вторичному его выбору, и о славном своем лазарете. В замену сих новостей он допросился, сколько у Владимира душ, и, узнав, что он богат и холост, удвоил свою учтивость. Он проводил его до самой квартиры и не прежде его оставил, как взяв слово, что он непременно в тот день у него отобедает.

— Вы познакомитесь с моею Марфою Петровною,— прибавил он между прочим,— она вам очень рада будет. Смею сказать, что вы у нас не соскучитесь... Ведь я знаю, что вы, паничи, любите говорить по-французски, а мои дочери не хуже петербургского, то и дело, что между собою: коман ву порте? фор биень, мусье! я тоже около них понаучился... почти все понимаю! А что они... так, право, мне иногда надоедают! Все по-французски да по-французски! Зато у них славный учитель: обучался в Москве, в ниверситете, и сам книги пишет... Ей-богу, не лгу! Ну — вы увидите! Правда, я денег на них не жалею: учитель получает у меня четыреста рублей в год и, разумеется, харчи мои! Да кроме того, почти каждый год подарок: то сукна домашнего на пару, то из своего платья что-нибудь, фрак или жилет, или что случится! С тех пор как дочери мои подросли, я употребляю его по хозяйству: присматривает за винокурней да ведет счет с шинкарями. Ученый ко всему пригодится! Ну, вы сами увидите! Прощайте, почтеннейший, до свиданья! Мы обедаем по-петербургски, не ранее часа!

Владимир поспешил переодеться, чтоб иметь время перед обедом побывать на конной площади. По приезде туда он встречен был опять теми же жидами и цыганами, кроме атамана; но, не останавливаясь с ними, пошел далее к тому месту, где оставил вороных лошадей. К удивлению его, их уже там не было, и продавец, стоя на коленях, с печальным видом считал и пересчитывал серебряные деньги, стоявшие столбиками перед ним. На вопрос, где вороные, он покачал головою, почесался за ухом и сказал с досадою:

— Да они уже проданы; теперь только их увели... вон,

вон они идут, сердечные! А жаль, ваше благородие, что не вам они достались; лошади, ей-богу, добрые, и я их отдал за полцены. Пришла лихая година, хоть в петлю полезай, а продать надобно было. Ну! в другой раз меня на эту проклятую ярмонку и калачом не заманишь!

— Да кому ты их продал? — спросил Блистовский с торопливостию.

— Кому? а провал его знает! Цыган купил их для какого-то пана. Принужден был уступить проклятому за бесценок. Почему мне знать, что вы воротитесь! А лошади, ей-богу, добрые!

— Да я охотно бы их у тебя купил!

— А я рад бы вам их продать. Зачем вам было уходить, ваше благородие! Мне дело-то к спеху: ярмонка кончается, а я, почитай, совсем исхарчился; пришлось хоть утопиться! Да вот не досчитаюсь еще двух целковых; а как цыган их платил, так, кажется, все были!

Он опять принялся считать, а Блистовский отправился к Климу Сидоровичу, сетуя на самого себя, что упустил хорошую покупку.

Глава VIII

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

К назначенному часу Владимир приехал в дом, нанимаемый Климом Сидоровичем. Дом этот был деревянный, как все почти домы в Ромнах, и находился на обсаженной деревьями Полтавской улице. Двор тесно застроен был флигелями и небольшими домиками, которые все занимались приезжими, между тем как хозяин с женою и старшею дочерью помещался в чулане, получавшем свет со двора из открытых дверей. Двое младших детей хозяина вместе с челядью проводили целый день на дворе или за воротами; ночью же или во время дождя детей брали в сени, бывшие перед чуланом, а челядь искала себе приюта где хотела. Во время ярмонки в Ромнах бывает общее переселение всех жителей: большая часть хозяев отдают внаймы домы свои приезжим, сами же переселяются в какой-нибудь уголок, где проживают коекак в продолжение целой ярмонки. Даже те из них, которым состояние позволяет не отдавать внаймы домов своих, мало ими в это время пользуются, ибо к ним наез-

жает столько родственников, друзей и гостей, что самим бывает тесно в собственных домах.

Хозяева, у которых жил Клим Сидорович, были ему сродни, и, несмотря на их незнатность и недостаточное состояние, он не отказывался от этого родства потому, что, пользуясь оным, останавливался в их доме. Клим Сидорович хотя был богат, однако любил сберечь копейку, особливо, когда можно было это сделать, сохраняя приличия. Родственники его, кроме дома и нескольких душ дворовых людей, не имели никакого состояния: бедные люди эти целый год должны были жить тем, что приобретали отдачею внаймы дома своего; но Клим Сидорович и Марфа Петровна не обращали никакого на то внимания. Они обыкновенно приезжали в Ромны в самом начале ярмонки, спеша занять ту часть дома, которая окнами была на улицу и потому стоила дороже всех прочих; а добрые хозяева, по простодушию своему, не только не смели на то жаловаться, но должны были, напротив того, радоваться посещению таких знатных родственников.

Стол уже был накрыт в первой комнате от сеней, когда приехал Блистовский. Клим Сидорович встретил его тут, переодетый уже во фрак, и повел тотчас во вторую комнату: там ожидала их разряженная Марфа Петровна, сидя на софе за большим столом, на котором расставлены были разного рода закуски и несколько стеклянных графинов с разноцветными водками, или, лучше сказать, спиртами. Она приветствовала Владимира, привстав немного с софы, и, посадив его подле себя, начала потчевать закускою и водкою.

Марфа Петровна была женщина лет сорока пяти, высокая и дородная, сохранившая несколько остатков прежней красоты своей. Черные, быстрые глаза ее еще не совсем лишились прежнего своего блеска, и пунцовая тока на темных волосах очень была ей к лицу, хотя белые на ней перья сделались почти серыми от роменской пыли и хотя, вообще, наряд ее не соответствовал ни времени года, ни обеденной поре. Живой румянец, на щеках ее игравший, очень ее молодил, особливо в глазах Блистовского, который не тотчас заметил, что свежий цвет лица ее был действием китайских румян. Правда, что недостаток передних зубов немного мог бы нарушить тайну ее лет, ибо за неимением в Малороссии ни Сосротов, ни Деспинов, некому было оные вставить; но Марфа Пет-

ровна умела как-то залепливать воском сии опустошения неумолимого времени, которые посему и ускользнули от внимания Блистовского.

— А мои барышни еще не воротились из лавок,— сказала Марфа Петровна наречием, которое считала она русским, хотя оно сильно отзывалось благословенною Украйною,— как зайдут к мадам Дюлу, так рады просидеть там целый день! Клим Сидорович! пошлите-ка Хвыльку[1] сказать барышням, что пора обедать!

— Уж побежал Петька!

— Говорю вам, чтоб пошел Хвылька! — вскричала Марфа Петровна, нахмурив брови и бросив строгий взгляд на мужа.— Покорно прошу выкушать водки,— продолжала она, обратясь к Блистовскому с веселою улыбкою,— не угодно ли настойки Трофимовского; она очень полезна для здоровья.

Между тем как Блистовский откланивался от настойки, раздался шум в передней комнате, и он услышал женский голос, кричавший громко:

— Фуа, фуа! Кессé-кессé-кессé-ля! Кессé-кессé-кессé-ля!

Владимир не знал, что и думать; но Дюндик, потирая с довольным видом руки и мигая одним глазом в ту сторону, откуда слышен был голос, сказал ему:

— Ну! не говорил ли я вам, что мои барышни ни на шаг без французского языка? Вот, только что вошли в комнату, а уж и задребезжали! Вера Климовна! Софья Климовна! да войдите же к нам!

Дверь растворилась, и влетели в комнату две девушки в соломенных шляпках, собою красивые и одетые совершенно по предпоследнему нумеру «Московского дамского журнала». Владимиру накануне случайно попался на глаза этот нумер, когда, проезжая чрез небольшой городок, он зашел к почтовому экспедитору, который, по обыкновению многих из сих господ, сам прочитывал журналы и газеты прежде, нежели отсылал их к нетерпеливо ожидающим подписчикам.

Владимир встал и поклонился барышням, а Клим Сидорович счел обязанностию рекомендовать ему своих дочерей:

— Вот это мои дочери,— сказал он,— Вера и Софья Климовны, прошу их любить и жаловать! Ну, дети! реко-

[1] Филипп.

мендую вам Владимира Александровича, господина ротмистра гвардии, который приехал из Петербурга и очень рад, что с вами может поговорить по-французски...

Владимир поклонился и не успел еще выговорить ни слова, как обе барышни обратились к нему, говоря наперерыв что-то такое, чего он никак разобрать не мог, несмотря на всевозможное напряжение внимания. То казалось ему, что некоторые звуки имели отдаленное сходство с французским, то опять слышались ему такие слова, которые, по его мнению, не могли принадлежать ни одному из европейских языков. Не понимая ничего, он пришел в замешательство, закраснелся и, наконец, отвечал:

— Извините, сударыня, я ничего не понимаю!

— Так вы не говорите по-французски! — сказали барышни с видом сожаления и удивления,— а батюшка сказывал, что вы только что приехали из Петербурга и любите французский язык!

Блистовский так поражен был сим неожиданным упреком, что не отвечал ни слова: между тем слуга пришел повестить, что подано кушанье, и тем прекратил разговор барышень, который Владимиру ежеминутно становился тягостнее.

Прежде, нежели пошли обедать, Клим Сидорович и супруга его опять стали просить Владимира выкушать водки, подавая сами тому пример. Чтоб избавиться от потчеванья, он решился выпить полрюмки из того графина, которым пользовалась Марфа Петровна; но, проглотив немного, он чуть было не задохнулся: так она была крепка! Владимир подал руку хозяйке, и все отправились к обеду. Выходя в другую комнату, Владимир нечаянно оглянулся и крайне удивился, увидев, что барышни подошли к столику и как ни в чем не бывало налили себе понемногу той же самой водки и выпили ее даже не поморщившись.

Обед был довольно продолжителен, и кушанья подавали много, довольно хорошо изготовленного; но Владимир почти ничего не мог есть: густая черная пыль проникала сквозь закрытые окна, и ее поневоле должно было глотать вместе с кушаньем. В продолжение обеда барышни несколько раз начинали разговаривать между собою на том неизвестном языке, которому и перед тем уже удивлялся Блистовский.

Когда встали из-за стола, Владимир, успевший по-

знакомиться покороче с семейством Дюндика, принял намерение расспросить подробнее о неизвестном языке, как скоро можно будет сделать это без нескромности. Случай тотчас к тому представился: Софья Климовна смотря в окошко на проходящих, вдруг закричала:

— Фуа! Фуа! поди, пожалуйста, сюда.

— Позвольте узнать,— подхватил Блистовский,— что такое значит Фуа?

— Фуа! — отвечала Софья Климовна, взглянув на него с удивлением,— Фуа, это имя сестрицы!

— Да сестрицу вашу ведь зовут Верою?

— Конечно так,— сказала, улыбнувшись, Софья,— имя ее по-русски Вера, но по-французски зовут ее Фуа!

— У нас в Петербурге Вера, женское имя, и по-французски называется Вера.

— Напрасно! — вскричала Софья с торжествующим видом,— я могла бы вам показать в лексиконе мусье Татищева, что Вера по-французски Фуа!

— Позвольте же вам сделать еще один вопрос: перед обедом я слышал одно выражение, хотя для меня непонятное, но которое осталось у меня твердо в памяти; что значит кессе́-кессе́-кессе́-ля?

— Вы не знаете, что значит: кессе́-кессе́-кессе́-ля? Быть не может! Вы шутите, Владимир Александрович?

— Клянусь честию, что не понимаю!

— Ну! кессе́-кессе́-кессе́-ля значит на французском языке: *что такое?*

— А!.. Qu'est-ce que c'est, que cela!.. Теперь я понимаю!

Владимир прекратил тут расспросы свои относительно неизвестного языка и, вслушиваясь внимательнее в разговоры барышень, действительно заметил, что они говорят по-французски, но притом так странно выговаривают и такие необыкновенные употребляют слова и выражения, что без большой привычки понять их никак невозможно. Это не подало ему выгодного мнения об учителе, получающем четыреста рублей ежегодного жалованья, кроме харчей и подарков, но он воздержался от всяких на этот счет замечаний, и потому семейство Клима Сидоровича осталось в твердой уверенности, что Блистовский не знает французского языка. Незнание это было между ними предметом разговоров, когда он их оставил, и Клим Сидорович долго рассуждал с дочерьми о выгодах данного им воспитания и о предусмотрительности



своей, заставившей его нанять такого хорошего для них учителя.

— Вы видите, любезные дети,— говорил он,— что и в самом Петербурге не всем удается получить такое воспитание, каким вы пользовались. Да и не у всех, правда, бывают такие рачительные родители, как у вас! Вот, например, Блистовский! Ну, чем он не молодец? Богат, умен, собою виден и гвардии капитан, а по-французски-то ни слова! А это не безделица! Вот, когда вы, даст бог, поедете в Петербург, так с вашим воспитанием вас, верно, тотчас возьмут ко двору.

— Дай бог, батюшка! — отвечали барышни.— Жаль, однако, что Блистовский не знает по-французски! Он так мил, так любезен!

— Однако вы при нем-то не очень болтайте по-французски,— сказал Дюндик,— ведь ему не весело вас слушать, когда сам он ничего не понимает! А поберечь-то его надобно: недаром он сегодня так посматривал на Веру! Ну! если он, даст бог, только заикнется про нее, так я обеими руками ее отдам!

— Да и я уж ей говорила! — вскричала Марфа Петровна,— что стыдно было бы упустить этакого жениха! Что за беда, что он не говорит по-французски? Ведь и мы с тобою ничего не понимаем, а от того, слава богу, не хуже других! Смотри же, Вера! держи ухо востро! А ты, Софья, при случае выхваляй сестрицу. Ведь она старшая, ей прежде должно выйти замуж! Не бойся, и до тебя очередь дойдет! Блистовский будет сегодня ввечеру в собрании: будь же с ним поласковее, Вера!.. да зашнуруйся покрепче! Слышишь ли!

— Слушаю, матушка!

Вера Климовна посмотрела с довольным видом в зеркало; а Софья потупила глаза и вздохнула. На этот раз она внутренно жалела, что была моложе сестры своей!

Собрания, о коих упоминала Марфа Петровна, в Ромнах во время ярмонки бывают каждый вечер в довольно пространном доме, выстроенном на ярмоночной или, по-тамошнему, на ярмарковой площади. Там собирается дворянство, платя за вход умеренную цену; одни играют в коммерческие игры, другие проводят время в танцах, а охотники до ужинов там ужинают более или менее хорошо, смотря по искусству повара, который на то время откупает право угощать посетителей. Собрания сии бывают иногда весьма многолюдны, иногда же

так пусты, что подрядчик разоряется от малого числа гостей. Замечательно притом, что последнее случается не оттого, чтобы приезжие в иной год менее имели охоты ездить в собрание, нежели в другой. Нет! добрых жителей Малороссии, равно как и вообще провинций наших, нельзя винить в недостатке собеседливости, и большая часть барынь и барышень, имеющих привычку приезжать на ярмонку, вздыхают по роменским собраниям, как дети вздыхают по игрушкам, ибо тут представляется им почти единственный случай потанцевать, повеселиться и показаться в свете. Тут же нередко кладутся первые основания супружеских союзов, и это также для многих не последним служит побуждением к посещению собраний. Но при всем том в Ромнах существует, или по крайней мере в то время существовал, странный предрассудок, что никто не хотел приезжать первый на бал, считая это как бы унизительным: многие, приехав в собрание и видя, что никого еще нет, спешили домой, скрепясь сердцем. Итак, в Ромнах, несмотря на пламенное желание всех, могли быть собрания в двух только случаях: если судьба благоприятствовала публике таким образом, что несколько карет съезжалось случайно в одно время, или же если какое-нибудь семейство, приехав наперед, так сказать жертвовало собою и оставалось ожидать других.

Тот год, когда Владимир находился на ярмонке, был год счастливый; ибо давно уже собрания не бывали так многолюдны, и потому, прибыв туда, он нашел все комнаты полными гостей; и семейство Дюндика уже было там. Не нужно уверять читателей, что барышни с живым усердием выполняли приказания, данные им матушкою. Вера Климовна всячески старалась понравиться Владимиру и даже довольно в том успела. Какого молодого человека, еще не занятого другим предметом, не тронет внимательность молодой красивой девушки? Даже странное лепетанье барышень на языке, который считали они французским, возбуждало в Блистовском не смех, а сожаление, и он долго размышлял о том, каким бы образом открыть им глаза, не огорчая их самолюбия. Софья Климовна, с своей стороны, также исполняла добросовестно поручение матери, и всякий, наблюдающий искусство, с каким выхваляла она добрый нрав и хорошие качества сестры, легко мог заключить, что она не в первый уже раз исполняет подобные поручения.

В продолжение бала подошел к Блистовскому один полтавский помещик, познакомившийся с ним в лавках и находившийся с женою своею в собрании. Случайно заговорили они между собою по-французски, и Владимир, в жару разговора, сначала и не заметил, что дочери Дюндика стояли за ним и слушали его с удивлением. Оглянувшись и увидев сердитые взгляды, бросаемые на него Верою и Софьею, Владимир подошел было к ним, чтоб объясниться; но они обе отвернулись от него и во весь вечер явно убегали всякого с ним разговора. Он заметил также, что они очень жарко разговаривали с отцом, который немного погодя приблизился к нему и сказал с обыкновенною своею улыбкою:

— Мои барышни на вас сердятся, Владимир Александрович, за то, что вы так над ними подшутили! Экой проказник! Притворяется, будто ни слова не понимает, а с другими разговаривает не хуже моего Софроныча! Но не беспокойтесь, я опять вас помирю!

— Клянусь честию, что я и не думал подшучивать над дочерьми вашими,— отвечал Владимир, досадуя, что его в том подозревают,— я действительно ничего не понимал,— продолжал он,— и если угодно, докажу вам, почему...

— Хорошо! хорошо! Увидим, когда завтра к нам пожалуете! — прервал его Дюндик, все улыбаясь,— а Вера моя не на шутку на вас рассердилась; да и с Марфой Петровной вы не скоро разделаетесь!

Дюндик отошел от него, грозя ему умильно пальцем, и Владимир, раздосадованный таким на него подозрением, вскоре потом оставил собрание и возвратился домой.

Глава IX

ОБЪЯСНЕНИЕ

На другой день Владимир едва успел встать и одеться, как вошел к нему в комнату Клим Сидорович.

— Доброго утра,— сказал он.— Я нечаянно шел мимо квартиры вашей и подумал себе: дай-ка посмотрю, рано ли он встает? Все ли вы в добром здоровье? А мои барышни все еще сердятся! Уж я вчера стоял за вас горою; но они никак забыть не могут, что вы над ними так подшутили!

— Я вчера еще уверял вас, Клим Сидорович, что мне и в голову не приходило над ними подшучивать.

— Полноте, полноте! Как же вы при мне утверждали, что их не понимаете, а при всем том в собрании разговаривали с другими по-французски?

— Не прогневайтесь, Клим Сидорович! Но дочери ваши говорят не по-французски!

— По-каковски же? — спросил Дюндик с досадою.

— Не знаю! только не по-французски!

— Вот это прекрасно! Я разве не держал у себя в доме Софроныча, чтоб он обучал их французскому языку? Разве я не платил ему за то жалованья? Четыреста рублей в год, кроме харчей и подарков!

— Всему этому я верю! Но я должен сказать вам откровенно, что, по моему мнению, вероятно Софроныч сам не знает того, чему учил.

— Помилуйте, Владимир Александрович! Ведь он написал печатную книгу! Я могу вам ее показать: на одной стороне по-русски, а на другой по-французски. Ведь из нее-то дети мои и учились!

— Весьма любопытен видеть эту книгу, а между тем, повторяю, что дети ваши так странно выговаривают и употребляют такие необыкновенные слова и выражения, что понять их никак невозможно.

— Ах уж вы, петербургские паничи! — сказал Дюндик, покачивая головою и с трудом удерживаясь от гнева.— Ну что за беда, если они и не так хорошо выговаривают, как природные французы? Все-таки они знают язык, а выговору-то всегда научиться можно!

— Сомневаюсь, очень сомневаюсь! Я не из тех, которые считают необходимым, чтоб русский выговаривал французские слова как природный француз; но дочери ваши уж чересчур дурно выговаривают! К тому же употребляемые ими выражения ясно доказывают, что учитель их едва ли слыхал когда-нибудь, как говорят по-французски.

Клим Сидорович после столь решительного приговора о познаниях барышень призадумался, и твердая доверенность его к Софронычу немного поколебалась. Почесавшись за ухом, он сказал Владимиру:

— Так неужто пропали все мои деньги и все труды Софроныча! Поэтому дочерям моим никогда нельзя и показаться в Петербурге?

— А почему же так? — спросил Владимир с удивлением.

— Да потому, что в петербургских обществах и ступить нельзя без французского языка. Я читал в печатных книгах, что там всех, не понимающих французского языка, презирают, и что они и показаться не могут в большом свете, не навлекая на себя от всех насмешек.

— Те, которые говорят это, верно не знают большого света, и потому напрасно его обвиняют. Французский язык, конечно, у нас почти необходим, но это потому, что он таков и в остальной просвещенной Европе. Язык этот теперь сделался везде придворным и дипломатическим и потому в Петербурге, так, как в Лондоне и в Вене, в Мадриде и в Стокгольме, употребляется в большом свете. Было время, когда латинский язык был дипломатическим и придворным; тогда даже и дамы объяснялись на нем правильно и свободно, и за то никто их не осуждал. Говорить, что французский язык употребляется в Петербурге в большом свете, значит говорить правду (впрочем, ни для кого не предосудительную); но утверждать, что большой свет презирает не говорящих на этом языке, значит клепать на него напрасно...

— Так вы будете уверять вопреки печатному, что в столице не насмехаются над не знающими французского языка!

— Мне по крайней мере не случалось этого видеть. Напротив того, я встречал в большом свете уважение к заслугам и к истинному таланту без всякого на то внимания, говорит ли кто по-французски. Некоторые из известнейших авторов наших, живущие в большом свете и, впрочем, знающие французский язык, никогда почти не имеют случая изъясняться на оном, потому что все говорят с ними по-русски. Мне легко было бы назвать вам многих, если б мог я предполагать, что имена их вам известны.

— Ну! так поэтому и над моими барышнями никто смеяться не будет, когда они приедут в Петербург?

— Вы можете быть в том уверены, если они сами будут говорить по-русски. Но решительно им советую избегать всех разговоров на французском языке. В Петербурге так, как и в чужих краях, есть класс щеголей — старых и молодых, которые, не зная французского языка, любят объясняться на оном даже с своими соотечественниками. Такие люди, конечно, смешны; но

они были бы смешными везде, ибо охотою напрашиваются на насмешки, говоря без всякой надобности на таком языке, которого не понимают. В этом винить должно не общество, но их самих. Нет ничего в том смешного, если русский не говорит на иностранном языке, но смешно, если кто-нибудь, какой бы он нации ни был, из одного хвастовства и без надобности щеголяет таким языком, которого не понимает.

— Да как же я сам читал в печатной книге, что в большом свете даже стыдятся того, кто не говорит по-французски?

— Мало ли что печатается! Россия весьма была бы достойна сожаления, если бы все то было справедливо, что о ней печатают! Вообще господа писатели должны бы приступать осторожнее к печатанию суждений своих о нравах, обычаях и недостатках нашего отечества. Предоставим врагам нашим писать карикатуры на русский народ, но русскому автору никогда не должно терять из виду, что теперь и в чужих краях начинают обращать внимание на нашу литературу. Приятно ли нам будет, если иностранцы, основываясь на собственных наших сочинениях, возымеют совершенно превратное о нас понятие? Без надлежащей осмотрительности можно и с самыми добрыми намерениями провиниться пред отечеством, коего слава и доброе имя должны быть драгоценны для каждого. Полезно, конечно, выводить наружу пороки и недостатки, но зачем пороки нескольких лиц приписывать целым сословиям? Зачем обвинять общество в недостатках, которые или вовсе не существуют, или принадлежат немногим членам оного?..

Владимир так разгорячился, говоря о сем предмете, что не скоро бы еще окончил речь свою, если б продолжительная и довольно громкая зевота Клима Сидоровича не вразумила его, что он напрасно теряет слова с человеком, едва их понимающим. Итак, он вдруг замолчал, а Дюндик воспользовался этим, чтоб приступить к нему с просьбою отправиться к Марфе Петровне для заключения мира с нею и с барышнями.

Хотя Клим Сидорович и начал уже колебаться в мнении своем относительно Софроныча, но все еще сохранял некоторую надежду, что Владимир, может быть, преувеличивает незнание барышень. Он твердо полагался на сочиненную Софронычем книгу, по счастию, отыскавшуюся между бельем и уборами, привезенными из

деревни. Владимиру очень не хотелось исполнить его просьбу, но он решился на то потому, что мысль о том, что его обвиняли в насмешливости, была для него тягостна.

Когда пришли они к Марфе Петровне, дамы, по-видимому, их уже ожидали, ибо были разряжены, невзирая на раннюю пору. Они сидели около стола, перед софою, и, казалось, заняты были общим совещанием о разложенных Верою Климовною картах и о червонном короле, предмете их гадания.

Обе барышни раскраснелись при виде Блистовского, и все три дамы бросали на него взоры не очень ласковые, хотя суровое выражение их глаз имело различные степени. Сердитее всех казалась Марфа Петровна; за нею следовала младшая дочь, Софья Климовна; а менее всех обнаруживала гнева Вера, коей суровость смягчена была выражением нежного упрека. Увидев Блистовского, она смешала карты, перед нею лежавшие, как будто опасаясь, чтоб он не заметил, о чем она загадывает. После обыкновенных приветствий Владимир, по приглашению Марфы Петровны, сел возле нее. В продолжение нескольких секунд царствовало общее молчание, ибо все более или менее были в смущении и не знали, с чего начать. Клим Сидорович всех больше недоумевал и как будто чего-то боялся. Когда Марфа Петровна бывала не в духе, супруг ее всегда казался самым скромным и молчаливым человеком. Наконец Софья Климовна первая прервала молчание:

— Хорошо же вы с нами вчерась поступили, Владимир Александрович! — сказала она.

— Да! — подхватила Марфа Петровна,— правду сказать, мы никогда этого от вас не ожидали! Мы, конечно, в Петербурге не бывали, однако дочери мои, позвольте сказать, не такого разбору, чтоб можно было над ними смеяться. Не прогневайтесь, Владимир Александрович!

Вера Климовна не сказала ни слова, но взоры ее пристально устремлены были на Блистовского, который, заметив это, еще более смешался.

— Я не заслуживаю этих упреков, сударыня! — сказал он наконец, обратясь к раздраженной Марфе Петровне,— я имел уже честь объясниться с Климом Сидоровичем, и он, кажется, уверен, что мне и в голову не приходило насмехаться!

Дюндик между тем стоял неподвижно и не знал, что отвечать на неожиданный вызов Владимира.

— Ну что ж ты стоишь как чурбан! — вскричала Марфа Петровна.— Разве нет у тебя языка?

— Как не быть, матушка! Но ведь Владимир Александрович утверждает, что барышни наши действительно не умеют говорить — что их понять никак нельзя...

— Вот прекрасно! — вскричала Марфа Петровна, и глаза ее засверкали.— А Софроныч-то разве даром у нас хлеб ел?

— И Софроныч будто ничего не знает...

— Вот это очень мило! — вскричали обе барышни с горьким смехом.— Софроныч ничего не знает! А разве он не сочинил книгу?

— Позвольте же вам показать его сочинение! — прибавила Софья, обратясь к Владимиру и встав со стула.

— Пожалуйте, сударыня! — отвечал он и не рад был жизни, что решился к ним прийти.

Софья вышла на минуту в другую комнату и возвратилась оттуда, имея в руках небольшую книгу в шестнадцатую долю листа, которую и подала она Блистовскому с торжественным видом.

Владимир, раскрыв ее, прочитал следующее заглавие: «Jardin de Paradis pour leçon des enfants etc. Райский вертоград для детского чтения, и проч.»[1].

Он стал читать далее и изумился, увидев напечатанною совершенную бессмыслицу, так что он с трудом мог воздержаться от громкого смеха.

Между тем как он перелистывал это сочинение, взоры всех с нетерпением устремлены были на него. Заметив, что он закусил губы от смеха, Марфа Петровна сказала вне себя от досады:

— Ну-с! и это смешно, что ли?

— Это вовсе не по-французски, сударыня! Удивляюсь медному лбу автора, осмелившегося напечатать такой вздор!

— От часу не легче! — вскричала Марфа Петровна и взглянула на дочерей своих, как бы ожидая, чтоб они

---

[1] Книга эта вышла в печать в Москве, 1818 года, в университетской типографии. Хотя имя автора не показано на заглавном листе, но мы имеем причины думать, что Софроныч не напрасно приписывал себе честь сего сочинения. Всякий, кому угодно будет сравнить французский язык, употребленный в этой книге, с языком, которому научились дочери Дюндика, охотно с нами согласится.

опровергли обвинения Блистовского; но барышни не говорили ни слова. Они начинали сомневаться в познаниях Софроныча, и огорчение, ощущаемое ими при сей мысли, согнало румянец со щек их. У Веры Климовны даже навернулись на глазах слезы.

Владимиру тягостно было смотреть на жалкое положение бедных девушек; но делать было нечего! Надлежало кончить начатое, и потому он со всевозможною скромностию стал объяснять им, почему книга, изданная Софронычем, явно доказывает совершенное его незнание французского языка. Доказательства эти и уверительный тон наконец убедили всех слушателей.

— Ах, он разбойник! — вскричал Клим Сидорович.— Вот дай-ка мне воротиться домой, уж я его проучу!

— Ах, он мошенник! — воскликнула Марфа Петровна, задыхаясь от злости.

— Ах, он мошенник! — повторили за нею обе барышни.

— Тотчас долой его со двора! — сказал Клим Сидорович.

— Этого не довольно, батюшка! — заметили разгневанные барышни.

Семейство Дюндика долго еще продолжало такого рода восклицания и все друг пред другом наперерыв возвышали наказание, которое, по мнению их, заслуживал жалкий Софроныч. Владимир заметил, что барышни при этом случае оказывались не милостивее прочих. Он воспользовался первою благоприятною минутою, чтоб откланяться, и возвратился домой, крайне сожалея, что неумышленно огорчил их открытием невежества бедного Софроныча.

Глава X

СМЕРТОУБИЙСТВО

По совершенном окончании конной ярмонки Блистовскому нечего было делать в Ромнах, и потому он вознамерился выехать оттуда на другой день. Вечером ему еще раз хотелось посетить собрание. Он нашел его столь же многолюдным, как накануне; но Дюндиковых там не было: они остались дома горевать о потерянном французском языке.

Повертевшись немного в толпе веселящихся, Владимир уже намерен был идти домой, как вдруг услышал в ближней комнате необычайный шум и крик. Он бросился туда и увидел, что все общество находилось в смятении. Дамы, с видом сожаления и участия, окружали молодую девушку, сидевшую в креслах и бледную как полотно, между тем как мужчины суетились по комнате и весьма горячо разговаривали с полицейскими чиновниками. Владимир с трудом мог добиться толку; он узнал наконец причину сего смятения, поразившую его удивлением.

— Вам, конечно, небезызвестно,— сказал ему один из гостей,— что в прошлом году все иностранные газеты наполнены были рассказами о появившихся в Париже шалунах, которые находили в том удовольствие, чтобы пугать женщин, укалывая их острыми иглами и прожигая их наряды и платья какою-то едкою кислотою. На такие подвиги сыскались охотники и у нас! Еще в прошлом году один подражатель французских проказников перепортил здесь множество дамских уборов и перепугал до полусмерти многих дам. Несмотря на все старания, не могли его открыть, и прошлогодняя ярмонка кончилась тем, что не удалось найти ни малейших к тому следов. Мы надеялись, что на этот раз ярмонка пройдет спокойнее, ибо в первые дни не слышно было ничего; но вот сегодня опять начались эти проказы, и притом так неосторожно, что у бедной девушки не только испорчено платье, но и сожжено тело сквозь рукав!

— Странно,— заметил Блистовский,— что еще не открыли этого шалуна, заслуживающего примерное наказание!

— Это оттого, что даже не знают, кого подозревать, а осматривать у всех карманы нельзя же! К тому же для совершенного изобличения надлежало бы поймать его в минуту самого преступления, что не так легко!

В продолжение сих разговоров собрание опять успокоилось; испуганная девица уехала домой, а гости вновь занялись танцами, как будто ничего не случилось. Владимир прохаживался по комнатам и для провождения времени умственно разбирал физиономии, стараясь разгадать, которая из них внушает более подозрения. Труд его был напрасен; но при разборе этом попался ему на глаза один молодой человек, лет двадцати пяти, одетый

по последней моде. Покрой платья его, новейшего французского вкуса, свидетельствовал, что он только что приехал из столицы, а все приемы являли в нем франта второго или третьего разбора — одного из тех, кои в Петербурге отличаются на всех публичных гуляньях, толкая людей безгласных и нахально заглядывая под шляпку каждой женщине, не имеющей мужчин-провожатых. Блистовский, конечно, не имел причин подозревать его в шалостях, беспокоивших в то время роменскую публику, но взоры его невольно на нем останавливались, потому что он видел в нем настоящий образец упомянутых франтов.

Расспросив об имени его, он узнал, что этого молодого человека зовут Прыжковым, что он родом из малороссиян, но, будучи воспитан в Петербурге, переделал, по примеру многих других, малороссийское прозвание на русский манер, прибавя *в* к настоящей фамилии своей, бывшей первоначально *Прыжко.*

Господин Прыжков, с своей стороны, также обратил внимание на молодого гвардейского офицера. Предполагая, что петербургские жители, встречаясь в провинциях, должны непременно ощущать взаимное друг к другу влечение, он неоднократно покушался вступить с ним в разговор, сообщая ему, на дурном французском языке, насмешливые замечания насчет всех гостей, бывших в собрании. Несмотря на отвращение, которое с самого начала почувствовал к нему Владимир, он, однако, из светского приличия отвечал ему учтиво, хотя довольно отрывисто и холодно; но франт наш не замечал этой холодности: господину Прыжкову и на ум не приходило, чтоб такой милый и благовоспитанный малый, каким он себя считал, мог кому-нибудь не нравиться! Увидев, что Блистовский пошел в ту комнату, где играли в карты, и он за ним туда последовал. Сев подле него и протянув ноги во всю длину их так, что проходящие мимо должны были обходить кругом, чтоб его не задеть, он приставил к глазу лорнет и продолжал критические свои замечания. Блистовский долго его слушал, не говоря ни слова; наконец представилась их взорам почтенная старушка, коей старомодный наряд особенно возбуждал грубую насмешливость Прыжкова. Он не оставил без замечания ни одной складки на ее платье, ни одной морщины на лице: одним словом, все в ней представляло новую пищу его язвительности.



— Да знаете ли вы эту даму? — спросил у него Владимир, выведенный из терпения.

— Как не знать! — отвечал франт, усмехаясь с довольным видом.— Это моя родная бабушка! Я люблю ее страстно и всякий день к ней являюсь с почтением, потому что у этого антика пятьсот душ, которые, по смерти ее, должны достаться мне! Надобно же иметь мое терпение!

Блистовский не в силах был его слушать долее и, не сказав ни слова, отошел прочь. Прыжков, однако, несмотря на то, чрез несколько времени опять стал к нему навязываться, но Владимир отвернулся от него с явным презрением.

Между тем наступило время разъезжаться по домам, и Владимир вместе с прочими вышел в тесные сени, где множество дам ожидали своих экипажей. Случайно пришлось ему стоять подле Прыжкова. Владимир нечаянно взглянул на него и, к крайнему удивлению, заметил, что франт наш тихонько вынул из кармана небольшой ручной шприц, которым принялся обрызгивать платье находившейся перед ним почтенной старушки, своей бабушки. Неожиданное это явление взорвало Блистовского так, что он сам себя не помнил: с быстротою ястреба, стремящегося на свою добычу, он бросился на Прыжкова, который при виде угрожающей ему опасности тщетно старался скрыться в толпе. Блистовский так крепко схватил его за руку, что не допустил выронить из оной шприц, и, несмотря на все сопротивления, держал его до тех пор, пока подоспел полицмейстер. Прыжкова взяли под стражу, не слушая его пустых извинений и уверений. Все пришло в смятение. Когда стали его выводить, отчаянный франт, видя, что нет никакой возможности избежать заслуженного наказания, с яростию обратился к Блистовскому.

— Я, сударь, найду вас после и непременно с вами рассчитаюсь! — сказал он, скрежеща зубами.

— Хорошо! — отвечал хладнокровно Блистовский,— меня найти нетрудно.

Прыжкова повели под караулом, и гости разъехались, благодаря Блистовского за то, что он избавил их от такого человека. Одна бедная старушка, бабушка, не разделяла общего довольствия: она так поражена была неожиданным поступком своего внука и наследника, что долго не могла опомниться. Ее посадили в карету

и увезли домой, где она тотчас слегла в постель и сильно занемогла.

На другой день Блистовский, помня вызов Прыжкова, счел обязанностию справиться о нем, чтоб узнать, что с ним сделалось. Его уведомили, что Прыжков содержится под строгим арестом, от которого, вероятно, не скоро освободится. Итак, Блистовский, видя, что делать тут нечего, решился уехать; но пред отъездом хотел еще распроститься с семейством Дюндика. Отправившись к нему, он дорогою встретился с одним знакомым, от которого узнал случайно, что Прыжков родной племянник и любимец Марфы Петровны! Известие это привело его в крайнее недоумение. Услышав притом, что почтенная Марфа Петровна так на него разгневана за поимку своего племянника, что и говорить о нем не может, не выходя из себя, Блистовский при таких обстоятельствах почел правилом благоразумия уехать не простившись.

Оставляя Ромны, он долго размышлял о странном сцеплении обстоятельств, которые против воли привели его в столь неприятные сношения с семейством Дюндика. Одна мысль его утешала: «По крайней мере,— думал он,— мне упрекать себя не в чем. Дюндиковых же я, вероятно, никогда более не увижу, а может быть, не доведется мне и слышать об них!» Но вскоре потом один неожиданный случай опять напомнил ему о Климе Сидоровиче.

В Черниговской губернии за несколько верст до станции Ф**, куда он ехал, сломалась его повозка. Блистовский, поручив человеку своему вместе с ямщиком изыскивать средства, каким образом удобнее доставить ее на станцию для починки, сам отправился туда пешком. День был необыкновенно жаркий, и, несмотря на наступающие уже сумерки, воздух был тяжел и душен. Блистовский скоро устал от глубокого песка, по которому шел, и, увидев в правой стороне тропинку, ведущую в сосновый лес, решился идти по ней, надеясь, что она выведет его опять на столбовую дорогу. Таким образом прошел он некоторое расстояние лесом, как вдруг показалось ему, что он сбился с дороги. Он остановился, прислушиваясь к звону колокольчика, привязанного к его лошадям, но повсюду царствовало глубокое молчание. Воротиться считал он потерею времени; к тому же тропинка, по которой он шел, неоднократно разделялась на несколько других, ведущих в разные стороны, и он со-

мневался, чтоб мог найти настоящую дорогу при беспрестанно умножающейся темноте. В таком недоумении он решился идти далее, полагая, что наконец выйдет из лесу к какому-нибудь селению, где можно будет взять провожатого до станции. Но вечереющий день минуту от минуты становился темнее, лес гуще, а по мере того ослабевала и надежда Блистовского. Увидев наконец, что и тропинка делалась теснее и непроходимее, так что он беспрерывно ударялся лбом об ветви или спотыкался о корни дерев, он начал кричать изо всей силы в надежде, что услышит его какой-нибудь лесничий или запоздалый дровосек; но одно эхо ему отвечало. Утомившись наконец от бесполезного крика, он пошел далее, подвигаясь вперед с величайшею осторожностию, чтоб не выколоть глаз острыми сучьями, на каждом шагу ему встречавшимися. Таким образом прошло еще около получаса; между тем наступила совершенная ночь, и Владимир уже шел ощупью, зажмурясь притом для охранения глаз, которые в темноте для него были бесполезны. Но лес все не редел, и Владимир опять остановился, чтоб посоветоваться с самим собою. Можно легко представить себе, как он был доволен, когда, открыв глаза, увидел мелькающий вдали, сквозь чащу леса, огонек! Не медля нимало, направил он туда стопы свои, но это было дело нелегкое! В густоте и мраке леса он потерял даже ту тесную тропинку, по которой шел дотоле. Хворост хрустел под его ногами, удары от нависших сучьев учащались; иногда он сталкивался с огромными пнями больших дерев, которых никоим образом не мог различить в темноте. Наконец до слуха его достиг звук голоса человеческого, и в то же время запах горящих дров возвестил ему их близость, хотя самый огонь скрыт был чащею. Блистовский сделал еще несколько шагов и невольно остановился, когда начал различать голоса нескольких людей, разговаривавших между собою. Хотя он никак не думал, чтобы в этом лесу угрожала ему какая-либо опасность, полагая, наверное, что замеченный им огонь разложен лесничими или, может быть, майданщиками, но при всем том он начал прислушиваться к их разговору.

— Дшарро́, дшарро́! — раздался суровый и охриплый голос, признанный Владимиром за голос старухи.

— Дшарро́! слышишь ли?

— Он спит, матушка! — сказал другой женский го-

лос, приятнее и моложе первого.— Дшарро́! тебя кличет ма́мо!

— Что это! и выспаться не дадут! — отвечал наконец плаксивый голос молодого мужчины,— ну, что опять случилось?

Старуха. Встань-ка! да поди посмотри, что тут около нас шевелится словно ведмедь! Так и трещит лес!

Мужчина. Вот тебе на! Пойду я туда, если это ведмедь!

Старуха. Дурак! ведь знаешь, что ведмедей здесь нет! Посмотри, не подкрался ли кто?

Мужчина. Не ведмедь, так, может быть, еще хуже ведмеда! Ну кто, кроме лешего, об эту пору будет подкрадываться!

Молодая женщина. Ты, верно, боишься, чтоб тебе не явился покойный Васька, о котором ты вчера так плакал!

Мужчина. Бояться не боюсь, а жаль мне бедной бороды; он такой был добрый! Ну как у отца на него рука поднялась? Я его прошу да упрашиваю, а он ему пыр ножом в грудь! С одного удара так и свалился с ног!

Старуха. Ты знаешь, что нужны были деньги.

Мужчина. Ну, да много ли он взял? Три полтины-то всего! Стоило ли того, чтоб зарезать Ваську?

Старуха. Ведь думали взять больше! Да полно тараторить. Встань да посмотри! А вот идет и Дод!

Раздался лай собаки с противной стороны леса, и Владимир стал сожалеть, что не успел удалиться прежде. Разговор этот казался ему довольно ясным; он не имел при себе никакого оружия, и потому не оставалось для него иного средства к спасению, как попытаться уйти, пока не подоспеют другие. Он тихонько нагнулся и, пошарив руками по земле, нашел толстый сук, который и поднял для защищения себя в случае нужды. Потом со всевозможною осторожностию начал удаляться; но лишь только опять затрещал под его ногами хворост, как толстый голос отозвался в его ушах: «Арапка́! Орелка! лови, лови!» — и в одно мгновение бросились на него две собаки, которые, судя по их лаю, были необыкновенной величины.

Блистовский был в самом затруднительном положении. Темнота в густом лесе около него столь была велика, что он решительно не мог различить ни одного предмета, хотя бы оный находился совершенно подле него.

Он подвергался опасности быть разорванным собаками, между тем как не имел никакой возможности защититься ни от них, ни от разбойников, которых нападения ожидал ежеминутно. К счастию, собаки не так были злы, как казалось судя по грозному их лаю, и Блистовский, размахивая около себя суком, вскоре одержал победу; одна из них, которую случайно он задел, с большим визгом бросилась назад. Блистовский опять покусился идти: но лишь только сделал несколько шагов, как вдруг трескучий огонь зажженных смоляных лучин блеснул ему в глаза. Внезапный переход от самой глубокой темноты к яркому свету такое имел действие на его зрение, что он не мог ничего разглядеть, и не успел он еще опомниться, как почувствовал себя схваченным сзади сильными руками, которые, держа его крепко, как будто в клещах, потащили сквозь чащу и вывели на небольшую площадку.

Владимиру представилось тут явление, совсем для него необыкновенное. Под дубом огромной толщины, которого кривые и кудрявые ветви при первом взгляде отличались от прямых сосен, его окружавших, раскинут был род шатра, составленного из небольших шестов, верхними концами накрест соединенных и покрытых грубою парусиною. Под ненарядною этою палаткою, с одной стороны открытою, сидели, или, лучше сказать, лежали, на свежей скошенной траве две женщины — одна старая, другая молодая,— с длинными черными волосами, в большом беспорядке упадающими на плеча. Одежда их состояла из лоскутьев, и обе прикрыты были изношенными нагольными тулупами. Подле них расставлена была домашняя утварь: небольшой котел и несколько глиняных горшков. Раненная Блистовским собака, не переставая визжать, прижималась к ногам их, между тем как другая сердито глядела на него, оскаля зубы. Прямо перед ними стояла крытая телега, и тощий малорослый вол спокойно отдыхал подле нее от дневных трудов. Вся эта дикая картина освещена была огнем, разложенным между палаткою и телегою.

Прошло несколько секунд, и клещи, схватившие Владимира, все еще его не выпускали. В отчаянии он оглянулся... но лишь только оборотил голову, как, к крайнему его изумлению, руки, державшие его сзади, внезапно опустились, и противник его, человек страшного вида, с густою всклоченною бородою, пал к его ногам.



— Ваше благородие! — вскричал он.— Извините, не взыщите! Ей-богу, я не знал, что это вы!

В одно мгновение вскочили обе женщины и подошли к нему; в то же время приблизился и молодой человек лет семнадцати, который прежде стоял в тени и потому не был им замечен. Бородач между тем все еще лежал у ног Блистовского и не переставал просить помилования. Вскоре присоединились к нему все прочие, восклицая в один голос:

— Извините, ваше благородие! Ради бога, не взыщите!

Блистовский остолбенел от удивления. Неожиданная перемена его положения так его поразила, что он в первую минуту не нашелся, что сказать и что делать. Видя наконец, что все ожидают его решения, он спросил:

— Чего вы от меня хотите? Кто вы таковы? Встань и отвечай! — прибавил он, обратясь к тому, который лежал у его ног.

Незнакомец встал, продолжая кланяться ему в пояс и не говоря ни слова.

— Кто ты таков? — спросил опять Владимир.

— А вы меня не узнаете, ваше благородие? — произнес незнакомец униженно.

Блистовский посмотрел на него внимательнее. Оборванный нагольный тулуп составлял весь его наряд; всклоченные волоса и густая борода почти совсем скрывали лицо; но черты его, сколько можно было разглядеть их, показались ему не совсем незнакомыми, хотя не мог он припомнить, где их видел.

— Кто ты таков? — повторил он еще раз,— я тебя не знаю!

— Цыганский ата́ман, которого вы видели на ярмонке, ваше благородие!

Лишь только он выговорил сии слова, как Блистовский тотчас узнал в нем того цыгана, который на ярмонке так настоятельно уговаривал его купить вороных лошадей; а потом, как сказывал продавец, сам купил их для какого-то пана. Но, несмотря на то, что узнал он в нем знакомого человека, встреча эта нимало его не успокоила, ибо разговор, подслушанный им прежде, не выходил у него из ума. Тут, однако, не место было с ним объясняться.

— Теперь помню! — сказал Блистовский.— Да что ты здесь делаешь?

— А еду с жинкою и дитками на другую ярмонку, ваше благородие! Да дорогою заехать надобно к управителю, чтоб заплатить оброк. Извините, ваше благородие! Ей-богу, не узнал вас! Я думал, что это какой-нибудь беглый солдат, который хочет украсть нашего волика!

Блистовский не очень доверял словам атамана; но, видя, что ему никакого нет средства без помощи его выпутаться из затруднительного положения, в котором находится, он принял намерение скрывать свою недоверчивость.

— Далеко ли до большой дороги? — спросил он так хладнокровно, как будто ничего не опасался.

— Версты две с небольшим...

— А там до станции сколько?

— Да еще будет версты три.

— Можешь ли ты меня туда проводить?

— С большим удовольствием, ваше благородие! Да как вы сюда зашли?

— Я заблудился... Но пойдем, пожалуйста, скорее, мне нельзя терять времени.

— Тотчас, ваше благородие!

Атаман сказал несколько слов семейству своему на цыганском языке и отправился в путь. Женщины и молодой цыган, прощаясь с Блистовским, низко кланялись и просили опять, чтоб он не взыскал за то, что его не узнали.

Блистовский несколько времени шел рядом с атаманом и хотя был не боязлив, но не мог воздержаться от мысли: не ведет ли его цыган в такое место, где можно удобнее его ограбить? Рассказ о зарезанном Ваське все представлялся его воображению, и он от времени до времени крепче сжимал в руке толстый сук, поднятый им в лесу, как единственное орудие, которым, в случае нужды, он мог бы защитить жизнь свою. Но, углубившись далее в лес, он поневоле начал сомневаться в злых умыслах своего спутника, ибо, когда взошли они на тесную тропинку, где два человека с трудом могли идти рядом, цыган, обратясь к Блистовскому, сказал:

— Позвольте мне идти вперед, ваше благородие! Да держитесь за кушак мой, вам будет ловче.

Владимир охотно принял это предложение, обеспечивавшее его от всякого внезапного нападения, и таким образом продолжали они путь до самой столбовой дороги. Он почти уверен был, что цыган поспешит назад, как ско-

ро они выберутся из лесу; но и тут он ошибся в своих предположениях. Вышед из гущи, атаман указал на мелькающий вдали огонь и сказал:

— Вот там станция, ваше благородие! Прикажете ли проводить вас туда?

— Проводи! — отвечал Блистовский, и цыган опять пустился в путь с явною охотою.

Дорогой Владимир размышлял о странной противоположности между поведением атамана относительно его и злодеянием, учиненным накануне. Ему даже приходило на мысль, что он, может быть, недослышал речей цыганского семейства или их не хорошо понял; но сколько он о том ни раздумывал, все размышления его оканчивались тем, что подслушанный им разговор прямо относился к зарезанному человеку. Итак, он решился задержать атамана по прибытии в деревню, а между тем вздумал допросить его сам предварительно; ибо при всем том доверенность и спокойствие, с коими атаман его провожал, невольно поколебали его подозрение. Когда уже вошли они в деревню, Блистовский, обратясь к нему, вдруг сказал ему суровым голосом:

— Цыган! я знаю, что ты вчера зарезал Ваську!

Атаман остановился, взглянул на него с удивлением и потом, продолжая идти далее, отвечал, потупив взор:

— Правда, ваше благородие! Да кто вам сказал это?

— Как! — вскричал Блистовский, — ты в том не запираешься!

— Да в чем тут запираться? Мне и самому жаль было, да делать нечего! Надобно было заплатить оброк: управитель наш такой строгий! Бедный Васька! Если б я знал наперед, что мне так мало дадут за его шкуру, так быть бы ему и теперь еще в живых!

Владимир тут только догадался, что зарезанный Васька должен быть не кто иной, как козел, и он внутренно устыдился своего подозрения. Не желая, однако, выказать свою ошибку, он продолжал разговор:

— Да зачем же ты не продал его живого?

— А вот видите, ваше благородие! Я водил Ваську на базар, да никто его не покупал, потому что он был стар. Он жил у нас лет пятнадцать! Почти ровесник сыну моему, которого вы видели в лесу, ваше благородие! Он же ему и тезка был: ведь и сына моего зовут Ваською! Да, правда, и меня зовут Васильем...

— Как же мне послышалось, что сына твоего не так называли? Кажется, Ша́ро, или Жа́ро...

— Дшарро́, ваше благородие! Это по-нашему значит сын, или сынок. Так вот, видите ли: я привел Ваську назад; жаль мне его было, да нечего делать! Мы и рассудили, что лучше его зарезать: шкуру продать особо, а мясо-то нам самим пригодилось бы! У меня так сердце и защемило, когда я взял в руки нож, а Дшарро́ мой зарюмил хуже ребенка! Ведь, почитай, взросли вместе, ваше благородие! Ну, дело сделано, поправить его нельзя! Шкуру я продал, а до мяса никто из нас и дотронуться не хотел! Мы зарыли его в лесу, чтоб не съели волки, а Васька мой и теперь о нем еще плачет. Правду сказать, ваше благородие, он и не похож на настоящего цыгана: как пожил несколько годов на панском дворе форейтором, так совсем изнежился и ни на что не годится! Мне, правда, больно не хотелось его туда отдавать, да ведь не наша воля, воля панская!

— А чьи вы? — спросил Блистовский.

— Дюндика, ваше благородие, Клима Сидоровича,— вот того пана, с которым я видел вас на ярмонке...

— Скажи, пожалуй,— прервал его Владимир,— для кого ты купил вороных лошадей, которых я торговал?

— Да для него же, ваше благородие, для Клима Сидоровича. Гнедые-то лошади тоже ведь его были; кони старые, разбитые, мне никак не удалось их продать! А вороные-то ему тотчас понравились: только что их увидел и мигнул мне,— а я ведь его понимаю! Мне, слава богу, такие дела не впервые! Ну, этот раз грешно на него жаловаться! За то, что я купил ему лошадей дешево, он отпустил моего Ваську: уж я давно его о том просил... да куды! бывало и приступу нет! Барин строгий! азартный! Не дай бог, например, не заплатить оброка в положенный срок! беда, ваше благородие!

Между разговорами этими они дошли до станции, и Блистовский, желая чем-нибудь загладить неосновательное подозрение свое на цыгана Василья, подарил ему, при прощанье, двадцатипятирублевую ассигнацию.

Атаман долго не мог опомниться от радости.

— Дай бог вам счастья, ваше благородие! — воскликнул он.— Вечно рад служить вам, что хотите прикажите, все исполню! Ах, зачем бог не привел вас вчерась, ваше благородие! Мой бедный Васька теперь был бы еще жив!

Глава XI

ПРИМИРЕНИЕ

Рассказав читателям о сношениях, существовавших за год перед тем между Владимиром и опекуном Анюты, возвратимся к жениху нашему, скачущему в перекладной телеге по большой Полтавской дороге.

В продолжение сего путешествия Владимир неоднократно приводил себе на память все обстоятельства знакомства своего с Дюндиком, и воспоминания эти немало его беспокоили: мог ли он ожидать себе ласкового приема от опекуна? Он разрушил приятное заблуждение всего семейства относительно познаний барышень и потом публично изобличил шалуна племянника: это были такие преступления в глазах Марфы Петровны, что Блистовский никак не мог надеяться на ее снисходительность, а тем менее ожидать совершенного прощения и хорошего приема. И потому он готовился к неприятностям всякого рода; воображение его представляло ему живо сверкающие от гнева глаза Марфы Петровны, сердитые взгляды барышень и лживую улыбку Клима Сидоровича. При всем том он не терял надежды преодолеть все затруднения. Имея слово Анюты и согласие тетушки, он не предполагал, чтобы власть Клима Сидоровича, как опекуна, могла воспрепятствовать его браку,— и однако ж, несмотря на то, он с некоторым содроганием помышлял о неприятностях, его ожидавших. Но что значили все эти неприятности в сравнении с тем блаженством, которого он достигнуть надеялся! «Каков бы ни был прием Дюндиковых, сколь бы ни была велика их ненависть,— думал он в утешение себе,— но ведь все это должно же кончиться согласием опекуна. Какое право имеет он противиться браку нашему без важных причин? А таких причин, слава богу, нет вовсе, да и быть не может».

Таковы были размышления Владимира, когда въехал он в селение, где имел жительство Клим Сидорович. Он остановился на станции и, приказав не откладывать телеги, спешил переодеться, чтоб явиться к дамам в приличном виде. Тогда был час седьмой вечера, и Марфа Петровна, откушав чай, стояла с дочерьми на крыльце и ожидала Клима Сидоровича, чтобы вместе идти прогуляться по деревне. Еще издали увидели они телегу и, по направ-

лению ее, заключили, что она едет к ним на двор. Взоры их устремились в ту сторону с любопытством.

— Это должен быть секретарь поветового суда или комиссар,— сказала Марфа Петровна.

— Нет, матушка,— заметила Софья,— на нем ведь военная шинель.

— А будто ты не знаешь, что они все любят наряжаться по-военному.

— Матушка! — вскричала вдруг Вера Климовна,— это, кажется, Блистовский!

— Вот тебе на! — подхватила Марфа Петровна с язвительною усмешкою,— уж пора бы тебе забыть о нем! Ну зачем его принесет сюда нелегкая?

— Матушка! это точно Блистовский! ей-богу, Блистовский! Я узнала его усы и бакенбарты! Матушка! может быть, он приехал за мно...

— Молчи! что за дурь тебе в голову лезет...

Марфа Петровна не могла продолжать речь свою, ибо в это время телега взъехала на двор, и все, к крайнему удивлению, увидели, что Вера не ошиблась в своей догадке.

Когда Блистовский соскочил с телеги и взошел на крыльцо, Марфа Петровна еще не опомнилась от своего удивления и не придумала, как принять неожиданного гостя. Она стояла как вкопанная, вытаращив глаза, с полуоткрытым ртом. Ей хотелось что-то сказать, но язык не поворачивался. Сердце ее кипело злобою против Блистовского, и в другое время она бы знала, как его встретить; но немногие слова, сказанные Верою о причине его приезда, подействовали на нее, как электрический удар, и она онемела от недоумения.

Владимир между тем, сняв фуражку, подошел к ручке, спросил о здоровье и осведомился о Климе Сидоровиче.

— Он тотчас будет,— сказала Марфа Петровна, пришед наконец в себя.— Софья! посмотри, что делает отец! Не угодно ли пожаловать в комнату, Владимир Александрович?

Софья Климовна хотела идти за отцом, но Вера ее предупредила. При виде Блистовского она раскраснелась, и сердце в ней забилось так сильно, что смущение ее очевидно было для каждого. С одной стороны, ей очень хотелось остаться тут; с другой, надобно же было приуготовить батюшку, чтоб он приласкал приезжего.

В продолжение того времени, как Блистовский вхо-

дил в комнату, Марфа Петровна успела совершенно опомниться и приняла веселый вид. Сколь она ни была разгневана на гостя своего, но мысль, внушенная ей восклицанием Веры, казалась довольно основательною и заслуживала всякое внимание. И в самом деле, зачем было приезжать к ним Блистовскому, если б не имел он видов на Веру?

Лишь только они уселись на софе, как вошел и Клим Сидорович. Вера не только успела уведомить его, что приехал Блистовский, но и сообщила ему наскоро свои догадки насчет этого приезда; а Дюндик, как человек сметливый, сам дополнил то, чего она не досказала. Бросив при входе беглый взгляд на жену свою и увидев из ее лица, что гнев ее смягчился, он обыкновенную улыбку свою настроил, сколько можно, еще ласковее и подошел к Блистовскому с распростертыми объятиями!

— Какая неожиданная радость! — вскричал он.— Недаром у меня сегодня целое утро чесался нос! Я тотчас сказал, что будет к нам дорогой гость! Ну, добро пожаловать, Владимир Александрович! А мы думали, что вы нас совсем забыли. Легко ли! целый год мы не видались.

— У меня есть до вас дело, Клим Сидорович!

— Дело? Очень рад! ха, ха, ха! Очень рад иметь с вами дело. А чем могу служить вам, если смею спросить?

— Мне хотелось бы поговорить с вами наедине.

— Ба! да, видно, у вас секреты!..

— Нет, не секреты. Если вам угодно, я сейчас же вам объясню все...

Сколь ни было неприятно Блистовскому говорить при Марфе Петровне и барышнях, но он на то решился, чтоб скорее избавиться от мучительного положения, в котором он находился. Клим Сидорович, однако, не допустил его до того. Он не имел никакого сомнения насчет дела, о котором хотел с ним говорить Владимир: мог ли разговор его касаться чего-нибудь другого, кроме Веры? Но что ему отвечать в таком случае? Не успев переговорить наперед с своею супругою и не спросив ее приказаний, он не смел допустить Блистовского до объяснений и потому, опять громко захохотав, сказал:

— Знаете ли что, Владимир Александрович? О делах говорить надобно уже отдохнувши от дороги. Ведь вы у нас переночуете?

Блистовский поклонился.

— Ну, так о деле-то мы можем поговорить и завтра.

Я прикажу внести в дом все вещи ваши из коляски.

— Владимир Александрович приехал в телеге, батюшка,— сказала Вера Климовна.

— В телеге? ха, ха, ха! Ну, так велю вынесть все из телеги.

Клим Сидорович вышел в переднюю, и в скором времени чемодан, оставленный Блистовским на станции, перенесен был в дом. «Уж видно, что влюблен по уши! — подумал Клим Сидорович.— Дожидался целый год, да, знать, пришлось ему невтерпеж! А то кто бы ему велел скакать на перекладных!»

Между тем Марфа Петровна продолжала разговаривать с Владимиром. Почтительный его вид и учтивости, которые считал он себя обязанным говорить жене опекуна Анюты, более и более утверждали ее в мнении, что он приехал свататься на Вере, и она ежеминутно становилась ласковее. Гнев ее на Блистовского за французский язык и за племянника казался ослабевающим и по крайней мере на время уступал место предположениям и расчетам, относившимся до предстоявшего сватовства. Что касается до Веры, то все неприятные воспоминания прошлого года исчезли при первом взгляде на Блистовского; и Софья также умилостивилась, видя, что все другие забыли прошедшее.

Владимиру, не подозревавшему и в прошлом году непременного намерения Дюндиковых выдать за него дочь свою, теперь тем менее приходило в голову, чтобы приезд его приписывали любви к Вере. Он еще не имел случая заметить, что в иных домах каждый взгляд, брошенный на молодую девушку, считают признаком любви,— каждое учтивое слово, ей сказанное, принимают за любовное объяснение, за которым ожидают немедленно сватовства. По этим правилам, которых придерживались и Дюндиковы, не могло быть для них никакого сомнения в намерениях Блистовского. Что он в прошлом году был влюблен в Веру, это уже они считали совершенно доказанным. Что он уехал из Ромен не простившись, это также было очень натурально: он стыдился показаться им на глаза после того, что сделал с Прыжковым. Что потом целый год о нем не было никакого слуху,— ну... это, вероятно, происходило оттого, что он старался превозмочь свою страсть. А что он не в силах был ее превозмочь, тому служил явным доказательством теперешний его приезд на перекладных и желание объясниться с Климом Сидо-

ровичем наедине! И как он был учтив, как был ласков! На лице его и во всех приемах изображалась какая-то боязливость, какое-то уныние... «Бедненькой! — думала Вера,— как бы он развеселился, когда бы знал, что я знаю!»

Владимир между тем занят был одною мыслию об Анюте. Видя неожиданно ласковый прием Дюндиковых, он благодарил судьбу за то, что ошибся в своих предположениях насчет их, и самого себя винил, что судил о них так несправедливо. «Вот как легко ошибиться можно в людях! — думал он.— Марфа Петровна совсем не такова, какою я считал ее. Она посердилась на меня за французский язык и за племянника: это и не удивительно! Что касается до Клима Сидоровича, то двуличный поступок его относительно покупки лошадей на ярмонке конечно не очень благороден, да, впрочем, бог с ним! я охотно простил бы ему и не то».

Таким образом в этот вечер все были довольны друг другом, и когда после ужина расстались, каждый оставался в надежде, что завтрашняя развязка удовлетворит ожиданию всех.

Клим Сидорович сам проводил Владимира в назначенный ему флигель и, удостоверившись лично, что все в надлежащем порядке, возвратился к Марфе Петровне, ожидавшей его с нетерпением вместе с барышнями.

— Ну,— сказал он, войдя к ним в комнату,— слава богу! уложил его спать, все в порядке! Прекрасный молодой человек этот Блистовский!

— Да приказали ль вы, чтоб стукач не ходил у него под окошками эту ночь? — сказала Марфа Петровна.— Спросили ль вы, что он кушает по утрам: чай или кофе?

— Да надобно бы приказать, батюшка,— подхватила Вера,— чтоб Султана привязали где-нибудь подалее. Он так громко лает, а Блистовский, я чай, устал от дороги. Шутка ли,— продолжала она с довольным видом,— скакать на перекладных!

— Все сделано, все приказано! — отвечал Дюндик.— Ну,— прибавил он, обратясь к жене своей,— не говорил ли я вам, что Вере нашей быть за Блистовским?

— Как же! Уж ты всегда все наперед знаешь, мой батюшка! Только и свету, что в твои окошки. Я и сама знала, что этим когда-нибудь да кончится.

— А вы ж говорили, что никогда этому не бывать!

— Хорошо, хорошо! Мало ли что говорят на свете!

Да теперь дело не в том, а мне вот что пришло в голову: ведь они с Прыжковым-то не очень ладят. Счастье, что поехал он в хутор на охоту, а то, если б они здесь вдруг столкнулись, так быть бы беде! Когда он хотел воротиться, Вера?

— Да завтра ввечеру, матушка.

— Ну вот, видишь ли? А Блистовский теперь, верно, долго у нас проживет. Как бы это сделать?

— Правда! — сказал Клим Сидорович,— об этом надобно подумать.

— Вот то-то и есть! Кабы не я, так никому бы и в голову это не пришло!

— Что ж нам делать? — заметила испуганная Вера.

— А вот что, Клим Сидорович. Напишите-ка вы к Прыжкову, что я его прошу, чтоб он сюда не приезжал ни под каким видом до тех пор, пока ему не дадут знать. Да напишите, что Блистовский приехал свататься на Вере, что дело почти уже слажено! Слышите ли? Ведь он не дурак: поймет, что это не шутка.

— Тотчас напишу, Марфа Петровна!

— Позвольте лучше написать мне! — подхватила Вера.

— Вот это и того лучше! Напиши же ты: ты умнее отца. Да прикажи, чтоб поехал кто-нибудь верхом, да чтоб отыскали его непременно. Если нет на хуторе, так, может быть, у кого-нибудь в соседстве. Да чтоб его разбудили непременно! Слышишь ли, Вера?

— Слушаю, матушка!

Вера поспешила исполнить приказание матери, а Клим Сидорович с супругою остались разговаривать о завтрашнем дне.

— Послушай! — сказала Марфа Петровна,— ты сам не напоминай ему, что он с тобою говорить хотел, пускай он начнет о том первый.

— Статочное ли дело, матушка, чтоб я ему напомнил! Не бойтесь, он, верно, сам начнет.

— То-то; не надобно ему показывать, что мы этого желаем! Когда он тебя просить будет отдать за него Веру, скажи, что тебе надобно посоветоваться со мною, что сам собою ты ничего решить не можешь, что ты не знаешь еще, согласна ли Вера... Уж сам придумывай, как лучше! Ведь меня с тобою не будет, так смотри же, не проврись!

— Не таковской, матушка!

— То-то. Признаюсь, я все-таки терпеть его не могу!

Никогда не прощу ему, что он, прошлого года, так умничал. Ну!.. дай-ка ему только жениться на Вере! Уж я научу ее, как с ним жить! Уж мы примем его в руки!

— Мне кажется, Марфа Петровна, лучше забыть про старое.

— Забыть! — вскричала Марфа Петровна,— да я еще сроду ничего не забывала. Забыть! Вот прекрасно! Что ж! У меня от старости память ослабела, что ли? Господи, помилуй меня грешную! Да кто мне велит забывать?

— Что за польза,— возразил смиренно Клим Сидорович,— если они не будут жить в ладах? Бог с ними! Что нам мешаться в их житье?

— Ах ты!..— отвечала супруга его, взглянув на него с презрением.— Не тебе бы говорить, не мне бы слушать!.. Уж, верно, я лучше тебя знаю, как поступать с мужьями! Что! мы разве не ладно живем друг с другом? а?

— Ладно, матушка! очень ладно! Я только думал...

— Подумай-ка лучше о том, чтоб завтра все было в порядке!

Нежные супруги легли спать, и вскоре в целом доме водворилась глубокая тишина, хотя не все наслаждались сном. В числе последних был и Блистовский. «Завтра,— думал он,— решится моя участь! Тотчас после объяснения с Климом Сидоровичем поскачу назад в Барвеново и дня через два опять буду с Анютою! дай бог, чтоб скорее настало утро!..»

Утро почти уже настало, когда он заснул.

Глава XII

НЕУДАЧА

На другой день, лишь только Владимир раскрыл глаза, явился к нему посланный от Клима Сидоровича с поклоном и спросил: угодно ли ему кушать чай у себя, или у барыни, которая уже встала. Владимир отвечал, что тотчас будет.

Барышни были в полном наряде, а на лице Марфы Петровны опять играл живой румянец, подобно как прошлого года в Ромнах. Вчера, когда Владимир приехал так нечаянно, Марфа Петровна была бледна, и он, вспомнив эту бледность лица ее, когда уже ложился

спать, пенял самому себе, что не изъявил сердечного участия своего насчет ее здоровья. Увидев же ее поутру в полном блеске прошлогодней красоты, он поспешил загладить вчерашнюю свою ошибку.

— Вы вчера не очень были здоровы, сударыня? — сказал он.

— Вчерась? Нет, я, слава богу, была здорова. Кто вам это сказал?

— Да я это думал потому, что вы так были бледны...

Марфа Петровна бросила на него знакомый ему сердитый взгляд, барышни потупили глаза, а Клим Сидорович закашлял и понюхал табаку. Блистовский тут только догадался, что Марфа Петровна была нарумянена: он тоже немного смешался; но уже поздно было поправить свою недогадливость. Обиженная красавица, приняв вопрос Блистовского за насмешку, не могла скрыть своего негодования и мысленно дала себе слово отплатить ему и за эту обиду, когда он сделается ее зятем. Разговор между ими продолжался самый скучный, несмотря на то, что Блистовский всячески старался развеселить всех рассказами о Петербурге и о прочем.

Перед самым концом завтрака послышался звон колокольчика от едущей повозки. Софья подбежала к окошку и в ту же минуту возвратилась с расстроенным видом.

— Это он! — сказала она вполголоса, и Вера, тотчас понявшая, о ком говорит сестра ее, поспешно вскочила со стула и выбежала в сени, чтоб предупредить всякую неприятную встречу.

— Поздравляю, chère cousine![1] — вскричал Прыжков, увидев ее, — что, дело кончено? Сговор был? Вы видите, что я сам приехал вас поздравить.

— Ради бога! — отвечала Вера, — разве вы не получили моего письма?!

— Как не получить! За тем-то я и приехал!

— Да ведь мы просили вас не являться до тех пор, пока вам дадут знать! Пожалуйста, поезжайте назад. Кстати ли теперь заводить ссоры!

— Какие ссоры? За сумасшедшего вы меня принимаете, что ли? Зачем я буду ссориться с будущим кузеном?

— Да вы сказывали, что если когда-нибудь с ним встретитесь...

---

[1] милая сестрица! *(фр. — Ред.)*

— Ба! мало ли что говорится! Кто старое помянет, тому глаз вон! Да скажите, кончено ли дело?

— Побожитесь прежде, что не будете с ним ссориться!

— Ей-богу и не думаю о том! Говорите же, можно ли мне будет поздравить его женихом?

— Нет, ради бога, не поздравляйте! Он еще не сватался формально, а только просил у батюшки позволения поговорить с ним наедине!

В продолжение этого разговора перестали пить чай. Блистовский приблизился к окну и увидел на дворе небольшую открытую коляску, заложенную четверней. Он спросил, кто приехал? — но все уверяли, что не знают.

Немного погодя отворилась дверь, и вошел с веселым лицом — Прыжков. Он сначала показал вид, что не замечает гостя, поцеловал у своей тетушки ручку, поздравствовался с прочими и потом, обратясь к Владимиру и как будто только что узнав его, вскричал, подходя к нему с распростертыми руками:

— Ба! да это Владимир Александрович! как рад, что вас вижу! Давно ли изволили приехать в наш край?

Блистовский отступил немного назад, взглянул на него с удивлением и отвечал ему вполголоса:

— Вы, милостивый государь, забыли, что прошлого года сбирались со мною рассчитаться!

— Полноте, полноте, Владимир Александрович. К чему припоминать давно прошедшее! Я вас душевно люблю и почитаю...

— Так же, как почтенную бабушку вашу?

— А вы не забыли о покойнице? Теперь ее уж нет на свете! Да полноте сердиться! Кажется, я более вас имел бы на то причин, а не сержусь! Спросите у тетушки, спросите у кузин, с каким уважением я всегда об вас отзывался.

— Это правда! — подхватила Марфа Петровна.— У него сердце такое доброе!

Прыжков все стоял перед Блистовским с протянутой рукой; а барышни, особливо Вера, смотрели на него так умильно, что Владимир наконец, вспомнив причины, заставлявшие его щадить Дюндиковых, подал руку Прыжкову. Но в самое то время, как будто жалея об этом, он отступил от него и, обратясь к Климу Сидоровичу, напомнил ему, что пора поговорить о деле.

— Сию минуту, почтеннейший! — отвечал Дюндик,— я совершенно к вашим услугам.

Он взял Владимира за руку, и оба отправились в отдаленный покой.

Лишь только они вышли, как Марфа Петровна сказала своему племяннику с видом удивления:

— Ну, мой батюшка! я очень рада, что у вас дело так обошлось, но, признаться, не ожидала этого от тебя!

— Э, тетушка! Обстоятельства все на свете переменяют! Кстати ли мне было ссориться с вашим затем!

В самом деле, Прыжков давно уже потерял охоту драться с Владимиром. Во время нахождения его около двух месяцев под арестом жар в нем совсем простыл, и потому, когда после ареста он приехал в Петербург, то не только не старался отыскать Блистовского, но боялся с ним встретиться, хотя в душе его все еще таились злоба и мщение. Спустя несколько времени бабушка его скончалась, вероятно, от последствий сыгранной над нею шутки; а как она не успела перед смертию переменить завещания своего, то он наследовал ее имение, вышел в отставку и поселился в Малороссии, в соседстве Дюндиковых. Поспешность, с которою он выехал из Петербурга, происходила частию от желания его удалиться от местопребывания Блистовского, и даже, когда он жил в своей деревне, его иногда подирал по коже мороз при мысли, что он может как-нибудь с ним встретиться. Получив письмо от Веры, которым извещали его о приезде Владимира, он случай этот почел самым благоприятным для примирения и вот почему поспешил в дом своей тетки, вместо того чтоб, по желанию ее, остаться на хуторе.

Дюндик между тем привел Блистовского в комнату, назначенную для выслушания его предложения, запер за собою дверь и, посадив его подле себя на кресла, ожидал, потирая руки, что он ему скажет.

— Клим Сидорович! — начал Владимир,— в прошлом году, когда имел я честь познакомиться с вами в Ромнах, я никак не предвидел, что от вас зависеть будет решение моей участи...

— Да, да! — отвечал с довольным видом Дюндик,— этого предвидеть никогда не можно!

— Позвольте мне надеяться, Клим Сидорович, что неудовольствия, которые поневоле я нанес семейству вашему, не оставили никакого невыгодного на мой счет мнения!

— Помилуйте, Владимир Александрович! Божусь вам истинным богом, что я, с своей стороны, рад сделать все, что вам угодно, но между нами будь сказано, моя Марфа Петровна...

— Да мое дело до Марфы Петровны вовсе не касается...

— Ну, этого не говорите! Конечно, я всегда главное лицо, но ведь и она имеет право сказать словечко! Впрочем,— продолжал он, нашептывая ему на ухо,— скажу вам откровенно, только чур! меня не выдавайте! И Марфа Петровна внутренно согласна!

— Согласна! — вскричал Владимир с удивлением.— Да почему вы знаете, зачем я приехал?

— Ха, ха, ха! Почему я знаю! Ведь мы люди не совсем простые, ха, ха, ха! Даром, что мы не бывали в Петербурге, Владимир Александрович!

— Если так, то позвольте принесть вам чувствительнейшую мою благодарность! Я и сам полагал, что вы не можете иметь никаких причин отказать мне в руке Анны...

— Анны! — прервал его торопливо Клим Сидорович,— вы хотите сказать — Веры?

— Нет, я говорю об Анне Трофимовне...

— Об какой Анне Трофимовне? — вскричал Дюндик, вскочив с кресел.

— Об Анне Трофимовне Орленковой.

— Позвольте...— сказал Клим Сидорович в крайнем замешательстве.— Да как же это... где вы ее видели, где с нею познакомились?

— У тетки ее, Анны Андреевны Лосенковой. Вот от нее письмо к вам.

— Анна Трофимовна Орленкова! Да она разве не в Петербурге?

— Уж несколько месяцев живет она у тетки своей, где и познакомился я с нею.

— О, так позвольте, это дело другое! Я ее опекун: покойный Трофим Алексеевич вверил мне ее на смертном одре. Я должен отвечать за нее богу...

— Как же вы несколько минут тому назад сами сказали, что согласны?

— Я это сказал? Так у меня совсем другое было на уме! Нет, позвольте мне подумать... я... я теперь никак согласиться не могу!

— Клим Сидорович! — вскричал Блистовский, начи-

ная терять терпение.— Мне кажется, что шутки тут не у места...

— Какие шутки! — отвечал Дюндик, подвигаясь к дверям в явном смущении.— Дело это не шуточное! Мне непременно надобно посоветоваться, подумать...

Выговорив слова сии, он поспешно отворил дверь и с размаху ударил в лоб Марфу Петровну, подслушивавшую их разговор.

— Ах ты, проклятый! — закричала Марфа Петровна, отлетев на несколько шагов назад и весьма небрежно упав на пол. Она так сильно ушиблась, что в первые минуты сама не могла подняться на ноги. Дюндик и Блистовский бросились к ней на помощь, но она, в бешенстве от стыда и боли, не хотела их допустить к себе и, толкаясь руками и ногами, продолжала кричать во все горло. Нарядный чепец ее спал у нее с головы. Длинные, черные волосы развевались около нее, как змеи около фурии, и большой красный волдырь на открытом лбу свидетельствовал, что толчок, ею полученный, был не из числа легких.

На крик ее сбежались барышни, Прыжков и слуги, с трудом они ее подняли. Но лишь только почувствовала она, что стоит на ногах, как опять принялась бранить бедного мужа, который с поникшею головою, бледный и остолбенелый, не смел даже ничего сказать в свое извинение.

— Ах ты, негодный! — кричала она, всхлипывая и задыхаясь.— Ах ты, неуч! Уж говорю я, что придется мне умереть от твоих рук. Эдакой медведь!

— Матушка! — отвечал Клим Сидорович с покорностию,— ведь я не виноват...

— А кто же виноват? Я, что ли? Разве ты не мог отворить двери тихонько? Разве не мог наперед покашлять?

— Я бы охотно покашлял, матушка, да как мне знать, что ты за дверьми? Зачем ты не сказала мне прежде?..

— Вот тебе на! Зачем не сказала прежде! А у тебя самого разве нет догадки? На что тебе бог дал ум? Да, правда, у тебя никогда его и не бывало!

— Извини, матушка! Ей-богу, не нарочно! Вот Владимир Александрович свидетель...

— Ну, уж!.. хорош твой Владимир Александрович! Вера! веди меня в спальню: я сама идти не могу; да скажи отцу, чтоб шел за нами!

Вера Климовна, ни слова не говоря, взяла матушку под руку и отправилась с нею в спальню. За ними поплелся и Клим Сидорович, как приговоренный к смерти. Немного погодя вышел из комнаты Прыжков, а потом пришли позвать к матушке и Софью Климовну. Владимир остался, не зная, что ему начать в таковых обстоятельствах.

Между тем Марфа Петровна, прибыв в спальню, тотчас легла в постель и велела примачивать себе лоб холодным уксусом. Клим Сидорович и Вера не смели прерывать молчания и ожидали, пока позволено им будет говорить. Наконец, когда боль Марфы Петровны поутихла, она обратилась к мужу и сказала сердитым голосом:

— Ну, мой батюшка! Хорош же и Блистовский твой! Что теперь скажешь?

— Матушка! — заметила робко Вера,— да Блистовский, кажется, в этом совсем не виноват!

— Не виноват! Спроси-ка у отца, о чем они с ним разговаривали! Ведь ты, я чай, думаешь, что он сватался на тебе!

— А на ком же, матушка! Неужто на Софье?

— Как бы не так! Еще бы на Софье! А то на глупой этой девчонке — на Орленковой! Смотри, пожалуй, ну ей ли иметь такого жениха! Да никогда этому не бывать! Скорее умру, чем допущу до этого! Слышишь ли?

— Слушаю, матушка! — отвечал Клим Сидорович.

— Да какая это Орленкова? — спросила Вера.

— А вот та, которой отец твой навязался в опекуны! Уж я всегда говорила, что от этого знакомства не нажить нам добра!

— Да виноват ли я, матушка...

— Ты никогда ни в чем не виноват! Зачем тебе было отсылать ее в Петербург? Оставил бы ее у тетки, так и вышла бы она замуж за какого-нибудь подьячего! А то послал ее еще в монастырь! Она, я чай, там и по-французски и по-немецки научилась, тогда как твоим дурам и носу нельзя показать в Петербурге! Только я тебе говорю: если ты допустишь ее выйти за Блистовского, так не слыхать тебе от меня доброго словечка! Сохрани тебя бог, если он на ней женится!

— Да уж как-нибудь да сладим дело! Теперь только не знаю, что мне начать с Блистовским-то?

— Как не знаешь? Ну, скажи ему наотрез, что не отдашь, да и полно! Что с ним церемониться!

— Он этим не успокоится! Ведь не драться же мне с ним! И то уж он так косо на меня взглянул, когда не тотчас я согласился, что я поспешил выйти из комнаты!

Как ни была разгневана Марфа Петровна, но не могла не чувствовать, что нужно выдумать какой-нибудь благовидный предлог, чтоб, на первый случай, выпроводить Владимира из дому. Между обоими супругами началось о том совещание, и никто из них не обращал внимания на Веру Климовну, которая так поражена была сею неожиданною вестию, что принялась горько плакать. В одно мгновение разрушились все воздушные замки, ею с таким удовольствием выстроенные; все картины, увеселявшие ее воображение с вчерашнего вечера, исчезли как будто от мановения волшебного жезла! Легко себе представить можно, что происходило в ее сердце! Надлежало проститься с мыслью выйти за богатого, любезного гвардейского офицера, проститься с надеждою блистать в Петербурге! И все эти выгоды, все это будущее благополучие, которым она мысленно себя утешала, надлежало уступить — бог знает кому!

Между тем совещание супругов кончилось положением: объявить Владимиру, что Марфа Петровна занемогла и лежит в постеле, а Клим Сидорович ни на минуту оставить ее не может. Софье Климовне поручили сказать об этом Блистовскому и за тем-то и отозвали ее к матери.

Когда она о том объявила Владимиру, он на первый случай не мог придумать, что ему делать. Он догадывался, что болезнь хозяйки дома служила только предлогом к его удалению, и предвидел, что ему ни к чему не послужит ожидать ее выздоровления. Но, с другой стороны, не хотел он уехать, не получив решительного ответа итак, он попросил Софью Климовну возвратиться к батюшке и узнать, будет ли ответ на письмо Анны Андреевны, Софья долго не хотела исполнить его просьбы, говоря, что ей запретили беспокоить матушку и прочее; но когда Владимир решительно объявил, что в таком случае он дождется, пока можно будет видеться с Климом Сидоровичем, она наконец согласилась войти в спальню Марфы Петровны и возвратилась оттуда с извинением, что батюшке никак нельзя самому выйти, но что об известном деле он не замедлит писать к Анне Андреевне по почте.

Предвидя, что нельзя дождаться другого ответа, Вла-

димир простился с Софьей Климовной, и, приказав чемодан свой отнесть на почтовую станцию, сам пошел вслед за ним и, не медля ни минуты, отправился обратно в Барвеново.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава XIII

НЕОЖИДАННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Возвращаясь к Анюте, Владимир непрестанно думал о том, каким образом уговорить тетушку, чтоб она не ожидала согласия опекуна. Последнее его свидание с Климом Сидоровичем и с его семейством вполне открыло злой и мстительный нрав Марфы Петровны, а вместе и влияние ее на бездушного супруга. Владимир предвидел препятствия, угрожающие его любви, и всю надежду свою полагал на добродушие тетушки, которая, при горячей привязанности к Анюте, не могла ее предать совершенно во власть опекуна, ни в каком отношении не исполняющего обязанностей своего звания.

В сем расположении приехал он в Барвеново. Анюта, Гапочка, тетушка встретили его с радостными восклицаниями: они ожидали его несколькими днями позже. Анюта первая заметила, что он печален, и с нежным участием спросила об его здоровье.

— Э, Галечка! — сказала тетушка.— Ты видишь, что он устал с дороги! Жениху нет времени быть нездоровым! Что ж, Владимир Александрович? Застали ль вы Клима Сидоровича? Я чай, сам обещался приехать на свадьбу?

Владимир с сокрушенным сердцем начал рассказывать все, случившееся с ним в доме Дюндиковых. Все слушали его со вниманием, и рассказ его прерываем был только восклицаниями недовольной тетушки, для которой такие нравы, какие описывал Блистовский, были совершенно непонятны. Анюте также все это казалось так ново, так странно, что она не могла произнести ни слова, ожидая, что скажет тетушка.

— Ну, Владимир Александрович! — вскричала Ан-

на Андреевна, когда он кончил свое повествование,— если б не вы это рассказывали, то я, право бы, не поверила! никак бы не поверила!.. Да что ж он ко мне хочет писать?

— Не знаю, тетушка! Я думаю, что он совсем писать не будет или по крайней мере напишет не скоро. По моему мнению, нам незачем и ожидать его писем. Мы сделали с своей стороны все, чего долг требовал, а теперь, кажется, можем обойтись и без его согласия.

— Вам, Владимир Александрович, позволено так думать! Ведь вы жених! Но я все-таки другого мнения!

— Да неужто участь Анюты должно подвергнуть пустым капризам опекуна, не имевшего никогда ни малейшего о ней попечения!

— Ведь мы еще не знаем, что он напишет. Дождемся ответа на мое письмо и тогда посмотрим, что нам делать должно!

— Вы увидите, что он совсем отвечать не будет...

— Так мы еще раз к нему напишем!

Тетушка все оставалась при своем мнении, несмотря на красноречивые убеждения Блистовского, который наконец умолк в надежде при случае возобновить свои домогательства.

Таким образом прошла целая неделя, в продолжение которой Блистовский неоднократно покушался уговорить тетушку, чтоб она решила судьбу его без содействия Дюндика, но старания его были тщетны. Сколь ни желала Анна Андреевна счастия любезной своей Анюте, но при всем том непоколебимо оставалась при своем мнении. Печаль Владимира возрастала еще при мысли, что ему скоро должно будет возвратиться в Петербург по делам службы, и он содрогался, когда воображению его представлялась возможность, что до отъезда его, которого не мог он долее откладывать, не получится никакого решительного ответа от Клима Сидоровича. Сентябрь был на дворе, и Блистовский имел намерение отпроситься в отпуск на несколько месяцев; но для получения сего отпуска ему надлежало, по некоторым обстоятельствам, непременно самому явиться в полк.

Анюта между тем с покорностию исполняла волю доброй тетушки, не понимая нетерпения Блистовского.

— Ты не можешь сомневаться в моей любви,— говорила она ему,— тетушка также согласна на брак наш;

итак, о чем ты беспокоишься? Опекун не может оставить письма без ответа: почему же нам его не дожидаться в угодность тетушке? Мне самой кажется, Владимир, что наш долг повиноваться опекуну, назначенному покойным отцом моим!

Пылкий любовник иногда упрекал Анюту в холодности; но когда страстные взоры его встречались с прелестными глазами Анюты, в которых отражалась вся невинность души ее, когда он замечал слезы, возбужденные несправедливым его подозрением,— тогда с раскаянием повергался к ее ногам и просил прощения.

Между тем время проходило, день отъезда его в Петербург быстро приближался, а от Дюндика не было никакого ответа. Тетушка, несмотря на преклонность лет своих, вздумала было сама к нему поехать; но на кого ей оставить детей? На кого покинуть Праскуту, все еще находящуюся в том же болезненном положении и не имеющую никакого утешения в сердечном сокрушении своем, кроме нежной любви матери? Праскута не завидовала своей счастливой сопернице, и препятствия, встретившиеся со стороны Дюндика, беспокоили ее более, нежели самую Анюту. Она яснее предвидела все, что угрожало совершению их желаний, и доброе сердце ее о том соболезновало несмотря на несчастную страсть. Но девическая стыдливость не допускала ее быть откровенною с Анютою и заставляла избегать всяких с нею объяснений. Веселая и беззаботная Гапочка также не внушала ей никакой доверенности; итак, нежная любовь доброй матери была единственным ее утешением в безотрадном положении. Анна Андреевна хотя никогда не говорила с Праскутою о причине ее горести, но нежные ее ласки и безмолвная о ней заботливость явно показывали, что она читала в сердце своей дочери, и Праскута часто целовала руки ее со слезами признательности. Итак, могла ли Анна Андреевна решиться оставить ее одну?

Таким образом настал час разлуки. Накануне отъезда Владимир написал к Климу Сидоровичу письмо, в котором, извещая о кратковременной своей отлучке из Малороссии, убедительно просил его не замедлить ответом своим Анне Андреевне. В письме этом, почтительном, но притом показывающем твердость, он намекал Дюндику, что опекун не имеет права отказать в просимом у него согласии без важных причин, и наконец заметил, что дальнейшую, ни на чем не основанную проволочку в

сем деле он сочтет знаком явной к себе неприязни и нестерпимою обидою.

Письмо это он отправил по эстафете и с стесненным сердцем сел в повозку, приготовленную в долгий путь. Все провожали его со слезами.

— Возвратитесь к нам скорее! — кричала ему вслед тетушка. Анюта не могла выговорить ни слова, она долго плакала, и добрая Анна Андреевна принуждена была утешать ее уверениями, что Владимир скоро возвратится и что тогда уже не нужно будет им опять расставаться.

Протекло еще несколько недель; Анюта и тетушка успели уже получить письмо от Владимира из Петербурга, а от Клима Сидоровича все еще не было никакого известия. Все полагали наверное, что он не прервет своего молчания, и тетушка уже начинала раздумывать: писать ли к нему еще, или, по совету Блистовского, оставить его в покое и, приняв на себя всю ответственность, благословить их брак. Сердце ее было согласно с сим последним мнением; но она никак не могла на то решиться. Воля умершего отца Анюты казалась ей столь священною, что никакие умствования не в силах были ей противостоять. «Нет,— думала она,— мне непременно должно еще раз написать к Климу Сидоровичу! Если бы покойный братец, Трофим Алексеевич, хотя одним словом упомянул обо мне в завещании, то я имела бы какое-нибудь право решить участь Галечкину. Но он вверил ее одному Дюндику, а мне не предоставил никакой над нею власти. Я имею только право любить ее, как родную мою дочь,— и в этом никто мне не препятствует!»

Тетушке, в простодушии ее, и на ум не приходило винить покойника за то, что он забыл о ней в завещании; ей самой казалось, что богатому и знатному Климу Сидоровичу (таковым она его считала) гораздо приличнее быть опекуном, нежели ей; и до сего времени еще, несмотря на рассказы Владимира, поведение Дюндика представлялось ей более странным и непонятным, нежели предосудительным. В добродетельное сердце ее с трудом могли проникнуть понятия о таких людях, каков был Клим Сидорович.

Итак, тетушка решилась писать к опекуну. Это для нее было дело нелегкое. Долго думала она, как начать и чем кончить, и наконец, составив примерно план пись-

му своему, отыскала лист почтовой бумаги, попросила Анюту очинить перо и, по окончании всех приготовлений, села к письменному столу. Барышни в той же комнате заняты были рукодельем. Вдруг услышали они стук едущего экипажа и побежали к окну. Сама тетушка оставила письмо свое и приблизилась к ним. В это время заворачивала на двор тяжелая четвероместная карета старинного фасона, заложенная десятью крестьянскими измученными лошадьми; шесть запряжены были в ряд, а четыре на вынос с двумя форейторами. На козлах подле крестьянина, служившего ямщиком, сидел лакей в запачканном китайчатом платье, а на запятках были еще два человека в таком же наряде. Карета, несмотря на большое число лошадей, ее тащивших, и на крик и удары кучера и форейторов, подвигалась медленно вперед и наконец остановилась у крыльца тетушкина дома.

— Кто это? — спрашивали друг у друга тетушка и дочери ее с удивлением, ибо из всех знакомых их никому не мог принадлежать этот экипаж.

Между тем все трое слуг соскочили с мест своих и отворили дверцы кареты, из которой, с помощью их, вылез высокий, дородный мужчина в светло-сером нанковом сюртуке и изношенном зеленом сафьянном картузе. Большой Владимирский 4-ой степени крест висел у него в петлице на длинной ленте. Он взошел по ступеням, поддерживаемый лакеями, остановился на одно мгновение на крыльце, гордым взором окинул весь двор и строение и вошел в дом.

— Кто это? — опять вскричали жители Барвенова и не успели еще дать друг другу ответа, как дверь растворилась и незнакомец вступил к ним в комнату.

— Вы, конечно, Анна Андреевна? — сказал он, обратясь к тетушке с важным видом.

— Точно так! — отвечала она, смешавшись немного.— Позвольте спросить?..

— Неужто вы меня не знаете? — спросил с удивлением незнакомец.

— Лицо ваше мне очень знакомо, но, право, не помню.

— Ха, ха, ха! Я думаю, что знакомо! Я Дюндик. Мы ведь, кажется, сродни, Анна Андреевна!

— Клим Сидорович! — вскричала тетушка,— Клим Сидорович! Ну, никак бы не догадалась!

Анюта, услышав имя опекуна своего, приблизилась

шага на два, хотела к нему подойти, но остановилась, как будто удерживаемая каким-то страхом.

— Ну уж, Анна Андреевна! — сказал Дюндик, без церемонии расположась на софе.— Не думал я, что вы меня не узнаете!

— Виновата, мой батюшка! Сколько лет вас не видала. Скорее бы я думала, что сегодня будет преставление света, нежели чтоб вы к нам пожаловали. Да как же состарились, Клим Сидорович!

— Я что-то не замечаю, чтоб очень постарел,— сказал Клим Сидорович, с довольным видом посматривая в зеркало боком и поправляя крест свой.

— Не прогневайтесь, мой батюшка! Ведь мы все не молодеем, а стареем. Такова воля божия!

— Хорошо, хорошо! Да где же у вас сиротка, что у меня в опеке?

— Вы говорите об Анне Трофимовне? — отвечала тетушка с недовольным видом.— Вот она!

— Подойди же ко мне, душенька! — продолжал Дюндик, подняв величественно голову,— подойди, не бойся!

Анюта попеременно бледнела и краснела: приемы опекуна казались ей столь странными и необыкновенными, что она не могла не чувствовать некоторого содрогания. Не таковым воображала она себе друга покойного отца своего, того человека, которому перед кончиною он вверил участь единственной дочери! Вопреки рассказам Блистовского, сердце ее, приобыкшее чувствовать уважение к священной памяти отца, отказывалось верить словам Владимира, когда он обвинял ее опекуна, и часто она его самого обвиняла в несправедливости. Но теперь, при виде Клима Сидоровича, все, что говорил Блистовский, вдруг пришло ей на память и показалось вероятным, хотя сама она изъяснить не могла причины сей перемены в своих чувствованиях. Несмотря, однако ж, на то, она, повинуясь приказанию опекуна, встала со стула и подошла к нему.

— Ну, подойди ж ближе! — повторил Дюндик и протянул ей руку.— Будь смелее, миленькая! Чего ты боишься?

Клим Сидорович протянул руку не для ободрения Анюты, а просто для того, чтоб сиротка, его опеке вверенная, поцеловала ее с почтением. Конечно, такая мысль не пришла бы ему на ум, если б был тут Блистов-

ский; но мы увидим, что и все путешествие Дюндика рассчитано было на время отсутствия молодого офицера, которого эстафету он получил как следовало.

Анюта, не подозревая нимало, чтоб опекун ожидал от нее подобного знака уважения, в крайнем смущении стояла перед ним неподвижно, потупив глаза и не говоря ни слова.

Клим Сидорович взглянул на нее так пристально, как только позволяли ему оловянные его глаза. Дерзость молодой девушки, не показывающей ни малейшей охоты облобызать отеческую его руку, чрезвычайно изумила его. Но когда он разглядел ее внимательно, когда увидел, как стояла она перед ним в полном блеске девической красоты, скромно и вместе величественно, то чувство невольного уважения проникло в закоснелую его душу. Он в замешательстве опустил протянутую руку и, повертевшись немного на софе, встал, кряхтя, и подошел к ней со всею учтивостию, к которой он был способен.

— Анна Трофимовна! — сказал он ласково.— Я бы никак вас не узнал! Как вы выросли, как переменились!

Анюта поклонилась, не отвечая ни слова; но тетушка, давно уже смотревшая с нетерпением на гордое обхождение Дюндика, сказала с сердцем:

— Ну, мой батюшка! Мудрено ли, что вы ее не знаете? Прости меня, господи! Хорош опекун, который лет чрез пятнадцать в первый раз о ней вспомнил! Не прогневайтесь, Клим Сидорович! Я женщина простая: что на сердце, то на языке.

Ни Анюта, ни сестры ее никогда не видали Анны Андреевны в таком гневе; но Клим Сидорович, оказывая пренебрежение к любезной ее Галечке, нанес тетушке самую чувствительную обиду. Она сама не постигала, откуда взялось у нее столько духу, чтоб говорить так смело с важным опекуном.

Дюндик между тем был в крайнем замешательстве. Важный вид, принятый им на себя, совершенно исчез, и на лице его осталась одна обыкновенная глупая его улыбка. Он поворачивал глаза на все стороны и потирал руки, не зная, что отвечать. Наконец он сказал запинаясь:

— Анна Андреевна!.. я не знаю... право, не знаю... за что вы на меня гневаетесь?

— Да правду сказать, я и сама не знаю, как вы довели меня до того, Клим Сидорович! Я и не помню, когда

бы так сердилась! Ну, мы все люди грешные! Ведь и камень, говорят, терпит-терпит, да и треснет, а я женщина слабая, простая! Извините, Клим Сидорович! Чем бы вас попотчевать, не прикажете ли чаю? Гапочка, вели подать самовар! Что не хорошо, то не хорошо! Виновата я, что погорячилась, да и вы не правы, Клим Сидорович, что во все время не вздумали ни разу справиться об Анюте.

— Я!.. Помилуйте, матушка! Да я почти с каждою почтою писал об ней к полковнику Р**, когда была она в монастыре! Легко ли, сколько в эти годы я денег переплатил на почту? Что письмо, то рубль из кармана, а иногда и с лишком! Спросите-ка у полковника, я чай, надоел ему своими расспросами!

Анюта взглянула на него с удивлением; ей казалось странным, что полковник никогда не упоминал о Климе Сидоровиче; но она не смела сомневаться в словах опекуна. Тетушка покачала головою; ей также не верилось то, что говорил Дюндик, но уверительный тон его привел ее в недоумение, и она спешила прекратить этот разговор.

— Не угодно ли чего покушать, Клим Сидорович? Я, второпях, извините, и забыла у вас спросить. Вы, может быть, сегодня еще не обедали?

— Покорно благодарю, Анна Андреевна! я выпью чаю.

Опекун в продолжение целого вечера старался быть сколько можно любезнее и относительно Анюты истощил весь небольшой свой запас учтивости. Чем более он смотрел на прелестную, благовоспитанную девушку, тем почтительнее он становился, и когда ввечеру они расстались, обхождение его с нею переменилось до такой степени, что он сам не понимал, каким образом с начала знакомства своего мог он говорить ей «ты» и «душенька»! При прощании он не только не осмелился поднесть ей свою руку, но сам подошел к ее руке и самым умильным и ласковым голосом пожелал ей покойной ночи.

Прибыв в отведенную ему комнату, он, против обыкновения своего, долго не мог заснуть. Его беспокоила мысль, что на другой день надобно будет приступить к исполнению поручения Марфы Петровны. В то время, когда супруга его объясняла выдуманный ею план, ему казалось так легко привесть его в действие. А теперь план этот представился ему совсем в ином виде! Он, конечно, и тогда уже ожидал некоторого сопротивления со

стороны тетушки; но с нею, думал он, нетрудно будет сладить! Одно посещение такого важного человека, как он, должно было произвесть сильное впечатление на Анну Андреевну. Что ж касается до самой Анюты, то Клим Сидорович и Марфа Петровна вовсе ее не опасались.

— Теперь дурака-то там нет! — говорила она при прощании, разумея под этим названием Блистовского,— так некому с тобою спорить! Когда приедешь в Барвеново, ты долго с ними не рассуждай, а просто объяви, что девчонка должна ехать с тобою! Лосенкова, может быть, просить будет, чтоб ее оставили, да ее слушать нечего. Ведь мы опекуны, а не они; следовательно, девка зависит от нас, а не от нее. С самого приезда ты должен поступать решительно, так они и не посмеют умничать!

— Да не взять ли с собою кого-нибудь из женщин? Ведь, может быть, с нею никого нет?

— Вот тебе на! Экая барыня! А разве она не может ехать одна? Стану я ее баловать! Давно ли она из монастыря? Там у них, не бойся, прислуги-то очень много!

Все, что тогда говорила мужу Марфа Петровна, казалось ему весьма основательным, и вообще поручение взять Анюту от тетушки представлялось совсем нетрудным; он даже радовался, что не задали ему чего-нибудь помудренее. Конечно, мысль о Блистовском немного его тревожила, но ведь Блистовский уехал в Петербург, а до его возвращения, по плану Марфы Петровны, надлежало быть большим переменам! Вот каковы были размышления опекуна, когда ехал он в Барвеново, а теперь все явилось ему в другом и неожиданном виде! И Анна Андреевна-то, видно, не совсем такова была, какою он ее считал; что ж касается до Анюты... «Ой, ой, ой! — думал Клим Сидорович, вздыхая и покачивая головою.— И сама Марфа Петровна не так бы о ней заговорила, если бы ее увидела! А у меня теперь и язык не поворотится что-нибудь ей приказать. Ну как мне быть с нею? Охотою-то вряд ли она поедет! Да правду сказать, умно сделает, если останется».

При всем том волосы у него становились дыбом при одной только мысли, как его встретит Марфа Петровна, если он возвратится без Анюты! Клим Сидорович долго не спал, переваливаясь с бока на бок, наконец благодетельный Морфей сомкнул его вежды. Но и во сне преследовал его гневный образ Марфы Петровны, грозящий ему ладонью и взирающий на него сердитым глазом.

Глава XIV

РАЗЛУКА

Все на другой день давно уже встали, когда Клим Сидорович покоился еще глубоким сном. Размышления о затруднениях, ожидающих его в исполнении данных ему поручений, мешали ему заснуть почти до самого утра, и потому он в этот день проснулся необыкновенно поздно.

Тетушка и Анюта между тем мысленно почти уже примирились с Климом Сидоровичем. Накануне он в продолжение целого вечера так был учтив и ласков и так много рассказывал о доброте своей и о приверженности к памяти покойного майора, что Анюта начала поглядывать на него с участием и не доверяла собственному сердцу своему, не чувствовавшему никакого влечения к опекуну. При Анне Андреевне, знавшей так коротко майора, Дюндик, конечно, не смел слишком распространяться о великих одолжениях, оказанных покойному; но один рассказ о славном его лазарете уже достаточен был для возбуждения в добродушных и доверчивых слушательницах искреннего к нему уважения. Тетушка внутренно раскаивалась в своей запальчивости, и невежливые приемы Дюндика при первой встрече с Анютою теперь показались простодушной Анне Андреевне обыкновенным обращением почтенного и доброго старика. Как жалела она, что на эту пору Блистовский был в отсутствии! Анна Андреевна нимало не сомневалась, что опекун приехал к ним для того единственно, чтоб присутствовать при сговоре Анютином. Дюндик, хотя не объявлял еще причины своего приезда, но зачем бы ему приехать, если б не для того? С каким участием он спрашивал вчера, давно ли уехал Блистовский в Петербург, и как сожалел, что его не застал! Как он пенял на слабость здоровья своего и на домашние хлопоты, препятствовавшие ему поспеть в Барвеново ранее! Обратясь к такому выгодному мнению о Климе Сидоровиче, Анна Андреевна начала немного досадовать на Блистовского. «Ведь прехороший человек наш Владимир Александрович! — говорила она сама себе, — а правду сказать, довольно опрометчив! Кабы более имел терпения, так верно бы получил согласие опекуна, когда был у

него в Будище! А то, и в самом деле, не мог же Клим Сидорович для него бросить свою больную жену. Что за важность, что он не в первую минуту согласился на его предложение: ведь это именно и доказывает, что он заботится о ней более, нежели как мы полагали!»

Таким образом Анна Андреевна, по доброте своей, толковала в хорошую сторону все поступки Дюндика и, считая себя перед ним виновною, вознамерилась загладить вчерашнюю свою запальчивость. В этом расположении встретила она Клима Сидоровича, когда он к ним явился. Опекун между тем успел обдумать хорошенько наставления, данные ему Марфою Петровною: он положил на весы, с одной стороны, опалу, его ожидающую, если он не исполнит ее воли; с другой, неудовольствие тетушки и Анюты, когда он предложит им разлучиться друг с другом. Последствием сих размышлений было, что Дюндик решился не отлагать долее своего объяснения, и потому, посидев немного, поговорив о незначащих предметах, он обратился к Анюте.

— А вы и не подозреваете, Анна Трофимовна! — сказал он,— что я приехал за вами?

— В самом деле? — отвечала она с улыбкою, принимая слова его за шутку.

— Я говорю серьезно! — продолжал Дюндик,— моя Марфа Петровна ожидает вас с нетерпением, и я ей обещался привезть вас с собою непременно...

— Как! зачем? — прервала его тетушка с торопливостию.

— Да надобно же Анне Трофимовне познакомиться с женою моею и детьми! — отвечал Клим Сидорович в большом замешательстве, не смея поднять на нее глаз.

— Так за этим вы приехали! — сказала тетушка с приметным неудовольствием,— а Владимиру Александровичу что мы скажем?

— Да ему что до этого?

— Жениху-то что до этого, Клим Сидорович? Я полагала, что вы приехали с тем, чтоб самим благословить Анюту: жених скоро возвратится из Петербурга, и пора это дело кончить, Клим Сидорович!

— Ну!.. Анна Андреевна!.. Ведь сговору еще не было, а до тех пор и женихом его называть нельзя!

— Как! разве вы имеете причины не соглашаться на его предложение?

— Господи боже мой! Анна Андреевна! Я только говорю, что приехал просить Анну Трофимовну, чтоб они у нас погостили!

Тетушка закусила себе губы и замолчала, вспомнив, что опять чуть было не рассердилась. Требование Дюндика ее очень огорчило, и опекун, желая увезть от нее любезную Галечку, опять представился ей самым неприятным человеком; но, впрочем, имела ли она право за то сердиться? Не натурально ли было желание опекуна познакомить Анюту с своим семейством? Не умея согласить противоположных чувств, в ней боровшихся, она в замешательстве посматривала на Анюту, как бы приглашая ее, чтоб она сама отвечала Дюндику. Но бедная Анюта в продолжение этих переговоров хранила молчание: какое-то глухое предчувствие представляло ей поездку к Марфе Петровне в самом неприятном виде, и она потупила глаза, ожидая помощи от тетушки. Несколько секунд прошло таким образом, и никто не говорил ни слова.

— Так вы едете со мною? — спросил Дюндик, прервав общее молчание.

Решительный этот вопрос и необходимость отвечать внушили несколько бодрости Анюте: она сказала вполголоса:

— Надобно об этом подумать, Клим Сидорович!

— Да о чем тут думать? Карета у меня просторная, покойная; прикажите уложить в чемодан вещи ваши и платья, да и дело с концом.

— Нет, Клим Сидорович! Позвольте мне подумать и посоветоваться с тетушкою!

— Разве я не опекун ваш? Чего тут советоваться! Анна Андреевна не может помешать вам ехать со мною!

— Вы мой опекун, конечно! — отвечала Анюта твердым голосом,— но позвольте сказать вам откровенно: я знакома с вами только со вчерашнего вечера, а тетушка с малолетства заступила мне родную мать, и я из воли ее никогда не выйду!

— Вот это прекрасно! — проворчал Дюндик с досадою.— Я, кажется, тоже не чужой человек! А как опекун более всякого другого имею право вам советовать! Не Анне Андреевне вы поручены покойным братом, а мне!

Анна Андреевна между тем, огорченная словами опе-

куна и тронутая привязанностию Анюты, бросилась к ней на шею и начала ее целовать.

— Да, моя Галечка! — вскричала она сквозь слезы,— ты моя дочь! родное мое дитя! бог свидетель, что я люблю тебя не менее других! Нет, Клим Сидорович! Не мешайте нам любить друг друга!

— Помилуйте, матушка, Анна Андреевна! я и не думаю мешать! Я только говорю, что обещался Марфе Петровне непременно привезть с собою Анну Трофимовну.

— С собою! Теперь? Нет, уж этому-то никогда не бывать, Клим Сидорович! Прошу не прогневаться!

— Почему ж не бывать, матушка? Я разве не опекун?

— Опекун как опекун! Пусть так, прости меня господи! Да если уж надобно Галечке ехать, так я сама ее привезу.

— Милости просим, Анна Андреевна, милости просим!.. Да что скажет Марфа Петровна, когда не привезу я с собою Анны Трофимовны?

— А что ей угодно будет, то и скажет!

— В том-то и дело, Анна Андреевна, что я наперед знаю, что ей угодно будет. Нет! уж вы отпустите со мною Анну Трофимовну.

Клим Сидорович долго еще уговаривал тетушку; но старания его были тщетны. Не имея достаточных причин отказать ему в просьбе его, тетушка по крайней мере старалась отдалить решительную минуту и потому объявила наотрез, что прежде завтрашнего утра ничего не может обещать утвердительно, хотя заранее его уведомляет, что Анюта теперь не поедет с ним ни в каком случае. Клим Сидорович чувствовал, что не в силах поставить на своем, и поневоле принужден был уступить тетушке. Он весь этот день посвятил на то, чтоб утвердить Анюту в добром о нем мнении, и действительно успел в том рассказами о своих добродетелях и намеками об одолжениях, оказанных покойному майору. К вечеру неопытная Анюта совершенно была уверена, что опекун ее человек самый добрый и благодетельный.

Дюндик, почти не спавший прошлую ночь, рано удалился в свою комнату, и тетушка воспользовалась этим, чтоб поговорить с Анютою о его предложении. Разговор их кончился тем, что Анюте неприлично отказаться от приглашения опекуна.

— Как бы то ни было,— говорила тетушка,— а он

твой опекун, Анюта, да еще какой опекун! назначенный покойным отцом твоим, царство ему небесное! Я, признаться, виновата перед ним, что обвиняла его понапрасну! Да и то правда, почему ж мне знать, что он писал о тебе к полковнику каждую почту? А тот ведь никогда ни словечка не говорил о письмах Клима Сидоровича! Но все-таки я виновата: не судите, и сами судимы не будете, говорит святое евангелие. При всем том, греха таить нечего! а что-то очень мне не хочется, чтоб ты туда ехала!

— И мне очень не хочется, тетушка! Впрочем, ведь мы не надолго туда едем?

— Что там делать долго, Галечка?

Когда на другой день объявили Дюндику, что Анюта отправится в дорогу с Анною Андреевною вскоре после его отъезда, он вздрогнул, несмотря на то что заранее к тому был приготовлен. Он долго чесался за ухом, вздыхал и не говорил ни слова; память его живо представила ему строгие приказания Марфы Петровны непременно привезть с собою Анюту! «Ну что я ей скажу в извинение? — думал он. — Поверит ли она, что никак нельзя было их уговорить? И могу ли я ей признаться, что у меня язык не поворачивается приказывать этой Анюте, которую она называет девчонкою? Ну, Марфа Петровна, сами увидите, какова эта девчонка!»

Всего более беспокоило Клима Сидоровича, что тетушка решилась сопутствовать Анюте; ибо в план Марфы Петровны непременно входило их разлучить. С унылым сердцем уселся он в просторную свою карету и отправился домой с таким точно чувством, с каким провинившийся слуга является к строгому, беспощадному господину.

Анна Андреевна намерена была выехать из Барвенова несколько дней спустя после опекуна и потому, не теряя времени, начала готовиться в дорогу. Сердце ее разрывалось при мысли о Праскуте, которую надлежало оставить одну; но какое-то предчувствие внушало ей, что присутствие ее в доме Дюндика будет полезно для Анюты, и потому она с стесненным сердцем продолжала заниматься приготовлениями к отъезду. Уж день и час были назначены; карета, в которой Анюта приехала из Петербурга, подвезена была к крыльцу, и тетушка, посвящавшая все свободное время свое больной дочери, по обыкновению отправилась к ней в комнату, с трудом

удерживаясь от слез. Она застала Праскуту, лежащую на постели в сильном жару. Легко себе представить можно беспокойство бедной матери! Хотя вскоре удостоверилась она, что положение Праскуты не представляет никакой опасности, но этот случай привел ей на память все печальные мысли и перед тем уже ее тревожившие. Она всегда думала с сокрушением о необходимости расстаться с несчастною своею дочерью; но теперь, когда при самом отъезде ее Праскута занемогла, Анна Андреевна не в силах была преодолеть своих опасений. Она решилась отложить путешествие до другого времени и поспешила уведомить Клима Сидоровича о встретившемся препятствии. На этот раз опекун не замедлил ответом. Он писал к Анне Андреевне, что все семейство его ожидает Анюту с нетерпением и что он в непродолжительном времени сам за нею приедет.

Тетушка находилась в большом затруднении. С одной стороны, болезнь Праскуты ее удостоверила, сколь горько ей будет с нею расставаться, с другой, ей никак не хотелось отпустить Анюту одну. Недоумение ее оттого возросло еще, что Анюта, видя беспокойство тетушки, решительно объявила, что не допустит ее оставить Праскуту. Что оставалось Анне Андреевне делать в таком положении? Размышляя, каким бы образом согласить все сии неудобства, она вспомнила о Кларе Кашпаровне, сопутствовавшей племяннице ее из Петербурга. Тетушка полагала, что никто лучше Клары Кашпаровны заменить ее не может, и, с согласия Анюты, послала к ней приглашение приехать в Барвеново. Услужливая немка явилась немедленно; карету опять подвезли к крыльцу, и день отъезда Анюты опять назначен был решительно. Все уверены были, что отсутствие ее не может никак продолжиться более двух или трех недель, и сколь ни горько им было расставаться, но они друг перед другом старались скрыть свою печаль, взаимно утешая себя тем, что разлука их будет непродолжительна и что время отсутствия Анюты пройдет неприметно.

— Однако ты пиши ко мне чаще, Галечка! — говорила тетушка, и Анюта от всего сердца дала слово, кроме почты, пользоваться всеми случаями, чтоб уведомлять о себе тетушку.

Накануне отъезда, когда Анюта, пожелав тетушке покойной ночи, ушла к себе в комнату и час разлуки казался ей уже почти наступившим, сердце ее невольно

трепетало при мысли о предстоявшей ей поездке. Она пеняла самой себе за непростительную свою слабость; но сердце ее не повиновалось внушениям рассудка. Печальные предчувствия наполняли ее душу, хотя она считала их неосновательными и стыдилась своей боязливости. В этом положении прибегла она к единственному и вернейшему убежищу от скорби и печали: с сердечным умилением бросилась она на колени и долго молилась пред образом спасителя. Молитва ее успокоила: она подошла к кровати, еще раз перекрестилась, еще раз поручила благому промыслу себя, тетушку и... Владимира и думала заснуть спокойно до следующего утра.

Вдруг послышался ей тихий шорох шагов, будто бы приближающихся к дверям ее комнаты. Она остановилась и начала прислушиваться: кто-то тихонько стал поворачивать замком... сердце у Анюты невольно забилось... Она вспомнила, что забыла запереть дверь задвижкою. Невольный крик чуть было не вырвался из ее груди, но дверь тихо отворилась и — вошла Праскута!

Страх Анюты исчез при виде сестры ее; но она удивилась, не зная, чему приписать столь позднее и необыкновенное посещение. С того времени, как Владимир посватался на Анюте, обе сестры избегали случая быть друг с другом наедине. Анюте с самого начала известна была привязанность Праскуты к Блистовскому; она сердечно о ней жалела и еще более ее полюбила, заметив, что бедная страдалица не чувствовала никакой к ней ненависти. Праскута принадлежала к числу тех редких существ, которые никогда не ропщут на искушения, ниспосылаемые им свыше, и, принимая искреннее участие в страданиях ближнего, никогда даже не удивляются собственным своим. Зависть, во всех бесчисленных своих видах и изменениях, совершенно чужда была чистой душе Праскуты: отдавая полную справедливость своей сопернице, она не находила странным предпочтения, оказываемого ей Владимиром, и негодовала только на самую себя за то, что так неосновательно уверила себя в его любви. Она всячески старалась победить страсть свою, и печаль ее более происходила от стыда, что не умела скрыть тайны своего сердца.

Обе сестры несколько времени хранили молчание. Праскута была бледна и стояла неподвижно, потупив глаза и не решаясь начать разговор. Анюта первая

опомнилась. Она ласково взяла ее за руку и, обняв ее нежно, посадила подле себя в креслы.

— Сестрица! — сказала наконец Праскута, все не поднимая глаз,— я пришла к тебе с просьбою. Пожалуйста, не откажи мне в ней!

— С удовольствием, любезная сестрица! — отвечала Анюта,— что тебе угодно?

— Останься здесь! не езди к Дюндиковым!

— Что ты говоришь, Праскута! Да как мне это сделать и зачем?

— Я что-то боюсь этой поездки! Она, мне кажется, не обещает добра!

— Почему ты так думаешь? — вскричала встревоженная Анюта, и без того не чувствуя большой охоты ехать.

— Сама не знаю! Только я на твоем месте ни за что бы не поехала к Климу Сидоровичу!

— Что тебе вздумалось, Праскута! Ведь я еду не надолго — всего недели на две! О чем тут тревожиться?

— Опасения мои могут тебе казаться смешными, Анюта! Я и сама долго не решалась, говорить ли тебе о них... Опекун твой мне очень не нравится! Он, кажется, такой притворный, неоткровенный!

— Как тебе не стыдно, Праскута! Он такой добрый!

— Нет, Анюта, воля твоя, а ты его берегись! Зачем он дождался отсутствия Владимира Александровича? Откуда у него вдруг взялась такая нежность, что и жить без тебя не может! Воля твоя, у Дюндика намерения недобрые!

— Полно, сестрица, ты меня пугаешь! Подозрение твое ни на чем не основано!

— Анюта! — сказала Праскута раскрасневшись,— я люблю тебя искренно, люблю... и жениха твоего! От души желаю вам счастия, и потому-то поездка твоя меня беспокоит. Я не в силах преодолеть мысль, что Дюндик не желает вам добра. Одна притворная улыбка его уже доказывает, что он нехороший человек!

— Бедный Клим Сидорович! — отвечала Анюта,— я не понимаю, отчего никто его не любит! И Блистовский тоже дурного о нем мнения! — продолжала она задумавшись.— Но, впрочем, как бы то ни было, а теперь делать нечего: если не поеду я сама, то он, верно, приедет за мною... Я успею возвратиться к тому времени, когда Владимир будет из Петербурга.

— Твоя поездка, Анюта, у меня как камень на сердце! Сама не могу дать себе отчета в чувствах моих... Если уже тебе надобно ехать непременно, то старайся по крайней мере возвратиться к нам скорее... и... еще прошу тебя об одной милости, любезная, милая Анюта: не сомневайся в искренней моей любви и прости, что в последнее время я казалась холодною...

Праскута бросилась к ней на шею, громко рыдая... Анюта также заплакала. Они нежно обняли друг друга, и союз между сими прекрасными душами заключен был навсегда без дальних объяснений. Они понимали друг друга, хотя недоставало у них ни силы, ни умения выразить свои чувствования словами.

Анюта в этот вечер долго не ложилась спать. Сестра ее давно уже удалилась в свою комнату, а она все еще сидела у открытого окна, и взоры ее блуждали по темной лазури неба. Невинная душа ее искала совета и утешения там — за неизмеримым пространством, куда не достигает никогда взор человека, но куда долетает душа его на крилах веры, покорная к провидению. Чистая мысль ее самой ей неприметно превратилась в теплую молитву, и вскоре ей показалось, как будто блестящие звезды нашептывают ей утешительные слова, коих сладостный, таинственный смысл понятен был ее сердцу...

Анюта легла в постель совершенно успокоенная, и тихий, сладкий сон, невидимо слетевший с горней высоты, осенил ее легкими своими крилами.

На другой день она отправилась в дорогу, сопровождаемая благословениями тетушки и искренними желаниями всех жителей Барвенова.

Глава XV

Бедная Анюта не понимала настоящего своего положения! В продолжение путешествия от Барвенова до Будища (поместья Дюндиковых) она, хотя была печальна, но утешалась надеждою скорого возвращения к тетушке и притом твердо была уверена, что с этою поездкою непременно должны прекратиться все затруднения, предстоявшие любви ее. Неопытный ум ее не подозревал, что грозные тучи уже начинали собираться над нею; она не доверяла даже печальным предчувствиям, стеснившим ее сердце при первом невольном сравнении села Будища с поместьем доброй тетушки.

Какая разница между угрюмым видом будисских жителей и радушною приветливостию, с которою встречали ее в Барвенове, когда приехала она из Петербурга! Теперь никто не бежал за ее каретою; крестьяне, снимая шапки и низко кланяясь, посматривали на нее исподлобья, нахмурив брови; а дети, завидя еще издалека карету, стремглав убегали в дворы свои, стараясь скрыться от нее, как цыплята скрываются при появлении коршуна. Страх их, вероятно, происходил оттого, что карета Анютина похожа была на карету Марфы Петровны, а Марфа Петровна, как небезызвестно читателям, вовсе не имела свойств, могущих внушить крестьянам симпатические к ней чувствования.

— Вот это должен быть панской двор! — сказала Клара Кашпаровна, когда проехали они несколько улиц, и Анюта в задумчивости высунулась из кареты.

Двор Клима Сидоровича был обнесен решетчатым деревянным забором, за которым возвышался довольно пространный дом необыкновенной, хотя, впрочем, весьма не блистательной архитектуры. Дом этот играл важную роль в летописях села Будища: крестьяне, проходя мимо, даже в темное ночное время с почтением снимали перед ним шапки, и самые соседи смотрели на него с некоторым благоговением; ибо он был двухэтажный и притом каменный, что в Малороссии всегда внушает уважение к помещику. Так как постройка его была одним из важнейших подвигов в жизни Дюндика, то я считаю небесполезным рассказать о том подробнее.

Никто, взглянув на жилище Клима Сидоровича, не вообразил бы себе, что первое основание оному положено было уже лет двадцать тому назад. Неокрашенная кровля, неотштукатуренные стены и несколько невставленных окон верхнего жилья казались несомненными признаками недавнего предприятия, и по ним трудно было бы отгадать, что постройка эта затеяна Климом Сидоровичем, когда он был еще женихом Марфы Петровны. Предположение выстроить себе каменный дом и в то время уже было любимым предметом их разговоров, и в этом отношении они совершенно согласны были между собою. Оба уверены были, что каменный дом усугубит уважение, которого и без того считали они себя вправе требовать от соседей, и потому по совершении брака всю деятельность свою обратили на исполнение общего желания. Судя по первым приемам, можно

было ожидать, что здание это воздвигнется с необыкновенною скоростию,— но случилось иначе!

Молодые супруги не успели еще опомниться от свадебных пиров и увеселений, как уже отдали строгий приказ о заготовлении нужных для построения материалов. Все жители Будища, от мала до велика, должны были, оставя немедленно другие работы, заняться деланием кирпича; все мужичьи лошади употреблены были для перевозки бревен и досок из дальней лесной дачи. Поля между тем оставались незасеянными, лошади падали десятками, крестьяне украдкою плакали; но в Климе Сидоровиче дрожало сердце от радости при виде кирпича и леса, которые симметрически складывались на двух гумнах, отнятых для сей потребности у поселян.

Вскоре для постройки нового дома приготовлено было все, что не требовало наличных издержек, и Клим Сидорович уже приказал снесть несколько крестьянских хат, рассчитывая, что большие деревья, их осенявшие, могли бы служить украшением предполагаемого при новом доме сада; одним словом, все было готово, недоставало только архитектора. Конечно, нетрудно было преодолеть и это препятствие: стоило только выписать архитектора из ближнего города, и Клим Сидорович действительно так был догадлив, что приступил к этому немедленно. Но увы! требования художника, впрочем довольно умеренные, так далеко превосходили расчеты Дюндика, что он никак не мог ни на что решиться. Сколько ни торговался Клим Сидорович, архитектор не уменьшал объявленной сначала цены, и еще, что всего хуже, когда Марфа Петровна, наконец, позволила своему супругу согласиться на оную, то упрямый художник, которому наскучили продолжительные переторжки, потребовал деньги вперед. Вот это уже никак не входило в соображение Дюндиковых! Заплатив деньги вперед, они лишались возможности сделать прижимку архитектору по окончании работ; а этот изворот для расчетливого хозяина служит такою важною подмогою, что Клим Сидорович считал непростительным грехом от оного отказаться. К несчастию, другого архитектора в той губернии тогда не было; итак, поневоле надлежало отложить постройку до удобнейшего времени. Таким образом неприметно протекло несколько лет. Между тем родились и подросли Софья и Вера Климовны, а дом все не

строился, материалы в худо накрытых гумнах уже начинали портиться, и бедные крестьяне тяжко вздыхали при мысли, что придется им вновь готовить кирпич и возить лес. Вдруг появление Софроныча озарило всех лучом надежды. Сочинитель книги на французском языке казался Климу Сидоровичу таким необыкновенным гением, что он долго не хотел верить собственному его признанию в совершенном невежестве по части архитектуры, и настоятельно требовал, чтоб он выстроил ему дом. Но Софроныч, при всей отважности своей, боялся за то приняться и потому должен был беспрестанно слушать упреки, а иногда и брань своих меценатов. Чего ни претерпел он за то, что в его время не преподавали архитектуры в университетах! «Если б смыслил я в этом деле хоть одну крошку,— часто думал он,— уж я бы им сварганил дом! Но теперь... нет! отвага чересчур была бы велика!»

Наконец судьба сжалилась над бедными крестьянами и над Софронычем. Столяр, немец, живший прежде в губернском городе и там обанкротившийся, проезжая случайно чрез Будище, зашел спросить, нет ли для него работы. Тут узнал он о затруднении Клима Сидоровича и, подстрекаемый страхом голодной смерти, предложил свои услуги, хотя, подобно Софронычу, не имел ни малейшего понятия об архитектуре. Предложение его было принято с радостию, и постройка наконец началась к совершенному удовольствию всех.

Но в доме этом, как того и ожидать должно было, все носило отпечаток совершенного невежества столяра, который его строил. Нигде не было соблюдено надлежащей пропорции: окна были узкие и слишком высокие, двери низкие и широкие, комнаты темные, стены кривые, лестницы крутые и неудобные. При всем том Клим Сидорович, не замечая сих недостатков, радовался успешному исполнению своих желаний и благословлял судьбу, пославшую ему такого дешевого архитектора. Когда постройка уже приходила к концу, столяр, к удивлению своему, заметил, что одна комната в бельэтаже будет без окошек и без дверей. Делать было нечего; сколько он ни ломал себе голову, но не находил никакой возможности вполне исправить сделанную ошибку: дверь проломать было нетрудно, но свету взять неоткуда! Тут уже и Клим Сидорович стал догадываться, что дело не совсем в порядке; но он скоро утешился, когда Софро-

ныч побожился, что и в Москве бывают дома с недостатками, а Марфа Петровна даже извлекла некоторую пользу из темной комнаты, предназначив ее на то, чтоб запирать туда девок за небольшие проступки, незаслуживающие строжайшего наказания. До сих пор все шло довольно хорошо, ибо издержки на дом были самые маловажные; но когда пришлось штукатурить стены, расписывать комнаты и красить кровлю, на что требовались непременно наличные деньги, скупость Дюндиковых опять поставила их в затруднительное положение. По долгом совещании они наконец положили: дома не штукатурить, кровли не красить, а вместо живописи оклеить стены бумажными обоями; но чтоб заменить чем-нибудь и сию неизбежную издержку, Марфа Петровна решила отказать столяру, в котором, по мнению ее, не было уже большой надобности. Как решено, так и сделано! Столяра прогнали под ничтожным предлогом, и Клим Сидорович сам заступил его место при помощи Софроныча. Можно легко себе представить, что от этой перемены постройка пошла не лучше; но главная цель была достигнута: они имели двухэтажный каменный дом, которому все соседи удивлялись. Желая как можно скорее насладиться приятностями нового жилища, они поспешили в него переехать, оставя недостроенными несколько комнат верхнего жилья, в которых не предстояло необходимой надобности.

В новом доме одно из любимейших занятий всего семейства Дюндиковых состояло в том, чтоб смотреть из окошек, чему весьма благоприятствовало самое положение дома. Он находился прямо против шинка, и из него видно было все, что там происходило. Конечно, близкое соседство строгих господ не очень нравилось усердным посетителям шинка; но зато оно имело ту выгоду, что шум и драки редко бывали между последними. Страх неминуемого и скорого наказания обыкновенно превозмогал в них даже силу спиртных паров; а если когда и случалось исключение, то Клим Сидорович лично прекращал возникавшие ссоры самыми действительными мерами. Сама барыня и даже барышни нередко участвовали в этом общеполезном деле; одним словом, близость шинка для всего семейства была неисчерпаемым источником приятного и полезного препровождения времени. Софроныч тоже очень доволен был этим соседством: он любил, чтоб все, для него необходимое, находи-

лось у него близко под рукою. Но пора обратиться к нашим путешественницам.

Когда карета подъехала к крыльцу, Анюту встретил один из лакеев Дюндика и на вопрос Клары Кашпаровны: «Дома ли паны?» — отвечал: «Не знаю». Анюта очень удивилась такому ответу, ибо, не выходив еще из кареты, она заметила широкое лицо опекуна, выглядывавшее из нижнего этажа, и несколько женских голов, высунувшихся из окон верхнего; но не успела она еще выйти, как уже все скрылись. Путешественницам нашим между тем отворили двери, и они вошли в пространную залу, где оставили их одних.

Долго сидели они в зале, и никто к ним не являлся. Наконец Клара Кашпаровна, потеряв терпение, вышла из залы и с трудом отыскала человека, у которого опять спросила:

— Дома ли хозяева?

На этот раз ей отвечали, что о них уже докладывали и что барыня скоро просить их будет к себе. Еще протекло около четверти часа, в продолжение которых Клара Кашпаровна нетерпеливо прохаживалась по комнате, а Анюта сидела в задумчивости, мечтая о тетушке и о Владимире; наконец пришли повестить, что барыня их ожидает. Они немедленно последовали за посланным, который ввел их в гостиную, где хозяйка дома, сидя величественно на софе, как будто на троне, приветствовала их одним наклонением головы, не вставая с места.

Сухой прием этот привел в замешательство бедную Анюту: сначала она подошла к хозяйке, чтоб поцеловаться, но видя, что Марфа Петровна осталась неподвижною, она с робостью села подле нее, не говоря ни слова. Клара Кашпаровна, подождав немного, чтоб пригласили ее присесть, и смекнув, что ожидания ее будут напрасны, также опустилась на стул немного подалее. Глубокое молчание царствовало в продолжение нескольких секунд; барыня между тем с надменным видом осматривала Анюту с ног до головы, отчего бедная девушка беспрестанно краснела. Наконец Марфа Петровна решилась прервать молчание.

— Зачем вы не приехали сюда с опекуном вашим, Фекла Кузьминишна? — сказала она.

Анюта, приведенная в замешательство еще прежде этого вопроса, не отвечала ни слова, не поняв даже в первую минуту, что он касался до нее.

— Ну! — продолжала Марфа Петровна,— я спрашиваю, зачем вы не приехали прежде с Климом Сидоровичем?

— Барышню зовут Анной Трофимовной, матушка! — подхватила Клара Кашпаровна.

— Право? я и не знала этого... Ну, беда невелика!.. Отчего же мне в голову пришло, что зовут ее Кузминишной? Да! она ужасно как похожа на дочь дворецкого нашего... только та, не прогневайтесь, немного попригожее и помоложе... а который вам год?

— Восемнадцать лет.

— Неужто? я думала по крайней мере за двадцать! Что ж, я чай, в монастыре своем научились по-французски и по-тальянски!

— Я говорю по-французски.

— Здесь это совсем не в моде! Мы люди русские... иностранного не любим... Вот мои дочери говорят по-французски, могу сказать, не хуже других, да я им запретила коверкать язык... Покорно прошу не вводить у меня в доме этих заморских затей... я попугаев не терплю, понимаете ли?

Бедная Анюта не знала, что отвечать. Она еще более закраснелась и робко взглянула на Марфу Петровну; но, встретив ее сверкающие взоры, опять потупила голову, и слезы брызнули из глаз ее.

— Это что такое? — вскричала Марфа Петровна,— о чем это, сударыня, вы плачете? Смотри, пожалуй, какая нежная! Обидно вам, что ли, что я даю вам советы?

Анюта, не привыкшая к такому обращению и сама стыдясь своей робости, еще пуще заплакала, и в самое это время вошел Клим Сидорович с обеими дочерьми. Бедная Анюта спешила утереть глаза; но тщетно старалась она воздержаться от слез. Между тем барышни, довольно учтиво поклонившись, подошли к ней целоваться, а Дюндик остановился у дверей, не зная, что начать. Невольное уважение к Анюте, а может быть и некоторое о ней сожаление, сильно в нем боролось со страхом прогневать свою супругу. Марфа Петровна заметила его недоумение.

— Ну, что ж ты остановился? — вскричала она,— чего испугался? И тебе не хочется ли поплакать за компанию?

— Да кажется, не о чем, матушка!

— Как не о чем? Разве ты не видишь, как разнежилась твоя расхваленая? Иной подумал бы, что с нею и не ведь что сделали, а я и пальцем до нее не дотрогивалась! Вот тебе петербургское воспитание!

— Да что с нею сделалось, матушка? — спросили в один голос барышни, поглядывая сбоку на Анюту и с любопытством ее осматривая.

— А спросите у нее у самой! Она расплакалась о том, что у меня в доме не велят говорить по-французски! Ну уж монастырское воспитание! Благодарю бога всевышнего, что мои дочери не наглотались петербургского воздуха! Вот как из русских делаются чужестранками! Упаси нас, господи, и помилуй! А ты все-таки ни слова не говоришь? Ведь ты опекун? Да, правда, в тебе самом нет русского духу! Я чай, сам заговорил бы по-французски, если б умел...

— Сохрани меня господи, матушка! Ни за какие деньги!

— Ну так что ж ты ничего ей не скажешь? — прикрикнула на него Марфа Петровна.

— Да Анна Трофимовна, я думаю, сами чувствуют, что ты дело говоришь, матушка! — сказал наконец испуганный Клим Сидорович.— Сам бог не велит нам говорить по-французски! Ведь если б была на то воля божия, чтоб русские говорили по-французски, так у нас — так у нас — этот язык был бы природным! Не так ли, Анна Трофимовна?

Клим Сидорович так доволен был сим логическим доказательством бесполезности французского языка, что гордо выпрямил спину и посмотрел с торжествующим видом на свою супругу, которая все еще бросала сердитые взгляды на бедную Анюту.

Между тем продолжение сцены этой произвело на Анюту совсем иное действие, нежели какого ожидать можно было, судя по ее робости. Чувство собственного достоинства в ней вдруг пробудилось от столь неприличного с нею обхождения: она перестала плакать; скромно, но притом без робости, взглянула на Марфу Петровну и сказала ей твердым голосом:

— Извините меня, сударыня! Я чувствую, что приехала не вовремя... я оставила тетушку не очень здоровою... Позвольте мне немного отдохнуть и отправиться обратно в Барвеново...

Марфа Петровна остолбенела, увидев столь неожи-

данную решительность Анюты; тут она почувствовала, что некстати обнаружила свою злобу. Еще прежде приезда Анюты она часто раздумывала, каким бы образом помешать, чтоб ненавистная сиротка не чванилась французским языком перед ее барышнями, ибо она нимало не сомневалась, что Анюта воспользуется этим преимуществом, чтоб взять верх над ними. При всем том она не имела намерения поступить с нею так сурово при первом свидании; но когда она увидела красоту Анюты, зависть еще сильнее в ней закипела и совершенно затмила ее рассудок. Теперь она начала жалеть о своей опрометчивости, но не знала, как исправить свою ошибку. Удержать Анюту насильно не было никакой возможности, особливо при Кларе Кашпаровне, которую нелегко было бы привесть в робость. А между тем она была уверена, что планы ее разрушатся навсегда, если она выпустит Анюту из дому. Каким образом заманить ее к себе опять? И как тогда воспрепятствовать ее соединению с Блистовским? В досаде на самую себя она готова была рвать на себе волосы, и наконец, в полном чувстве бессильной злобы своей, сама принялась горько плакать.

При виде слез Марфы Петровны бедная Анюта опять оробела: ей пришло на мысль, что она, может быть, поступила нескромно, показав столь явно свое неудовольствие. Во всю жизнь свою Анюта никого еще не огорчала умышленно, а тут при первом вступлении в дом она привела в слезы женщину, почтенную летами, жену опекуна своего! Хотя не чувствовала она в себе никакой вины, но робкая ее скромность не позволяла обвинять исключительно и Марфу Петровну, а горькие слезы, сею последнею проливаемые, вдруг изгладили из доброго сердца Анюты неприятное впечатление, произведенное суровым ее приемом. Чем более Марфа Петровна плакала, тем более Анюта начинала находить себя виноватою и наконец в недоумении своем готова была просить извинения. Смущение ее не скрылось от проницательности барышень, и Вера Климовна, скоро поняв, каким образом воспользоваться ее неопытностию, подошла к ней и шепнула ей на ухо ласковым голосом:

— Бога ради, не огорчайте матушки, она очень нездорова. Вчера целый день била ее лихорадка, она не спала во всю ночь!

Эта выдумка решила все сомнения Анюты и в гла-

зах ее объяснила самым удовлетворительным образом странное поведение Марфы Петровны. Выразительные черты ее лица так живо изобразили сожаление о больной, что Вера Климовна, не сомневаясь уже в ее согласии, поспешно обратилась к матери и сказала:

— Я покажу Анне Трофимовне комнату, для нее приготовленную.

Марфа Петровна, в знак согласия, кивнула головою, а барышни, не теряя времени, схватили Анюту под руки и увели ее из гостиной, пригласив с собою и Клару Кашпаровну.

Лишь только они вышли, Марфа Петровна погрозила им вслед кулаком, но, задыхаясь от злости, не могла выговорить ни слова.

Глава XVI

ПРИНУЖДЕННАЯ РАЗЛУКА

Слезы Марфы Петровны не переставали еще долго, когда осталась она одна с мужем; и надобно признаться, что она проливала их не без причин. Необходимость казаться ласковою, когда неукротимая ненависть внушала ей совсем другое, была для нее таким мучительным чувством, что она не в силах была его перенесть. А когда вдобавок к тому ей приходило на мысль, что должно принуждать себя не перед важною какою-нибудь особою, но перед этою ничтожною девчонкою, перед этою ненавистною монастыркою, тогда она приходила в совершенное исступление. Клим Сидорович между тем стоял перед нею вытянувшись и едва осмеливался переводить дух. Правая его рука немного приподнята была кверху, и первые три пальца сложены были вместе: иной подумал бы, что он намерен от страха перекреститься, но вместо того, он держал ими табак, который боялся поднести к носу, чтоб движением руки не раздражить еще более своей гневной супруги. Несмотря, однако, на все сии предосторожности, Марфа Петровна, как скоро немного пришла в себя, обратилась к мужу с громкими упреками.

— Вот до чего я дожила! — вскричала она.— Вот каково иметь мужем такую бесчувственную тушу, как ты! Ну, таки есть ли в тебе совесть? Видит, что бедная

жена его в таком положении, и он хоть бы полсловечка! Стоит, повеся нос, да табак понюхивает! Как будто у него нет языка в глотке!

— Да умилосердись, матушка! Что же мне делать? Я, бог свидетель, и не знаю даже, о чем ты плачешь?

— О чем я плачу, чурбан! Я разве не мать? Мне разве весело видеть, что чужие берут верх над родными моими дочерьми? Брось-ка свою курячью слепоту да взгляни на монастырку... твои дочери точно шинкарки перед нею: ни ступить, ни шагнуть не умеют; а вместо французского языка чему ты их научил с своим Софронычем? а?

— Да что ж мне делать, Марфа Петровна...

— Что тебе делать? А кто виноват, что Орленкова более нравится Блистовскому, чем Вера?

— Неужто я, матушка?

— Небось не ты? Кто тебе велел отправить ее в монастырь, где научилась она тому, что нам и во сне никогда не грезилось? А я, бедная мать, еще должна перед нею притворяться и посматривать ей в глаза, тогда как я бы их у ней выцарапать хотела, да и у тебя тут же...

Упреки эти и крик Марфы Петровны прекратились тогда только, когда она совершенно выбилась из сил. Отдохнув немного и собравшись с мыслями, она вспомнила, что в подобных случаях слезы не ведут ни к чему; и для того, укротив гнев свой на Клима Сидоровича, начала с ним советоваться о том, что оставалось им делать для достижения своей цели.

Когда Клим Сидорович возвратился из поездки своей в Барвеново, Марфа Петровна никак не могла простить ему, что не привез он с собою Анюты. Обещание Анны Андреевны самой проводить ее к ним нимало ее не утешало, ибо присутствие тетушки она не без основания считала важною помехою в исполнении своего намерения. Потому-то она в то время и решилась отправить мужа опять в Барвеново, хотя и тут не была уверена, что ему удастся разлучить Анюту с тетушкою. Но теперь случай поблагоприятствовал Марфе Петровне свыше ее ожиданий. Анюта сама явилась к ней в дом, не дождавшись вторичного приезда опекуна, и вместо тетушки сопровождала ее Клара Кашпаровна, с которою гораздо легче было управиться. Вникнув в это обстоятельство, столь благоприятное для ее видов, Марфа Петровна пе-

рестала огорчаться тем, что ей должно было на первый случай притворствовать перед монастыркою. Мысль об успехе, который теперь казался ей несомнительным, ее развеселила, а с переменою ее расположения духа совершенно переменилось и обращение ее с мужем. Она довольно ласково вступила с ним в подробный разговор, и примиренные супруги, постановив между собою основные пункты заговора против беззащитной сиротки, расстались почти друзьями.

Между тем Анюту привели в назначенную ей комнату, примыкавшую с одной стороны к спальне барышень, с другой к недостроенным покоям. Вера и Софья Климовны приказали внести все пожитки своей гостьи и сами помогали расстанавливать их по комнате. Кларе Кашпаровне отведен был особый покой в флигеле, и хотя Анюта внутренно желала, чтоб поместили их вместе, но не смела изъявить этого желания, опасаясь обеспокоить тем барышень, находившихся в таком близком с нею соседстве.

Анюта по добродушию своему легко поверила рассказам о болезни Марфы Петровны и, считая себя виноватою перед нею, решилась пробыть в Будищах по крайней мере целую неделю, чтоб ласковым обращением с опекуншею загладить мнимый свой проступок. Обе барышни всячески старались ей понравиться и с удовольствием видели, что старания эти были небезуспешны. Анюта, не имев ни малейшего подозрения о заговоре семейства Дюндиковых, не сомневалась в искренности их ласк и тем более сожалела о недоразумении, случившемся между ею и Марфою Петровною. Таким образом молодые девушки скоро познакомились между собою, и когда Клим Сидорович пришел спустя несколько времени позвать их вниз к обеду, Анюта уже совершенно убеждена была в дружеском к себе расположении новых своих подруг. И Марфа Петровна между тем умела скрыть настоящие свои чувствования, встретила ее с приятною улыбкою и ласково подала ей руку, которую бедная Анюта, по невольному движению доброго и невинного сердца, поцеловала.

Весь остаток дня этого они, по наружности, провели довольно весело. Марфа Петровна, приняв твердое намерение казаться доброю и притом уверенная, что невозможно на первых порах удержать Анюту насильно, удачно скрывала свою ненависть, утешаясь тем, что при-

нужденная ее ласковость не будет продолжительна. «Дай срок, голубушка! — думала она,— и на моей улице будет праздник!» И всякий раз, когда вспоминала она об этом празднике, кровь у ней в сердце клокотала от радости и в глазах сверкали искры. Между тем с притворным участием расспрашивала она о монастырской жизни, о тетушке и рассказывала о связях своих с покойным майором, которого она с роду и в глаза не видала. Другая на месте Анюты, при всем старании Дюндиковых скрыть настоящие свои чувствования, вероятно бы их отгадала, ибо злость Марфы Петровны и зависть дочерей против воли их проникали сквозь личину дружбы; но Анюта слишком еще была неопытна. Один Клим Сидорович казался ей странным и на самого себя непохожим. Почтительное обращение его с нею в доме тетушки теперь уступило место какой-то принужденной учтивости, иногда прерываемой такими приемами, которые ей приводили на память первую с ним встречу в Барвенове. Но она не обращала большого внимания на эту перемену, и никакие подозрения ей на ум не приходили. Клара Кашпаровна, напротив того, хотя и проникла лживые ласки Дюндиковых, но, с одной стороны, не имела случая поговорить с Анютою наедине, с другой же, считала излишним огорчить ее этим открытием. Она не предвидела никакой опасности для Анюты, и пребывание их в Будищах казалось ей неизбежною необходимостию, которой тем более надлежало покориться с терпением, что это пребывание, по мнению ее, не могло быть продолжительным.

На другой день поутру, когда все собрались к чаю и недоставало одной Клары Кашпаровны, которую с намерением забыли позвать, Марфа Петровна, как будто нечаянно заметив ее отсутствие, спросила вдруг у Клима Сидоровича:

— А где Клара Кашпаровна? Зачем ее не позвали к чаю?

— Да она, верно, укладывается, матушка! — отвечал Дюндик.— Ведь вы сегодня ее отправите, Анна Трофимовна? — продолжал он, обратясь к Анюте, которая при таком странном для ней вопросе взглянула на него с удивлением.

— Куда, Клим Сидорович?

— Да куда угодно. Мне почему знать, куда! Лучше бы ей, однако ж, заехать в Барвеново, вы с нею написали бы к тетушке.

— Да на что это, Клим Сидорович? Она проводит меня назад; мы и с тетушкой так условились!

— Ну... как хотите. Чтоб она только не соскучилась, вас дожидавшись!

— Верно, не соскучится. Клара Кашпаровна такая добрая! Она обещалась пробыть со мною неделю в Будищах, а потом еще хотела погостить несколько дней у нас. Мы все ее очень любим.

— Неделю! — вскричали в один голос Марфа Петровна и обе дочери.— Вы хотите остаться у нас только одну неделю?

— Долее никак мне невозможно! Тетушка будет беспокоиться: я обещалась непременно...

— Как вам не стыдно, Анна Трофимовна! Вы совсем нас не любите! — сказали барышни.

— Да я никак вас не выпущу,— подхватил Дюндик.— Вы довольно долго жили у тетушки, теперь надобно пожить у нас. Я не знаю, за что вы нас не любите, Анна Трофимовна! Батюшка ваш, покойник, нас, кажется, жаловал...

— И я вас люблю и почитаю, да только я обещалась тетушке...

— Уж мне эта тетушка! — нетерпеливо прервал ее Дюндик.— Неужто она такая важная барыня, что по ее дудочке всем плясать должно!

Анюта раскраснелась и взглянула на опекуна. Огорчение, возбужденное в ней неуважительным тоном, с которым относился он о тетушке, так живо отразилось в ее глазах, что сама Марфа Петровна пришла в замешательство. Она побоялась, чтоб Анюта не вздумала, по-вчерашнему, от них уехать, и потому бросила значительный взгляд на мужа, который, поняв оный, тотчас замолчал и опустил глаза в землю.

— Уж вы непременно всегда пересолите во всем,— сказала ему Марфа Петровна с видом упрека.— Мы, конечно, все желаем, чтоб Анна Трофимовна осталась с нами подолее, да что ж делать, если ей невозможно...

Анюта хотела отвечать, но в самое это время вошла Клара Кашпаровна, которая, увидев, что ее никто не приглашает, решилась прийти сама собою. Вера и Софья тотчас вступили с нею в разговор, чтоб отклонить внимание Анюты от прежнего предмета.

После чая подали коляску, и барышни пригласили

Анюту ехать с ними кататься. Марфа Петровна и супруг ее остались дома под предлогом занятий по хозяйству. Погода в тот день была прекрасна, и прогулка молодых девушек продолжалась несколько часов. Отъехав на несколько верст от села, они вышли из коляски, чтоб погулять в прекрасной дубовой роще, принадлежавшей к владениям Дюндика. Время протекло неприметно, и, когда возвратились они в дом, стол уж был накрыт, и вскоре по приезде их сели обедать.

Анюта в первую минуту заметила, что не было тут Клары Кашпаровны. Сначала она подумала, что она не замедлит прийти; но, увидев по прошествии некоторого времени, что спутница ее все еще не являлась, она решилась о ней осведомиться.

— Клара Кашпаровна поехала погостить до завтра, здесь в соседстве,— отвечал равнодушно Клим Сидорович.— Ведь у ней знакомых-то много, по всей Малороссии!

Анюта знала, что у Клары Кашпаровны действительно были знакомые в соседстве, и потому ей не показалась удивительною ее отлучка. Неласковое с нею обращение всего семейства так было очевидно, что Анюта даже обрадовалась этому известию и внутренно желала, чтоб отсутствие ее продолжилось долее, чем до следующего утра. Как бы испугалась она, если бы знала, что добрая немка не возвратится в дом Клима Сидоровича!

Лишь только поутру поехали они гулять, как Марфа Петровна, приказав призвать к себе Клару Кашпаровну, объявила ей без обиняков, что Анюта решилась остаться у них в доме, а ее велела просить немедленно отправиться в Барвеново, чтобы уведомить о том тетушку. Неожиданное это известие крайне изумило Клару Кашпаровну. Такой поступок со стороны Анюты показался ей совсем невероятным, и потому она объявила наотрез, что никак не поедет, не переговорив наперед с Анной Трофимовной и не получив от нее письма к тетушке. Но с Марфою Петровною сладить было нелегко. Она рассердилась, начала говорить о праве, которое муж ее имел над Анютою вследствие завещания отца ее, и наконец решительно подтвердила, что Клара Кашпаровна должна ехать непременно. Сколько сия последняя ни была не труслива, но поостереглась, увидя ее в таком гневе; при всем том, однако, не могла воздер-

жаться, чтоб не показать, что она не дается в обман в этом случае.

— Воля ваша, матушка! — сказала она.— Гневайтесь, сколько угодно, а я знаю Анну Трофимовну получше вашего. Быть не может, чтоб она не хотела возвратиться к тетушке. Вы удерживаете ее насильно!

— А когда бы и так! Кому какое до того дело! Я опекунша и имею на то право...

— Извините, матушка, не у вас она под опекой, а у Клима Сидоровича...

— Да чего вы так растараторились? Она в опеке у Клима Сидоровича, а Клим Сидорович у меня; так и выходит, что все-таки у меня она в опеке, а не у вас! Впрочем, ваше дело молчать, а не учить меня. Видишь, какая! Ее будто спрашивают! Из-за нее да я в доме своем не буду госпожою! Нет, матушка! пораньше было бы вам встать для этого!.. Да что тут долго разговаривать! Карета ваша должна быть готова: вот бог, а вот двери!

Бедная Клара Кашпаровна никак не ожидала такой тяжкой обиды. Разогорченная, долго не знала она, что отвечать; наконец сказала прерывающимся от досады голосом:

— Прекрасно, матушка Марфа Петровна!.. Могу сказать, что этого сроду со мною не бывало!.. Не беспокойтесь, сударыня! Я сама поеду. И не приведи меня, господи, чтоб опять нога моя была у вас в доме!.. Спасибо, сударыня, за хлеб, за соль, за приятное угощение да за ласковое обхождение! И вас благодарю, Клим Сидорович, за то, что выгоняете меня из дому, как шальную собаку. Буду хвалиться вашими ласками, батюшка, буду хвалиться!

— Я вас не выгоняю, Клара Кашпаровна,— сказал Клим Сидорович в большом замешательстве,— я только покорно прошу ехать в Барвеново или куда самим угодно... Анна Трофимовна остаются жить у нас...

— Спасибо, мой батюшка, спасибо! Буду хвалиться вашим угощением!..

Клара Кашпаровна с сими словами вышла из комнаты, сопровождаемая громким смехом Марфы Петровны, а Дюндик пошел за нею вслед, все уверяя ее, что ее не выгоняют из дому. Мысль, что известие об этом приключении вскоре распространится повсюду, его несколько тревожила; ему известно было, что Клара Каш-

паровна любима была всеми. О Блистовском он также вспомнил при этом случае, и сердце в нем забилось сильнее обыкновенного. Если бы не супруга его, то он решился бы оставить Анюту совсем в покое. «Пускай бы она выходила замуж,— думал он,— за кого угодно! Но Марфа Петровна... о, Марфа Петровна! И ведь это, в случае неудачи, оборвется на мне!» Подобные мысли теснились в его уме толпою, и он с поникшей головой проводил Клару Кашпаровну до самого крыльца.

— Мое почтение Анне Андреевне! — сказал он, когда она начала сходить с лестницы.— Да не поминайте нас лихом!

— Буду помнить, батюшка! Буду помнить! — отвечала Клара Кашпаровна и, не оглядываясь на него, пошла в свой флигель, откуда через несколько минут отправилась в путь в той самой карете, в которой приехала она накануне с Анютою. Крестьянин, сопровождавший их из Барвенова, поехал с нею по приказанию Клима Сидоровича, который, кроме того, велел еще проводить их собственному своему человеку для доставления обратно господских лошадей, с ними отправленных. Мы увидим после, что все это устроено было не без намерения.

Итак, Анюта лишилась единственной подпоры, бывшей у ней в доме опекуна. Удаление такого неприятного свидетеля, какова была Клара Кашпаровна, обрадовало все семейство Дюндиковых, и в первый вечер уже была заметна перемена в обращении их с Анютою. Клим Сидорович говорил много и, описывая велеречиво оказанные им покойному майору благодеяния, хвалился всегдашним к нему почтением сего последнего. Он неоднократно коснулся также и завещания, по которому будто бы Анюта отдана была совершенно в его зависимость, и смело уверял, что единственно по усильной его просьбе полковник Р** тогда взял ее с собою в Петербург. Тут Марфа Петровна, перебив его речь, заметила, что он напрасно хвастается этим подвигом. Она начала рассуждать о вредных следствиях петербургского воспитания, о бесполезности иностранных языков, в особенности французского,— и все рассуждения эти приправляла колкими выходками на монастырь. Хотя разговоры сии не выходили из границ благопристойности и, казалось, не относились прямо к Анюте, но у бедной девушки неоднократно навертывались на глазах слезы при слу-

шании неосновательных и несправедливых суждений о монастырском воспитании, которому она столько была обязана. Несколько раз покушалась она, со всевозможною скромностию, опровергать мнения Марфы Петровны; но увидев, что это ее раздражало, она перестала ей противоречить. К новому огорчению Анюты, и новые ее подруги уже не столько были ласковы с нею, как перед обедом: и она в недоумении своем тщетно разбирала все поступки свои, не понимая никак причины такой перемены.

Удалившись после ужина в свою комнату, она долго размышляла о странном с нею обхождении всего семейства. Неприятные мысли невольно представлялись ее воображению и долго мешали ей заснуть. Тут вспомнила она, что в течение почти двухдневного ее пребывания в этом доме никто не упомянул ни однажды о Блистовском. Опасения доброй Праскуты также ей пришли на ум; она начала теперь подозревать глухо, что они действительно могли быть основательны, хотя, с другой стороны, никак не понимала, каким бы образом Дюндиковы могли воспрепятствовать ее браку с Владимиром? Сердце ее сильно билось при этих размышлениях; но надежда дней через пять отправиться обратно домой ее ободряла. Воспоминания о тихой, безмятежной жизни в Барвенове, о нежной заботливости простодушной Анны Андреевны, о искренней, бескорыстной привязанности бедной Праскуты — разгоняли мрачные думы ее, как солнечные лучи рассеивают черные тучи на небе. При всем том она не могла совершенно избавиться от печальных, хотя неопределенных, предчувствий, упорно ее преследовавших.

На другой день обхождение семейства Дюндиковых еще более удостоверило Анюту в их недоброжелательстве. Барышни, когда она к ним обращалась, отвечали сухо и отрывисто; Клим Сидорович всячески избегал разговоров с нею, а Марфа Петровна почти не старалась скрывать свою злобу, и ядовитые взгляды ее приводили иногда в трепет бедную монастырку. Во время обеда, в продолжение которого никто не говорил с нею почти ни слова, приехал Прыжков. Анюта сначала обрадовалась появлению нового лица, прервавшего неприятное ее положение. Она вовсе не была знакома с приезжим гостем и не подозревала, что это тот самый молодец, которого похождения в Ромнах известны ей были чрез

Блистовского. После первых приветствий Прыжков как будто без намерения стал рассказывать, что он на пути к ним заезжал к их соседу, где видел Клару Кашпаровну, которая при нем отправилась в Барвеново к Анне Андреевне Лосенковой. Можно представить себе смущение Анюты!

— Быть не может! — вскричала она с торопливостию, покраснев по уши.— Вы, верно, ошибаетесь, это была не Клара Кашпаровна!

— Могу вас уверить, сударыня! — отвечал Прыжков хладнокровно,— что я не ошибся. Я очень хорошо знаю Клару Кашпаровну, и она при мне садилась в карету.

— Боже мой! что ей это вздумалось? Как же она меня оставила одну? Не слыхали ли вы, зачем она туда поехала?

— Я очень долго разговаривал с Кларой Кашпаровной; она так была мила и весела, как мне давно не случалось ее видеть. Она надеялась чрез несколько дней возвратиться сюда из Барвенова, и, вероятно, как сказывала она, с Анной Андреевной.

— Чего вы испугались, матушка! — подхватил Клим Сидорович, заметив смущение Анюты.— Как будто вы здесь между чужими?

— Я не испугалась; а мне кажется это странным и непонятным...

— Ничего тут нет непонятного! Клара Кашпаровна разочла, что ей веселее пробыть в Барвенове, пока вы погостите у нас. И бог с нею, мы за это не в претензии!

— Да тетушка приказывала...

— О чем тут толковать! — прервала с нетерпением Марфа Петровна.— Экая беда! Что с вами сделается? Ведь мы не съедим же вас без Клары Кашпаровны! Да, впрочем, матушка, если для вас так неприятно оставаться у нас, так во всякую минуту можете ехать с богом!

— Нет, Марфа Петровна! Уж в этом вы меня извините,— сказал с важностию Клим Сидорович.— Я не соглашусь отпустить Анну Трофимовну одну. Уж если пошло на то, так надобно дожидаться известия от Анны Андреевны; да, верно, она сама сюда будет. Ведь Барвеново не за горами!

Анюта замолчала. Она чувствовала, что не в силах противоборствовать воле опекуна, и потому, скрепясь сердцем, решилась с терпением ожидать последствий сего неожиданного приключения. После обеда она, не го-

воря ни слова, отправилась в свою комнату и там, без свидетелей, предалась своему горю. Впрочем, она, хотя вовсе не понимала поступка Клары Кашпаровны, но твердо была уверена, что в скором времени получит известие от тетушки и даже не сомневалась, что не замедлят ее избавить от Дюндиковых, которых неприязненное расположение ежеминутно становилось очевиднее.

Таким образом провела она остаток этого дня и весь следующий. Угрюмое с нею обращение Марфы Петровны и явное невнимание самого Дюндика и барышень делали положение ее весьма тягостным; и одному только Прыжкову иногда удавалось развлекать грустные мысли ее разговорами о Петербурге и о тамошних ее знакомых, с которыми, по уверению его, он находился в связях.

Глава XVII

ЗАВЕЩАНИЕ

Сколь ни чувствовала себя несчастною Анюта, удостоверившись наконец в дурном к ней расположении всего семейства Дюндика, сколь она в таких обстоятельствах ни горевала о том, что у них в доме одна, без защиты, но положение это показалось бы ей еще несноснее, если бы могла она понять в полной мере ненависть опекуна и в особенности Марфы Петровны. Но, не чувствуя себя виновною ни в чем, она все действия их старалась приписать каким-нибудь недоразумениям и утешалась надеждою, что, во всяком случае, тетушка по возвращении Клары Кашпаровны в Барвеново не преминет в скором времени приехать за нею. Марфа Петровна, с своей стороны, движимая злостию и подстрекаемая опасением, что соединенные силы Анны Андреевны и Блистовского успеют исторгнуть из когтей ее бедную сироту, удвоила напряжение ума своего к достижению предполагаемой ею цели и, для большего успеха, решилась призвать на совет достойного своего племянника. Прыжков, как нам уже известно, во всех отношениях заслуживал ее доверенность; но особенно в этом случае он готов был оказать ей всю помощь, которой только можно было от него ожидать; и к тому побуждала его, кроме желания отомстить Блистовскому, еще другая, не менее важная причина. При первой встрече красота Анюты произвела на него глубокое впечатление, и потому он рад был, что

представилась ему возможность удовлетворить в одно время злобе своей против Блистовского и любви к его невесте. Обе страсти сии так сильно на него действовали, что поглотили в нем даже чувство страха, внушаемого Блистовским. К тому же он полагал, что найдет средство избежать его мщения, которое, впрочем, уже будет без цели, когда Анюта сделается его женою. При первых словах Марфы Петровны он открыл ей свои виды, и хотя она с неудовольствием помышляла о том, что Анюта будет ее племянницею, но скоро на то согласилась, быв уверена, что союз этот составит несчастие как Владимира, так и ненавистной монастырки. Вследствие того дана была особенная инструкция Климу Сидоровичу, как главному их орудию, хотя безгласному, но необходимому; и так как время было дорого, то решились действовать по условленному плану безотлагательно.

В следующее утро Анюта едва успела встать и одеться, как вошел к ней в комнату с важным видом опекун и тщательно затворил за собою дверь. Анюта, увидя его, встала и пошла к нему навстречу.

— Сидите, Анна Трофимовна, сидите! — сказал он, сам усевшись в кресла.— Мне надобно переговорить с вами о важном деле.

Анюта молчала.

— Пора, матушка, объявить вам мнение мое о сватовстве Владимира Александровича. Мнение решительное, которого ничто переменить не может, ни ваши просьбы, ни пустословие Анны Андреевны, которая вообще не в свое дело мешается, ни даже,— продолжал он, замявшись невольно,— угрозы господина Блистовского, напрасно думающего, что я его боюсь; я... я не боюсь никого на свете!

Анюта побледнела от внутреннего волнения, сколько она ни старалась казаться хладнокровною. Не зная, что отвечать на грозное предисловие опекуна, она потупила глаза, не прерывая молчания.

— Я объявляю вам однажды навсегда, сударыня, что вы должны забыть Блистовского, ибо я никогда не соглашусь, чтобы вы за него вышли: я запрещаю вам и думать о нем. Слышите ли?

Анюта поднялась со стула; требование опекуна казалось ей слишком дерзким, и она отвечала ему довольно твердым голосом:

— Я дала слово Владимиру Александровичу; тетуш-

ка нас благословила, а вы не имеете ни причины, ни права этому противиться. Извините меня, Клим Сидорович, я не считаю себя обязанною в этом случае исполнить ваши приказания.

— Вы не считаете себя обязанною, я не имею права? Разве забыли вы, что я опекун и заступаю место отца вашего?

— Если б батюшка был жив, он, верно, не отказал бы нам в своем согласии, а так как его нет на свете, то я решилась следовать советам тетушки, которая призрела меня с малолетства, и верно...

— Опять тетушка да тетушка! Плевать бы я на нее хотел, слышите ли? Однажды навсегда запрещаю вам думать о Блистовском.

— А я,— сказала Анюта, выведенная из терпения грубостию опекуна,— а я однажды навсегда вам объявляю, что не намерена вас слушаться. Стыдитесь, Клим Сидорович, таким образом говорить о тетушке.

— Ха, ха, ха! Вот тебе на! Вы еще вздумали учить меня! Посмотрим, надолго ли у вас станет храбрости-то! Знаете ли вы почерк руки покойного батюшки?

— Я никогда его не видала.

— А! Так вы не видали и завещания его?

— Вы мне его не показывали.

— Хорошо, я вам покажу его... Увидим, что вы скажете, матушка, увидим, кого вам надобно слушаться, меня или Анны Андреевны!..

С сими словами Дюндик подошел к дверям, осторожно отворил их, чтоб опять не ударить в лоб Марфу Петровну, и вышел из комнаты.

Взоры Анюты, устремленные на опекуна, долго оставались неподвижны по выходе его. Мысль теснилась за мыслью в ее уме, и она не знала, на чем остановиться. Решительное приказание Дюндика не очень ее испугало, ибо неприличные отзывы его о тетушке раздражили ее до такой степени, что она почувствовала в себе довольно силы для сопротивления; но он упомянул о завещании, об этом свидетельстве священной воли покойного отца ее, против которой бороться считала она святотатством. Она никогда не видала этого завещания, ибо, когда Клим Сидорович приезжал в Барвеново, его случайно не было с ним, а с тех пор, как она находилась у него в доме, ей хотя и приходило неоднократно на ум его прочитать, но она не решалась о том попросить опе-

куна, который совершенно переменил обхождение свое с нею. «Впрочем,— подумала она,— может ли оно дать ему право поступать со мною так самовластно? Тетушка часто рассказывала об этом завещании, и, по словам ее, батюшка поручил меня только в покровительство Клима Сидоровича. Мне тогда было не более пяти лет от роду; итак, могло ли оно касаться до моего замужества?» Размышления эти ее немного ободрили, но спустя несколько времени недоумение, внушенное словами Дюндика, опять взяло верх над ее умом. В иные минуты она, приводя себе на память читанные ею романы, думала даже, не назначил ли ее батюшка к монашеской жизни; но потом отвергала она эту мысль как несбыточную, несообразную ни с русскими обыкновениями, ни с известными ей по рассказам тетушки правилами покойника. «К тому же,— заметила она сама себе,— тетушка, верно, бы мне что-нибудь сказала об этом; но не промолчала ли она о том единственно для того, чтоб меня не огорчить?»

Колеблемая таким образом множеством противоположных мыслей и догадок, она между нетерпением и страхом ожидала возвращения Дюндика, обещавшего показать ей завещание; но опекун не возвращался. Беспокойство бедной Анюты ежеминутно возрастало, и наконец обессиленная мучительною борьбою, происходившею в ее душе, она почти без чувств села в кресла, тщетно стараясь отдалить печальные предчувствия, которые против воли толпились в ее душе.

В этом мучительном положении провела она несколько часов. Около нее все было тихо, в соседней комнате, где жили барышни, не слыхать было никакого движения.

Наконец услышала она тяжелые шаги опекуна. Сердце ее затрепетало, ей хотелось встать, но она почувствовала, что ноги ее подкашивались, и принуждена была опять опуститься в кресла. Отворилась дверь, и вошел Клим Сидорович. В другой комнате мелькнуло сердитое лицо Марфы Петровны, изображающее любопытное внимание, и хотя дверь тотчас опять затворилась и Анюта не могла даже отдать себе ясного отчета, точно ли она ее видела, но сердце в ней еще сильнее забилось; ей представилось глухо, как будто она должна услышать смертный свой приговор, а Марфа Петровна готовится войти, чтоб быть свидетельницею ее мучения.

Дюндик держал в руках бумагу. Брови его были нахмурены и лоб наморщен. Ожидая сопротивления со стороны нашей страдалицы и быв научен женою, он заранее принял на себя самый строгий вид, но при виде бедной Анюты, сидящей в креслах неподвижно, бледной и с наполненными слез глазами, суровое лицо его смягчилось; давно заглушенная совесть неожиданно в нем зашевелилась, и он готов был спросить с участием о ее здоровье. Человеколюбивое движение это, однако, недолго продолжалось: он вспомнил, что жена его стоит за дверьми, и опять нахмурил брови. При всем том он не тотчас решился проговорить вытверженный урок. Беззащитная сирота, с трепетом ожидавшая от него решения своей участи, представлялась ему, как строгий судья изобличенному преступнику. Наконец он собрался с духом и, стараясь превозмочь овладевшую им робость, подошел к ней и почти прокричал:

— Что ж, надумались ли вы, сударыня? Отказываетесь ли вы от Блистовского?

— Нет! — отвечала Анюта. Слово это, выговоренное тихо, но твердым голосом, стоило ей большого напряжения сил, и она потом молча протянула руку, чтоб принять от него завещание.

— Позвольте-с, я сам прочитаю.

Дюндик начал читать. Пока продолжались точные слова завещания, он читал громко и внятно, но когда дошел он до следующей статьи, голос его задрожал и сделался неясным:

«Если дочь моя вздумает вступить в замужество, то приказываю ей ни под каким видом не принимать на себя никаких обязанностей без согласия почтенного своего опекуна, а моего благодетеля, господина надворного советника и кавалера Клима Сидоровича Дюндика. Буде же она, дочь моя, отважится вступить в брак против его воли, то в таком случае лишаю ее родительского благословения и предаю ее проклятию».

— Проклятию! — вскричала диким голосом Анюта, вскочив со стула.— Покажите, ради бога покажите!

Клим Сидорович подал ей бумагу и дрожащим пальцем указал на слово «проклятие».

— Проклятию! — вскричала еще раз Анюта и без чувств упала к его ногам.

Когда пришла она в память, в комнате уже не было никого, и она лежала на своей постеле. Долго старалась



она уверить себя, что все, с нею происходившее, было не что иное, как тяжелый сон; но, бросив нечаянно взор на стоящий перед нею столик, она с ужасом увидела на нем роковое завещание. Дрожащими руками она его развернула и, прочитав страшные слова, в нем заключающиеся, залилась горькими слезами.

Оставим на время Анюту и перенесемся в нижний этаж дома, в покои Марфы Петровны. Она сидела на софе с торжественным видом. Перед нею с расстроенным лицом сидел Прыжков, а немного поодаль стоял Клим Сидорович, которого глупая рожа изъявляла, по возможности, недоумение и неудовольствие.

— Экая диковинка! — сказала Марфа Петровна, обращаясь к Прыжкову,— не видал ты никогда девушки в обмороке! Экая невидальщина!

— Да посудите, тетушка, что теперь уже часа два, как она лежит без чувств, как мертвая...

— Ну, что за беда! Не бойся, будет жива. Я и сама, когда была в девках, часто падала в обморок. Бывало, что-нибудь не по нутру да нельзя на своем поставить, тотчас глаза зажмурю. Не правда ли, Клим Сидорович?

— Точно так, Марфа Петровна.

— Боюсь только, чтоб она не занемогла,— сказал Прыжков.— Признаться, я крепко испугался, увидев ее без движения и бледную как полотно.

— Да и я не на шутку трухнул,— подхватил Дюндик,— когда она шлепнулась об пол.

— Молчи! Тебя не спрашивают,— прервала его Марфа Петровна.— А ты, видно, в самом деле влюблен по уши,— продолжала она, обратясь к Прыжкову.— Вот уж этого я от тебя никак не ожидала!

— Как бы то ни было, тетушка, вы знаете наше условие. Я готов вам служить, но с тем, чтоб и вы мне помогали. А между тем, так как она должна быть моею женою, вы поступайте с нею как с будущею племянницею и без нужды не огорчайте... Мне ее жаль!

— Вот тебе на, мой батюшка! Я разве медведица какая? Что мне за нужда ее огорчать? По мне хоть бы ее на свете не было! Мне лишь бы проучить Блистовского, да и ее тоже, чтоб они впредь не умничали; а потом, пожалуй себе, возьми ее, я и знать о том не хочу! Ты оставил у нее завещание?

— Я положил его на стол, матушка.

— Пускай на досуге читает. Счастье, что она не знает

руки покойника, а то бы с нею наплясались — девка упрямая! Ну, теперь дело, почитай, сделано, остается тебе склонить ее на свою сторону, да я думаю, это немудрено: когда увидит, что нельзя быть за Блистовским, так она рада будет и за тебя выйти!

— В этом я не сомневаюсь, тетушка,— отвечал Прыжков с самонадеянностью.— Та беда только, что время коротко. Пока мы ее будем уговаривать, пока она согласится, Анна Андреевна может явиться к нам как снег на голову, или, чего доброго, и сам Блистовский. Тогда пропали все труды наши, а с ними — мы и не развяжемся.

— Да,— сказал Дюндик, почесывая голову,— тогда плохо нам будет. Вам-то ничего, а каково мне с ними рассчитываться!

— Вот уж вы оба и струсили,— вскричала Марфа Петровна.— О чем тут хлопотать? Опекун запретил ей думать о Блистовском — он же прикажет идти за другого: она теперь должна послушаться.

— Все опекун да опекун! — сказал вполголоса Клим Сидорович со вздохом.

По мнению Марфы Петровны, надлежало объявить Анюте о нареченном супруге тотчас, когда она опомнится от обморока.

— Надобно ковать железо, пока горячо, чтоб она не имела времени одуматься; чего с нею церемониться!

Прыжков, однако, был другого мнения. Сколь ни желал он обладать Анютою, но боялся ожесточить ее излишнею строгостию и тем испортить все дело.

— Я уверен,— сказал он,— что она, уважая память отца, не захочет выйти из повиновения опекуну. Но дайте ей успокоиться от первого удара. Погодите дня два или три; в это время не приедут сюда ни Анна Андреевна, ни Блистовский; вероятно, и Клара Кашпаровна до сих пор еще не дотащилась до Барвенова. А потом пускай Клим Сидорович объявит ей свою волю.

С этим был согласен и Дюндик. Не имея решительного голоса в совете, он и тому обрадовался, что новый разговор его с Анютою, к которому приступил бы он очень неохотно, отложили на несколько дней.

Между тем бедная Анюта плакала, молилась; потом опять начинала плакать, опять молилась; и все не знала, каким образом согласить любовь к Владимиру с священным долгом повиновения отцу. «Если б он был

жив,— думала она,— верно бы он не отказал в своем согласии!» Иногда ей казалось возможным в этом случае не слушаться опекуна, потому что покойный отец ее, верно, не желал ее несчастия и, вероятно, не предвидел, что опекун употребит во зло данную ему власть. Уже она решалась объявить о том Климу Сидоровичу, но вдруг страшное слово «проклятие» возникало в ее воображении и, как пламенный меч херувима пред вратами рая, заграждало всякую мысль о браке с Владимиром. Наконец после долгой и мучительной борьбы она приняла намерение принесть на жертву, что ей дороже всего было в мире,— любовь к Блистовскому.

Барышни, от времени до времени смотревшие на нее в щелку, давно уже видели, что она пришла в память; но, уведомив о том Марфу Петровну, получили приказание ее не тревожить. Этим кратковременным отдыхом обязана она была Прыжкову, опасавшемуся, чтоб вид Дюндиковых не погрузил ее опять в прежнее положение. Он так горячо за нее вступился, что успел убедить Марфу Петровну, чтоб в этот день никто ее не беспокоил, и потому, когда в обеденное время пришли звать ее вниз и она отказалась, сказав, что нездорова, то Марфа Петровна прислала к ней кушанье в комнату и велела сказать, что она советует ей не вставать с постели.

Под вечер зашли на короткое время барышни и ласково расспрашивали об ее здоровье. Но ни Клим Сидорович, ни Марфа Петровна, по просьбе Прыжкова, не являлись к ней во весь тот день.

Анюта легла спать, но сон убегал ее упорно. Только к утру могла она заснуть, да и тут страшные сновидения сначала тревожили ее покой. Ей казалось, что она идет по узкой тропинке, усыпанной скользкими камешками, на покате крутого утеса, под которым в глубине шумело море. Она напрягала все силы свои, чтоб не сорваться вниз: камешки под ногами ее шевелились как живые и жалостно стонали, когда она по ним ступала; из ущелин утеса раздавались дикие смехи. Большие летучие мыши с разрумяненными человеческими лицами летали перед нею и смотрели на нее сердитыми глазами, прихлопывая с шумом длинными седыми ресницами. Голова ее кружилась, она желала воротиться, но дорога так была узка, что нельзя было повернуться, не упав в пропасть. Она хотела остановиться, но непреодолимая сила понуждала ее спешить вперед, вперед. Вдали слы-

шала она голос тетушки, разговаривавшей с Праскутою; вот и голос Владимира послышался ей прямо перед нею; он звал ее к себе нежными словами... Вот уже тропинка кончалась, и она в конце видела Блистовского и тетушку... Еще несколько шагов, и она будет с ними!.. Но камни под ее ногами еще жалостнее застонали, смехи в ущелинах раздавались с большею дикостию, летучие мыши с человеческими лицами так и вертелись перед ее глазами. В необъятном страхе она хотела броситься к Владимиру, но вдруг из ущелины показался Клим Сидорович с козлиными ногами и с большими рогами на голове. Обеими руками развернул он перед нею бумагу, на которой пламенными буквами написано было слово «проклятие!» — Анюта в отчаянии зажмурилась, отскочила и упала в пропасть. Она думала, что погибла совершенно, с трепетом открыла глаза и увидела себя в Барвенове, в известной беседке, обросшей хмелем и красными бобами. Подле нее сидела тетушка и ласково на нее смотрела; Владимир с другого боку прижимал ее руку к сердцу, а перед нею стояла Праскута и улыбалась. Она взглянула из беседки на большую дорогу и видела, как тяжелая карета опекуна, нагруженная всем семейством Дюндиковых, уезжала из селения. «Как же ты долго спала!» — сказала ей тетушка, и Анюта, приняв за сон все, что происходило с нею с тех пор, как она рассталась с Барвеновым, забыла о Дюндике и о завещании и по-прежнему была счастлива среди своих любезных.

Как грустно сделалось Анюте, когда она, проснувшись в самом деле, удостоверилась, что находится у Дюндика. Но несмотря на то последняя половина виденного ею сна укрепила ее силы и оставила в душе надежду, что не все еще потеряно. «В самом деле,— думала она,— что нужно для моего счастия? Согласие Клима Сидоровича? А почему же мне не надеяться, что он по крайней мере со временем переменит мысли свои о Блистовском? Надобно только вооружиться терпением, а между тем, может быть, самое повиновение мое его обезоружит».

Одобренная этой мыслию, она приняла Клима Сидоровича довольно спокойно, когда пришел он к ней в продолжение утра.

— Я вчера забыл у вас завещание покойного Трофима Алексеевича,— сказал он.— Вы, верно, прочитали его еще раз на досуге?

— Читала, Клим Сидорович.

— И что намерены вы делать?

— Я намерена повиноваться воле батюшки,— отвечала она сквозь слезы.

— Ну, вот это хорошо. За это хвалю вас, ей-богу хвалю! Надобно всегда меня слушаться, я дурного не посоветую. Не забывайте никогда, что я вам второй отец!

В самом деле, Дюндик не ожидал столь скорого решения и несказанно обрадовался, увидев, что ему не нужно вступать в новые споры. Он поспешил уйти, чтоб сообщить товарищам своим о благополучном успехе, и тем избавил Анюту от своего присутствия.

Все семейство, не исключая Марфы Петровны, приняло ее весьма благосклонно, когда пришла она к ним, и никто не упоминал ни слова о вчерашнем. Прыжков в особенности старался ей угождать, и Анюта, слишком занятая своим горем и вовсе не подозревая его видов, взирала с благодарностью на его учтивость.

Дюндики радовались успеху своего коварства.

— Кажется, недолго она будет горевать о Блистовском,— сказала Марфа Петровна с торжественным видом.— А он, дурак, я чай, думает, что она без него жить не может!

— Хоть много мне было хлопот,— говорил Клим Сидорович, гордо посматривая на все стороны,— да по крайней мере недаром!.. Ну, теперь, кажется, дело-то будет в шапке!

И Прыжков ласкал себя надеждою, что она не противостоит его любезности, особливо при помощи грозного завещания.

Низкие души! Они не имели понятия о том, с какою твердостию добродетельный человек переносит самые тяжкие несчастия, когда подкрепляет его убеждение в исполнении долга и чистая надежда на провидение! Они не подозревали, что эта надежда, как бесценное сокровище, хранилась в невинном сердце Анюты и тихо, как голос ангела-хранителя, нашептывала ей утешительную мысль, что рано или поздно она будет вознаграждена за свои страдания.

Таким образом прошел весь этот день и Анюта, хотя с растерзанным сердцем, но с довольно покойным духом легла спать. Силы ее истощены были претерпенными накануне огорчениями, и потому она от усталости сомкнула

глаза, и вскоре легкие сновидения, порхая около нее, начали погружать ее в сладкий сон. Но и эту ночь предназначено ей было провесть в тревоге.

Она находилась еще в том приятном забвении, которое обыкновенно предшествует крепкому сну, как вдруг послышалось ей, что кто-то тихонько стучится в дверь.

Анюта вздрогнула. Сначала приняла она это за обман воображения и вновь хотела закрыть глаза, но стук опять повторился, и так внятно, что не осталось для нее никакого сомнения. Она приподнялась в постеле — глубокое молчание царствовало в комнате; потом опять кто-то постучался, также тихо и внятно.

Уже выше замечено было, что в Анютиной спальне находилось двое дверей, из которых одна вела в покои барышень, а другая в пустые комнаты недостроенного этажа. Последняя эта дверь заперта была задвижкою со стороны Анюты, которой иногда случалось отворять ее днем из любопытства. В тех комнатах еще не были намощены полы, а окошки с давнего времени оставались невставленными. Она знала, что ни изнутри дома, ни снаружи не было туда никакого хода, кроме из ее комнаты, и, несмотря на то, в эту-то дверь слышен был стук, прервавший ее сон.

В другое время Анюта, вероятно бы, испугалась; но в этот день столь много важнейших обстоятельств занимало ее воображение, что для страха в нем почти не было места. К тому же, как говорится, утопающий для спасения своего хватается даже за соломинку; и в глубине души Анюты глухо отозвалась мысль, что этот случай имеет, может быть, какую-нибудь связь с несчастным ее положением. В таких затруднительных обстоятельствах, в каких тогда была Анюта, самые невероятные предположения могут показаться возможными; а потому и ей пришло на ум: не вестник ли это от Владимира, или от тетушки? Или, может быть,— при этой мысли холодный пот выступил по ней — не священная ли тень покойного отца спустилась из горней обители, чтоб ее утешить, укрепить, наставить? Сердце ее сильно забилось; она подняла взоры к небу — луна так ласково светила в окно, лучи ее так весело играли на стенах ее комнаты... Анюта перекрестилась, вскочила с постели, накинула на себя салоп и твердыми шагами приблизилась к таинственной двери.

Глава XVIII

НЕЗНАКОМЕЦ

Когда Анюта подошла к двери, стук опять возобновился, и она услышала очень внятно, что кто-то за дверью зовет ее по имени:

— Анна Трофимовна! Анна Трофимовна!

— Кто там? — спросила она вполголоса.

— Добрый человек. Отворите, Анна Трофимовна, отворите. Только тише, ради бога тише!

Анюта собралась с духом. С трепещущим сердцем и дрожащею рукою отодвинула она задвижку, дверь со скрипом отворилась, и, к неизъяснимому страху, она при лунном свете увидела пред собою безобразную фигуру, с ног до головы покрытую длинною темною шерстью, с сверкающими, как раскаленные угли, глазами.

Вся бодрость ее мгновенно исчезла при виде такого чудовища, и она, не помня сама себя, громко вскрикнула. Казалось, что и чудовище не менее ее испугалось: оно отскочило и громким голосом произнесло:

— Ах, я пустая голова! Извините, матушка Анна Трофимовна!

Потом с быстротою молнии чудовище вскочило к ней в комнату, несмотря на крик ее, насильно всунуло ей в руку небольшую бумагу и скрылось опять в пустые покои, захлопнув за собою дверь.

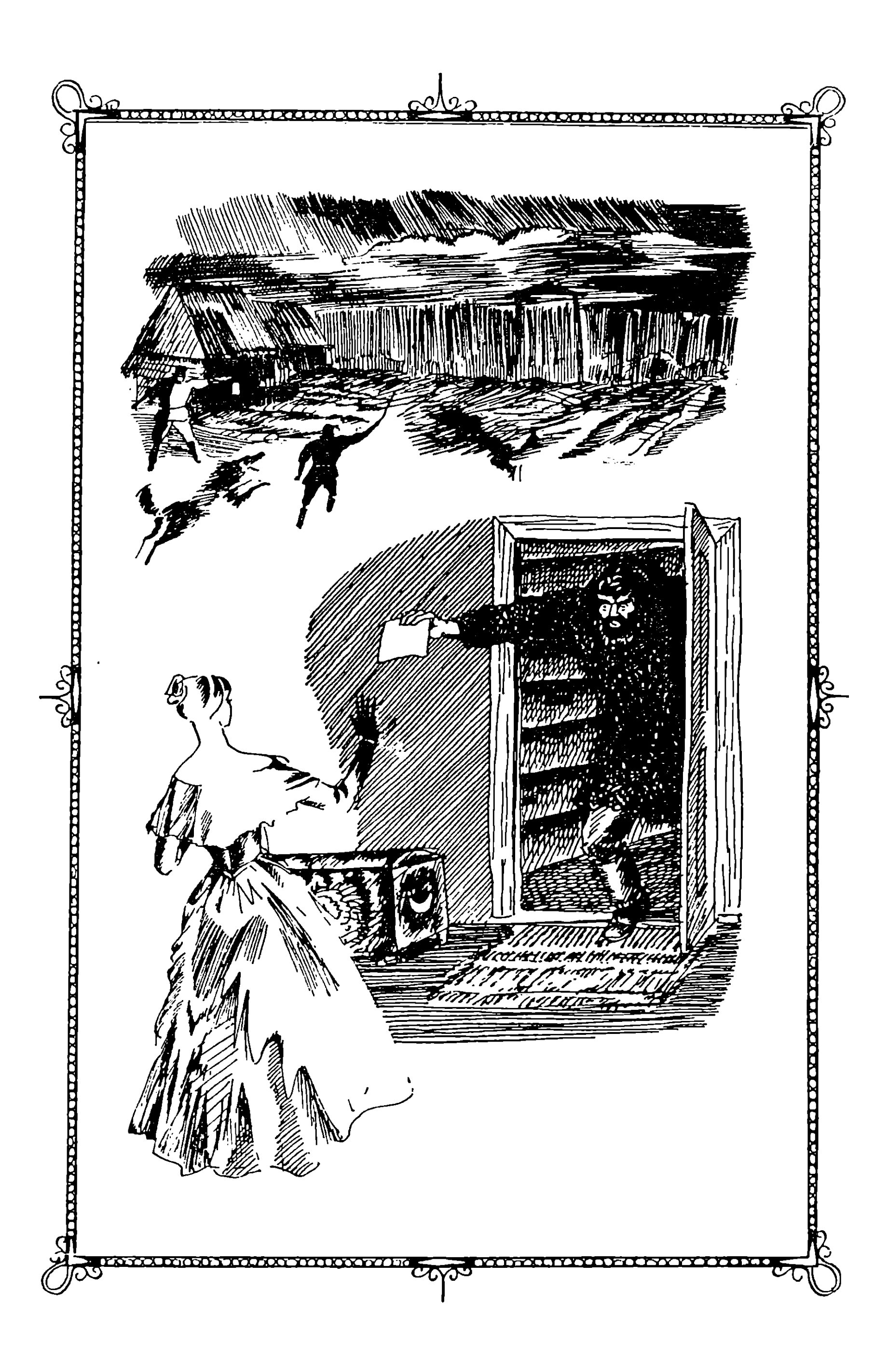
Все это продолжалось не более нескольких секунд. Анюта перестала кричать и стояла еще посреди комнаты, когда отворилась другая дверь и вдруг бросились к ней обе барышни, сопровождаемые горничною девушкою. Немного погодя вошла и Марфа Петровна с супругом и племянником.

Комната осветилась принесенными ими зажженными свечами, и Анюта совершенно опомнилась. В крайнем замешательстве стояла она неподвижно на одном месте, крепко закутанная в салоп; полученную ею бумагу она невольно сжала в руке.

— Что с вами сделалось? — в один голос вскричали Клим Сидорович и барышни.

— Что это вы так раскричались? — спросила Марфа Петровна.— Перепугали до смерти всех! Что с вами случилось? Зачем вы так кричали?

— И сама не знаю! — отвечала Анюта запинаясь.



Внутренний голос внушал ей не открывать причины своего испуга; к тому же она слишком мало имела к ним доверенности, чтоб быть откровенною.— Я думаю, что мне что-нибудь пригрезилось.

Все, по-видимому, довольствовались ее ответом и хотели уже уйти; одна Марфа Петровна, сбираясь выйти вместе с другими, ворчала про себя:

— Ни минуты нет от нее покоя. Чтоб ее...

Вдруг в пустых покоях раздался шум, и все остановились.

— Это что такое? — сказала Марфа Петровна.

Прыжков подошел поближе.

— Дверь не замкнута! — вскричал он и поспешно отворил ее. В конце пустой комнаты, при месячном сиянии, увидел он черную фигуру, подвигающуюся к окну, и стремглав бросился туда, чтоб ее схватить: но, не зная или забыв, что пол там не был настлан, он споткнулся на бревно и упал изо всей мочи.

— Ловите! Ловите! — кричал он во все горло, несмотря на чувствуемую им боль.— Скорее сюда огня! Клим Сидорович! Марфа Петровна!

Дюндик не очень спешил исполнить его желание; но Марфа Петровна, вырвав у мужа из рук шандал, вошла в пустые покои, а за нею последовали и все прочие, кроме Анюты.

Прыжкова подняли и поставили на ноги.

— Ищите, он должен быть здесь, не упустите его! — говорил он им запыхаясь.

— Кто, о ком вы говорите? Кого вы видели? — спрашивали наперерыв все.

— Не знаю,— отвечал он,— но я видел ясно, как он подвигался к окну вон там, в этом углу. Если это не сам дьявол, так он еще и теперь должен быть здесь. Кроме его, никто не выскочит из второго этажа, не сломив себе шеи.

По его требованию начали искать во всех углах и не нашли никого. Подходя к окну, Прыжкову опять показалось, что та же самая фигура крадется на дворе в тени около забора.

— Гей! — закричал он,— сторожа, сюда! Султан! чужой! ату его, ату!

На крик этот начали сбегаться люди. Султана спустили с цепи, и Прыжков, прихрамывая, побежал вниз, чтоб участвовать в поимке незнакомца.

— Ворота заперты, убежать ему некуда! — кричал он Марфе Петровне, и все пустились за ним, движимые любопытством, хотя не без боязни.

Пока они сходили с лестницы, на дворе раздавался громкий лай собаки: потом послышался им жалкий визг и стон, за которым последовала опять тишина. Сбежав на двор, они, к крайнему изумлению, увидели сторожей и прочих слуг, окружающих бедного Султана, лежавшего перед ними без дыхания. Кровь лилась из широкой раны, нанесенной ему в горло. На всех лицах изображался страх. Несмотря на старания Прыжкова, на дворе не нашли никого; никто, кроме его, не видал описанного им человека; никто не знал, кто убил Султана. Один только сторож утверждал, что он видел, как большой косматый медведь перелезал через забор.

— Это не медведь,— сказал Прыжков, со вниманием осмотрев Султана.— Рана эта сделана ножом.

— Ведьма или оборотень,— проворчал себе под нос Клим Сидорович, которого давно уже начала пронимать дрожь, и слуги, услышав слова своего господина, повторили их дрожащим голосом. Все начали креститься и разошлись по ночлегам, боязливо оглядываясь. Один Прыжков не соглашался с общим мнением.

В продолжение этого времени Анюта, оставшись одна, заперла обе двери и, удостоверившись, что никто не может войти к ней ни с той, ни с другой стороны, легла в постель. Полученную ею бумагу, сложенную письмом, она не выпускала из рук. Любопытство сильно побуждало ее узнать содержание, но она боялась спросить огня, чтоб не дать повода к подозрению. При месячном сиянии она, развернув бумагу, успела различить, что на ней что-то написано, хотя, при всем старании, не могла разобрать ни одного слова. Открытие это еще более возбудило ее любопытство, однако делать было нечего; она поневоле решилась дождаться следующего утра. Беспокойство не позволяло ей опять заснуть: между тем она слышала лай и стон Султана, вскоре после того вдруг прекратившийся; разговоры людей на дворе глухо раздавались в ее ушах, и все это еще более ее тревожило. Спустя несколько времени барышни спросили ее сквозь дверь:

— Уж вы легли спать, Анна Трофимовна?

— Легла,— отвечала она.

— А мы так были на дворе. Вы знаете, что зарезали бедного Султана?

— Кто? — спросила Анюта.

— А бог знает, кто! Виноватого не нашли. Но прощайте, пора спать.

— Прощайте, желаю вам покойной ночи.

Барышни удалились, но рассказанное ими возродило в ней новые размышления. Что это за непонятное существо, которое исчезло, как привидение, не оставя никаких следов, по коим можно было бы догадаться, куда оно скрылось? И кто мог убить злого и сильного Султана? Она полагала, что в таинственной бумаге, вероятно, заключалась развязка этой загадки, но надлежало взять терпение и дожидаться рассвета. Таким образом лежала она без сна до того времени, пока начала заниматься заря. Лишь только первые лучи восходящего солнца осветили небо, она поспешно вскочила, подбежала к окошку и развернула письмо. Почерк показался ей знакомым. С возрастающим удивлением прочитала она следующие строки:

«Вы, сударыня Анна Трофимовна, верно удивились, что я уехала от Дюндиковых, не простившись с вами. Ну, правду сказать, никогда не ожидала я этакого сраму от Марфы Петровны; да и Клим Сидорович ничем не лучше ее. Друг друга стоят! Ведь вы, матушка, верно не знаете, что они меня насильно выпроводили из дому, ей-богу — ну так! И хотели меня еще уверить, что это вы меня высылаете. Будто я вас не знаю, ангел мой! Чтоб язык у них не поворотился. Извините, сударыня Анна Трофимовна, чувствую, что грешно мне ругаться на старости лет, но я так на них сердита, право ну, что всего бы на свете им пожелала, кроме добра. Да накажет же их бог за их дела! Боюсь за вас, сударыня, что вы остались у них одни, без защиты. Ведь не без злого умысла они меня выслали; а какая у них цель, придумать точно не могу, а полагаю, что хотят расстроить вас с Владимиром Александровичем; да не бывать этому, не бывать! Однако берегитесь, матушка, они на все способны! И в голову нам того не придет, что они придумать могут вам во вред. Но не робейте, ангел мой, и им не поддавайтесь. Дотащусь же я как-нибудь до тетушки Анны Андреевны, а она не оставит вас в волчьей яме, за это отвечаю! Вообразите себе, матушка, что не успела я проехать верст двадцать, как передняя ось у кареты сломалась. Ведь подпилили ее нарочно, окаянные! Простите великодушно, сударыня, не могу утерпеть, чтобы их не бранить. А ку-

чер-то их, шельма, на другой день ни свет ни заря увел лошадей и оставил меня одну с сломанною каретою. Письмо это я нацарапала к вам, не зная, дойдет ли оно до вас. Впрочем, податель, кажется, человек хороший; если б не он, то до сих пор сидела бы я над каретой да плакала. Ведь и они люди крещеные, такие же, как и мы, матушка! И между ими есть и честные и плуты. А он, кажись, добрый человек и знаком с Владимиром Александровичем. Сам вызвался отдать вам письмо это непременно. Христос с вами, мой ангел, будьте здоровы и не поддавайтесь Марфе Петровне».

Письмо это привело в ужас Анюту. «Господи! — подумала она,— к каким людям я попалась! И что я им сделала, что они так меня преследуют. Боже мой! Вот от кого зависит моя участь!»

Она горько заплакала и сквозь слезы неоднократно прочитывала письмо Клары Кашпаровны. Чтение это произвело, однако, благодетельное на нее действие: чем более она удостоверялась в злых умыслах опекуна, тем более рождалось в ней бодрости оным противиться, и наконец даже мысль, что Дюндик, может быть, показывал ей ложное завещание — мелькнула в ее душе. Хотя страшилась она предаваться этой мысли, но, несмотря на то, надежда более и более в ней укоренялась. Когда же вспомнила она, каким непонятным, чудным образом дошло до нее это письмо, сердце ее наполнялось признательностью к провидению, пославшему ей утешение в горести. «Постараюсь все переносить терпеливо,— сказала она сама себе,— пока приедет тетушка, буду молиться богу: он меня не оставит!» При всем том любопытство ее касательно чудного вестника Клары Кашпаровны осталось неудовлетворенным, ибо из письма не могла она никак догадаться, кто он таков.

Непонятное происшествие, случившееся в прошедшую ночь, занимало также и Дюндиковых, когда рано поутру сошлись они с Прыжковым у Марфы Петровны.

— Воля ваша, матушка,— говорил Клим Сидорович, еще не опомнившийся от вчерашнего испуга,— о чем тут ломать голову? Очевидно, как дважды два — четыре, что это был оборотень. Ну может ли обыкновенный человек, если не поддерживает его дьявольская сила, выскочить в окно с такой вышины? И отчего не остановил его Султан? Отчего из всех людей никто не видал его, кроме Тараски, который даром что кос, а видит лучше всех,

особенно ночью, потому что у него мать была ведьма, в чем побожится все село.

— Да ведь и Прыжков его видел,— заметила Марфа Петровна,— неужто и его мать была ведьма!

— А почему ж бы и не так? — подхватил Клим Сидорович сгоряча, забыв, что Прыжкова мать была родная сестра Марфы Петровны.— Может быть, и она была не без греха. Мне помнится, об ней довольно говаривали в молодости моей, что она по отцу принадлежит к такому роду, который не совсем чист перед богом, что касается до колдовства...

Клим Сидорович приметил тут, хотя уже поздно, что попал впросак, и со страху закусил себе язык так крепко, что от боли высунул его далеко изо рта; но плачевная фигура его не растрогала Марфы Петровны.

— Дурак! — закричала она, пылая от гнева,— ты и в молодости был дурак, и теперь дурак, и всегда дураком будешь! Стало быть, по-твоему, и я ведьма?

Бедный Дюндик совершенно стал в тупик. Ссора между ними не скоро бы кончилась, если б Прыжков не вступил в посредничество и не отклонил внимания Марфы Петровны своими размышлениями о вчерашнем происшествии.

— По моему мнению,— сказал он,— вчерашнее видение — не ведьма и не оборотень, а гораздо хуже этого. Тут должна крыться какая-нибудь штука Блистовского, хотя и не могу я ее в точности проникнуть. Отчего дверь в пустые покои была отперта? Зачем Анна Трофимовна, когда вошли мы к ней, стояла посреди комнаты?

— Но если это был посланный Блистовского,— заметила Марфа Петровна,— зачем она так раскричалась?

— Вот этого-то я не понимаю. Она сказала нам, что ей пригрезился сон: положим, что это правда и что во сне выскочила она из постели и выбежала на середину комнаты, но отчего она была в салопе? Вы видите, что и с ее стороны дело не совсем ладно. Боюсь, что за вчерашним оборотнем явится и сам Блистовский, прежде нежели успеем мы кончить дело.

— А что бы ты советовал?

— Я думаю, что Клим Сидорович может объявить ей сегодня же о моем предложении. Посмотрим, что она скажет; а между тем советую уехать отсюда так, чтоб никто не знал куда; пускай нас здесь ищут.

Совет этот довольно понравился Марфе Петровне.

Хотя по образу воспитания своего и она готова была верить ведьмам и оборотням, но довольно было для нее и самой тени возможности, что вчерашнее происшествие имело какую-нибудь связь с Блистовским, чтоб побудить ее ко всему. Пуще всего боялась она разрушения своих козней против Анюты, а потому скоро приняла предложение Прыжкова. Что касается до Клима Сидоровича, то ему, по обыкновению, осталось только исполнить ее волю. Итак, затруднение состояло в том единственно, куда им уехать?

В конце Кролевецкого повета, в темном, непроходимом бору, отдаленном от большой дороги, Клим Сидорович имел уединенный хутор, где, кроме полуразвалившейся мельницы и такой же винокурни, был небольшой домик, в котором он приставал, когда в прежние времена случалось ему посещать это имение. Селение, к коему принадлежал хутор, находилось верстах в пяти от оного, а в самом хуторе всегдашнее пребывание имел один только мельник с своим семейством. Винокурня уже несколько лет как была заброшена, и потому, кроме крестьян, ездивших туда во время больших засух, когда другие мельницы находились в бездействии, никто туда не заглядывал. Самому приказчику, жившему в селе, хутор этот известен был почти по одному названию, а большая часть соседних помещиков не ведала даже о его существовании. Марфа Петровна знала его по одной только наслышке и по тому, что Клим Сидорович в число опасных похождений своей жизни включал и поездки свои в этот хутор. Он любил рассказывать о густом лесе, подходящем почти к самому строению, о множестве медведей, волков и рысей, в нем обитающих, и о славном малороссийском разбойнике Гаркуше, который, по преданиям, когда-то имел там главное пристанище.

В этот-то хутор Марфа Петровна по совету Прыжкова решилась переселиться вместе с Анютою, дабы на досуге без всякого опасения от Блистовского довершить начатое предприятие. Чтобы вернее сохранить тайну этого путешествия, положено было даже и барышням не говорить ни слова о хуторе и вместо того объявить, что поедут в Полтаву.

Между тем Клим Сидорович в назначенное супругою время отправился, скрепясь с духом, к Анюте. Мы знаем, что он по природе имел большую склонность вредить ближнему: но склонность эту он любил удовлетворять

тогда только, когда это не стоило ему излишних хлопот, и потому в течение жизни неоднократно ему случалось не делать зла единственно из лености и неповоротливости. Если же к хлопотам присоединялась еще какая-нибудь опасность, то он готов был оставить в покое величайшего своего неприятеля. Это расположение не делать зла из лености или боязни он называл в себе добродушием. В настоящем случае одни хлопоты давно бы заставили его отступиться от Анюты, если бы и не имел он справедливых причин страшиться мщения Блистовского, которое беспрестанно ему мерещилось. К тому же, рассуждения Прыжкова о вчерашнем происшествии вселили в него мысль, что Блистовский, может быть, в союзе с оборотнем, а это и того более его пугало. Но что ему оставалось делать? Он находился между двумя бедами: с одной стороны угрожали ему Блистовский и оборотень, а с другой Марфа Петровна, которая для него была страшнее и того и другого.

Он удивился, когда Анюта встретила его без всякого замешательства, и, после краткого вступления о вчерашнем происшествии и об ее здоровье, приступил к делу.

— Анна Трофимовна,— сказал он,— мне приятно было видеть, что вы так охотно решились исполнить мою волю. Я думаю только об истинной пользе вашей. Посудите сами: зачем бы мне не согласиться на то, чтоб вы вышли за Блистовского, ну какой мне от этого барыш? Поверьте, если б не было важных причин, которых, к сожалению, открыть вам не могу, то благословил бы вас обеими руками.

Анюта закраснелась и не отвечала ни слова.

— Я надеюсь,— продолжал он,— что вы и впредь также будете послушны и никогда не забудете, что я ваш второй отец. Вот, например, я теперь вам докажу, что желаю вашего счастия. Вы не имеете ни отца, ни матери и в таких летах, что пора выйти замуж. Вот у меня есть для вас жених: хороший дворянин, богатый помещик, человек умный, воспитанный, крепких напитков не употребляет, говорит по-французски не хуже вашего, собою молодец, мужчина ловкий, приятный, одним словом — вы его знаете — это Онисим Федорович Прыжков, родной племянник моей жены и святой Анны третьей степени кавалер. Он предлагает вам свою руку, и я на то согласен. Что вы на это скажете?

— Вы надо мною насмехаетесь,— отвечала Анюта с досадою.

— Ей-богу, я говорю серьезно. Хотите ли, чтоб я его позвал? Он здесь, стоит за дверью.

— Клим Сидорович! — вскричала Анюта, вскочив со стула,— этого уже слишком много. Прошу вас не употреблять во зло власти вашей и оставить меня в покое.

— Вот тебе на! Что вы так взбеленились? Ей-богу, не понимаю. Я серьезно спрашиваю вас, хотите ли вы выйти за Онисима Федоровича?

— Не хочу. Пожалуйте, оставьте меня в покое.

— Что с вами сделалось, Анна Трофимовна? Я спрашиваю у вас решительно, принимаете ли вы его предложение?

— А я вам отвечаю решительно, нет!

— О, о! Так-то вы слушаетесь вашего опекуна? Вы забыли, что я могу вам приказать?

— Этого вы приказать мне не можете. А если и прикажете, то я не имею обязанности вам повиноваться.

— Вот это для меня ново. Разве забыли вы завещание? Хорошему же вас научили в монастыре! А проклятие отца вашего разве ничего?

Анюта вышла из терпения. Глаза ее засверкали; она подошла к нему ближе и сказала твердым голосом:

— Клим Сидорович! Не говорите мне о батюшке. В завещании, которое вы мне показывали, стоит, чтоб я не выходила замуж без вашего согласия. Если действительно такова была его воля, то я ей повинуюсь... но там не сказано, чтоб я дала слово тому, кого вы назначите, и потому убедительно прошу вас избавить меня навсегда от подобных предложений. Я хочу исполнить волю батюшки, а не вашу.

Выговорив слова эти, она отвернулась от него и подошла к окну.

Дюндик слушал ее, вытаращив глаза и разинув рот от удивления.

— Как? как! — проговорил он,— увидим, Анна Трофимовна, увидим!

Более он ничего не умел сказать, потому что на подобный случай не получал никакого наставления. В полном замешательстве вышел он вон и отправился к своей повелительнице, которая вместе с Прыжковым слышала весь разговор и ожидала его в другой комнате.

— Ну, матушка,— сказал Дюндик, когда они удали-

лись к себе,— теперь делайте сами, что хотите, а я вовсе не знаю, что начать. Слышали вы, как она мне отвечала? Прыжков правду говорил: недаром являлся вчерась оборотень. Куда! и не похожа на прежнюю скромницу. Хорош я опекун! Я стоял перед ней как мальчишка!

— Подлинно как мальчишка,— заметила Марфа Петровна,— уж я бы ей на твоем месте доказала дружбу.

— А что б вы сделали, матушка? Вы видите, что она теперь и от завещания не унимается.

В самом деле, и Марфа Петровна была в затруднении, хотя, по обыкновению, не могла утерпеть, чтоб за неудачу не побранить мужа.

— Вы видите,— сказал Прыжков,— что вчерашний оборотень имеет какую-нибудь связь с Блистовским. Иначе отчего бы она вдруг так переменилась? Заметили вы, что она теперь заговорила совсем в другом тоне?

— Я так очень заметил,— подхватил Дюндик,— по чести, я вовсе не знал, что ей отвечать.

— А все это ваша вина,— прервала его Марфа Петровна.— Как вы не догадались написать в завещании, чтоб она непременно вышла за того, кого опекун назначит. Теперь трудно исправить эту ошибку.

— Да и завещание-то теперь не очень действует,— отвечал Прыжков.— Вы слышали, что она сказала: *если это действительно воля батюшки?* Стало быть, она не совсем тому верит? Но теперь, на первый случай, надобно поспешить отъездом, это главное; а там увидим, что будет далее.

Весь день прошел в приготовлениях к отъезду. Барышням поручено было объявить Анюте, что в следующее утро рано они поедут в Полтаву. Ей очень неприятно было такое известие, но могла ли она противиться? Анюта в короткое время, проведенное с Дюндиковыми, приобрела уже столько опытности, что без труда отгадала причину неожиданной и поспешной их поездки. Она не сомневалась, что путешествие это скрывает новые против нее козни; но при всем том должна была безотговорочно покориться необходимости. К тому же она твердо была уверена, что тетушка, не отыскав ее в деревне, немедленно поедет за нею в Полтаву, и что таким образом, вопреки стараниям Дюндиковых, неприятное положение ее продлится только немногими днями.

В продолжение всего этого дня она только во время обеда видела хозяев дома. Никто не упоминал ни слова

о последнем разговоре ее с опекуном. Прыжков был молчаливее обыкновенного: он казался печальным и тяжко вздыхал, когда страстные взоры его встречались с холодным взглядом Анюты, которая, впрочем, всячески избегала этой встречи.

Глава XIX

УЕДИНЕННЫЙ ХУТОР

В то самое время, когда на другое утро Марфа Петровна с дочерьми и с Анютою садились в карету, подали Климу Сидоровичу пакет, присланный с эстафетою. При первом взгляде он узнал почерк Анны Андреевны; тут же было и другое письмо на имя Анюты. Марфа Петровна, увидя, что приехавший из города слуга отдал мужу ее пакет, открыла уже рот, чтобы потребовать оный себе; но Дюндик мигнул ей так значительно, что она догадалась, о чем идет дело, поспешила усесться и приказала кучеру ехать. Тетушка в письме своем к Климу Сидоровичу жаловалась на то, что он задержал Анюту против ее воли, и пеняла ему за Клару Кашпаровну. «Вы, милостивый государь Клим Сидорович,— писала она в заключение,— на меня не прогневайтесь, если напомню вам, что святая православная вера наша не велит нам лгать: что будто Галечка осталась у вас по доброй воле и отослала Кашпаровну, не написав ко мне даже ни строчки,— так это ложь, мой батюшка, совершенная ложь, прости меня господи! Я человек маленький, Клим Сидорович; только скажу вам без лести: если вы обидите мою Галечку хоть на волос, так вы от меня нигде места не найдете. Дойду до самого царя, не токмо что до губернатора! Прошу на меня не прогневаться. Я бы сама к вам приехала вместо эстафеты, да ожидаем Владимира Александровича с часа на час: уж пусть лучше поедем вместе. Затем, пожелав вам доброго здоровья и всякого благополучия, а милостивой государыне Марфе Петровне свидетельствую мое почтение. Стыдитесь, батюшка, что забыли закон христианский; в ваши лета, Клим Сидорович, до суда божьего недалеко».

В Анютином письме, которое Дюндик распечатал без обиняков, Анна Андреевна уговаривала любезную свою Галечку быть спокойною и обещалась в скором времени

приехать за нею вместе с Владимиром. Оба письма Клим Сидорович читал, сидя в коляске с Прыжковым, и, не удерживаемый присутствием строгой супруги, дал волю своему неудовольствию.

— Уж я с самого начала видел, что из этого не будет добра,— говорил он.— Ведь надобно же Марфе Петровне взять себе в голову, чтоб непременно расстроить эту свадьбу. Плюнула бы на них, да и полно; а то разгневалась за то, что Блистовский не посватался за Веру. Экая беда! Как будто без него нет женихов на свете. Я ведь и сам, кажется, отец и не менее люблю дочь, да на все есть и время и мера. Если б можно было задеть их так, чтоб самим не попасть в петлю,— зачем нет? Я не прочь. А то смотри, пожалуй, одна взбалмочная Лосенкова наварит нам такую кашу, что мы и жизни не рады будем. Чего доброго: баба сумасшедшая, пожалуй, напишет к государю... От нее это станется!

— О чем заранее хлопотать, дядюшка! — сказал Прыжков.— Подумаем лучше, как воспользоваться временем, пока Блистовский не откроет, куда мы уехали. А что касается до угроз Анны Андреевны, так о том покамест горевать нечего. Улита едет, когда-то будет! Пускай ее жалуется, нельзя же ведь от вас отнять, что вы опекун!

— А ложное завещание?

— Да кто его видел? Кто может доказать на нас? А хотя бы и доказали, ведь мы не в суд его предъявили. Вольно было Анне Трофимовне верить пустой бумаге, которую для ее же пользы вы сочинили как опекун. Впрочем, до этих объяснений еще далеко; а между тем пускай себе Анна Андреевна с Блистовским прогуливаются от Барвенова до Будища, а от Будища до Полтавы. Пока они будут разъезжать то взад, то вперед, мы, может быть, успеем и Анюту переманить на свою сторону. Я еще не потерял надежды.

— Да, тебе любо чужими руками жар загребать! — сказал Дюндик, немного успокоенный словами Прыжкова,— а мне-то каково? ведь все лежит на мне: без меня вы и шагу сделать не можете.

Письмо Анны Андреевны не только не устрашило Прыжкова, но, напротив того, удостоверило его, что Владимир еще не возвратился в Малороссию, и это немного успокоило его подозрение о ночном происшествии в пустых комнатах, в котором, по-видимому, Блистовский не

имел никакого участия. Однако он не мог быть совершенно спокойным. Ему казалось неподверженным сомнению, что непонятное это происшествие имело влияние на Анюту, ибо оно одно, по мнению его, могло внушить ей в следующее утро столько решимости против опекуна. «Но если это так,— подумал он опять,— если явление этого человека действительно послужило к ее ободрению, то зачем же она раскричалась, зачем она так была испугана?» Тщетно старался он разгадать эту загадку: она оставалась для него неразрешимою.

Анюта между тем, сидя в карете, предавалась размышлениям о том же предмете, и никто ее в том не тревожил, ибо Марфа Петровна не говорила с нею ни слова, а барышни болтали о полтавских знакомых, которые не возбуждали в ней никакого участия. Она с благодарностию вспоминала о незнакомце, который с такою отважностию подвергал жизнь свою очевидной опасности для того только, чтоб доставить ей письмо. Она досадовала на себя за трусость, лишившую ее случая чрез него уведомить тетушку о своем положении и вместе узнать, кто он таков, ибо из письма Клары Кашпаровны невозможно было сделать о нем никакого заключения.

Путешественники наши остановились только на короткое время, чтоб покормить лошадей, а потом опять пустились в путь. Пока отдыхали лошади, Марфа Петровна сочла за нужное втайне объявить дочерям, что они едут не в Полтаву, а в хутор, ибо скоро приходилось своротить с Полтавской дороги, и она не без основания опасалась, что они, не быв о том предварены, могли бы вопросами своими вселить подозрение в Анюте. Известие это крайне им не понравилось; но когда объяснили им причины, к тому побудившие, они охотно покорились необходимости и вознамерились всеми силами способствовать достижению общей цели.

Таким образом ехали они два дня, в продолжение которых не случилось ничего достойного замечания. Полтавская дорога давно уже осталась в стороне, а Анюте и в голову не приходило, что путешествие их имело иное назначение. В исходе второго дня, когда карета поворотила на узкую и неровную дорогу, Марфа Петровна сказала, как будто мимоходом, что они будут иметь ночлег в принадлежащем им хуторе, который посещает она в первый раз.

— Ах, это, верно, в Шендре,—вскричала Вера с видом удовольствия,— я давно желала побывать в этом хуторе. Говорят, местоположение прекрасное?

— Он окружен лесом,— отвечала Марфа Петровна,— в котором бывает множество грибов и разного рода ягод.

— Ах, как я люблю ходить за грибами! — подхватила Софья,— мы там проживем несколько дней, маменька, не правда ли?

— День и другой, может быть, пробудем. Надобно же осмотреть хозяйство.

В разговоре этом Анюта не нашла ничего подозрительного, хотя сожалела, что прибытие ее в Полтаву и следственно свидание с тетушкою чрез то отдалится. Что касается до барышень, то, несмотря на изъявленную ими прежде радость, даже окрестности хутора уже не обещали им ничего утешительного. И в самом деле, они редко кому могли бы внушить иное чувство, кроме тоски или ужаса.

Густая тьма окружила их, когда въехали они в частый сосновый бор, куда не могли проникнуть слабеющие лучи вечернего солнца. Бессчетное множество ворон и галок, собираясь на ночлег, тесными стаями тянулись над ними и с пронзительным гарканьем опускались на высокие вершины дерев. Усталые кони едва подвигались вперед по глубокому песку, и крик кучеров, их понуждающих, раздавался по лесу диким гулом. Барышни молча прижались друг к другу, и все им известные повести о разбойниках, привидениях и леших начали освежаться в их памяти в страшных картинах. У Марфы Петровны сердце также не совсем было на месте. И мать и дочери за то внутренно проклинали бедную монастырку, которая между тем ни мало не помышляла ни о разбойниках, ни о привидениях; мысли ее в это время блуждали в Барвенове.

Уже поздно вечером прибыли они в хутор, где встречены были Климом Сидоровичем и Прыжковым, отправившимися туда вперед. Они успели кое-как очистить и прибрать господский домик, в котором назначено было поместиться Марфе Петровне с дочерьми и с Анютою; для самих же себя устроили они ночлег в небольшой избе, стоявшей неподалеку от главного дома. Все так устали от скучной и продолжительной дороги в лесу, что вскоре по приезде поспешили разойтись по своим комнатам.

Анюте досталась небольшая угловая комната, слу-

жившая первоначально чуланом, и из которой дверь была прямо на двор, имевший в ширину не более осьми или десяти шагов и окруженный плетнем, к коему плотно примыкал густой лес. Подле ее комнаты за глухою стеною была столовая, которая отвечала и за гостиную, а за нею следовали покои Марфы Петровны и дочерей ее. Из всех путешественников одна, может быть, Анюта легла спать без всяких предубеждений против этого хутора, который во всех других произвел более или менее неприятные впечатления.

Она покоилась еще крепким сном, когда на другое утро разбудили ее громкие разговоры прочих путешественников, вставших ранее обыкновенного по причине беспокойного ночлега и уже собравшихся в соседней комнате. Все жаловались на проведенную почти без сна ночь. Марфе Петровне мешал спать филин, кричавший, как уверяла она, до самого утра; а дочери ее, кроме того, слышали еще какой-то странный шепот под окнами и подозрительный свист в лесу. Это подало Дюндику повод рассказывать об известном разбойнике Гаркуше, имевшем в этом бору главное пристанище.

— Вот тогда-то было время страшное! — говорил он, — оно еще в свежей у меня памяти. Бывало, вдруг пронесется молва, что к такому-то помещику будет Гаркуша; откуда молва бралась — никто не знал, только никогда она не проходила даром. Что ж? И в голову никому не приходило готовиться к защите — сохрани бог! Что успеет бедный помещик забрать из лучших вещей, то в охапку, да и давай бог ноги! Ни души в доме не останется; а Гаркуша придет, выберет себе на просторе, что ему нужно, да и поминай как звали! Случалось иногда, что иной помещик сдуру даст знать о том земской полиции — и того хуже! Пока полиция собирается, а Гаркуша все-таки придет, ограбит да вдобавок еще зажжет дом со всех четырех углов. То-то, подлинно, было время!.. Нас тогда бог миловал: Гаркуша, спасибо ему, нашего ничего не трогал. Может быть, из благодарности за то, что имел спокойный приют в этом лесу.

— А кто тогда жил в хуторе, батюшка?

— Да хутора тогда еще не было. Винокурня-то выстроена после Гаркуши. Тогда стояла здесь одна старая мельница, да и в ней завозу не бывало вовсе. Кому охота была ездить на мельницу! Я еще помню, что тут, где теперь этот дом, поставлен был большой деревянный крест,

потому что на самом этом месте Гаркуша зарезал женщину да еще с грудным ребенком. Бывало, мельник рассказывал, что в ночную пору часто около этого креста играли два огонька, один побольше, а другой поменьше: это, верно, были души убитых, и в то же время всегда в лесу слышен был такой стон, что у мельника на голове волосы подымались как щетина!

— Ах, господи! — вскричали Вера и Софья побледнев.— Разве нельзя было выстроить дома в ином месте?

— Да, вы говорите. Был у меня приказчик, англичанин; нечего сказать, человек преискусный, он и винокурню здесь устроил — да ведь они ничему не верят! Ему, видно, надоели поговорки об этом кресте и об Гаркуше; он, ни дай ни возьми — взял, выкопал крест, да и построил тут дом. Я ужаснулся, когда узнал эти проказы, но поздно было поправить дело! Англичанина, разумеется, я тотчас прогнал, а дом остался. Не ломать же его!

— Маменька,— сказала Вера, обратясь к Марфе Петровне,— вот отчего слышен был ночью шепот и свист! Ой, кабы нам скорее отсюда убраться!

Марфа Петровна сидела, пригорюнившись, и не говорила ни слова. Она почти столько же, как супруг ее, боялась привидений, а дикий и уединенный хутор весьма способен был к поддержанию этой боязни. Проведенная под напевом филина ночь и того более расположила ее к подобным впечатлениям, и потому она молча и с любопытством слушала долгие рассказы Клима Сидоровича, который, быв одобрен необычайным ее вниманием, с удвоенною охотою распространялся об этом предмете. Прыжков, хотя и покушался смеяться над его рассказами, но, заметив, что шутки его раздражали слушателей, решился молчать.

Разговоры эти прекратились тогда только, когда вошла к ним Анюта. Все, кроме Прыжкова, взглянули на нее с таким суровым видом, что она смешалась, не зная, чему приписать явное их неудовольствие. Могла ли она вообразить себе, что они на нее сердились за пребывание свое в страшном для них хуторе!

После чаю пошли они взглянуть на мельницу и на винокурню, но прогулка эта мало им доставила развлечения. Все казалось им так уныло, так дико, что, несмотря на старания Прыжкова, ему не удалось развеселить их ни на одну минуту. Весь день прошел в тщетных покуше-

ниях чем-нибудь разогнать скуку. Марфа Петровна, сидя на крыльце, считала тальки и бранила приказчицу; барышни бродили около пруда, заросшего тростником, ловили рыбу на удочку и искали грибов по опушке бора; но хутор от этого не переменял своего мрачного вида. Когда настал вечер и солнце скрылось за лесом, рассказы Клима Сидоровича начали оживляться в их воображении: им показалось страшно оставаться в присутствии древних сосен, современных Гаркуше, и они поспешили домой. Но и тут, на самом пороге, встретило их воспоминание о зарезанной женщине и о скачущих огоньках.

Таким образом прожили они в хуторе около трех дней, и положение их становилось ежеминутно несноснее. Анюта, не понимая причины, заставлявшей их оставаться в таком месте, которое, очевидно, им не нравилось, неоднократно спрашивала, зачем не продолжают пути в Полтаву; но на эти вопросы отвечали ей явными подлогами, и она наконец перестала говорить об отъезде. Между тем ни Дюндик, ни сам Прыжков не знали, что начать с Анютою: заставить Клима Сидоровича ее уговаривать было бы вовсе безуспешно, а надежда Прыжкова любезностию своею тронуть ее сердце также совсем почти исчезла. Он ясно видел, что она не обращала на него никакого внимания; а когда их нарочно оставляли одних, чтоб доставить ему случай ее пленить, она удалялась в свою комнату, невзирая на строгие приказания Марфы Петровны, которые иногда доходили почти до брани.

Итак, несносная для всех жизнь в хуторе не принесла никакой пользы их видам, кроме удаления Анюты от тетушки. Рано или поздно она, однако же, должна была открыть их местопребывание, и они чувствовали, что в таком случае уже навсегда прекратилось бы влияние опекуна на Анюту. Надлежало принять какие-нибудь решительные меры, тем более что Марфа Петровна не могла равнодушно думать о продолжении пребывания своего в хуторе. Но сколько ни ломали они себе голову, никто не мог придумать ничего дельного, и Марфа Петровна после каждого разговора об этом предмете становилась недовольнее и сердитее. Ко всему этому присоединились еще и толки слуг, которые громко поговаривали, что в ночное время в хуторе что-то неладно. Сначала не обращали большого внимания на эти толки, которые Прыжков всегда объявлял пустяками; да и в самом деле они не заключали в себе ничего важного. Иной видел, что на кровле господского дома

что-то шевелилось; другой рассказывал, что вечером встретил он черную кошку, которая не хотела посторониться с дороги; третий уверял, что каждую ночь кто-то царапается в дверь кухни. Все это хотя увеличило страх Дюндика и его семейства, но, по мнению Прыжкова, могло быть объяснено самым естественным образом.

В исходе третьего дня рассказы эти приняли, однако, вид более важный, так что возбудили внимание самого Прыжкова. В этот вечер кучер в величайшем страхе прибежал на кухню и объявил, что, вошед в конюшню, чтоб лечь спать, он нашел всех лошадей повороченных хвостом к яслям. В самое то время повар, открыв кастрюльку, в которой на ужин готовилась курица, вместо оной нашел лошадиное копыто!

Вести эти в ту же минуту дошли до Клима Сидоровича, который, побледнев от страха, сообщил их жене и дочерям и перепугал их до полусмерти. В справедливости этого происшествия невозможно было сомневаться, ибо кучер и повар ссылались на свидетелей, к тому же копыто находилось еще в кастрюльке, а до лошадей кучер после того и не дотрогивался. Прыжков отправился туда, чтоб удостовериться собственными глазами; но и тут не нашел он в этом ничего сверхъестественного и утверждал, что, верно, кто-нибудь из людей же сыграл эту шутку. Он грозил исследовать это дело на другой день и обещался строго наказать виновного. Но при всем том ему не удалось успокоить ни Клима Сидоровича, ни Марфу Петровну.

После ужина, до которого никто из всего семейства не хотел и коснуться, Дюндик боялся идти один в свою избу и потому, под предлогом, что в темноте опасается упасть, приказал двум лакеям вести себя под руки. В самом деле, ночь была ужасно темная, так что фонарь, который нес один из слуг, едва освещал перед ними дорогу. Клим Сидорович, крепко упираясь на своих вожатых, счастливо спустился с крыльца; но не успел он еще ступить двух или трех шагов, как кто-то сзади сорвал с него картуз.

— Полно дурачиться, Прыжков! — закричал он с сердцем,— с ума ты сошел, что ли?

Он остановился. Все около него было тихо, ничто не шевелилось.

— Повеса негодный,— продолжал Дюндик голосом, уже потерявшим немного твердость,— где ты? Что за глупые шутки!

— Онисим Федорович остался с барынею,— сказал один из людей.

— Не может быть! Да кто же сорвал с меня картуз?

— Не могу доложить, ваше высокородие.

Клим Сидорович задрожал всем телом и, крепко схватившись обеими руками за лакеев, поспешно возвратился. При входе в комнату он увидел Прыжкова, сидящего на софе подле Марфы Петровны.

— Что это значит? — вскричала она, заметив, что он побледнел и дрожал как лист.

— Хоть вы меня убейте на месте, так я не выйду из этой комнаты,— сказал Дюндик, бросившись в кресла.— Да расточатся врази твои...

— Что с вами сделалось, дядюшка? — спросил Прыжков с удивлением.

— То-то, дядюшка. А всему виноват ты! Если б не ты, так мы бы не приехали в этот проклятый хутор. Тьфу, с нами сила господня! Господи, помилуй мя грешного. Верую во единого...

Дюндик долго не мог опомниться и продолжал прерывать восклицания свои всеми молитвами, которые приходили ему на память. Наконец, когда добились от него толку, Прыжков захохотал во все горло.

— Не стыдно ли вам, дядюшка! — сказал он ему.— У вас ветром сдернуло с головы картуз, а вы себе воображаете, что это домовой или тень Гаркуши! Ну как вам не стыдно быть так трусливу!

— Вот тебе на, ветер! Будто я не знаю, что ветер и что... В руце твоя, предаю себя, господи! Помилуй мя грешного, помилуй мя!

Сколько ни уговаривал его Прыжков, он все оставался при своем и ни под каким видом не хотел идти к себе. Марфа Петровна, хотя верила словам мужа, но, опасаясь, что он, быв столько напуган, не даст ей спать целую ночь, старалась также его успокоить, скрывая притом, что и она находится в подобном положении. Наконец настоянием своим довела она до того, что он согласился уйти, с тем, однако ж, условием, чтоб проводил его Прыжков. Итак, бедный Клим Сидорович отправился в свою избу, приняв всевозможные предосторожности к охранению себя от новой беды: Прыжков должен был идти впереди; за ним следовал сам Дюндик, плотно прижавшись к лакеям, которые поддерживали его с обеих сторон; ход заключал еще третий слуга, вооруженный порядочною ду-

биною. Вдобавок Клим Сидорович крепко зажмурил глаза, чтоб не видать ничего неприятного и, беспрестанно читая в уме молитвы, благополучно достиг таким образом до своего ночлега.

Легко представить себе можно, что и Марфа Петровна не провела этой ночи покойно. Выпроводив мужа, она также отправилась к себе, крепко-накрепко приказала затворить двери и заставила девок своих, лежавших тут же на полу, громко разговаривать между собою. Но средство это, в подобных случаях неоднократно ей помогавшее, оказалось на этот раз недействительным. В величайшем беспокойстве бросалась она нетерпеливо с боку на бок, напрасно ожидая сна. Филин, несносный филин и в эту ночь беспрестанно повторял свою дикую песнь; иногда даже представлялось Марфе Петровне, что крик его не совсем похож был на обыкновенный голос этой птицы, но она старалась удалить от себя эту мысль, еще умножавшую в ней страх. Затруднительное положение, в котором находилась она в отношении к Анюте, также немало ее тревожило. Когда Клим Сидорович ввечеру так неожиданно возвратился к ней без картуза, она именно об этом предмете разговаривала с Прыжковым и настоятельно требовала, чтоб он придумал средство к скорейшей развязке. Теперь все это вместе занимало ее воображение и так ее беспокоило, что она не могла заснуть ни на одну минуту. Едва солнце начало показываться на небе, как вскочила она с постели и послала позвать к себе Прыжкова.

Он удивился, увидя ее бледную, с впалыми глазами и столько переменившуюся в лице, что она казалась одержима тяжелою и изнурительною болезнию.

— Уж как ты себе хочешь! — сказала она ему, лишь только его завидела,— а я долее не останусь в этой чертовой берлоге. Что будет то будет, а здесь мне нет житья!

Старания Прыжкова хотя немного ее успокоить были совершенно тщетны, и она объявила наотрез, что не останется тут ночевать ни под каким видом. Итак, надлежало взять решительные меры касательно Анюты, ибо им казалось тяжело вдруг отказаться от выгод, которых прежде ожидали от пребывания своего в хуторе. После долгого совещания наконец придумали они средство, которое, по мнению их, обещало успех несомненный, и притом не препятствовало Марфе Петровне в этот же день оставить ненавистный хутор.

Анюта стояла над пропастью, и погибель ее казалась неизбежною. Мы увидим после, в чем состояли новые умыслы ее гонительницы и какие они имели последствия.

Глава XX

ПОБЕГ

Из тогдашних жителей хутора менее всех беспокоилась о привидениях Анюта. Хотя сначала и старались всячески скрывать от нее слухи о чрезвычайных происшествиях, которые столько всех занимали, но, несмотря на принятые предосторожности, неможно было помешать, чтоб не дошло и до нее несколько подозрительных рассказов, которые, без сомнения, должны были внушить ей страх. При всем том она не показывала ни малейшего беспокойства, и сам Прыжков не мог надивиться ее равнодушию. И мы, признаться, не менее его бы удивлялись, если б не были посвящены во все таинства ее чувствований, если б не были нам известны сокровеннейшие изгибы ее сердца.

Странное происшествие в Будище, имевшее целью доставление ей письма от Клары Кашпаровны, не выходило ни на минуту из ума нашей монастырки. Ей казалось, что с того времени она находится под сильным покровительством лица, хотя ей неизвестного и для нее непонятного, но в благорасположении которого она твердо была уверена потому, что не могла сомневаться в связи оного с любезным Барвеновым. В продолжение самого путешествия она беспрестанно ожидала, что нечаянным или необыкновенным образом получит весть от тетушки или от Блистовского, и потому часто со вниманием всматривалась даже в такие предметы, на которые в другое время она совсем бы не смотрела. Когда останавливались они в крестьянских хатах, она на тусклых оконных стеклах искала значительной надписи или вглядывалась, не найдет ли чего-нибудь подобного на светлых, вымазанных мелом стенах. Иногда ей казалось, что встречающиеся с нею люди делают ей знаки; а один раз она твердо уверилась, что ручной голубь, который во время обеда, воркуя, подбирал около нее крохи, должен непременно доставить ей записочку от Блистовского. И хотя не нашла она ничего ни на темно-зеленых

стеклах, ни на белых стенах, хотя у голубя, которого взяла она в руки, не было записки под крылышком, но она не могла бросить приятной для себя надежды.

В первый день прибытия их в хутор, когда все уже разошлись на ночлег и Анюта пошла к себе в комнату, в которую не иначе могла войти, как со двора, ей послышалось, будто что-то шевелится за плетнем. Невольно она взглянула и действительно удостоверилась в том, что не ошиблась. Ей даже довольно ясно показалось, что два сверкающие глаза глядели на нее пристально и скрылись. Но все сделалось так скоро, притом же тогда было так темно, что она не могла ничего различить. Обстоятельство это возобновило, однако, в воображении ее мысль о том непонятном человеке, посредством которого получила она письмо от Клары Кашпаровны.

На другой вечер при возвращении в свою комнату представилось ей то же явление. Она остановилась и ожидала, что из-за плетня вдруг явится пред нею та косматая фигура, которая столько испугала ее в Будище, и твердо вознамерилась на этот раз не закричать. Но ожидания ее были тщетны и с таким же малым успехом возобновлялись каждый вечер. Между тем дошедшие до нее слухи о необыкновенных происшествиях еще более утвердили ее в прежнем мнении, и она потому не находила в них ничего сверхъестественного. Она полагала, что тот, который так искусно умел исчезнуть из пустых комнат будищского дома, конечно, в состоянии переставить лошадей хвостом к яслям или сдернуть картуз с Клима Сидоровича. Таким образом те же самые обстоятельства, которые прочих устрашали, служили, напротив того, к ее ободрению; и она более и более уверялась в том, что была невидимо охраняема сильным защитником, который в случае нужды мог подать ей руку помощи.

В тот самый день, когда Марфа Петровна после проведенной ею беспокойной ночи непременно решилась оставить хутор и когда уже она приготовлялась втайне к отъезду, Анюта, вошед вскоре после обеда в свою комнату, нашла на окошке письмо, запечатанное и надписанное на ее имя. При виде оного ей тотчас пришел на ум вестник Клары Кашпаровны; она с нетерпением сорвала печать и, к крайнему изумлению, прочла следующие строки:

«Вас, сударыня Анна Трофимовна, обманывают: вы не в Полтаву едете; везут вас бог знает куда, так что, может

быть, после и отыскать вас неможно будет. Этот хутор не на Полтавской дороге, и они вам беду готовят. Тетушка Анна Андреевна с барином Владимиром Александровичем приезжали в Будище за вами и там вас не нашли; им сказали, что будто уехали в Полтаву. Они отправились за вами вслед и узнали, что вы по Полтавской дороге вовсе не проезжали. Вот и разъехались мы в разные стороны, чтоб вас отыскивать, и я так счастлив, что вас, сударыня, отыскал. А у Клима Сидоровича что-нибудь да недоброе на уме; они сегодня собираются ехать из хутора и людям запретили вам про то сказывать. Тетушка отсюда верстах в двадцати изволили занемочь крепко; сами писать не смогут, а приказали просить, чтоб вы приехали к ним со мною. Да чтоб Клим Сидорович и Марфа Петровна про то не сведали, сохрани боже! Они вас к тетушке не пустят и увезут бог весть куда! Вы извольте пойти по той тропинке, что против ваших окошек; с пути сбиться неможно, а там выйдете на широкую дорогу, где я буду ожидать вас с каретою. Не бойтесь, сударыня, да не теряйте времени, а то будет поздно. Они сегодня же перед вечером уезжают и завезут вас бог знает куда! А тетушка Анна Андреевна больно занемогли!»

Можно представить себе, как испугалась Анюта, прочитав это письмо. Тетушка в двадцати верстах от нее и больна,— может быть, даже больна опасно, ибо без того она написала бы к ней хоть одну строчку. В душевном беспокойстве о тетушке она почти забыла о собственном своем положении; она ни минуты не помыслила о том, каким образом ей одной пуститься в темный бор — для тетушки она готова была броситься хоть в огонь. Ей не пришло на ум ни малейшего сомнения о справедливости полученного ею письма; все это совершенно согласно было с ее ожиданиями; и она, не медля нимало, бросилась бы бежать по назначенной тропинке, если б не вспомнила, что благоразумие требует прежде посмотреть, чем занимаются Дюндики и можно ли ей будет пойти в лес, не внушив им подозрения. Сердце сильно в ней билось и колени ее дрожали, когда вышла она в гостиную, где незадолго пред тем всех их оставила; но там уже не было никого. Анюта решилась идти к ним в спальню, сама еще не зная, какой придумать к тому предлог. Она застала их в полном занятии с горничными девушками, которые спешили укладывать в чемоданы платье и белье. Приход ее, казалось, привел их в замешательство.

— Что вам угодно, Анна Трофимовна? — спросила отрывисто Марфа Петровна.

— Ничего,— отвечала, запинаясь, Анюта.— Я только хотела спросить, не угодно ли будет идти теперь погулять; погода, кажется, прекрасная!

Сказав это, она испугалась, помыслив, что, может быть, и в самом деле согласятся на ее предложение; но, к крайнему ее удовольствию, Марфа Петровна отвечала довольно сурово, что ей теперь не до гулянья.

— Вы уже укладываетесь,— заметила Анюта,— разве мы скоро поедем отсюда?

— Нет!.. не скоро... это так только... надобно же быть готову заранее.

Анюта еще более удостоверилась, что известие незнакомого о предполагаемом отъезде Дюндиковых было совершенно справедливо, и поспешила выйти, чтоб не терять времени. Как она боялась, чтоб ее не задержали! Дабы не внушить подозрения, она сначала принудила себя идти медленно по назначенной тропинке и боялась даже оглядываться. Но при первом изгибе дороги, как скоро она могла заключить, что густота леса скрывает ее от взоров жителей хутора, она пустилась бежать, как будто совершила какое-нибудь преступление. Вдруг пришло ей на мысль, что она легко может встретить Прыжкова, иногда занимавшегося охотою; что бы он подумал, увидев ее бежавшую? Кто-нибудь из служителей или работников также мог ее встретить и донесть о том Климу Сидоровичу, прежде нежели бы она успела достигнуть ожидающей ее кареты. Мысль эта заставила ее остановиться. Она оглянулась на все стороны и начала прислушиваться; но, не заметив ничего подозрительного, продолжала путь поспешными шагами. Лес все становился темнее и темнее; ей представилось, что она может заблудиться. «Что тогда будет со мною?» — подумала она, и холодный пот выступил по ней при этой мысли. Но желание увидеться с бедною тетушкою и избавиться от преследований Дюндиковых ее ободряло. Несмотря на то что начинало уже смеркаться, она ясно могла различить, что тропинка, по которой она шла, нигде не разделялась, и это подало ей надежду, что она не собьется с дороги. В самом деле вышла она наконец на небольшую площадку, где, к крайнему удовольствию своему, увидела ожиданную с таким нетерпением карету. Человек, ей вовсе незнакомый, подошел с таинственным видом и объявил о себе, что он камердинер Блистовского.

— Не опасайтесь ничего, сударыня,— сказал он ей тихонько,— извольте сесть в карету. Часа через два мы будем у тетушки.

Он отворил дверцы, помог ей войти, а сам уселся на козлах. В карете была женщина. Анюта не могла различить черты ее лица, потому что на дворе уже смеркалось; к тому же все занавески были опущены, вероятно из предосторожности. «Не Клара Кашпаровна ли это?» — подумала она сначала. Но ростом женщина эта не была похожа на Клару Кашпаровну, и Анюта, рассмотрев ее внимательнее, удостоверилась, что она ее не знает.

— Кто со мною в карете? — спросила она наконец, обратясь к ней.

— Тише, сударыня, тише,— отвечала она вполголоса,— ради бога! не говорите ни слова, пока мы не выедем из лесу.

— Да скажите мне, что сделалось с тетушкой, чем она нездорова?

— Ради Христа, не говорите ни слова. Тетушка слегка простудилась; это ничего, совершенно ничего, сущая безделица! Вы скоро ее увидите, только возьмите терпение и не говорите ни слова.

Анюта замолчала. Любопытство узнать, кто эта женщина, недолго ее беспокоило. Она легко представить себе могла, что это должна быть знакомая Анны Андреевны, пользовавшаяся полною ее доверенностию; иначе бы ей не дали такого поручения. К тому же нетерпение увидеться с тетушкою, опасение найти ее больною, надежда в непродолжительном времени соединиться со всеми любезными ее сердцу — все это совершенно заняло ее воображение. Читатели легко представить себе могут, что и Блистовский немаловажное занимал место в ее мыслях. Последние козни Дюндиковых, о которых она была уведомлена письмом камердинера, подтвердили в ней подозрение, что страшное для нее завещание могло быть подложно. Она по крайней мере была уверена, что тетушке совершенно должно быть известно содержание оного; и в самом несчастном случае — если действительно покойный майор Орленко предоставил Дюндику решение ее судьбы, и тут она, с помощию Анны Андреевны, надеялась приискать способ, как смягчить опекуна. Предавшись приятным этим мыслям, она оставила в покое свою сопутницу и с нетерпением ожидала той счастливой минуты, когда она бросится в объятия тетушки. По расчету ее давно уже

11 Заказ 11

прошло около двух часов с тех пор, как она села в карету, а они все еще не выехали из лесу, который ежеминутно становился темнее. «Но, может быть,— подумала она,— время мне кажется медленным от нетерпения».

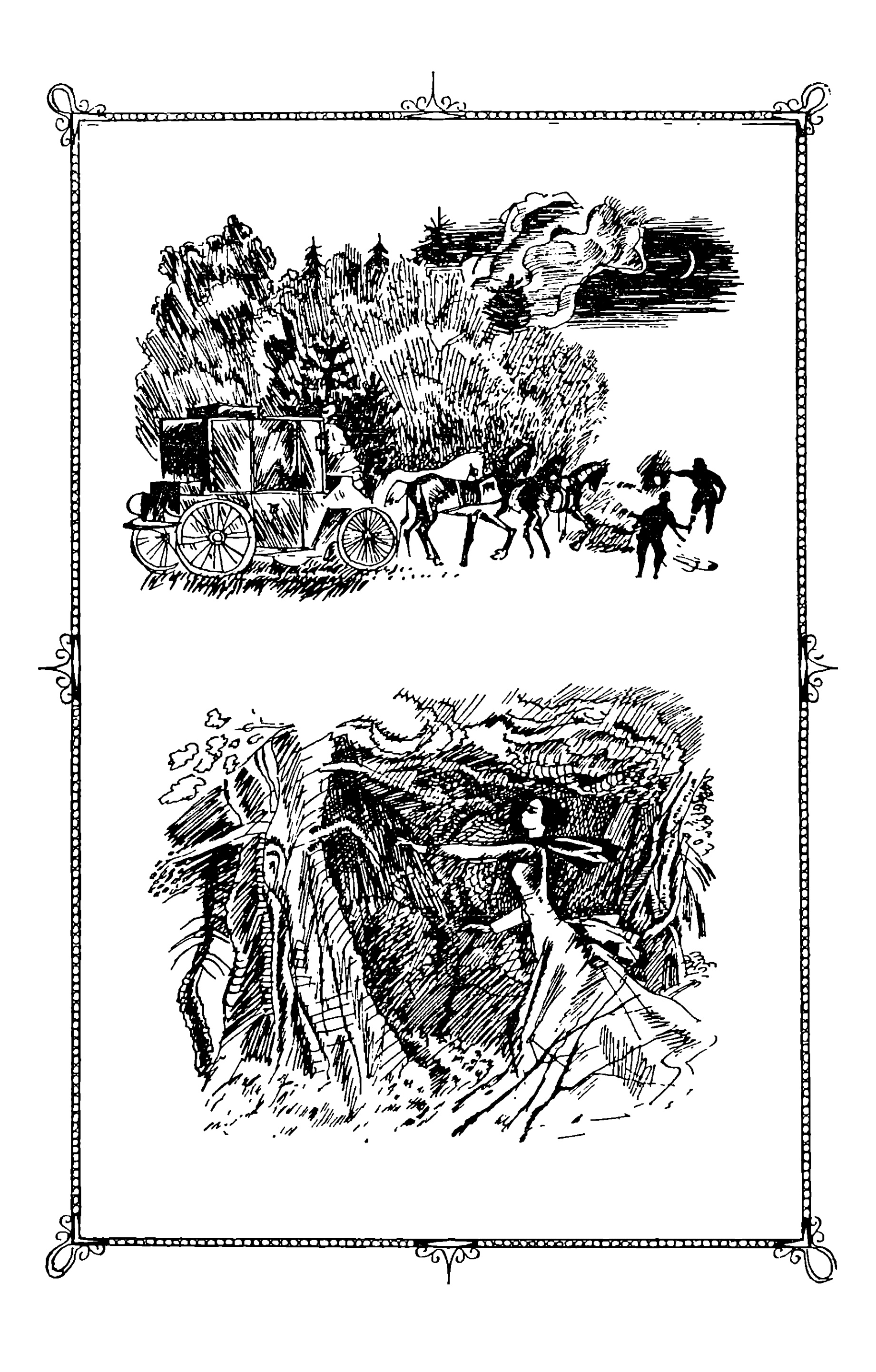
Вдруг карета остановилась. Слышно было, что кучер с другим слугою слезли с козел и довольно громко между собою рассуждали. Женщина, бывшая с Анютою, показывала большое беспокойство и наконец опустила окошко, к которому тотчас подошел слуга, сидевший прежде с кучером на козлах. Анюта не могла разобрать, что он сказал; но женщина, выслушав его с нетерпением, велела отворить дверцы и выскочила из кареты.

— Что там сделалось? — вскричала Анюта и хотела следовать за нею, но слуга ее не допустил.

— Сидите, сударыня,— сказал он,— не беспокойтесь, это ничего. Поперек дороги лежит срубленное дерево, надобно его стащить, да теперь так темно, что хоть глаз выколи. Мы высечем огня.

Анюта успокоилась. Между тем хлопоты около кареты продолжались очень долго. Она видела, что женщина усердно помогала людям, и удивлялась ее проворству и ловкости, с коими она бралась за дело вовсе не женское. Между тем высекли огонь и зажгли один из каретных фонарей, который женщина взяла в руки, чтоб посветить кучеру и слуге, трудившимся около тяжелого дерева, совершенно заградившего дорогу. Нечаянно свет из фонаря ударил прямо в лицо незнакомой, и Анюта, к крайнему удивлению, в сопутнице своей, несмотря на расчесанные букли и большой чепец, закрывавший почти все лицо ее, узнала — Прыжкова!

Анюта обмерла от страха и чрез силу удержалась от громкого крика. Все мысли ее перепутались у ней в голове. Она ясно почувствовала, что окружена изменою, но каким образом это случилось и с какою целию? с согласия ли опекуна она так жестоко была обманута, или без его ведома? И если опекун в одном заговоре с Прыжковым, то у кого ей теперь искать защиты? Все это теснилось в ее уме. Беспокойство ее так было велико, положение ее казалось так ужасно, что она не могла придумать, что ей делать. Несмотря, однако, на страх, ее объявший, она помнила, что главное старание ее должно состоять в том, чтоб освободиться от власти Прыжкова, которого злые умыслы уже тем одним достаточно доказывались, что он переодет был женщиною. Случай от него избавиться



казался удобным. Лежавшая поперек дороги большая сосна представляла такие препятствия, которые не скоро можно было преодолеть. Анюта надеялась, что ей удастся выскочить из кареты и скрыться в лес. Но что начать после того? Каким образом она одна, без защиты, не зная дороги, проберется сквозь густой, темный бор? А если ей и удастся выйти на большую дорогу и добраться до какого-нибудь селения, куда обратится она потом? Все это хотя и приходило ей на мысль, но настоящее положение ее было столь ужасно, что нужнее всего показалось ей от оного избавиться, а там, подумала она, пусть будет воля божия! Итак, она решилась бежать.

Избрав то время, когда Прыжков с обоими слугами находился на одной стороне кареты, она осторожно высунула голову в опущенное окно, дрожащею рукою отворила дверцы, потом несколько раз перекрестилась и, предав себя промыслу всевышнего, выскочила из кареты. Не медля ни минуты, бросилась она прямо в лес и со всею поспешностью, какую допускала бывшая тогда совершенная темнота, начала пробираться между деревьев. Отошед несколько сажен от кареты и не заметив никакой за собою погони, она начала льститься надеждою, что ей удастся избавиться от своего преследователя. Она рассчитывала, что лес не может далеко простираться, потому что они уже так долго в нем ехали, и полагала, что если только успеет она добраться до какого-нибудь селения, то найдет средство либо нанять повозку до Барвенова, либо велит проводить себя до первого помещичьего дома, где, верно, не откажут ей в покровительстве и доставят возможность уведомить о себе тетушку. Но все эти приятные предположения вдруг уступили место новым опасениям. Она услышала шум в том направлении, где была карета, и вскоре уверилась, что побег ее замечен и что за нею гонятся. Голос Прыжкова достигал до ее слуха:

— Ты иди вправо, а ты влево,— кричал он,— а я пойду с этой стороны. Смотрите, не зевайте. Она должна быть очень недалеко отсюда.

Анюта удвоила шаги, но ее беспрестанно задерживали кустарники, наполнявшие все промежутки между большими деревьями. Башмаки ее, сшитые из тонкой материи, скоро разорвались; она чувствовала нестерпимую боль в ногах, не привыкших ходить по колючему хворосту, и наконец к необъяснимому страху удостоверилась, что у нее скоро не станет сил продолжать путь таким образом.

Между тем шум к ней приближался, и свет от фонаря начал мелькать между деревьев, вдруг в недальнем от нее расстоянии раздался голос Прыжкова:

— Анна Трофимовна! Остановитесь! Я вас вижу, остановитесь! Вы от меня не уйдете!

В величайшем душевном страхе хотела она бежать далее, но чувствовала, что ноги отказываются ей служить, и спряталась за куст. Еще сохраняла она надежду, хотя слабую, что ее, может быть, не найдут; но чрез несколько мгновений увидела она пред собою Прыжкова. Чепец с головы его упал, фальшивые букли сдвинулись на одну сторону, женское платье его почти совсем было разорвано и висело на нем в клочках. В одной руке держал он фонарь, другою схватил ее.

— Анна Трофимовна! — сказал он ей,— возвратитесь доброю волею в карету, а то я принужден буду тащить вас насильно.

Анюта взглянула на него и на лице его заметила так мало снисходительности, что сочла за излишнее приступить к напрасным просьбам и увещаниям. Не отвечая ему ни слова, она начала кричать из всей мочи.

— Помогите! Ради Христа, помогите, спасите!

— Кричите сколько угодно,— сказал Прыжков.— Здесь никто вас не услышит, кроме людей моих. Кричите на здоровье, кричите!

В самом деле, Прыжков нимало не опасался ее крика и уверен был, что он послужит только к тому, чтоб привлечь людей его, которые тогда помогли бы отнесть ее в карету. Уже слышно было, что они приближались... Вдруг кто-то сзади накинул на него мешок, и не успел он опомниться, как голова его была крепко-накрепко закутана. От одного удара по руке его фонарь отлетел в сторону и потух; а от другого, еще сильнейшего, он принужден был пустить Анюту, которую держал за платье. Рот у него так крепко был закутан и завязан, что он не мог кричать; тщетно барахтался он руками: непреодолимая сила мигом связала ему руки и ноги и бросила его наземь, как пук соломы. Все это сделалось так проворно, что Анюта никак не могла понять, что случилось с Прыжковым, тем более что она осталась в совершенной темноте, когда огонь погас в фонаре. Когда приметила она, что Прыжков уже не держал ее за платье, она покусилась было встать, чтоб идти далее, но невидимая рука приподняла ее с земли, и она почувствовала, что ее понесли скорыми шагами. Ей пришло на

ум, что она попалась в руки разбойников; она хотела закричать, но не могла: мысли ее смутились, и она лишилась чувств.

Глава XXI

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

К сожалению моему, я должен на некоторое время покинуть Анюту в лесу, чтоб рассказать, что происходило с тетушкой с тех пор, как оставили мы ее в Барвенове.

Мне не нужно уверять читателей, что тетушка была крайне опечалена отъездом своей Галечки, хотя и не полагала, что отсутствие ее будет продолжительно. Тем еще менее могла она вообразить себе, что в доме опекуна Анюта встретит какие-либо неудовольствия; но при всем том она тосковала об этой разлуке и рассчитывала часы и минуты, когда опять с нею увидится. Между тем здоровье Праскуты совершенно поправилось; живое и непринужденное участие, с каковым она рассуждала о взаимной друг к другу привязанности Владимира и Анюты, и нетерпение, с которым ожидала она возвращения их в Барвеново, удостоверили добрую тетушку, что ей удалось преодолеть несчастную страсть свою, и она с сердечным умилением благодарила за то провидение. Таким образом протекло несколько времени, и тетушка стала веселее. Блистовского ожидали из Петербурга с часу на час; Анюта, по расчету тетушки, также должна была возвратиться в самом непродолжительном времени; Праскута была весела и здорова — итак, чего недоставало для спокойствия Анны Андреевны?

В один прекрасный, тихий вечер тетушка, просидев долее обыкновенного в известной нам беседке и досыта переговорив с приказчиком о крестьянских нуждах, о больных в деревне, о готовившихся свадьбах, о сельских работах и других хозяйственных предметах, возвращалась домой в самом веселом расположении духа. Припевая вполголоса любимую песенку, взошла она на крыльцо, отворила дверь в гостиную и остолбенела... Она увидела Клару Кашпаровну в измятом дорожном платье, в запыленном чепчике, сидевшую посреди комнаты на стуле и что-то рассказывавшую с громким рыданием. Гапоч-

ка и Праскута стояли перед нею и с расстроенным лицом слушали ее повествования... Анюты тут не было!

Первая мысль, поразившая Анну Андреевну, была, что с Анютою, верно, случилось какое-либо несчастие, и она торопливо обратилась к Кларе Кашпаровне с вопросом:

— Куда вы девали Галечку? Зачем ее здесь нет!

— Анна Трофимовна, матушка... осталась у Клима Сидоровича.

— Как? зачем? что это значит? Зачем оставили вы ее одну?

Клара Кашпаровна утерла слезы и принялась подробно рассказывать все, что с нею случилось. Когда дошла она до тяжкой обиды, ей причиненной, и до объявления Марфы Петровны, будто бы Анюта велела ей ехать назад, не простившись с нею и не написав ни слова к тетушке, добрая немка опять заплакала, а Анна Андреевна перебила ее речь:

— Брешут они, брешут! — вскричала она.— Ей-богу брешут, прости меня господи!

Клара Кашпаровна продолжала рассказывать, как она принуждена была ехать из Будища, как сломилась ось ее кареты и как кучер Клима Сидоровича уехал тайным образом, оставя ее одну в селении, где не было ни порядочного кузнеца, ни возможности нанять лошадей, чтоб продолжать путь.

— Я кричала, плакала, бранила Дюндиковых,— говорила Клара Кашпаровна,— но это ни к чему не послужило, и я до сих пор сидела бы в проклятом селении этом, если б не послал мне бог доброго человека, цыгана, случайно тут проезжавшего, и который, дай боже ему здравствовать, вывел меня из беды! Он-то и надоумил меня, что ось нарочно была подпилена! В самом деле, матушка Анна Андреевна, уж прямо добрый человек, даром что цыган! Починил мою карету, нанял для меня лошадей и проводил меня за несколько верст из селения. Нечего греха таить, я не стерпела, матушка, рассказала ему про Клима Сидоровича и отвела душу. Уж побранила я Дюндиковых вволю! Ведь не с кем, кроме цыгана, там и слова молвить было. Я так была зла, что им самим бы не спустила, если б тогда попались на глаза. И что же вышло, сударыня? Цыган-то этот ведь собственный их крепостной человек! Да как узнал он, что Анна Трофимовна невеста Владимира Александровича, то он так и всплеснул руками! Он очень хорошо знает Владимира Александровича и

сам вызвался во что бы то ни стало доставить от меня письмо Анне Трофимовне. И, верно, доставил, матушка. Человек он подлинно честный; без него я никак бы не выпуталась из этих хлопот!

Длинное повествование Клары Кашпаровны беспрестанно прерываемо было восклицаниями тетушки. То она бранила Дюндиковых, то жалела об Анюте, то упрекала себя в том, что не поехала с нею.

— Уж я бы не дала в обиду Галечку,— говорила она,— что он о себе воображает, этот Дюндик со своей Марфой Петровной? Какое право он имеет удерживать ее насильно? Опекун,— да мы знаем, какой он опекун! Трофим Петрович, царство ему небесное, назначил его, чтоб он имел о ней попечение, пока она была ребенком, да он и тогда о ней не заботился. Какое же теперь имеет на нее право?

При всем простодушии Анны Андреевны она ясно увидела, что Дюндик намерен препятствовать браку Анюты. Поступок его с Кларой Кашпаровной явно доказывал, что он не был разборчив в избрании средств к достижению своих намерений, и потому она легко себе представила, как тягостно было положение Анюты. Она недолго думала, что ей делать в таковых обстоятельствах, и тотчас решилась отправиться немедленно к Дюндиковым, хотя не могла никак предполагать, чтоб Анюта в доме опекуна подвергалась какой-нибудь опасности. Приготовления к отъезду были непродолжительны, и она бы в тот же вечер выехала в сопровождении Клары Кашпаровны, если б не получила от Блистовского письма, по которому должно было ежеминутно ожидать его приезда. Блистовский находился уже в Черниговской губернии, но, имев необходимую надобность видеться с одним родственником, с которым у него были важные денежные расчеты, он заехал к нему на возвратном пути из Петербурга, а оттуда отправил нарочного для извещения о том тетушки и Анюты. Он нимало не сомневался, что невеста его давно уже возвратилась от Дюндиковых: с какою поспешностию бросил бы он все денежные дела, если б мог подозревать, в каком она находилась положении!

Сколь ни велико было нетерпение Анны Андреевны ехать к Анюте, но она сочла необходимым дождаться приезда Владимира. Она чувствовала, что не только советы его не будут ей бесполезны, но надеялась, что присутствие его послужит к преодолению препятствий, ожидае-

мых со стороны опекуна, и потому намерена была пригласить его ехать с нею к Дюндиковым. Последние поступки опекуна столько ее раздражили, что она теперь уже не помышляла о испрашивании согласия его на брак Анюты и уже считала Блистовского как бы родственником своим. Итак, решившись его дождаться, она между тем отправила в Будище эстафету с письмами, которых содержание мы сообщили выше.

В самом деле, Владимир приехал на другой день. Нетрудно себе представить, с каким жаром он принял предложение тетушки сопутствовать ей к Дюндику. Он горел нетерпением увидеть свою Анюту, и так как все приготовления к отъезду кончены были накануне, то часа через два по прибытии его в Барвеново они были уже на пути в Будище.

Владимир для скорейшей езды воспользовался бывшею у него подорожною, и маленькая коляска его с курьерскою быстротою помчалась по гладкой Черниговской дороге. В первый раз в жизни довелось тетушке ехать так скоро, и если бы ее не подкрепляло желание освободить свою Галечку из когтей опекуна, то она уже на первых порах попросила бы пощады. Клару Кашпаровну они оставили в Барвенове и из слуг никого не взяли с собою, чтобы не отяготить легкой повозки Блистовского. Они полагали на возвратном пути поместить Анюту с тетушкою, а Владимир сопровождал бы их на перекладной. Путешествие их не имело ничего замечательного до самого Будища, куда прибыли они на третий день. Дорогою, когда усталость и беспокойства позволяли Анне Андреевне пускаться в разговоры, она рассуждала с Владимиром о Климе Сидоровиче и о препятствиях, которые он, конечно, придумает, чтоб удержать у себя в доме Анюту. Они предвидели, что не обойдется без ссоры между ними и Марфою Петровною; но тетушка была на все готова, а Блистовского и подавно не устрашал гнев опекуна и его супруги.

В этом расположении въехали они в село и издалека еще устремили взоры на знакомый им каменный двухэтажный дом. Они не могли дождаться минуты, когда коляска подъедет к крыльцу. Владимир мысленно уже наслаждался первою сладкою минутою свидания, а тетушка в уме своем готовила достойное приветствие опекуну. Но как изумились они, когда нашли ворота запертыми! Оба, не говоря ни слова, поспешно выскочили из коляски. Владимир с нетерпением ударил ногою в калит-

ку, и они взошли на двор, где все было пусто и безмолвно; их не встретил даже лай собаки. В доме ставни были закрыты; им не осталось никакого сомнения, что в нем не было жителей.

— Боже милостивый! — вскричала Анна Андреевна,— что это значит, не случилось ли какого несчастия?

Владимир не отвечал ни слова; с стесненным сердцем бросился он в людскую избу, чтоб отыскать кого-нибудь из слуг, и с трудом нашел сторожа, спокойно лежавшего на скамье, который, протирая глаза, объявил, что паны уже несколько дней, как уехали, но куда? — этого он объяснить не мог.

— Про то знают старшие,— сказал он,— да их теперь нет дома. В селе у нас свадьба: священник выдает замуж поповну, и все наши туда отозваны, а меня, вишь, оставили стеречь дворец.

Более невозможно было добиться от него толку, и Блистовский, оставя Анну Андреевну, отправился было в священнический дом для отобрания дальнейших справок. Между тем сидевшие в шинке поселяне, увидев, что остановилась у ворот коляска, поспешили о том дать знать; и прежде, нежели Владимир успел выйти на улицу, уже явились некоторые из слуг Клима Сидоровича, и путешественники наши услышали, что господа уехали в Полтаву. По какой причине и надолго ли? — того никто не знал. Один из людей, бывший словоохотнее прочих, прибавил только, что неожиданная поездка эта, без сомнения, произошла оттого, что в пустых покоях дома начал показываться домовой. Он рассказал известное уже нам ночное приключение, но с такими прикрасами и объяснениями, что Владимир ничего не понял из слов его и вовсе бы не слушал его повествования, если б обстоятельство, что все это началось в комнате Анны Трофимовны, не возбудило его внимания. Узнав, однако, что Анюта была здорова и что не случилось с нею никакого несчастия, они решились, не теряя времени в пустых разговорах, отправиться за нею в Полтаву.

Неожиданное это обстоятельство несказанно огорчило путешественников наших. Итак, свидание с Анютою опять отсрочено было на неопределенное время! Им обоим пришло на мысль, что, может быть, пока они прибудут в Полтаву, Дюндиковы оттуда выедут в другое место, ибо казалось очевидно, что отсутствие опекуна не имело иной цели, кроме желания удалить Анюту от тетушки. Как бы

то ни было, им иного ничего не оставалось делать, как продолжать свое путешествие, и Анна Андреевна, стараясь превозмочь усталость свою, торопила ямщиков почти столько же, сколько и сам Владимир. Таким образом проехали они две станции, забирая на пути справки о проезде Дюндика и его семейства.

Клим Сидорович был весьма известен во всей губернии, и они везде получали подробные о нем сведения; услышав же, что он ехал на своих и с тяжелыми экипажами, они начинали уже льститься надеждою, что им, может быть, удастся догнать его еще до Полтавы. Но приятная надежда эта исчезла вдруг по прибытии на третью станцию. Тут, к крайнему удивлению, узнали они, что никто в селении не видал Дюндиковых, и сколько о них ни расспрашивал Владимир, он от всех получал один и тот же ответ. В недоумении своем они решили, что Дюндик, вероятно, проехал чрез селение это рано поутру или поздно вечером и потому никому не попадался на глаза. И так продолжали они путь далее, останавливаясь в каждом селении и получая везде на вопросы свои тот же неудовлетворительный ответ. Наконец, доехав до четвертой станции без малейшего успеха, они не могли долее сомневаться, что совершенно потеряли след тех, кого искали. Полтавская дорога от самого Будища была прямая; итак, они ясно удостоверились, что Дюндик поехал в другое место, объявив с намерением в доме своем, что едет в Полтаву, дабы на случай приезда тетушки дать поискам ее ложное направление. Все это теперь казалось им бесспорно и привело их в крайнее замешательство. Оба вовсе не знали о существовании хутора Шендры и никак не могли придумать, куда обратиться для отыскания Анюты. По долгом совещании они решили, что всего вернее возвратиться в Будище и там остановиться в каменном доме опекуна до тех пор, пока получат достоверное известие о местопребывании хозяев.

— Не может быть,— говорил Владимир,— чтобы в Будище никто не знал, где находится Клим Сидорович. Там главное имение его, и если он в самом деле уехал, никому не сказав куда, то неизвестность эта во всяком случае не может быть продолжительна.

Блистовский намерен был в случае неудачи оставить там Анну Андреевну, а сам отправиться в Полтаву, чтоб с помощию правительства отыскать Дюндика. Звание жениха давало ему достаточное на то право; к тому же и

Анна Андреевна, как ближайшая родственница Анюты, могла надеяться на покровительство начальства. Сверх того, Блистовский, имея знакомых в Полтаве, непременно надеялся, что в скором времени получит удовлетворение.

Между тем бедная тетушка, не привыкшая к скорой и безостановочной езде и сверх того встревоженная новыми препятствиями, которые так неожиданно представились в самое то время, когда думала она обнять свою Анюту, так ослабела, что Владимир начал опасаться, чтоб она не занемогла. Он решился тут переночевать и дать отдохнуть ей хотя немного; но это не так было легко, как он сначала воображал. В целом селении не было ни одного дома, где бы они могли пристать, кроме простой корчмы, имевшей еще то неудобство, что она вместе была и шинком. Несмотря на то, они нашлись вынужденными остановиться в ней.

Корчма по малороссийскому обычаю разделена была сенями на две ровные половины: с одной стороны, где находился шинок, приставали проезжие; с другой была жилая комната шинкаря, помещавшегося в ней довольно тесно с многочисленным семейством. Блистовский уговорил хозяина очистить для Анны Андреевны свою комнату, а сам расположился провесть ночь в коляске. Добрая тетушка, уставшая от дороги и занятая одною только Анютою, нашла квартиру свою очень удобною, а Владимир пошел хлопотать, чтоб промыслить что-нибудь на ужин. Быв принужден для сего неоднократно входить в противоположную сторону дома, куда перебралась шинкарка с своим семейством, Владимир заметил там человека, которого вид, отличный от прочих гостей, привлек на себя его внимание. Он был уже немолодых лет и с какою-то смешною важностию сидел на скамейке за столом, на котором стояла перед ним еще не допитая кварта горелки. По временам он похлебывал из кварты, надменно посматривая на мужиков, сидящих в почтительном от него расстоянии, и, казалось, боролся со сном, который начинал преодолевать его. На нем был синий сюртук, уже очень изношенный и такой широкий, что при первом взгляде всякий мог бы отгадать, что в давнопрошедшие времена он принадлежал кому-нибудь подороднее теперешнего хозяина. Стоячий воротник на сюртуке хотя совершенно лишился первобытного цвета, но при всем том сохранил еще некоторые оттенки, по которым внимательный наблю-

датель мог бы заключить, что он когда-то был малиновый. Блистовский, не имевший досуга входить в такое подробное разбирательство цвета одеяния его, счел оное за зеленое, и потому сначала принял незнакомого за отставного приказного, тем более что неподалеку от него в углу увидел он старую шпагу без темляка. Внимание Блистовского оттого особенно на него обратилось, что из-за пазухи торчала у него книга и что подле него лежал потертый кулек, также набитый туго книгами. Любопытство побудило его спросить у шинкаря, кто он такой?

— А кто его знает! — получил он в ответ,— он не здешний; пришел сюда уже довольно хмельной часа два тому назад, выпил кварты две горелки, а теперь за третьей засыпает. Вот все, что я о нем знаю.

После умеренного ужина Владимир, пожелав тетушке покойной ночи, отправился в свою коляску и мимоходом хотел еще раз подтвердить, чтоб не было ночью шуму и чтоб сколько можно остерегались тревожить Анну Андреевну. Войдя в шинок, он увидел шинкаря, тщетно старавшегося разбудить упомянутого незнакомца, чтоб дать место чумакам, расположившимся тут отужинать. Наконец от довольно сильного толчка незнакомец проснулся, начал протирать глаза и с неудовольствием произнес:

— Кессé, кессé, кессé-ля, кессé, кессé, кессé-ля!

— Софроныч! — вскричал Владимир с удивлением.

— Жё! — отвечал незнакомец.

Блистовский, уверившись таким образом, что он видит пред собою французского учителя дочерей Дюндика, принял меры, чтоб ему дали выспаться, и крепко наказал шинкарю не отпускать его на другой день до тех пор, пока он с ним не увидится.

Между тем как утомленная от дороги тетушка покоилась крепким сном, Владимир, занятый мыслию об отыскании Анюты, не мог сомкнуть глаз ни на минуту. Размышления его прерваны были Софронычем, который на рассвете вышел на улицу уже протрезвившийся и, громко зевая, протягивал на свежем воздухе одеревенелые от сна члены свои. Увидев его, Блистовский выскочил из коляски и подошел к нему.

Участие, принимаемое им в Софроныче, имело причину в добром его сердце. Еще накануне он по бедному одеянию его заключил, что он должен быть в нищете, и, приписывая несчастное его положение гневу Клима Сидоровича, возбужденному на него так неумышленно Блистов-

ским в Ромнах, он считал обязанностью помочь ему по возможности. Из первых речей Софроныча он удостоверился, что не ошибся в своем предположении, ибо бывший ментор Дюндиковых дочерей горько начал жаловаться на неблагодарность Клима Сидоровича.

— Поверите ли, мон женераль (имя и отчество мне неизвестно),— говорил он,— что обе барышни стараниями моими доведены были до того, что говорили по-французски не хуже меня! Клянусь, что не лгу! Сверх того я полезен был Климу Сидоровичу и в других отношениях: я выстроил ему каменный дом, которому подобного нет в целом повете; я служил ему секретарем, стряпчим, управителем, дворецким, винокуром, собеседником, одним словом: я был самым необходимым членом семейства. Было даже время,— правда, оно давно прошло, я тогда был помоложе и, без хвастовства сказать, ловкий мужчина,— где и сама Марфа Петровна мною не гнушалась и брала у меня уроки, то есть, во французском языке. И вдруг, после двадцатилетней верной службы, выгнали меня из дому, как шальную собаку, а за что? и до сих пор не знаю! Прошлого года Клим Сидорович, по обыкновению, поехал на Роменскую ярмонку и оттуда прислал повеление не медля ни минуты согнать меня со двора, называя обманщиком, мошенником и бог знает чем! Я к нему писал несколько раз, но не получал ответа. С тех пор скитаюсь по белому свету, не зная, куда приклонить голову. Деньжонки, какие были, уж приходят к концу, места никакого не сыскивается, и бог знает, что со мною будет!

Жалкая участь бедного Софроныча растрогала Блистовского. Желая загладить неумышленную свою пред ним вину, он ему предложил поселиться у него в деревне и обещался его не оставлять. Благодарность Софроныча была безмерна. Он хотел броситься в ноги Владимиру и клялся посвятить ему по смерть все таланты, которыми одарила его щедрая природа.

Когда проснулась тетушка и начали приготовляться к отъезду, Софроныч, желая оказать усердие свое к новому благотворителю, всячески заботился около коляски и помогал укладываться. Анна Андреевна, узнав плачевные похождения его, громко осуждала жестокий поступок Клима Сидоровича и тем приобрела совершенную признательность Софроныча. Рассуждая о Дюндике, тетушка, у которой сердце было преисполнено мыслью об Анюте, не могла воздержаться, чтоб не упомянуть о предмете те-

перешнего их путешествия. Она горько жаловалась на злонамеренное отсутствие опекуна и в высочайшей степени возбудила внимание и любопытство нового своего знакомого.

— Расскажите мне подробно, какое у вас до него дело, матушка,— сказал он,— я так коротко знаю Клима Сидоровича, что могу вам подать добрый совет во всем, что до него касается.

Блистовский, полагая, что Софроныч действительно может для них быть полезен, рассказал ему, каким образом они, отыскивая Дюндика, совершенно потеряли след его в двух станциях от Будища, несмотря на то что им объявили за верное, что он поехал в Полтаву. Притом он объяснил причины, которые он имел подозревать, что Дюндик умышленно от них скрывается.

— В двух станциях от Будища! — вскричал Софроныч с видом размышления, приложив палец к носу и покачивая головою.— Так в двух станциях от Будища они своротили с Полтавской дороги! Погодите немножко. О! да они, верно, отправились в хутор Шендру. Это такое убежище, где, кроме меня, никто их не отыщет. Но будьте благонадежны, мусье женераль; от меня Клим Сидорович не скроется, хотя бы он зарылся в сыру-землю, как крот!

Софроныч тут рассказал об уединенном положении хутора, и путешественники наши согласились, что мысль его заслуживала внимания. Они решились переменить прежний план свой и последовать совету Софроныча, который в качестве проводника занял место на козлах подле ямщика и, обвороженный приятною для него мыслию предстать пред Дюндиком под сильною защитою нового мецената, с веселым видом принялся погонять лошадей.

Быв принуждены вскоре оставить почтовую дорогу, они продолжали путешествие гораздо медленнее прежнего. Несмотря, однако ж, на трудность, встречаемую в Малороссии в наеме лошадей по проселочным дорогам, Блистовский, не жалея денег, наконец достиг до известного нам соснового бора, где им должно было поворотить к хутору. Густой, темный лес подал Анне Андреевне новый повод сердиться на Клима Сидоровича и на Марфу Петровну.

— Смотри, пожалуй,— говорила она,— куда они вздумали завезть мою бедную Галечку! Да здесь одним

волкам да медведям и жить. Добро же, Клим Сидорович, прости меня господи! Уж я пропою вам такую песенку, что у вас зазвенит в ушах... Бедная моя Галечка, куда ее завезли!

Блистовский, с своей стороны, более думал об удовольствии увидеть Анюту, нежели о темном боре, чрез который они проезжали.

В этом расположении прибыли они в хутор Шендру. При первом взгляде оба удостоверились, что там не было никого, и сам Софроныч повесил нос, увидя, что предположение его оказалось ошибочным; но когда подоспевший к коляске приказчик объявил, что Дюндики действительно приезжали туда и только третьего дня вечером выехали в Королевец, они несколько ободрились, ибо вновь возымели надежду догнать опекуна, которого следы теперь были найдены. Тут встретило их, однако, новое огорчение, тем сильнее их поразившее, что они никак его не ожидали. Расспрашивая, по обыкновению, об Анюте, они узнали от приказчика, что часа за два пред отъездом вдруг пропала Анна Трофимовна, и что, несмотря на все старания, никак нельзя было дознаться, куда она девалась!

Легко представить себе можно, какое впечатление произвело это известие на наших путешественников! Владимир был вне себя, тетушка громко зарыдала, а приказчик, не понимая участия, которое принимали они в Анюте, испугался, увидя их положение. Он принужден был рассказать в величайшей подробности все, что происходило на хуторе, и в особенности все обстоятельства, предшествовавшие исчезанию Анюты. Он уведомил их, как Марфа Петровна неожиданно велела готовиться к отъезду и как спешила укладываться, чтоб в тот же вечер остановиться на ночлеге в ближайшем селении; как Прыжков уехал заранее в двуместной карете и как, наконец, в минуту самого отъезда узнали, что Анны Трофимовны нет.

Из слов приказчика можно было заметить, сколько ему самому казалось удивительным, что господа его уехали из хутора, оставя неисследованным непонятное приключение с Анютою.

Блистовский должен был напрягать все душевные силы свои, чтоб спокойно выслушать эти рассказы, когда самое мучительное беспокойство терзало сердце его и боролось в нем с яростию против опекуна. Никто без сожаления не мог бы взглянуть на бедную тетушку: она

казалась лишенною рассудка. Когда громкие упреки, коими сначала осыпала она Дюндика, умолкли, на лице ее изобразилось отчаяние, и крупные слезы градом покатились из глаз.

Мало-помалу Блистовский опомнился. Из рассказа приказчика он почерпнул слабую надежду, что еще не все для него пропало. Ему показалось вероятным, что Дюндиковым была известна участь Анюты; иначе они не оставили бы хутора, не употребив всевозможного старания отыскать ее. Какая бы ни была их ненависть, но они не могли не знать, что подвергались за нее тяжкой ответственности, и во всяком случае должны были перед отъездом поручить приказчику продолжать поиски в хуторе и в лесу. Упущение сей столь простой и естественной обязанности казалось достаточным доказательством, что они знали, где она находится, и потому Блистовский счел необходимым как можно скорее догнать Дюндика, чтоб принудить его отдать отчет в своем поведении. В этом намерении он с строгим видом обратился к приказчику и приказал объявить без обиняков, куда поехал Клим Сидорович. Приказчик поклялся, что он точно уехал в Королевец, и уверял, что сам провожал его до первого ночлега. И в самом деле, он не имел причины скрывать истину, ибо Дюндики, вовсе не ожидав приезда Блистовского в хутор и полагая, что их искать будут в Полтаве, не запретили ему сказывать, куда они отправились.

— Я уверен,— сказал приказчик,— что вы в эту же ночь можете догнать Клима Сидоровича, лишь бы вам удалось засветло выбраться из леса. Там пойдет дорога столбовая прямо до Королевца, а они, по моему расчету, не далее отъехали, как верст шестьдесят.

Итак, Блистовский, уверенный, что его не обманывают, решился пуститься немедленно в погоню за Дюндиком и объявил о том Анне Андреевне.

— Как хотите,— отвечала бедная тетушка, заливаясь слезами,— вы лучше знаете, что тут делать. Вся моя надежда на бога: он не оставит мою бедную Галечку.

С тяжелым сердцем они сели в коляску и опять пустились в бор. Чтобы попасть на королевецкую дорогу, им надлежало долго ехать лесом; но Софроныч, которому известны были тамошние места, взялся провесть их благополучно.

Главнейшее затруднение теперь состояло в усталости лошадей, которые через силу тащили их по песчаной

дороге вопреки стараниям кучера и крику Софроныча, опять занявшего место свое на козлах.

Но обратимся к Анюте, которую принуждены мы были оставить в таком ужасном положении.

Глава XXII

ВСЕМУ НА СВЕТЕ ЕСТЬ КОНЕЦ

Уже прошло несколько минут после того, как Анюта пробудилась от обморока, и все еще не могла она совершенно опомниться и не понимала, что с нею происходило. Зрелище, представившееся ее взорам, так было необыкновенно, что она не умела отдать себе отчета в том, что видела. Да правду сказать, и всякий другой на ее месте нашелся бы не в меньшем затруднении. Она лежала на свежем сене; перед нею не в дальнем расстоянии разложен был огонь, который багровым светом озарял мрачный бор, ее окружавший. Над нею из грубой парусины раскинут был род шатра, прикрытого длинными кудрявыми ветвями столетнего дуба, которого свежая зелень резко отличалась от темных сосен. «Господи! где я? — подумала она, озираясь с робостию на все стороны.— Это похоже на притон разбойников!» По мере того как она приходила в себя, похождения того вечера начали освежаться в ее памяти; она припомнила, что с нею случилось, и с боязливым вниманием принялась рассматривать все предметы, представлявшиеся ее глазам: в стороне от шатра стояла большая крытая телега, охраняемая большою собакою; другая такая же собака лежала у ног Анюты и смотрела на нее умными глазами; немного подалее пасся вол; людей не было видно нигде. Анюта хотела встать, но боялась, чтобы на нее не бросились собаки.

Спустя несколько времени показался из-за деревьев человек, который, обратясь к ней спиною, подошел к огню. На нем был нагольный тулуп, а на голове овчинная шапка, из-под которой вились длинные черные кудри.

— Надобно прибавить дров,— сказал он громко.— Дшарро, дшарро!

Анюта вздрогнула. На крик стоявшего перед огнем мужчины откликнулся другой мужской голос:

— Батько!

— Ты не смотришь за огнем, ленивец! Принеси еще хворосту!

Молодой человек, видный собою, принес в охапке хворост. Черты лица его, которые при свете пылающего огня Анюта легко могла различить, не показывали ничего зверского, ничего страшного.

Она заметила, что никто из них не носил на себе никакого оружия, и мысль о разбойниках начинала ослабевать в ее уме. Но это не могло совершенно успокоить ее; приключения того вечера все оставались для нее непонятною загадкою. В этом мучительном недоумении она воскликнула:

— Господи! спаси меня!

Лишь только выговорила она сии слова, как стоявший у огня мужчина поспешно оборотился и, сняв шапку, подошел к ней. Анюта увидела пред собою незнакомого человека небольшого роста, но широкоплечего; густые черные кудри покрывали его голову и соединялись с бородою такого же цвета.

— Кто ты таков? — спросила Анюта дрожащим голосом, ибо, несмотря на ласковую его наружность, она не могла преодолеть своего страха.

— Цыганский атаман Василий! — отвечал он с низким поклоном.— Слава богу, что вы очнулись!

В одно мгновение все прояснилось в памяти Анюты: она вспомнила похождение Блистовского с цыганским атаманом, столько раз ею слышанное, и даже предметы, ее окружавшие, показались ей теперь как бы знакомыми. Желая, однако, удостовериться в своей догадке, она спросила:

— Знаешь ли ты Владимира Александровича?

— Как не знать, матушка Анна Трофимовна!

— Да почему ж ты знаешь мое имя?

— Ваше имя, сударыня? Да я же вам в Будище приносил письмо от немки вашей. Простите великодушно, матушка, что я вас тогда так напугал; да ведь иначе нельзя было. Кабы меня поймали, пропал бы я навеки и со всею семьею!

— Так это ты? — вскричала Анюта с удивлением.— Да ведь ты крепостной человек Клима Сидоровича?

— Точно так, матушка. Оттого-то я так и боялся попасться им в руки; пропадший бы я человек был навсегда! Да бог милостив, не дал меня погубить за доброе дело! Недаром мой Васька столько лет проездил форейтором

у панов: нам известны все закоулки в доме. А Клим-то Сидорович и Марфа Петровна — ведь я их знаю, матушка, почитай как самого себя. Сердитая барыня, нечего сказать; не приведи бог, какая сердитая!

— Да как же ты решился подвергать себя такой опасности?

— Мы все во власти божией, матушка! Без воли его и волос с головы не упадет! Я же был в долгу у вашего Владимира Александровича; да как рассказала мне немка, что ее насильно выслали из Будища, так я тотчас смекнул все дело. И прежде я знал, что они вас не терпят за то, что Владимир Александрович не женился на Вере Климовне. Ведь дворовые-то люди, сударыня, все замечают; от них ничего не скроется, а через них и до нашего брата многое доходит. Да правду сказать, одна у них и отрада, чтоб пересуживать господ, особливо дурных; а у Клима Сидоровича в целом доме не найдется ни одного человека, который пожелал бы ему добра!

Он рассказал Анюте подробно, каким образом он в вывороченном кожухе взобрался по уступам неотштукатуренной стены в окно; потом из оного по веревке спустился на двор, а оттуда, зарезав для защиты своей несчастного Султана, перебрался через забор в поле. Кому случалось видеть в Малороссии, с какою ловкостию удальцы лазят за пчелами на высокие бортевые деревья, на которых иногда нет ни одного сука до самой вершины, тот легко поверит, что подвиг этот не очень был затруднителен для нашего атамана.

Когда после того Клим Сидорович отправился в путь, цыган следовал за ним издали и, к удивлению своему увидев, что Дюндиковы после второй станции своротили с Полтавской дороги, тотчас догадался, куда они намерены были ехать.

В лесу, окружающем хутор Шендру, атаман Василий был совершенно дома; там было любимое его местопребывание и главнейшее пристанище; туда возвращался он непременно после каждого кочевания по губернии. В этом самом лесу он год пред тем познакомился с Владимиром; в нем ему известны были каждое замечательное дерево, каждое значительное дупло; иные из них даже служили верными хранилищами домашнего бутора, а изредка и вещей, которые нужно было на время скрыть от профанов. Кто перед богом не грешен, перед царем не виноват!.. Одним словом, Клим Сидорович, поселив-

шись на время в хуторе Шендре, попал как бы в магический круг, в котором все действия его подвергались волшебному влиянию атамана Василия. Приняв под покровительство свое бедную Анюту, он, конечно, имел в виду сделать доброе дело; но кроме того, он, правду сказать, подстрекаем был и ненавистью к господам, которые между многочисленными слугами своими по собственной вине не имели ни одного приверженца.

Сначала цыган Василий вздумал пугать приезжих гостей без всякой цели, единственно для собственной своей забавы. Первый успех ободрил его к продолжению, и он, с помощию сына, который, кроме других дарований, умел отлично подражать крику филина, произвел в действо сверхъестественные явления, побудившие Дюндиковых оставить хутор.

Заблаговременный отъезд Прыжкова в карете возбудил подозрение его; а когда, наблюдая за ним тайно, увидел он его переряжавшегося в лесу в женское платье, он отчасти отгадал его намерение, хотя не знал мер, принятых к исполнению оного. На всякий случай счел он за нужное положить преграду Прыжкову, и для того повалил большую сосну поперек дороги, ведущей из бора в том направлении, где остановилась карета.

Атаман намерен был, если предположение его сбудется, следовать за ним тайком, чтоб после уведомить о том Владимира; но побег Анюты подал ему случай действовать решительнее. Мы видели, каким образом избавил он ее от Прыжкова, который после того неподвижно и безгласно лежал под деревом до тех пор, пока с трудом отыскали его люди.

Анюта с жадным вниманием слушала рассказы цыгана, и сердце ее сжималось от ужаса при воспоминании опасностей, угрожавших ей в доме опекуна и которые теперь только обнаружились пред нею в полной мере.

Постоянная ненависть коварных ее гонителей приводила ее в трепет. Она страшилась, чтоб они не открыли теперешнего ее убежища, чувствуя, что в таком случае бедный Василий не в силах был бы защитить ее против собственных своих господ. Она открыла ему свои опасения, но Василий утверждал решительно, что она находится у него в совершенной безопасности.

— Поверьте, матушка,— сказал он с довольным видом,— что сюда не скоро кто заберется! Вот уже годов

десятка с два, как мне известно это местечко, и до сих пор никому еще не случилось меня здесь найти, хотя все знают, что я часто живу в этом лесу. Правда, в прошлом году нечаянно забрел сюда ваш Владимир Александрович, да это ведь не всякому удастся! На то, видно, тогда была особенная воля божия, для того, матушка, чтоб я теперь мог пригодиться вам в черный день.

Уверения Василия ободрили Анюту, хотя и не могли ее совсем успокоить. Но, при всей ненадежности теперешнего ее положения, она в полной мере чувствовала, сколь была обязана атаману, подвергавшему себя неминуемой беде, если б его участие в этом деле когда-нибудь дошло до сведения Клима Сидоровича. Она из полноты сердца изъявила ему свою признательность, а растроганный атаман не умел отвечать на ее слова иным образом, как беспрестанно кланяясь ей в ноги.

Надлежало, однако, подумать, как доехать до тетушки и притом не попасться опять во власть Дюндиковым. Атаман советовал, чтоб Анюта оставалась в настоящем убежище до тех пор, пока они удостоверятся, что семейство опекуна совсем удалилось из тех мест. Потом Василий вызывался доставить ее в крытой телеге своей до ближайшего помещичьего дома, где могла бы она спокойно ожидать известий от своих.

Василий ее предупредил, что для удаления от себя подозрения он принужден будет оставить ее одну в некотором расстоянии от помещичьего дома. Относительно же настоящего ее местопребывания он вновь повторил, что у него не подвергалась она ни малейшей опасности. Он объяснил ей, что в лесу этом имел он еще другое гласное жилище, где принимал посещения соседних жителей.

— Когда кому до меня дело,— продолжал он,— так меня там и ищут, а это, матушка, совсем в противоположной стороне бора. Там у меня почти всегда находится кто-нибудь из моего семейства; теперь оставил я там дочь, которая в случае чего-нибудь неожиданного немедленно меня уведомит.

Условившись таким образом с Анютою, он поручил ее покровительству жены и сына, а сам отправился собирать сведения о Дюндиковых.

Между тем как Анюта предавалась размышлениям о превратности судьбы своей и мысленно переносилась в Смольный монастырь, где в недавнем еще времени про-

водила она дни так тихо и единообразно, жена атамана заботилась о ее угощении.

Читатели, которым цыганский быт известен по одной только наружности, может быть, не без отвращения подумают об этом угощении, но они крайне ошибутся. Конечно, обыкновенный вид, под которым цыганы нам представляются, не имеет ничего привлекательного, так как и вседневная пища их вряд ли возбудит охоту в ком-нибудь другом, кроме цыгана; но в особенных, весьма редких случаях все это изменяется совершенно. Для таковых случаев цыганское семейство хранит в сокровеннейшем углу подвижного жилища своего одеяния, совсем отличные от обыкновенных, и вседневная домашняя утварь уступает место другой, блистательнейшей. Преобразование сие простирается и до пищи, так что иного праздничного цыганского блюда не отвергнул бы от стола своего самый разборчивый гастроном.

Смело, любезный читатель, можно удариться с вами об заклад, что вы не вдруг узнаете знакомого вам цыгана, когда, подобно блестящему мотыльку, развертывающемуся из скромной оболочки гусеницы, он, сбросив с себя запачканный тулуп, явится пред вами в национальном костюме, часто богатом, но всегда цвета яркого, предпочтительно алого.

В настоящих обстоятельствах жена атамана, конечно, не могла заниматься нарядами; но зато она слишком высоко ценила честь, оказанную ей присутствием Анюты, чтоб не угостить ее достойным образом.

С заботливостью внимательной хозяйки она поставила перед гостьею: дымящийся самовар из светлой красной меди, чайник, сахарницу и чашку, хотя разрозненные, но тем не менее из гжельского фарфору, и ко всему этому присовокупила даже и серебряное ситечко и серебряную же ложечку! Не будем изыскивать, принадлежали ли ей драгоценные предметы сии по праву наследства или благоприобретения; довольно, что утомленная Анюта с большим удовольствием выпила несколько чашек хорошего чаю, которые при помощи связки бубликов укрепили истощенные ее силы.

В диком сем уединении пробыла Анюта около двух дней, и хотя ей трудно было привыкать к оному, хотя, вопреки уверениям Василья, она беспрестанно страшилась, чтоб не открыли ее убежища, но все это казалось ей сносным в сравнении с жизнью в доме опекуна. Надежда на-

конец соединиться с тетушкой служила ей утешением и помогала переносить терпеливо трудности, сопряженные с ее положением.

Она редко видала Василья, который возвращался домой только на самое короткое время. Чрез него узнала она об отъезде в Королевец семейства Дюндиковых. Он уведомил ее также, что Прыжков, когда наконец отыскали его под деревом, находился в таком жалком положении, что у него пропала охота преследовать Анюту. Через силу и слабым голосом приказал он людям своим отвезти его прямо к себе в деревню, не возвращаясь в хутор, и даже не дал знать Марфе Петровне о бедственном приключении своем.

Атаман рассказывал о нем с видом сожаления, которое, однако, не показалось ей весьма искренним.

— Видно, матушка Анна Трофимовна,— говорил он,— я задел его немного неосторожно, да ведь это, впрочем, не моя вина! Вольно ж ему было мешаться не в свое дело!

Атаман, несмотря на отъезд опекуна, не решался пускаться в путь до тех пор, пока семейство Клима Сидоровича не удалилось совершенно из окрестностей хутора.

Наконец настал желанный час. Атаман объявил о том Анюте, и в один миг сняли лагерь и начали собираться в поход. Драгоценная утварь, извлеченная ради дорогого гостя из хранилищ, опять размещена была по обычным местам.

Заложили крытую телегу, которую тонкая внимательность атамана внутри украсила лесными цветами, и Анюта расположилась в ней на свежем папоротнике. У нее сильно билось сердце. Цыганы вместе с нею набожно перекрестились, собаки весело залаяли, Василий громко свистнул, и караван тронулся с места.

Между тем как знакомый нам тощий вол медленным шагом влечет за собою телегу по песчаной лесной дороге, и Анюта, колеблемая страхом и надеждою, то думает о свидании с тетушкой, то страшится опять попасть в руки опекуна, мы на короткое время возвратимся к Блистовскому, путешествующему почти с такою же медленностью в том же бору.

Усталые кони его не успели отъехать версты две от хутора, как он удостоверился, что ему невозможно будет выбраться засветло из лесу.

Солнце уже склонялось к западу, тень деревьев начинала сгущаться, а коляска едва подвигалась вперед назло постоянным стараниям ямщика и красноречивым понуждениям Софроныча, снявшего с себя сюртук, чтоб свободнее действовать. Владимир приходил в отчаяние, Анна Андреевна тихонько утирала слезы. Вдруг... послышался им громкий лай собак; человек, которого черты лица трудно было различить в сумерках, подошел к коляске, сверкающими глазами пристально взглянул на путешественников и громогласно закричал:

— Стой!

Лошади, как будто ожидавшие этого приказания, остановились, а Владимир, рассерженный сим новым препятствием, нетерпеливо вскочил; но не успел он еще выговорить ни одного слова, как незнакомец, сняв овчинную шапку, произнес радостным голосом:

— Батюшка, Владимир Александрович! Как вас бог сюда занес? Слава богу, слава тебе, всевышний!

— Кто ты таков? — спросил Владимир,— чего тебе надобно?

— Цыганский атаман Василий, ваше благородие. И Анна Трофимовна ведь здесь, ваше благородие! Слава богу! А я было перепугался до смерти: да как же мне отгадать, что это вы!

— Как! что! боже милостивый! — воскликнули Блистовский и Анна Андреевна.

В одно мгновение Владимир выскочил из коляски и побежал за цыганом вперед по песчаной дороге. Тетушка с помощию Софроныча следовала за ними.

— Анна Трофимовна! — кричал Василий, приближаясь к крытой телеге,— выходите, выходите!

Встревоженная Анюта, не понимая, что это значит, вышла из телеги и пала в объятия Владимира.

Благосклонные читатели, конечно, не захотят требовать от меня невозможного и извинят, если не буду я описывать взаимного восторга любовников, восхищения доброй тетушки! Неожиданною этою встречею прекратились искушения судьбы, посланные нашей монастырке.

Чрез несколько дней все достигли благополучно Барвенова, а спустя три недели после того Клим Сидорович получил от Анны Андреевны учтивое письмо с извещением о бракосочетании Анны Трофимовны Орленковой с гвардии штабс-ротмистром Владимиром Александровичем Блистовским.

Успокоив вас, дражайшие читатели, относительно участи Владимира и Анюты, мне, однако, совестно было бы с вами расстаться, не дав отчета в том, что случилось с прочими лицами, может быть, также возбудившими ваше участие. Увы! не о всех могу я вам дать равно отрадные вести!

Марфа Петровна, узнав о женитьбе Владимира, задохлась от гнева в точном смысле этого выражения. Прочитав письмо Анны Андреевны, она покраснела, потом посинела, кровь хлынула ей в голову, и она упала со стула. Ее подняли, положили в постелю и послали в ближайший город за доктором; но еще до прибытия его она скончалась, тщетно напрягая все силы, чтоб говорить. Перед самою кончиною только удалось ей выговорить несколько невнятных слов. Климу Сидоровичу, около ней хлопотавшему и в то время неотлучно находившемуся при ней, послышалось, что она ему сказала:

— Прощай, мой милый!

Но прочие свидетели утверждают единогласно, будто бы она произнесла:

— Отвяжись, дурак!

Предоставляю читателям избрать из двух рассказов сих тот, который покажется им правдоподобнее.

Лишившись супруги, Клим Сидорович надлежащим порядком поплакал, потосковал, но не слишком долго. Спустя полгода после ее смерти он начал тучнеть необыкновенным образом и теперь дошел уже до того, что с трудом передвигает ноги.

Жизнь его самая завидная! Ночи он проводит в безмятежном сне, а днем в сладкой неге покоится в больших креслах у окна, где занимается разнообразными явлениями, коими радует его противолежащий шинок. Когда наезжают к нему соседи, он по-прежнему рассказывает о своем лазарете, о завещании покойного майора и особливо об отличном воспитании и выгодном замужестве, которые доставил он Анне Трофимовне. Дочери его морщатся при этих рассказах, но Клим Сидорович не обращает на то внимания. Впрочем, они до сих пор еще не выходили замуж и никак не понимают причины непростительной оплошности молодых людей, не замечающих их достоинств.

Прыжков по выздоровлении своем продал имение свое в Малороссии и поехал в Париж. Оттуда долго не получали никакого о нем известия; теперь, наконец, носятся слухи,

будто бы одним утром нашли его в Пале-Рояле повешенным перед самым входом в 9-й нумер, где обыкновенно играл он в рулетку. Не могу, однако, сказать ничего о нем достоверного, ибо я, признаться, мало заботился о его участи.

Анюта живет благополучно в своем поместье, где Владимир, по выходе в отставку, основал свое пребывание. Если вы, любезный читатель, желаете посмотреть на счастливое семейство, так заезжайте к ним, когда случай приведет вас в благословенную Малороссию. Они живут недалеко от большой дороги, и всякий, кого вы спросите, охотно укажет вам, как лучше проехать к доброй монастырке; ибо и она, так же как Клим Сидорович, известна в целой губернии, хотя по другим отношениям. Поверьте моему слову, вас примут с старинным русским гостеприимством, и вы не пожалеете о новом знакомстве.

Может быть, посчастливится вам застать у нее и почтенную тетушку, которая часто гостит у любезной своей Галечки и нянчится с двумя ее сыновьями, а своими крестниками, так точно, как будто бы они были родные ее внуки. Что касается до Клары Кашпаровны, то она почти безвыездно живет у Владимира.

Верстах в трех от поместья Анны Трофимовны на проселочной дороге, впрочем довольно широкой и не слишком тряской, стоит небольшой, деревянный, новый домик, обитый тесом, с железною кровлею, зеленым цветом окрашенною. Дом этот о семи светлых больших окнах, имеет мезонин с балконом и сверх того ганьку — род открытых сеней, где малороссияне охотно проводят вечера на прохладе. Там живет с мужем своим Агафья Алексеевна Погорельская, которую вы, любезные читатели, знали под именем Гапочки. После этого вступления вы, конечно, догадаетесь, что Гапочка вышла за меня замуж, и не ошибетесь в своей догадке. Уже три года как мы счастливы; жена моя гораздо моложе меня, но до сих пор это не мешало нашему благополучию; авось и вперед бог меня помилует! И мы имеем теперь двух сыновей, из которых меньшой, Антоша — бойкий, черноглазый мальчик, очевидно любимец Анны Андреевны, хотя и уверяет она, что всех любит равно. Если вы, любезный читатель, побывав у соседей моих, захотите заехать ко мне — милости просим! Вы крайне обяжете и меня и Гапочку. Впрочем, мы, вероятно, увидимся прежде у

Владимира Александровича, ибо почти всегда бываем вместе.

Праскута еще не замужем, но если верить догадкам жены моей, то некоторый молодой человек, которого до времени я назвать не могу, скоро, очень скоро предложит ей руку. Дай бог! Он человек хороший, а Праскута, право, милая девушка!

Софроныч, слава богу, здоров, хотя, вопреки увещаниям Анны Андреевны, не успел еще отучиться от любимого своего напитка. Надобно, однако, отдать ему справедливость, что теперь он более <не> пьет запоем. Он завел училище для крестьянских детей, а в свободное время сочиняет новую французскую книгу с русским переводом, которая, по уверению его, будет еще лучше первой. Несколько времени тому он в длинном письме на французском диалекте предлагал ее Александру Филипповичу Смирдину, но не получил ответа: может быть, письмо его не дошло до своего назначения.

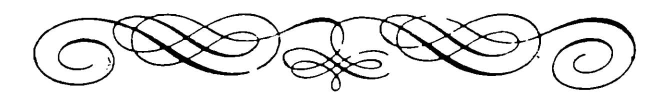
Софроныч имеет большое горе, которому, однако, пособить мы не в силах. Он страстно желает из благодарности обучать детей наших французскому языку и скорбит о том, что мы не соглашаемся.

Остается теперь сказать несколько слов об атамане Василье. Вскоре после смерти Марфы Петровны Анюта в одно утро отвела в сторону Владимира и что-то говорила ему с большим чувством. Вследствие этого разговора послали тотчас за почтовыми лошадьми, заложили коляску и подвезли ее к крыльцу. Анюта очень торопила Владимира, без слез с ним распростилась и с сухими глазами провожала его, когда он уезжал. Слуги удивлялись, что Анна Трофимовна так скоро после свадьбы отправила мужа в дорогу, да еще без слез! Но загадка эта разрешилась в скором времени.

Чрез несколько дней Владимир возвратился и привез с собою отпускную цыгану Василью со всем его семейством, подписанную Климом Сидоровичем и законным образом засвидетельствованную. Об этой отпускной ходят разные толки: иные уверяют, что Клим Сидорович, увидев Блистовского, так испугался, что немедленно подписал отпускную; другие же утверждают, что Владимир за выкуп цыгана заплатил значительную сумму. Ни он, ни Анюта никогда не объясняли, который из сих толков справедливее; но я, с своей стороны, полагаю, что оба они не без основания, то есть что Клим Сидорович

вместе и испугался и взял деньги. Как бы то ни было, а цыган Василий с семейством своим теперь блаженствует. Он завел большой торг лошадьми, разъезжает по ярмонкам, всегда ходит в синем кафтане из тонкого сукна и часто нас посещает. Дети наши его не боятся, особенно мой Антоша: когда цыган берет его на руки, он смело теребит черную его бороду. Анна Андреевна очень забавляется смелостию малютки, а атаман радуется до слез ловкости и силе Антона Антоновича.

КОНЕЦ



ПОСЕТИТЕЛЬ МАГИКА



<С АНГЛИЙСКОГО>

Прекрасный осенний день клонился к концу, и вечерние тени уже начали собираться над Флоренциею: в это время послышалось Корнелию Агриппе*, что кто-то тихо, но торопливо стучится в дверь, и вскоре потом незнакомый вошел в комнату, в которой философ сидел за книгами.

Незнакомец, несмотря на привлекательную наружность и на приемы, показывавшие образованного человека, имел вид столь необыкновенный и притом таинственный, что философ пришел в недоумение: страх ли этот гость ему внушает или отвращение? Трудно было определить лета его, ибо следы юности и маститой старости в нем перемешаны были самым странным образом. На щеках его не видно было ни одной морщины: ни одна складка не показывалась над его бровями, и большие черные глаза сверкали со всею живостию пылкого юноши; но высокий стан его казался согбенным от тяжести лет, густые и кудрявые седины осеняли его чело, а голос его был слабый и дрожащий, хотя притом столь приятный, что проникал в душу, подобно трогательной мелодии. Одежда его во всем походила на одежду флорентинских дворян того времени, кроме шелкового пояса, который казался исписанным восточными характерами; в руках держал он順 страннический посох. Смертная бледность покрывала его лицо, но все черты являли красоту необыкновен-

* Ученый астролог, магик и философ, живший в 13 столетии. *(Примеч. автора.)*

ную и выражали глубокую мудрость и сильнейшую горесть.

— Извините меня, ученый муж,— сказал он, обратясь к философу.— Слава ваша, наполнив вселенную, достигла до слуха каждого; и потому я не мог оставить Флоренцию, не покусившись познакомиться с человеком, которым столь справедливо гордится она, как драгоценнейшим украшением своим.

— Добро пожаловать, государь мой,— отвечал Агриппа,— но я опасаюсь, что беспокойство и любопытство ваши не будут достойно вознаграждены. Вы видите во мне человека, который, вопреки правилам благоразумия, никогда не помышлял о приобретении почести, богатства и проводил дни свои в трудах, бесприбыльном учении и в изыскании тайн природы; одним словом: человека, посвятившего долговременную жизнь свою отвлеченным наукам.

— Тебе ли говорить о долговременной жизни! — воскликнул незнакомец, и печальная улыбка показалась на его устах,— тебе ли, который, едва тому осьмой десяток лет, как оставил младенческую колыбель? Тебе ли, которого ожидает спокойная могила, нетерпеливо желая принять тебя в гостеприимные свои объятия? Сегодня еще бродил я между могилами, между утешительными и тихими могилами: я видел приветливую улыбку их, озаренную лучами заходящего солнца! В молодости моей часто завидовал я солнцу; путь его казался мне так светел, так славен, так продолжителен! Но теперь я иначе мыслю: увы! приятнее почивать в тихой могиле, нежели быть подобным бедному солнцу. Каждый вечер оно спускается за горы, как будто для покоя, но назавтра вновь должно оно начать свое путешествие; оно опять должно пройти все тот же путь, скучный и единообразный, но притом трудный и беспокойный. Для него нет могилы, и вечерняя и утренняя роса ничто иное, как слезы, которые оно проливает о горькой участи своей.

Агриппа любил природу и был глубокий наблюдатель чудес ее, и потому в течение жизни своей неоднократно любовался явлениями, которые теперь описывал незнакомый; но чувства и мысли, изъясненные сим последним, столь различны были с его собственными ощущениями и показались ему столь необыкновенными, что он слушал гостя своего в безмолвном удивлении. Незнакомец, однако, вскоре сам прервал его размышления.

— Виноват,— сказал он,— я не объявил еще вам о цели моего посещения. До меня дошли странные слухи о каком-то чудном зеркале, составленном вами помощию глубоких познаний ваших, которое отражает образ того отдаленного или даже умершего человека, коего увидеть желаешь. Для моих глаз в этом наружном, видимом мире нет ничего ни утешительного, ни приятного. Могила сокрыла всех, кого я любил. Время быстрым течением своим далеко унесло все то, что некогда служило к моему утешению. Земля есть юдоль плача; но между слезами, орошающими юдоль сию, нет ни одной, которая текла бы для меня... Источник слез собственного сердца моего также иссяк. Мне хотелось бы еще раз, хоть на одно мгновение, взглянуть на существо, мною любимое. Мне хотелось бы еще раз увидеть эти прекрасные глаза, эту стройную поступь, прелестью своею пристыжавшие серну; эти брови, эти милые черты, в коих всемогущий изобразил всю неизреченную благость свою. Я желал бы еще раз взглянуть на все то, что было для меня так мило и чего я лишился. Это зрелище было бы для моего сердца драгоценнее всего в мире, всего — кроме могилы, кроме могилы!

Страстные речи незнакомца такое возымели действие над Агриппою (неохотно показывавшим зеркало свое тем, кто его о том просил, хотя часто предлагали ему за то дорогие подарки и высокие почести), что он тотчас согласился исполнить желание непонятного своего гостя.

— Кого желал бы ты видеть? — спросил он.

— Дитя мое, родную, милую дочь мою Мириаму,— отвечал незнакомец.

Корнелий немедленно завесил окно, чтоб ни один луч небесного света не мог проникнуть в комнату, поставил незнакомца подле себя по правую руку и начал петь тихим и протяжным голосом, на неизвестном языке. В продолжение сего ему казалось, что незнакомец иногда сопровождал его голосом своим, хотя звуки, им слышанные, так были невнятны и неопределенны, что сам он не был уверен, не в собственном ли только его воображении они существуют. По мере того как Корнелий продолжал пение, комната становилась светлее и светлее, хотя нельзя было догадаться, откуда свет этот происходил. Наконец, незнакомец ясно увидел большое зеркало, закрывающее целую стену и как будто подернутое густым инеем или туманом.

— Была ли она связана священными узами брака? — спросил Корнелий.

— Она умерла в девстве, непорочная и чистая, как снег!
— Сколько времени протекло с тех пор, как приняла ее могила?

Чело незнакомца мгновенно помрачилось, и он вскричал с приметным нетерпением:

— Много, много лет с тех пор прошло,— больше, нежели станет у меня времени сосчитать!

— Однако,— сказал Агриппа,— мне необходимо нужно это знать. Я должен жезлом сим очертить один круг для каждого десятка лет, протекшего с того дня, как она умерла, и когда кругами этими означится время ее кончины, тогда ты в зеркале узришь ее образ.

— Так черти же круги! — отвечал незнакомец и горько зарыдал,— черти и берегись, чтоб силы твои не истощились.

Корнелий Агриппа взглянул на непонятного гостя своего с некоторым страхом; но полагая, что странные речи его происходят от сильного огорчения и необыкновенных несчастий, решился исполнить его требование. Итак, он принялся чертить круги волшебным жезлом своим; но несмотря на то, что рука его начала уставать, все было тщетно и казалось, что жезл лишился обыкновенной своей силы. Наконец, он обратился к незнакомцу и вскричал:

— Кто ты таков, непостижимый? Присутствие твое меня смущает! Жезл этот, обращаясь по правилам науки моей, описал уже дважды двести лет, и при всем том зеркало ничего не отражает. Или ты издеваешься надо мною и особа, которую видеть ты хотел, быть может, никогда не существовала!

— Черти круги, черти! — был глухой и единственный ответ незнакомца.

Любопытство Агриппы, которому, впрочем, чудеса не в диковинку были, чрезвычайно возбудилось сими словами; но какое-то тайное чувство страха, воспрещающее ему бросить жезл свой, превозмогло в нем все сомнения относительно незнакомца. Он продолжал чертить круги, и когда рука его уставала, тогда печальные и торжественные восклицания незнакомца: «Черти круги, черти!» побуждали его к новым усилиям. Наконец жезл, по счислению его, описал около тысячи двухсот лет; туман, покрывавший зеркало, исчез, и незнакомец, с радостным криком подняв голову, вперил глаза свои в картину, в зеркале представившуюся.

Пред ними открылось прелестное, романтическое местоположение. Вдали вздымались к небу великие горы, увенчанные кедрами. Быстрый поток протекал у подножия их, а впереди видны были пасущиеся верблюды. Подле светлого, прозрачного ручья несколько овечек утоляли жажду, и высокая пальма ограждала тенью своею от лучей полуденного солнца молодую девицу чрезвычайной красоты, в богатой восточной одежде.

— Это она! это она! — вскричал незнакомец, бросившись к зеркалу, — но Корнелий остановил его.

— Берегись, неосторожный! — сказал он, — не оставляй этого места! С каждым шагом, приближающим тебя к зеркалу, изображение сделается тусклее; а если подойдешь ты еще ближе, то оно исчезнет невозвратно.

Быв предостережен таким образом, незнакомец остановился; но смущение его столь было велико, что он принужден был прислониться к плечу философа, а между тем от времени до времени делал восклицания, изъявляющие удивление, печаль и восхищение: «Это она, это точно она! Как будто живая! Как она прелестна! Мириама, дочь моя! выговори хотя одно слово. О небо! она движется, она улыбается! О! поговори со мною немного или хоть вздохни единый раз! Увы! все молчишь, все мертво, подобно сердцу моему! Улыбнись еще раз! Подари меня еще улыбкой, той улыбкой, которую тысячи лет не могли изгладить из сердца моего. — Старик! напрасно ты меня удерживаешь. Я не могу — я хочу обнять ее».

Выговорив последние сии слова, он поспешно бросился к зеркалу; но картина исчезла, зеркало опять покрылось туманом, и незнакомец без чувства упал на землю.

Когда он пришел в память, то увидел себя на руках Агриппы, который тер его виски и смотрел на него с удивлением и страхом. Незнакомец немедленно вскочил на ноги с возобновленными силами и, схватив за руку философа, сказал ему: «Благодарю за твою доброту и снисхождение и за сладкое, хотя горестное явление, которое представил ты моим глазам». Сказав слова сии, он всунул ему в руку тяжелый кошелек; но Корнелий не хотел его принять:

— Нет, нет! — воскликнул он, — оставь у себя свое золото, приятель! Я, право, еще не знаю, может ли принять от тебя что-нибудь добрый христианин; но как бы то ни было, я почту себя достаточно вознагражденным, если ты скажешь мне, кто ты таков?

— Взгляни,— сказал незнакомец, указывая на большую историческую картину, висевшую на стене по левую руку.

— Это,— отвечал философ,— мастерское произведение искусства,— картина, написанная одним из древнейших, но отличнейших художников наших, представляющая Спасителя, несущего крест.

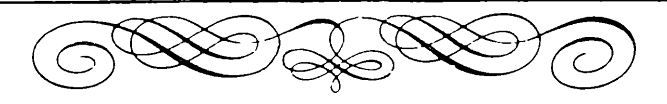
— Взгляни еще! — продолжал незнакомец, устремив на него пристально сверкающие взоры и указывая на изображенную на левой стороне картины фигуру.

Корнелий посмотрел и увидел с удивлением (чего не заметил еще до того времени) разительное сходство сей фигуры с незнакомцем, как будто бы это был портрет его.

— Это,— сказал Корнелий с выражением ужаса,— должно представлять того злосчастного изверга, который толкнул божественного искупителя нашего, не могущего далее нести крест; и за то осужден блуждать по земному шару до второго пришествия.

— Это я, это я! — вскричал незнакомец и, бросившись вон из дому, исчез из глаз философа.

Тут Корнелий Агриппа узнал, что его посетил *Вечный жид*.



МАГНЕТИЗЕР



(ОТРЫВОК ИЗ НОВОГО РОМАНА)

Глава I

Пермской губернии, в городе Екатеринбурге, в одном доме — которого местоположение по известным мне причинам я означить не намерен — ввечеру часу в восьмом, на большом четвероугольном столе, покрытом ярославскою алою с белыми узорами скатертью, дымился огромный самовар из красной меди. На самоваре стоял большой серебряный чайник старинной чеканной работы, с выгнутым круглым носиком. Подле самовара, на большом овальном жестяном подносе, на котором довольно искусно изображено было красками изгнание из рая Адама и Евы, установлено было несколько чашек белого фарфора с нарисованными на них тюльпанами, незабудками и розами. Тут же, подле фарфорового молочника с густыми желтыми сливками, лежало ситечко из плоской серебряной проволоки. Немного подальше блестящий хрустальный графин с лучшим ямайским ромом стоял подле серебряного стакана, в котором вправлены были русские медали, выбитые в память различных знаменитых происшествий. Большая серебряная корзина резной работы наполнена была сухарями.

Все сии предметы освещены были двумя сальными свечами в серебряных шандалах, а самый стол, на котором все это было расставлено, стоял перед диваном красного дерева, обтянутым черным сафьяном, в иных местах не-

много потертым и обитым гвоздичками с круглыми медными головками.

На диване против самовара сидела женщина средних лет, довольно дородная. Брови у нее были черные дугою, глаза большие, голубые, обыкновенно потупленные в землю, что придавало ей вид скромности. Голова ее была повязана голубым шелковым платком с бахромчатою каймою, уши украшены длинными серьгами из мелкого жемчугу. На плеча накинут был черный атласный салоп с воротником, обшитым широкими кружевами. Подле нее, против серебряного стакана, сидел мужчина лет пятидесяти, в кафтане из тонкого синего сукна: на груди его из-под широко расчесанной темно-русой бороды светлелась золотая медаль на алой ленте; красный носовой платок с синими полосками и тульская серебряная табакерка с чернью лежали подле него на диване. В руках держал он тоненькую книжку в цветной обертке и, казалось, читал с большим вниманием.

Против них на стуле сидела молодая прекрасная девушка лет девятнадцати. Она одета была просто — впрочем, по новейшей моде; но в ушах ее блистали бриллианты высокой цены, лилейная шея украшалась несколькими рядами крупного, ровного жемчугу, а длинные каштановые волосы сдерживаемы были на голове гребнем, драгоценными каменьями украшенным. Все приемы и вообще наружность ее показывали тонкую образованность, приобретаемую в обществах Петербурга и Москвы. Увидев ее в настоящем положении, иной подумал бы, что она в глухой сибирский край и в этот дом перенесена из столицы какою-нибудь волшебною силою. Она погружена была в задумчивость и не замечала нежных взглядов, бросаемых на нее от времени до времени дородною женщиною, которая, казалось, любовалась ее красотою. Внимательный наблюдатель тотчас узнал бы в этих двух особах мать и дочь.

— Полно тебе читать, Анисим Аникеевич,— сказала дородная женщина.— Уж мне, право, эти петербургские журналы!.. Как придет почта, так дня два к нему и приступу нет. Смотри, уж самовар скоро выкипит; чай настоялся, как пиво доброе, а ты и не принимался еще пить!

— Тотчас, Гавриловна! — вымолвил Анисим Аникеевич, не сводя глаз с книжки и подавая ей серебряный стакан.— Пашенька,— продолжал он,— сочкни-ка со свечки.

Молодая девушка поспешила исполнить его приказание. «Верно, что-нибудь интересное, батюшка!» — сказала она.

— Да такое интересное,— отвечал с жаром Анисим Аникеевич, положив на диван раскрытую книгу, а на нее серебряную табакерку с чернью,— такое интересное, что я отроду не слыхивал, да и во сне мне не грезилось!

— Ах, мои матушки! — вскричала Степанида Гавриловна,— уж не опять ли было наводнение в Питере?

— Не наводнение, матушка, а наваждение, если это, прости господи, не враки! Дело идет о каком-то магнетизме. Слыхала ли ты про него, когда была в Петербурге, Пашенька?

Пашенька вздрогнула, как будто вспомнила о чем-то страшном и отвратительном.

— Слыхала, батюшка! — сказала она вполголоса.

— Рассказывай, что такое? — вскричал Анисим Аникеевич и опять поставил на стол серебряный стакан, поднесенный уже к губам.

— Года четыре тому назад,— начала рассказывать Пашенька,— когда только что взяли меня из пансиона, я часто бывала в доме графини N***. У них была горничная девушка, которая вдруг впала в страшную и необыкновенную болезнь. Звали ее Катериной. Катерина сначала редко, потом чаще, наконец раза два или три в день получала припадки, во время которых она плакала, смеялась, говорила бог знает что, чего после сама никак не помнила! Припадки эти оканчивались обыкновенно конвульсиями...

— А что это такое, конвульсии? — спросила Степанида Гавриловна.

— Конвульсии,— отвечал Анисим Аникеевич с приметным нетерпением,— не что иное, как кривлянья,— вот как ты кривляешься, когда страдаешь животом...

— Конвульсии не то, что кривлянье,— подхватила Паша, вступясь за мать,— это род судорог...

— Знаю, мой друг, знаю,— прервал ее отец, качая головою.— Продолжай, Пашенька.

— Припадки Катерины обыкновенно оканчивались конвульсиями, на которые страшно было смотреть! Мне несколько раз случалось видеть эти конвульсии, и от одного воспоминания у меня на голове волосы шевелятся! Вообразите себе, батюшка, что в продолжение этих конвульсий двое мужчин не в состоянии были ее удержать; она так изгибалась, что никто не мог смотреть на нее без

ужаса! Иногда голова ее заворачивалась назад так, что сходилась почти с ногами...

— Упаси господи! — вскричала Гавриловна. — Пашенька! да она, верно, была беснующаяся?

— И в Петербурге многие так полагали, — сказала Паша.

— Вот видишь, Анисим! — опять вскричала Гавриловна, — стало быть, я еще не совсем пошлая дура! И в Петербурге верят беснующимся...

— Ах, матушка! кто говорит, что ты дура? — сказал с досадою Аникеевич. — Я знаю, что ты умна, чересчур умна! (Надоела, как горькая редька, — проворчал он себе под нос.) Продолжай, Пашенька!

— Лучшие петербургские доктора съезжались в дом графини N*** и уверяли, что это не что иное, как нервические припадки, истерика; но никто между тем не в силах был помочь Катерине. День от дня припадки становились чаще и сильнее, несмотря на капли, порошки и ванны. Графиня наконец согласилась призвать одну известную ворожею, которая тогда жила в Коломне у Харламова моста. Она приехала, много говорила, выпила несколько чашек кофею и обещалась непременно вылечить больную. Во время припадка она над нею шептала, на нее плевала, чем-то ее опрыскивала; а бедной Катерине все-таки не делалось лучше! Наконец прогнали ворожею и опять принялись за докторские капли, которые, впрочем, по-прежнему нимало не помогали. В то время приехал в Петербург из Неаполя один итальянец, маркиз, и принят был в лучшие общества. Он посещал и дом графини. Однажды случайно упомянули о болезни Катерины... Маркиз слушал рассказ о ней с необычайным вниманием.

— Нельзя ли видеть вашу больную? — сказал он наконец.

— Для чего? — спросила графиня.

— Может быть, я в силах ей помочь, — отвечал маркиз.

Графиня сначала не знала, на что решиться; но не находя никакого препятствия в исполнении желания маркиза, согласилась на оное и сама повела его к Катерине. Они вошли к ней в самую ту минуту, как больная изнемогала от мучений одного из ужаснейших ее припадков. Случайно я была тогда у нее. Маркиз при входе в комнату устремил проницательный взор свой прямо на больную, подошел к кровати, схватил руку — и больная задрожала, потом успокоилась; все члены ее пришли опять в ес-

тественное свое положение; она несколько раз тяжело вздохнула, после того открыла глаза... Конвульсии совершенно прекратились, и в тот день она была здорова, хотя очень слаба. Вид этого итальянца с первого на него взгляда сделал неприятное на меня впечатление; но когда увидела я, что он одним наложением руки своей прекратил страдания бедной Катерины, то я не могла удержаться от невольного восклицания. Маркиз вдруг поворотил голову ко мне... из черных, пламенных глаз своих он бросил на меня взор... мне показалось, что взор этот осуществился и в виде огненной стрелы вонзился в мое сердце. Я почувствовала невольный страх; я почувствовала, что ноги мои подгибаются, и чрез силу могла выйти из комнаты.

Пашенька замолчала, робко оглянулась на все стороны и, казалось, как будто чего-то страшилась...

— Что ж, вылечил ли он Катерину? — спросила Степанида Гавриловна, не замечая смущения дочери.

Паша вздрогнула и отвечала тихо:

— Говорят, что он ее совсем вылечил; но зато я страдала долгое время после того...

— Как? чем? Мы об этом ничего не знали! — вскричали в один голос отец и мать.

— Болезнь эта не препятствовала мне писать к вам с каждою почтою,— продолжала Пашенька,— и я не хотела вас беспокоить. Впрочем, тогдашнее положение мое не совсем можно назвать болезнию, хотя страдания мои были чрезмерны. Я не могла без содрогания думать о маркизе; но в иное время мне, напротив того, казалось, что он один может избавить меня от этой несносной тоски, от этого неизъяснимого уныния, которые иногда совсем неожиданно и непонятным для меня образом пробуждались в душе моей и терзали ее. Я не могу описать тогдашних ощущений моих; но уверяю вас, что и теперь еще, при одном воспоминании, на меня находит ужас.

— Плюнь на дьявола! — вскричала Степанида Гавриловна и при сих словах сама плюнула в сторону.

— Перекрестись, Пашенька! — сказал Анисим Аникеевич и сам перекрестился.

Паша тоже перекрестилась с сердечным умилением; потом, смиренно сложив руки и устремив взор прямо пред собою, продолжала начатый рассказ:

— Припадки эти делались со мною реже, когда в сле-

дующую после того весну мы поехали в Ревель. Прелестные местоположения, благорастворенный воздух, веселое общество, может быть, и купанье в море меня рассеяли, и я возвратилась в Петербург, совершенно выздоровев. Вскоре после того я отправилась в Екатеринбург, к вам, любезные родители, и здесь до нынешнего вечера не чувствовала никаких признаков прежней болезни. Теперь только, кажется, как будто чувствую что-то похожее на тогдашнее мое положение. Но надеюсь, что это пройдет к завтрему. Меня клонит сон; позвольте мне пожелать вам покойной ночи.

Паша встала со стула, поцеловала руку у батюшки и у матушки, которые благословили ее, и отправилась в свою комнату в сопровождении встревоженной матери.

Анисим Аникеевич в глубоком раздумье остался на диване. Несколько времени спустя после того вошла опять Гавриловна.

— Проклятые журналы! — сказала она, входя в комнату.— Если б ты не говорил об этом магатизе или как его зовут, то и Пашенька бы не занемогла...

— Полно браниться, Гавриловна!— отвечал ей муж,— у меня не то на уме! Какова Пашенька?

— Пашенька, слава богу, заснула, только что легла в постель; однако дай же мне договорить.

— Так и нам спать пора,— прервал ее Анисим Аникеевич.— Помолись-ка богу да ложись!

Они пошли в спальню. Степанида Гавриловна давно уже храпела, когда Анисим Аникеевич все еще стоял перед кивотом и клал поклоны Николаю чудотворцу.

Глава II

Анисим Аникеевич Фесюрин родился в Москве. Отец его — хозяин мелочной лавочки в Немецкой слободе — по мере возможности старался дать ему хорошее воспитание и на восьмом еще году начал посылать его в народное училище. Анисим был мальчик смышленый и прилежный, и потому в течение двух или трех лет научился всему, чему в то время можно было научиться в народных училищах; он читал и писал хорошо и знал арифметику до тройного правила. Притом он был добронравен, проворен и деятелен и потому сделался весьма полезным отцу своему, который вверил ему всю счетную часть

по небольшой своей торговле. Заметили даже, что с тех пор, как пригожий, краснощекий Аниска (у которого шелковые кудри, в кружок остриженные, всегда были порядочно вычесаны, лицо и руки умыты, а синий кафтан не замаран ни пухом, ни салом) сделался главным действующим лицом в этой лавочке, число покупщиков значительно умножилось. Все кухарки из соседства брали соленые огурцы и квас охотнее у него, чем у других, а горничные девушки сахар и кофе, у него покупаемый, предпочитали всякому другому. Аниска, так сказать, вошел в моду; а когда впоследствии мягкий пушок пробился на верхней губе его и глаза ярче начали светиться, то число покупщиц от того не уменьшилось: напротив того, многие из соседственных барынь гораздо чаще стали бранить своих девушек за беспрестанное беганье в лавочку. Барыни не подозревали, что причиною всех сих домашних беспорядков был наш Аниска, которого тогда некоторые начинали уже честить Анисимом Аникеевичем.

По улице, где была лавочка Анисима, часто проходил один разносчик, торговавший старыми книгами, и всякий раз заходил в эту лавочку. Анисим всегда был ему рад, потому что разносчик позволял ему перелистывать книги, между тем как сам, расположившись на скамье, лакомился кусочком паюсной икры или балыком. Таким образом в Анисиме возбудилась охота к чтению, и он часто с сожалением помышлял о том, как бы для него приятно было, если б отец его вместо мелочной лавки имел книжную. От прозорливых глаз букиниста не скрылась сия охота Анисима, и он разговорами своими еще более воспламенял воображение молодого лавочника, стараясь переманить его к себе в товарищи. Отец Анисима имел довольно хорошее состояние, и букинисту весьма выгодным казалось найти в Анисиме не только деятельного товарища, но и средства к распространению небольшой своей торговли...



СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Неёлов беспутный!
С ума ты слетел;
От лиры бесструнной
Стихов захотел!
Ты знаешь, повеса,
Что я не поэт,
Ни меры, ни веса
В стихах моих нет;
А тащишь насильно
Меня на Парнас;
И так изобильно
Хлыстовых у нас.
Ах! сам же, бывало,
Я их осуждал;
Над ними немало
Я сам хохотал;
А ныне не смею
Тебе отказать —
Тружуся, потею,
И должен писать!

Продолжение впредь

ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ МОЕМУ N. N., ВОЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Судьба определила
Владеть тебе мечом,
А мне она вручила
Чернильницу с пером.
Ах! Как, мой друг, завидно
Мне, глядя на тебя.
Я признаюсь — обидно
С тобой сравнить себя!
В серебряных ты латах
Летишь, как вихрь, с конем —
А я — сижу в палатах
С обгрызанным пером!
Прекрасную слезами
Насилу тронул я;
Ты — шевельнул усами,
И Хлоя уж твоя!
Но чу! — вдруг отозвался
Вдали оружий звук;
Признаться, испугался
Твой бедный статский друг!
А ты — напрасно Хлоя
Зовет тебя, стеня —
Ты, помня долг героя,
Садишься на коня;
Булатный меч милее
Тебе любви оков.
Спеши, мой друг, скорее,
Лети сразить врагов.
Я вижу, как в мундире,
В лощеных сапогах,
Ты, сидя на мортире,
Врагам вселяешь страх;
Игривый ветр колеблет
На шлеме твой султан,
Твой взор лишь стан объемлет —
Уж весь трепещет стан;
Вот ты уж капитаном,
И вскоре генерал,—
В победе над султаном
Визиря в плен ты взял:
Ты весь засыпан в злате,

Сияет грудь звездой;
А я — сижу в халате,
Любуюся тобой.
Но вот уж час свиданья:
Исчез приятный сон!!
Не вижу звезд сиянья,
Визирь не взят в полон —
И с чем же возвратился
Ты к нам из дальних стран?
Здоровьем истощился —
И опустел карман.
За все сие наградой:
Корнетом без ноги;
Твердишь ты всем с досадой:
Проклятые враги!
И к Хлое поспешивши,
Увы, бедняк узнал,
Что, рог луне отбивши,
Ты сам с рогами стал.
А я — здесь у камина
Счастлив своей судьбой:
Остался хоть без чина,
Но с Лизой и с ногой.

* * *

Абдул визирь
На лбу пузырь
Свой холит и лелеет.
Bayle, геометр,
Взяв термометр,
Пшеницу в поле сеет.

А Бонапарт
С колодой карт
В Россию поспешает.
Садясь в балон,
Он за бостон
Сесть Папу приглашает.

Но Папин сын,
Взяв апельсин,
В нос батюшки швыряет.

А в море кит
На них глядит
И в ноздрях ковыряет.

Тут Магомет,
Надев корсет
И жаждою терзаем,
Воды нагрев,
И к ним подсев,
Их подчивает чаем.

То зря, комар
На самовар
Вскочив, в жару потеет.
Селена тут,
Взяв в руки жгут,
Его по ляжкам греет.

Станища мух,
Скрепя свой дух,
Им хлопает в ладоши,
А Епиктет,
Чтоб минуэт
Плясать, надел калоши.

Министр Пит
В углу сидит
И на гудке играет.
Но входит поп
И, сняв салоп,
Учтиво приседает.

Вольтер старик,
Свой сняв парик,
В нем яицы взбивает,
А Жан Расин,
Как добрый сын,
От жалости рыдает.

СТРАННИК-ПЕВЕЦ

Беспечный певец, углубленный в мечты,
Идет незнакомой дорогой;
Кругом все богатства прелестной весны
Рассыпаны щедро природой.

Как бархатом пышным, поля и луга
И холмы покрыты цветами;
Как в брачную ризу, одеты леса
Цветов ароматных гроздями
И мед златокрылые пьют мотыльки[1],
По ветвям душистым порхая;
И птицы, в веселом восторге, поют,
Подругам приюты сплетая.
По камушкам пестрым игривый ручей
Несет извиваяся воды,
И солнце сияет,— и в блеске лучей
Красуется юность природы!
И странника огнь вдохновенья объял,
Он жизни не чувствует бремя;
И ясные к небу он взоры поднял
И видит — грядущее время!
И юного дух воскриленный Певца
Восторгом священным пылает;
И мысль воспарила к престолу творца,—
И в струны Певец ударяет:
О, слава тебе, всемогущий творец!
Все жизнь от тебя восприяло,
В тебе и ничтожества бездны конец,—
И чистой любови начало.
Любовь оживляет из тленности прах,
Из пепла цветы возрождает;
И в смертном врожденный к бессмертному страх
Святая любовь — побеждает!
И лира умолкла, и голос Певца
С зеленых холмов повторился;
Унылая в сердце спустилась мечта,—
И трепет в груди поселился.
И ветры завыли, и черною мглой
Покрылись небесные своды,
Ручей взволновался, и вихри горой
Вздымают кипящие воды.
И вьюга в изломанных ветвях свистит,
Тяжелые тучи летают,
И гром из небес воспаленных гремит,
И молнии грозно сверкают.
И странник во мраке глубоком идет,
Покрова от бури не зная.

[1] Так в тексте.— *Ред.*

В руках охладевших он лиру несет,
        От бури ее охраняя.

О лира! найдем ли от бури покров?
        Свершитесь, мечтанья, надежды!
Ведите под мирный усталого кров
        Смежить утомленные вежды!
Ах, страшны мне: черный без выхода лес
        И вранов унылые крики —
Иль скрылось навеки светило небес
        И птички умолкли навеки?

* * *

Друг юности моей! Ты требуешь совета?
Ты хочешь, чтобы план я точный начертал,
Как сыну твоему, среди соблазнов света,
Среди невидимых, подводных, острых скал
По морю жизни плыть,— безвредно, безмятежно?
Задача трудная! — мой друг,— в юдоли сей
Для бедствий мы живем,— и горе неизбежно;
Чрезмерно счастлив тот, кто на закате дней
Успел свой ломкий челн спасти от сокрушенья
И твердым якорем на верном грунте стать!
Но сколько есть пловцов, которым нет спасенья,
Которым суждено предвечно — погибать!

К ТИНДАРИДЕ

Горация книга I. Ода IV

Velox amoenum saepe Lucretilem

Нередко быстрый Фавн любезный свой Ликей
На холм приятного Лукретила меняет;
Он резвых коз моих, от пламенных лучей,
    От бурь дождливых охраняет.

Козла угрюмого веселая семья
Там щиплет тимиан, бродя в кустах свободно:
Не страшна ей в траве зеленая змея,
    Ни в хлеве лютый волк голодный.

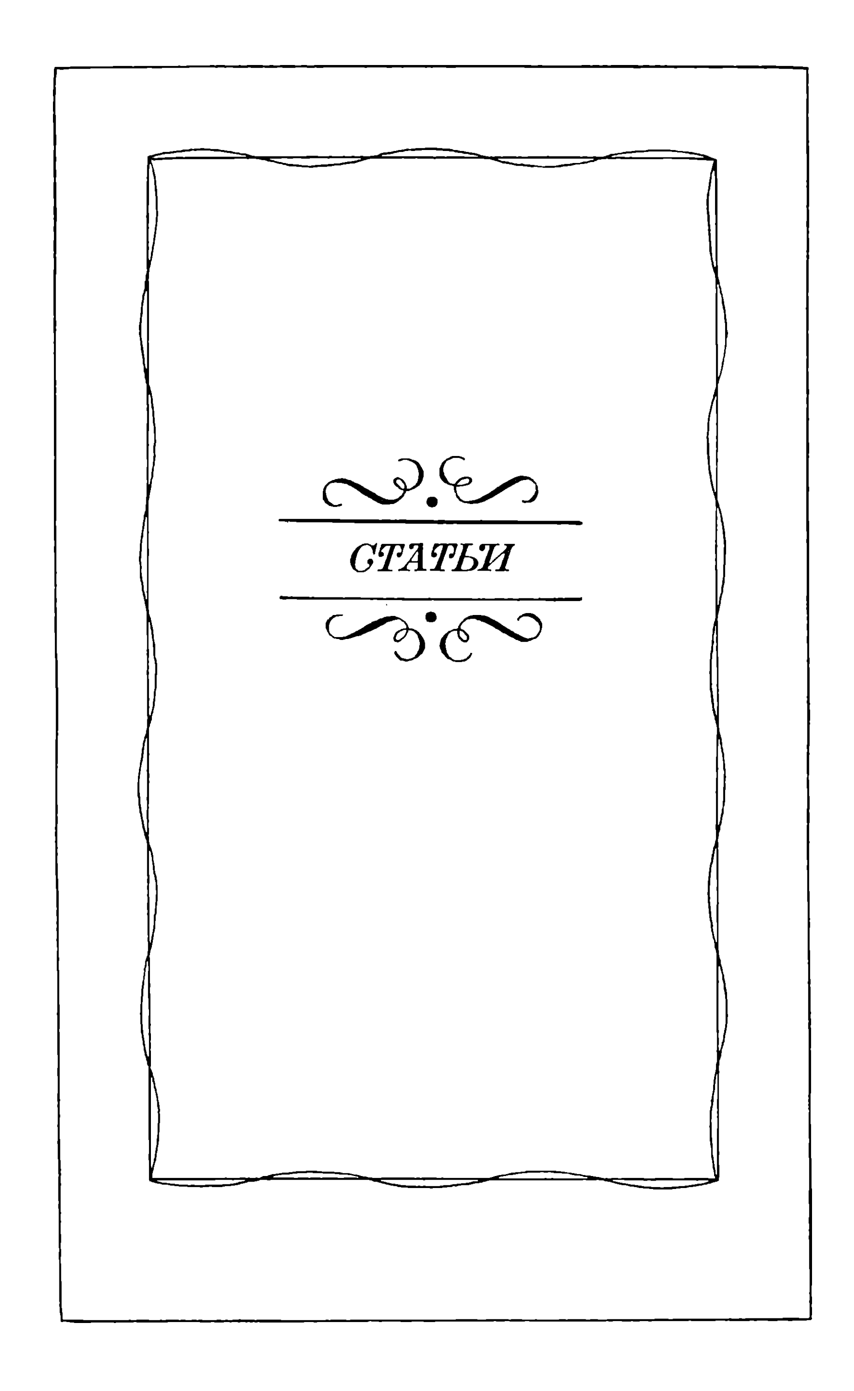
Меж тем в пологостях роскошного леска
Свирели сладкий звук вдоль Устики несется,
И гладких скал крутых касаяся слегка,
    В долинах эхом раздается.

О Тиндарида! Здесь под кровом я богов;
Приятна песнь моя и жертва им убога.
Посыплется тебе тут сельских всех даров
    Богатство из обильна рога!

В уединенной здесь долине ты уйдешь
От зноя Сирия; — и в рощах сей Темпеи
На лире Тейской страсть к Улиссу воспоешь
    И Пенелопы и Цирцеи.

Здесь легкий сок гроздей Лесвийских ты со мной
Из чаши будешь пить под сению прохладной;
Раздора не страшись: здесь с пылким Вакхом в бой
    Арей не вступит кровожадный.

От гнева Кира ты не будешь трепетать:
Не прийдет наглою он злостью воспаленный
В ревнивой ярости с тебя одежду рвать
    И в локоны венок вплетенный!



СТАТЬИ

ЗАМЕЧАНИЯ НА ПИСЬМО К СОЧИНИТЕЛЮ КРИТИКИ НА ПОЭМУ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

(ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ)

Бедный поэт! Не успел он еще отдохнуть от тяжкого нападения г-на В., как является г. N. N. с полною котомкою вопросов, из которых один хитрее другого! Оба господа сии, вероятно, теперь вступят в ученую переписку, и ваш счастливый журнал выбран цирком, на коем происходить будет сей assaut d'esprit![1] Спешим, милостивый государь, поздравить Вас с сею радостью.

Какой свет излиется на российскую словесность из вопросов г-на N. N., из ответов г-на В.! Но, разделяя сию приятную надежду со всеми любителями русского слова, мы, с другой стороны, не можем не пожалеть о сочинителе поэмы, который, при первом почти шаге на Парнас, встречает таких судей! Вопрос за вопросом, удар за ударом — ах, милостивый государь, какой молодой стихотворец может выдержать такой строгий допрос, как мы читали в письме г-на N. N.? Иной подумает, что дело идет не о поэме, а об уголовном преступлении: «Зачем Финн рассказывал свою историю? Зачем Руслан внимал его рассказам? Зачем Руслан присвистывает? Зачем Фарлаф ищет Людмилу? Зачем маленький Карло с большою бородою? Зачем он приходил к Людмиле?

[1] взрыв остроумия (фр.).

Зачем она сорвала с него шапку? Зачем он позволил ей это сделать?» и проч. и проч.

Trop est trop! Et il faut avouez que vous êtes *trop* curieux, monsieur N. N.[1]. (Однажды навсегда просим извинить нас, г. издатель, что мы русское письмо наше приправляем французскими фразами: они и для слуха приятнее, и несравненно выразительнее, например: «Commençons par le commencement[2] гораздо нежнее и звучнее, нежели: *Начнем сначала*).

Но обратимся к делу:

Прочитав со вниманием письмо г-на N. N. (которое, признаться, понравилось нам гораздо более критики г-на В. по той причине, что оно гораздо короче), мы не могли не пожалеть о том, что самого сочинителя поэмы нет теперь в Петербурге. Конечно, никто лучше его не мог бы удовлетворить любопытству вопрошателя, и мы уверены, что он бы не отказал служить г-ну N. N. всеми сведениями, которые нужно ему иметь о героях «Руслана и Людмилы». Почтенный критик обратился с вопросами своими к г. В.,— но будет ли сей последний разрешать оные! Судя по разбору его, напечатанному в четырех книжках вашего журнала, он и сам не мог разгадать, например, почему *добрый* Финн делал *добро* Руслану, тогда когда *злая* Наина ему делала *зло?* (см. № 35, стр. 74). В сем недоумении мы решились принять на себя труд отвечать на вопросы, и если наши ответы покажутся недостаточными, то мы надеемся, что нас извинят ради доброго намерения.

Начнем с первого вопроса: Commençons par le commencement: «Зачем Финн дожидается Руслана?» — Пусть отвечает сам Финн г-ну N. N.:

Уж двадцать лет я здесь один
Во мраке старой жизни вяну;
Но наконец,— *дождался дня*
Давно предвиденного мною. (стр. 18)

Из сего мы видим, что волшебник имел дар предузнавать будущее; итак, он дожидался Руслана потому,

[1] Что слишком, то слишком. И надо признаться, что Вы слишком любопытны, господин N. N. *(фр.)*.

[2] Начнем сначала *(фр.)*

что давно предвидел, что он к нему приедет. Кажется, довольно ясно?

«Зачем Финн рассказывал Руслану свою историю?» — Затем, чтобы Руслан знал, кто он таков: впрочем, старики обыкновенно бывают словоохотны, и гораздо удивительнее бы было, если б Финн не рассказывал своей истории.

«Как может Руслан в таком несчастном положении *с жадностию* внимать рассказам старца?» — И тут нет ничего мудреного. Положение Руслана уже не было несчастное, когда он внимал с жадностию рассказам. Финн ободрил его с самого начала и поселил в него надежду:

Но *зла* промчится *быстрый* миг,
На время рок тебя постиг.
. . . .
Узнай, Руслан, твой оскорбитель
Волшебник, страшный Черномор,
. . . .
Еще ничей в его обитель
Не проникал доныне взор;
Но *ты, злых козней истребитель,*
В нее ты вступишь, *и злодей*
Погибнет от руки твоей. (стр. 18)

Далее (стр. 19):

.......Тебе ужасна
Любовь седого колдуна:
Спокойся — *знай, она напрасна*
И юной деве не страшна и проч.

Что же в том удивительного, что ободренный и успокоенный Руслан с жадностию слушал историю своего благодетеля?

«Зачем Руслан *присвистывает*, отправляясь в путь?» — Дурная привычка, г. N. N.! Больше ничего. Не забудьте пожалуйте, что вы читаете сказку, да к тому ж еще *шуточную* (как весьма остроумно заметил г. В. в своей критике): зачем же Руслану не присвистывать? Может быть, рыцари тогдашнего времени вместо употребляемых ныне английских хлыстиков присвистывали на лошадей? Если б автор сказал, что Руслан просвистал арию из какой-нибудь оперы, то это, конечно, показалось бы странным в его положении, но присвистнуть, право, ему можно позволить!

«Зачем Фарлаф, с своею трусостию, поехал искать Людмилы? Иные скажут: затем, чтоб упасть в грязный ров: et puis on en rit et cela fait toujours plaisir»[1].

Фарлаф поехал искать Людмилу, несмотря на трусость свою, потому, что трусы часто ездят туда же, куда ездят храбрые люди. Таковые примеры совсем не редки. Что же касается до bon mot[2] насчет грязного рва, то надобно отдать ему справедливость: оно довольно остро!

«Справедливо ли сравнение (стр. 43), которое вы так хвалите? Случалось ли вам это видеть?» — Сравнение точно справедливо, г. N. N., и г. В. не напрасно его хвалит: оно нравится весьма многим. Случалось ли г-ну В. *это* видеть? — Не знаем, милостивый государь! Такие редкости не всякому удастся видеть. Сочинитель поэмы говорит (стр. 43):

С порога хижины моей
Так видел я, средь летних дней,
Когда за курицей трусливой и пр.

Предоставляем самому г. В. отвечать на сей вопрос, который не касается до русской словесности. И в самом деле, какая до того нужда ученому свету, случалось ли г-ну В. видеть, как петухи бегают за курицами? Это вопрос совсем партикулярный.

«Зачем маленький Карло с большою бородою приходил к Людмиле?» — Ceci est bien méchant, Mr. N. N.[3] Мы, простодушные люди, полагаем, что он приходил к Людмиле из одной только учтивости: она жила у него, и он, как хозяин дома, за нужное счел сделать ей визит. Впрочем, может быть, он и другие намерения имел, но — не надобно судить о ближнем слишком строго.

«Как Людмиле пришла в голову странная мысль схватить с колдуна шапку? (впрочем, в испуге чего не наделаешь!)» — Так точно, г. N. N.! Другой причины не было, и нам очень приятно видеть, что вы сами собою успели разрешить сей важный вопрос!

---

[1] и, кроме того, это смешно, что всегда доставляет удовольствие *(фр.)*.

[2] острота *(фр.)*.

[3] Это зло, господин N. N.! *(фр.)*

«Как колдун позволил Людмиле *это* сделать?» — Вы ошибаетесь, г. критик! Колдун не позволил ей *это* сделать. Прочитайте опять со вниманием поэму, и вы увидите сами, что она *это* сделала без позволения.

«Каким образом Руслан бросил Рогдая, как ребенка, в воду?» — Здесь ответ не затруднителен. Читайте Пушкина:

Они схватились на конях

. . . .

Их члены злобой съединенны;
Объяты, молча, костенеют;
По жилам быстрый огнь бежит;
На вражьей груди грудь дрожит —
И вот — колеблются, слабеют —
Кому-то пасть... вдруг *витязь мой,*
Вскипев, железною рукой
С седла наездника срывает,
Подъемлет, держит над собой
И в волны с берега бросает.

Какого еще требуете толкования?

Есть еще много вопросов в письме г. N. N. столь же важных, но, желая разделить с г. В. благодарность читателей, мы предоставляем ему удовольствие отвечать на оные. Мы уверены, что он исполнит сию приятную обязанность — как нельзя лучше! Один только из сих вопросов, может быть, затруднит его — и в самом деле трудно догадаться:

«Зачем Карло не вылез из котомки убитого Руслана?» — И нам сие сначала показалось весьма странным; но в последствии времени мы узнали от достоверных особ, что Карло не вылез из котомки затем, что он никак *не мог* вылезть. Руслан прежде смерти крепко-накрепко затянул котомку ремнем, оставив небольшое отверстие, чрез которое Карло мог просовывать одну только голову. Мы весьма рады, что судьба доставила нам случай узнать о сем важном обстоятельстве, и долгом считаем довести оное до всеобщего сведения.

В заключение: благодарим г. N. N. за то, что вопросами своими он подал повод к объяснению некоторых темных мест в поэме.

Село Хмарино *К. Григорий Б — в.*

ЗАМЕЧАНИЯ НА РАЗБОР ПОЭМЫ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», НАПЕЧАТАННЫЙ В 34, 35, 36 И 37 КНИЖКАХ «СЫНА ОТЕЧЕСТВА»

(ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ)

Прекрасная поэма, коею мастерское перо Пушкина обогатило словесность нашу, дала повод к пространному разбору оной в издаваемом вами журнале. Хотя снисхождение, заставившее вас напечатать сие плодовитое сочинение, дает нам право думать, что вы, милостивый государь, движимы были некоторым пристрастием к неизвестному нам критику, но надежда на справедливость вашу рождает в нас твердое уверение, что вы не откажетесь принять и наши замечания. Писав оные, мы не имели иной цели, кроме желания показать, что решительный тон, который позволяют себе иногда гг. критики, нимало не доказывает познаний их в тех предметах, кои они берутся разбирать. Поэма Пушкина, конечно, свыше критики г. В., и мы бы не обратили никакого на оную внимания, если б не опасались, что учительский вид, им на себя взятый, может привесть в заблуждение некоторых читателей вашего журнала. Люди, одаренные слишком нужливою совестью, могут, упираясь на остроумное изречение г. В., подумать, что стихи Пушкина в самом деле *грешные;* другие опасаться будут, что нежный слух их потерпит от рифм, кои примерная учтивость г. Разбирателя назвала *мужицкими;* зачем же, милостивый государь, и тех, и других лишить удовольствия читать превосходное сочинение?

Но, не имея плодовитости г. В. и желая, чтоб замечания наши поместиться могли не в 4-х, а в одной книжке «Сына отечества», мы спешим приступить к делу.

Большая часть разбора состоит из переложения в скучную прозу прекрасных стихов Пушкина. От времени до времени являются рассуждения и сентенции, которые либо ничего не значат, либо совершенно ложны. Из уважения к терпению читателей мы быстро пробежим 34, 35 и 36 номера и немного долее остановимся на 37-м, где автор разбора, представляя нам, так сказать, в экстракте мнимые ошибки Пушкина, наиболее обнаруживает, что он взялся за такое дело, которого совсем не понимает.

С самого начала (№ 34, стр. 12) г. В., желая доказать нам, что поэмы должны быть писаны в стихах, говорит:

«Хорошие судьи полагают, что прозаическая поэма есть противоречие в словах, чудовищное произведение в искусстве».

Если г. В. считает себя в числе сих хороших судей, то мы заметим ему, что он, вероятно, не знает различия между прозаическою поэмою и поэмою, писанною в прозе. Не стихи составляют отличительный характер поэзии. Например, в поэме «Марфа-посадница», писанной в прозе, несравненно более поэзии, нежели в поэме «Искусства и науки», писанной в стихах.

На стр. 15 г. критик говорит: «Поэма «Руслан и Людмила» не эпическая, не *описательная* и не дидактическая. Какая же она? — *богатырская:* в ней описываются богатыри; *волшебная:* в ней действуют волшебники, *шуточная,* что доказывается следующими многочисленными выписками» (следуют выписки на $2^1/_2$ страницах). «Ныне,— продолжает г. В.,— сей род поэзии называется *романтическим».*

Следовательно, смесь богатырского, волшебного и шуточного составляет романтическое! Прекрасная дефиниция! Неужели не случалось никогда г. В. читать творения так называемые романтические, в коих не было ничего ни волшебного, ни богатырского, ни шуточного? Советуем ему прочитать лорда Бейрона, признанного первым сочинителем в сем роде: там он найдет многое, где нет ничего ни волшебного, ни шуточного, ни богатырского. Желательно бы было также знать, почему г. В. к трем определениям своим не прибавил еще четвертого: *описательная,* потому что в ней описываются богатыри, волшебники, сражения, сады и проч.

Где же тут логика?

Еще вопрошаем г. критика: почему он счел за нужное третье определение свое, что поэма *шуточная,* подкрепить выписками на двух с половиною страницах, тогда, когда при первых двух определениях он полагал, что довольно одного его слова, *без* выписок? Где же опять логика? И не значит ли это тратить бумагу по пустому?

Обращаемся к № 35, стр. 66.

«В поэме Пушкина действуют: благодетельный Финн, *которого имени, не знаю почему, сочинитель не объявил нам,* злой колдун Черномор, голова Черноморова брата и злая волшебница Наина. Характеры их хорошо на-

рисованы, и в продолжение шести песен постоянно и ровно выдержаны».

Легкий упрек г. В. за то, что Пушкин не объявил имени волшебника Финна, доказывает тонкую разборчивость критика. В самом деле жаль, что любопытство его остается неудовлетворенным; просим убедительно Пушкина во втором издании исправить сию важную ошибку! Но мы надеемся, что г. В. из благодарности согласится удовлетворить и нас. Мы, например, весьма любопытны знать: какой характер он нашел в голове Черноморова брата, выдержанный, по его словам, постоянно и ровно в продолжение шести песен?

Далее: стр. 74. «Немаловажною погрешностию в чудесном почитаю то, что автор не объявил нам причины, заставляющей волшебника Финна благодетельствовать русскому витязю, а волшебницу Наину ненавидеть и гнать его».

Сожалеем, что никак не можем согласиться считать сие погрешностию. Уверяем г. В., что, читая поэму Пушкина, мы без большого напряжения ума догадались: что Финн благодетельствует Руслану потому, что он добрый волшебник, а Наина его ненавидит потому, что она злая колдунья. Во всех почти сего рода повестях действуют добрые и злые волшебники, из которых первые защищают героя от гонений последних. Сверх того, ненависть Наины к Руслану объясняется злобою ее на Финна:

Уже зовет меня могила:
Но чувства прежние свои
Еще старушка не забыла,
И пламя позднее любви
С досады в злобу превратила.
Душою черной зло любя,
Колдунья старая конечно
Возненавидит и тебя, и проч.

Чем же виноват Пушкин, что г. В. и тут еще не догадался, зачем Наина гонит Руслана? Если б молодой поэт наш писал для одного только г. Разбирателя, то, конечно, надлежало бы ему применяться к *его* понятливости, но так как поэма писана не для него одного, то Пушкину

позволено было надеяться, что большая часть его читателей будет догадливее г. В.

Г. критик, доказав в сем случае довольно ясно свою недогадливость, зато далее недостаток сей вознаграждает с лихвою. Suum cuique![1]

«Характер Рогдая,— говорит он (№ 36, стр. 97),— изображен смелою кистью Орловского, мрачными красками Корреджия:

...Угрюм, молчит — ни слова,
Страшась неведомой судьбы
И мучась ревностью напрасной,
Всех больше беспокоен он;
И часто взор его ужасный
на князя мрачно устремлен.

Прочитав сии стихи, мы с *ужасом* видим пред собою одного из тех *хладнокровных воинов-убийц*, которые не умеют прощать, для которых *кровопролитие есть забава, а слезы несчастных — пища»*.

Удивляемся пылкому воображению г. В.! Из взоров Рогдая, мучимого ревностью, мрачно устремленных на князя, он заключает с ужасом, что он из тех хладнокровных воинов-убийц, которые не умеют прощать и проч.

Объясните нам, г. В., отчего произошла у вас такая ненависть к сему несчастному? Красноречивое описание того, что вы *с ужасом видите пред собою*, помышляя о Рогдае, гораздо б приличнее было, говоря о Фарлафе, который хладнокровно убил спящего Руслана, тогда, когда Рогдай сражался с счастливым соперником своим честным образом. Кто дал вам право так строго судить о Рогдае, которого, вероятно, сам Пушкин не считал таким кровопийцею, каковым он представляется в ваших очах?

На стр. 105 того же № робкое целомудрие г. В. строго вооружается против некоторых шуточных эпизодов Пушкина. Эпизоды сии, конечно, напоминают нам, что пламенный гений юного поэта не освободился еще от пылких страстей, впрочем, весьма извинительных в его лета, но положим, что девственный слух г. В. справедливо оскорбился описанием приключений Ратмира

[1] Каждому свое! *(лат.)*

в замке, все не надлежало ему упускать из виду, что самая строгая нравственность не исключает учтивости, и что можно быть или казаться Катоном, не быв притом невежливым. Называть стихи Пушкина *площадными шутками,* значит не иметь понятия о достоинстве критика.

Наконец, добрались мы до № 37.

«Обращения или прологи Пушкина,— говорит г. В. (стр. 146),— не совсем счастливы: он хотел быть в них забавным, блистать остротою ума и вместо того *почти везде* остроты его натянуты, плоски».

Почти везде, г. критик? Как милостиво! Что, если докажем вам, что острота, коею *вы* блистать хотели, *везде* плоска? Желали бы мы привесть вам на память известную истину: что часто в глазе ближнего мы видим былинку, когда в собственном глазе не видим бревна; но опасаемся, чтоб вы не назвали сию истину *общею и сто раз сказанною и пересказанною мыслию!* (см. № 37, стр. 147).

«В полной уверенности,— продолжает г. В.,— что автор исправит их при втором издании, заметим здесь маленькие погрешности против языка».

Не знаем, на чем основывает г. критик *полную* свою *уверенность,* но надеемся, что Пушкин не слепо доверять будет его замечаниям. В доказательство неосновательности оных приведем в пример следующие:

> Вот под горой *путем широким*
> *Широкий пересекся путь.*

«Мы говорим: зимний путь, летний путь, но пересекается дорога другою дорогою, а не путем».

Признаемся откровенно, что до сих пор мы не знали сего тонкого различия. Нам кажется, что путь и дорога все равно; говорится: зимний путь, летний путь, зимняя дорога, летняя дорога. В военной терминологии даже принято выражение: *покрытый путь,* а покрытая дорога не употребляется.

> Трепеща, хладною рукой
> Он вопрошает мрак немой.

«*Вопрошать мрак немой* — смело до непонятности, и если допустить сие выражение, то можно будет на-

писать: *говорящий мрак, болтающий мрак, болтун мрак; спорящий мрак, мрак, делающий неблагопристойные вопросы и, не краснея, на них отвечающий: жалкий, пагубный мрак!»*

Как остро, г. В.! Какое богатство в мыслях и какая убедительная логика в доказательствах! Вы не допускаете выражения: *мрак немой,* потому что не можно написать: *мрак болтающий.* По сему правилу нельзя будет сказать: монумент *стоит* на площади, потому что нельзя сказать: монумент *прыгает* на площади!

С ужасным пламенным челом.

«То есть *с красным, вишневым лбом»*.
Как это плоско, г. В.!

И пламень роковой.

«Растолкуйте мне, что это за пламень? Уж не брат ли он *дикому* пламени?»

Какая натянутая острота, г. В.! Желательно знать, почему вам не нравится роковой пламень? Роковым назвать можно каждый предмет, который служит орудием року.— Роковой меч, роковой удар, роковой пламень, роковой час и пр.

Могильным голосом.

«К стыду моему, должен признаться, что *я не постигаю,* что такое могильный, гробовой голос: не голос ли это какого-нибудь неизвестного нам музыкального орудия?»

Признайтесь, г. критик, что вы воображаете, что сказали тут весьма острое словцо? Крайне ошибаетесь, г. В.: оно и плоско, и натянуто, и жалко! Что же касается до того, что вы *не постигаете*, что такое могильный голос, то, между нами будь сказано, вы, видно, многого еще не постигаете: могильный голос значит: голос, который кажется выходящим из могилы, по-немецки Grabes-stimme, по-французски — voix sepulcrale.

От ужаса зажмуря очи.

«Славянское слово *очи* высоко для простонародного русского глагола *жмуриться.* Лучше бы автору *зажмурить глаза»*.

И эта шутка не из последних! Но в простонародном русском языке слово *очи* так же употребительно, как слово *глаза,* следовательно, и шутка не у места, и привязка совершенно пустая.

Со вздохом витязь благодарный
Объемлет *старца-колдуна.*

«Под словом *колдун* подразумевается понятие о старости, и слово *старец* в сем стихе совершенно лишнее».

Полно, так ли, г. В.? Колдун может быть и старый, и молодой, и средних лет; не знаем, на чем вы основываете мнение ваше о колдунах.

Копье, кольчугу, шлем, *перчатки.*

«Полно, существовали ли тогда рыцарские перчатки? Помнится, что еще нет».

Эй, г. В.! Так вы, видно, не только ученый критик, но и искусный антикварий? Вам помнится, что перчатки тогда еще не *существовали?* — Обяжите нас, объяснив, когда именно они *начали существовать,* если вам о том помнится.

Все утро *сладко* продремав.—

«Не опечатка ли это? Надобно бы сказать: все утро продремав».

Уж этого-то никак не понимаем! Почему же нельзя сладко дремать? Правда, вы тотчас найдетесь; вы скажете, что если допустить выражение *сладко* дремать, то можно будет написать *кисло* дремать (см. выше: немой мрак, болтающий мрак). Позвольте вам на сие отвечать, что мы из опыту знаем, что выражение сие справедливо: ибо, читая ваш разбор, мы несколько раз принимались дремать и, *помнится*, довольно *сладко.*

Объехав голову кругом,
Щекотит ноздри копием и проч.

«Мужицкие рифмы!»

Человек, менее вас образованный, назвал бы их просто *бедными.* Что значит «мужицкие рифмы»? Следуя собственному примеру вашему, имеем право спросить: разве бывают мещанские рифмы, поповские рифмы, дворянские рифмы, купеческие рифмы? — и проч.

Дикий пламень.

«Скоро мы станем писать: ручной пламень, ласковый, вежливый пламень».

Не знаем, *что* вы скоро станете писать, но не можем не заметить вам, г. изобретатель термина *мужицкие рифмы,* что вы благоразумнее бы поступили, оставив в покое *дикий пламень.*

Уста дрожащие открыты,
Огромны зубы стеснены.

«Или открыты и уста, и зубы, или уста закрыты, а зубы стиснуты».

Вот это новое! Желательно бы знать, какое препятствие г. В. находит в том, чтоб открыть уста, когда зубы стиснуты? Вообще заметить должно, что понятия г. критика о наружных и внутренних действиях тела человеческого довольно необыкновенны. Так, например, в № 36, стр. 108, упоминая о стихе Пушкина:

Сердца их гневом стеснены

г. В. утверждает, что гнев не *стесняет, а расширяет* сердце! Советуем Пушкину не писать стихов, не изучившись прежде анатомии у г. В.

Вот мнение наше о разборе «Руслана и Людмилы»! Отдавая полную справедливость отличному дарованию Пушкина, сего юного гиганта в словесности нашей, мы, однако, уверены, что основательный разбор его поэмы,

поясненный светом истинной критики, был бы полезен и занимателен. Мы желаем только, чтобы труд сей на себя принял писатель опытнее, ученее и учтивее г-на В.!

Павловск
1820 сентября 15 дня

П. К.— в.

ОТВЕТ НА СКРОМНЫЙ ОТВЕТ Г-НА М. К-ВА

Я читал ответ, который вам, милостивый государь, угодно называть *скромным,*[1] но *скромного* в нем ничего не нашел. Покорнейше прошу за то на меня не гневаться, я говорю это не в *осуждение* вам, а только в *предосторожность.* Откровенно признаюсь, что я сначала намерен был оставить без ответа скромную вылазку вашу на мою антикритику, но вы обнаружили свету, кто сочинитель разбора «Руслана и Людмилы», и тем поставили меня в необходимость оправдаться пред читателями С<ына> о<течества> в непростительной смелости: быть противных мыслей с членом Российской Академии, с ординарным профессором, с доктором философии, с сочинителем речей, посланий и сатир и пр. и пр. и пр. (смотри продолжение титлов и сочинений № 43-й стр. 113-я и 114-я).

Начну с того, что, не обязан будучи знать, что мистическая буква *В,* поставленная в конце разбора поэмы, заключает в себе такое множество ученых титлов, я не мог догадаться, кто сочинил сей разбор. Даже и теперь, по прочтении вашего скромного ответа, и теперь я бы сомневался в сей неожиданной новости, если б не *вы,* милостивый государь, приняли труд меня наставить на истинный путь. Итак, сочинитель разбора есть тот самый писатель, который перевел «Енеиду» с *латинского,* проповеди с *немецкого* и *«Век Людовика XIV»* с *французского.* Смотрите пожалуйте, как легко можно обмануться! Кто бы это подумал! Я, по крайней мере, судя по плоским шуткам, по странным и неосновательным привязкам, по

[1] Здесь и далее курсивом выделены цитаты из «Скромного ответа на нескромное замечание г. К-ва».

неучтивым нападкам, полагал, что разбор ее сочинен каким-нибудь новичком, которому за долг счел пожелать более опытности, учености и учтивости! Приношу повинную голову в сей неумышленной ошибке, но, удовлетворив таким образом искреннему желанию моему снискать великодушное прощение почтеннейшего г-на В., да позволено мне будет побеседовать немного с скромным защитником его.

Какая непонятная причина побудила вас, милостивый государь, обороняться от моей антикритики учеными дипломами г-на В.? Удивляюсь памяти вашей, украшенной столь завидными сведениями о всех ученых званиях вашего клиента, но какую связь имеют они с разбором? Если б г-н В. получил оные за сочинение сего разбора, то *дело ваше*, конечно, было бы *в шляпе*, вы бы тогда имели право сказать: неприлично *многоученому остроумцу-замечателю* критиковать то, что одобрено столь многими учеными сословиями, и я спорить бы с вами не стал. Но будем откровенны друг против друга, милостивый государь! Неужели думаете вы, что какое бы то ни было ученое общество согласилось бы сделать г. В. сочленом своим, если б он не имел иных заслуг, кроме упомянутого разбора? Весь ответ ваш, милостивый государь, основан на правилах столь же ничтожных. Что нам за дело до того, что рецензент при сочинении рецензии руководствовался иностранными журналами и Лагарпом, когда он не умел или не хотел подражать им в том, что достойно подражания. Чем же похож разбор г-на В. на рецензии, которые читали вы в «Mercure de Francé», «Allgemeine Literatur Zeitung», «Cours de Littérature» de La Harpe и проч.? Плодовитостью!!! Пространные разборы Лагарпа, милостивый государь, не тем хороши, что они пространны,— рецензии не аршинами меряются и не на весах взвешиваются, а должны иметь другие достоинства.

Спрашиваю вас, в котором из иностранных или отечественных журналов г. В. нашел, что бедные рифмы надлежит называть мужицкими, что роковой пламень *брат* дикому пламеню, что колдуны всегда бывают старые, что нельзя *сладко* дремать и проч. и проч. Из какого образца он почерпнул логический довод: что нельзя сказать мрак *немой, потому* что нельзя сказать мрак *болтающий?* Сии-то ошибки вам надлежало бы оправдать, скромный мой соперник, вместо рассуждений о моих

пороках и добродетелях, кои ни до литературы, ни до вас не касаются и по сей причине не заслуживают ответа.

Напрасно вы берете на себя труд перелаживать по-своему цель, которую я имел при напечатании моей антикритики. Мне никогда не приходило на мысль досадовать на рецензента за то, что он не признал стихотворение Пушкина *непогрешительным*. Я и сам не признаю его поэму безошибочною. Погрешности найти можно в писателях, которые гораздо известнее Пушкина, но разница состоит в том, что те ошибки, которые думал найти г-н В., по мнению моему и многих других, совсем не существуют. Смею утверждать даже, что увенчанный, первоклассный писатель, на свидетельство которого вы упирались, не мог одобрить разбора г-на В. в отношении к логике, к остроте и к вежливости. И я не менее «Невского зрителя» сожалею о том, что картины Пушкина слишком чувственны, но никто до г-н<а> В. не позволял себе называть их *площадными шутками*. Вот, милостивый государь, в чем состоит моя претензия на г-на В., она весьма ясно изложена в моих замечаниях (стр. 79). Из чего же вы взяли, что я желаю, чтобы кто-нибудь, разбирая поэму Пушкина, назвал ее *училищем нравственности?* Богатая мысль сия принадлежит вам одним, государь мой, она есть ваша собственность, и я никакого не имею на нее права.

Вы, обещавшись шаг за шагом идти за антикритикою, пропустили весьма много статей моих, вероятно потому что никакого дельного возражения не могли придумать. Изгибистое защищение новоизобретенного термина *мужицкие рифмы* нимало не оправдывает оного. Если слово *копиём* заслуживает, по вашему мнению, эпитет *грубого*, то какое название надлежит дать термину *мужицкие* рифмы, который, кроме грубости, заключает в себе совершенную бессмыслицу?

Я читал и перечитывал параграф VI ответа вашего и нимало не убедился в основательности ваших доводов. Г. В. сделал следующее *логическое* (!!) предложение. Наш молодой поэт поступил очень хорошо, написав сию богатырскую повесть *стихами*, и предпочел идти по следам Ариосто и Виланда, а *не Флориана*. Хорошие судьи, истинные знатоки изящного не одобряют такого рода творений *в прозе, ибо прозаическая поэма есть противоречие в словах, чудовищное произведение в искусстве.*

Воля ваша, милостивый государь, а я опять повторяю то, что сказал в замечаниях. Вероятно, г. В. не знает различия между *прозаическою поэмою* и *поэмою, писанною в прозе.*

Если хорошие судьи не одобряют поэм, писанных в прозе, то конечно не *потому, что прозаическая поэма* есть чудовищное произведение в искусстве — в сем, по мнению вашему, *логическом* предложении нет ни логики, ниже́ смысла.

В параграфе XV вы утверждаете, что стихи:

Убью... преграды все разрушу

. . . .

Теперь-то девица поплачет

оправдывают негодование г-на В. на Рогдая. Пусть так, милостивый государь! но прошу вас прочитать опять сей разбор, вы увидите, что г. В. не из сих стихов заключил, что *кровопролития* для Рогдая забава и *слезы невинных пища.* Почтенный разбиратель изъясняется именно сими словами. «Характер Рогдая изображен смелою кистью Орловского, *мрачными красками Корреджия:*

Угрюм, молчит — ни слова...
Стра<шась неведомой судьбы
И мучась ревностью напрасной,
Всех больше беспокоен он;
И часто взор его ужасный
На князя мрачно устремлен>.

Прочитав сей стих, <мы с ужасом видим перед собою одного из тех хладнокровных воинов-убийц, которые не умеют прощать, для которых кровопролитие есть забава, а слезы несчастных — пища>.»

Ссылаюсь на беспристрастных читателей: справедливо ли я заметил, что в стихах сих видна одна ревность? Тут нет еще ни злодейства, ни кровопролития, ни прочих ужасов, которые пылкое воображение г-н<а> В. *видит перед собою.* Стих же:

Убью... преграды все разрушу

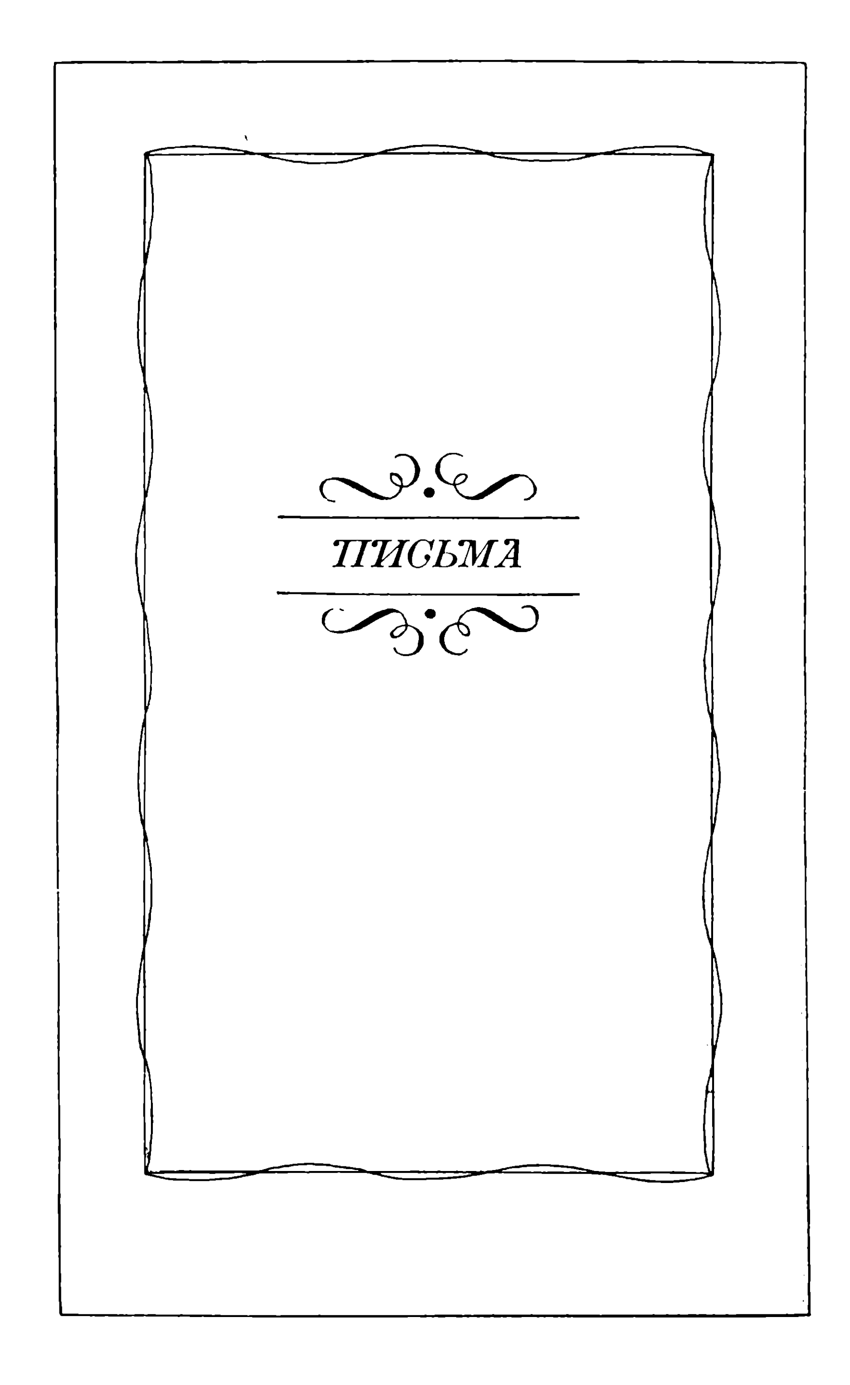
является в поэме Пушкина ровно 17 страниц после тех стихов, которые столь безвинно внушают ужас г-ну разбирателю. При сем случае не могу не упомянуть еще об одном обстоятельстве, которое я пропустил в своих замечаниях. Желательно знать, из каких иностранных журналов г. В. извлек определение, что Корреджио писал *мрачными красками?* Признаюсь, что впервые слышу о сем важном открытии! Как! Желая похвалить Пушкина за удачное описание *воина-убийцы, хладнокровного злодея,* г. В. сравнивает описание сие с картинами Корреджия! — Корреджия, которого одушевленная кисть оставила нам памятники, дышащие негою, легкостию и приятством, того Корреджия, прозванного живописцем граций! Вероятно, г. В. слышал о знаменитой картине, известной под названием *Ночь Корреджия,* но он не знает, что картина сия ни с какой стороны не может быть названа мрачною: она, напротив, изображает радостнейшее событие для всего человеческого рода; она отличается именно чудесным расположением света! Художники настоящего и времян будущих, если (от чего да избавит вас бог) дойдет до вас разбор г-на В., не дерзайте смеяться над неудачным сим сравнением; вам представят длинную опись всех его титлов, сочинений и переводов — и вы будете виноваты.

Остается теперь, скромный защитник вежливого разбирателя, поговорить с вами о неучтивостях, которые столь строго на мне вы взыскиваете, тогда когда в г-не В. они вам кажутся приятны. Дружба, милостивый государь, есть чувство достойное уважения, я уважаю чувство сие и в вас, но не могу не заметить, что оно делает вас слишком пристрастным. Неужели, не шутя, вы требуете, чтоб я неловкие шутки г-на В. принимал за острые слова! Неужели вы думаете, что дипломы вашего друга дают ему право говорить нелепости, которые тем непростительнее, что они истекают из пера ординарного профессора и доктора философии и пр. и пр. Примите, милостивый государь, в заключение сего последнего *письменного* ответа откровенное изложение мыслей моих о поэме Пушкина и о разборе оной.

Я уважаю талант юного поэта нашего (с которым *я почти незнаком лично).* Я думаю, что никто еще из наших соотечественников в *таких* молодых летах не подавал *такой* надежды на будущее время, как он.

Потому-то весьма бы было полезно для Пушкина и занимательно для читателей его, если б нашелся критик, который, устранясь от самолюбия, не выдавал бы плоские свои насмешки за остроумные изречения, неосновательные суждения за логические доводы и ученые дипломы за привилегии быть невежливым!

Впрочем, долгом считаю объявить, что личности я не имею никакой ни против г-на В., ни даже против вас!



ПИСЬМА

П. А. Вяземскому
19 января 1810 г. Москва

19-го генваря 1809 г.

Что тебе сказать, милый князь? После долговременного и неприятнейшего путешествия я наконец в тяжелой своей коляске, которую по дороге тысячу раз проклинал, вчерась поутру прибыл в Москву и желал тебе с поспешною почтою дать известие о твоих — через несколько часов после моего приезда отправился к Карамзиным.— Николая Михайловича я не видал, потому что он после кончины княгини сделался очень, очень нездоров. Катерина Андреевна сказала, что он был болен горячкой и что только третий день, как он вне опасности, а то доктора отчаивались в его выздоровлении. Теперь, слава бога, вся опасность миновалась, и Катерина Андреевна начинает свободно дышать. Князь Алексей Григорьевич еще здесь в Москве, он в большой горести и как скоро опомнится, думает отправиться в армию. Вот все, что я до сих пор знаю. Жуковского я еще не видал и кроме Карамзиных ни у кого не был.

В сию минуту я получил письмо от князя Алексея Григорьевича, который просит меня побывать у него. Готовься, милый князь, слышать еще одну неприятную новость: отец князя Алексея Григорьевича вчера поутру скончался. Не знаю никаких подробностей еще ни о чем, потому никого не видал, а почта здесь уходит весьма рано и для того ничего более к тебе и не пишу.

Катер<ина> Андр<еевна> хотела сегодня к тебе писать и верно лучше моего тебе все перескажет. Между тем, мой друг, будь спокоен, судьба кажется довольно уже над тобою потешилась и, верно, на долгое время тебя оставит в покое. На сие письмо мне не отвечай. Я сам скоро думаю выехать. Петру Алексеевичу и Елизавете Семеновне мое всенижайшее почтение. Я для того к ним сам не пишу, что еще не имел времени исполнить ни одной их комиссии, не успел даже видаться с Иваном Алексеевичем. Новостей политических никаких нет, кроме той, что 17-го генваря был новый выбор министров, но еще не знают, чем кончилось. Прощай, целую тебя в мыслях, искренно тебе приверженный.

А. Перовский

П. А. Вяземскому
26 января 1810 г. Москва

Москва 26-го генваря 1810 г.

Видно, милый мой князь, никому из нас не быть без беды. Я жалел и жалею о тебе, пожалей же и ты обо мне. Из последнего моего письма, которое ты, конечно, получил, ты видел, что я сбирался ехать к вам как можно скорее, исполнив в точности все мне порученное. Я, так сказать, уже одною ногою стоял в кибитке, как вдруг весь дом наш превратился в настоящий лазарет. Граф опять занемог, матушка очень, очень больна подагрою во всем теле, так что малейшее движение такую ей причиняет боль, что она беспрестанно падает в обморок. Три сестры нездоровы простудою и лежат в постелях, а четвертая готовится лечь. При всем том я, как скоро матушке будет легче, непременно отправлюсь к вам — может быть, я вместе с сим письмом, может быть, даже прежде еще буду к вам, но из предосторожности посылаю все мне препорученные письма чрез почту.

Теперь стану говорить тебе о том, что тебя более интересует: все твои, слава богу, здоровы. Карамзин совсем уже вне опасности, ходит по комнате. Катерина Андреевна здорова, князь Алексей Григорьевич также; из письма его, которое я должен был тебе отдать лично,

увидишь ты, что он очень желает тебя видеть, если ты не решишься ехать в Москву, то он хочет приехать к тебе в Нижний и даже в Казань. Карамзины на этих днях переезжают в Кушникова дом, что на Никитской. Жуковский никак не хотел решиться ехать, прилагаю при сем его к тебе письмо. Князь Андрей Петрович также к тебе пишет. Катерина Андреевна также. Мне, право, так совестно, милый князь, что я не сам тебе все сии письма отдаю. Я обещался всем твоим родным непременно ехать вчерась вечеру, но что ж делать! l'homme propose et Dieu dispose[1]: не мы располагаем судьбою, а судьба нами. Новостей никаких тебе сказать не могу, две петербургские почты ничего нового не сказали. Димитриев, министр юстиции, живет в доме, который занимал князь Лопухин, и получает 27 000 р. жалованья. Князь — президентом гражданского департамента в Совете. Неизвестно еще, какие будут новые министры. 17-го числа, говорят, был выбор оных, но с сегодняшнею почтою мы ничего верного не узнали. Говорят здесь в городе, что учереждены разные Сенаты, что будет Сенат Казанский, Сенат Киевский и проч., но это еще не верно. На этих днях скончался князь Иван Сергеевич Гагарин. Вяземский князь Иван Григорьевич, брат графини Разумовской, болен при смерти в Курске, и она к нему вчерась послала доктора на перекладных. Все касающиеся до Петра Алексеевича и Елизаветы Семеновны, слава богу, здоровы, я два раза был у Марьи Крестьяновны, она совсем была бы здорова, если бы рука ей позволяла выезжать, впрочем, она прогуливается в комнате. Я везу Петру Алексеевичу табак, клеонку, меленькие бумажки и диплом на звание почетного члена императорского общества испытателей природы, которое на сих днях его избрало. Все московские приятели единогласно желают скорого его сюда возвращения. Сколько вопросов, сколько рассказов! Все это расскажу лично. Надеюсь, друг мой, что ты по получении письма князь Алексея Григорьевича, если расположен будешь ехать в Москву не тотчас, взбудоражишься, и что я тебя еще застану, потому что чрез два дни непременно выеду, это дальнейший мой срок. А может быть выеду и завтрашнего дня. Прощай, милый мой князь,— поверь, что я искренно и неложно к тебе привязан и что от всего сердца желаю тебе благо-

[1] Человек предполагает, а бог располагает *(фр.)*.

получия. Нижайшее мое почтение Петру Алексеевичу и Елизавете Семеновне. Сушкову дружеский поклон. Деньги ты, я чай, получил. Князь Андрей Петрович сказал мне, что они к тебе отосланы. Ты себе представить не можешь, сколько здесь везде больных, все от праздников, даваемых при императоре. Князь Николай Алексеевич Голицын также умер.— Прощай, милый и любезный князь. Не знаю, где письмо мое вас застанет, признаюсь, что мне очень, очень завидно, что ты несколько дней более моего пробыл в Казани, а может быть и теперь еще вы там! а я здесь в самом печальном положении с больными!!!

П. А. Вяземскому
26 февраля 1810 г. Владимир

L'homme propose et Dieu dispose! милый князь! Верно, ты себе не воображаешь никак, какие чудеса творятся здесь. Не понимаю, зачем мне пришла дурацкая мысль в голову остаться так долго здесь и не ехать с вами в Москву. Вообрази ты себе, что третьего дни в то самое время, как я почти готов был садиться в кибитку и поехать к вам, вдруг Петр Алексеевич получает именное повеление от государя сделать следствие в Казани! Bon gré mal gre[1] мне надобно непременно туда ехать.— Не говоря о том, сколь прискорбно мне, находясь, так сказать, уже у ворот Москвы, опять удалиться от оной на тысячу верст,— мне благоразумие, честь и совесть запрещает ехать в Казань: ты знаешь мое положение и легко поверишь мне, что я охотно бы отдал десять лет жизни моей, чтоб избавиться от проклятой этой комиссии! Что я там буду делать — что скажу — я в такой досаде, в таком отчаянии, что не знаю, куда деться.— Всякая ошибка влечет за собою наказание.

Князь Иван Михайлович велел тебе кланяться и просить тебя отдать напечатать как можно скорее в «Аглае» следующие стихи, которые он сочинил на Обрескову:

Быть чувствительной, любезной,
Всех пленять, во всех странах
Пылкий ум с душою нежной,

---

[1] Хочешь не хочешь *(фр.)*.

Вид богов носить в чертах.
Вот что целый свет считает
Невозможным отыскать,
Но тому ль, тебя кто знает,
Это чудом почитать.

Тебе, я думаю, известны стихи Visapoure к Лизавете Семеновне: Etre bonne indulgente et belle[1]. Л. С. показала их князь И. М., и он тотчас же, то есть в четверть часа, переложивши их на русское, написал мелом на ломберном столе.

Сообщаю тебе также стихи, которые он мне сочинил, надобно тебе сказать, что он меня очень полюбил и иначе не называет, как любезнейшим своим сыном или mon enfant cher.

Что ты, Перовский, мил, тебе то всякий скажет,
Кто скромен так, как ты, кто так же добр и тих
Тому ко счастью путь любовь везде покажет,
От сердца моего к тебе летит сей стих,
От сердца, в коем ты вселил такое чувство,
Какого даже трон владыкам не дает.
Под солнцем гибнет все, богатство, честь, искусство,
Любовь, одна любовь и свет переживет.

Прощай, милый друг, желаю тебе счастья, здоровья и душу спокойнее моей! Пиши ко мне почаще, любезный князь, и если тебе то не будет в тягость, на всякой почте. Не знаю еще, где буду жить в Казани, но в сем и нужды нет, письма твои, просто адресованные на мое имя, верно дойдут до меня.— Напиши мне пожалуй, что ты делаешь в Москве и как нашел своих. Я так привык делить с тобою и радости, и печали, что все, до тебя касающееся, не менее меня интересует, как самого тебя.

Сушкову от меня поклон,— Жуковскому пожалуйста также. Прощай, прощай. Дай бог, чтоб это все кончилось скоро и хорошо.

Adieu *Перовский*

Владимир 1810
февраль 26-го

Прилагаю при сем к тебе письмо, кажется, от Чемесова.

---

[1] Быть доброй, снисходительной и прекрасной *(фр.)*.

П. А. Вяземскому
16 января 1812 г. Петербург.

Весьма благодарен тебе, любезный князь, за московские новости, которые ты мне сообщил. Вообрази, что то же самое и в Петербурге случилось, и здесь начали писать 12-й год, и что для меня всего удивительнее: перемена сия сделалась в ту же самую минуту и здесь, и в Москве.— Quelle sympathie entre les deux capitales![1] Пушкина я еще не видал, заезжал к нему два раза, но не заставал дома:— «Беседа» как скоро покажется в свете, непременно тебе будет доставлена. Нового у нас здесь много: все улицы покрыты снегом, а набережные обложены гранитом, иные уверены, что на Исакиевской площади воздвигнут монумент Петру Великому, изображающий его сидящего на коне, но наверное тебе сие утверждать не могу.

Весьма, обрадовало меня известие о поносе К.— Но жаль, что ты не уведомил меня, какого он роду: кровавый он или простой? И по скольку раз он ходит<...>? Впрочем, подтирать ему есть чем, потому что сочинения его, кажется, напечатаны на мягкой бумаге.— À propos de[2]<...>! — Скажи пожалуй Неёлову, что дело его находится не у Бобревского, как он мне сказывал, а у Тихоновича и что очередь ему будет грязь месить.

Вельегорский занимается теперь одною любовию и целый день с большим чувством поет: о девица-крррррррасавица.— Но прощай, любезный друг, спешу в свой департамент. À propos de красавицы! Княгиня получила, верно, на прошедшей почте письмо от Прасковьи Николаевны́, писанное моею рукою. Желательно мне знать, отгадали ли вы это? — Прощай еще раз, мой друг, и верь, что образ твой пламенными чертами врезан в сердце любящего тебя А. Перовского.

P. S. Уехал ли Петр Александрович в деревню?

16-го генваря
1812.

---

[1] Какое единодушие между двумя столицами! *(фр.)*
[2] Кстати о... *(фр.)*

П. А. Вяземскому
9 февраля 1812 г. Петербург

Пишу тебе несколько строчек, любезный князь, потому что сегодня никак не имею времени писать к тебе много. Итак: je vous annonce la réception de votre aimable lettre et je vous remercie des charmants vers que vous avez composés.[1].— Что ж делать, любезный друг, что П. Н. Г. написала к жене твоей такое письмо. Только не думай, чтоб я его сочинял: оно было циркулярное ко всем родным, а я к твоей княгине писал его для того, что надеялся, что зрение моей рукописи возбудит в Ваших сиятельствах радость необычайную. Впрочем, по отпуске сего письма я, слава богу, жив и здоров, а впредь уповаю на всещедрого создателя моего и твоего и общего нашего. Посылаю к тебе заочно мое благословение и от вас того же желаю и пребуду ваш вечный богомолец

9-го февраля 1812 — *Алексей Перовский*

А. К. Толстому
6 февраля 1825 г. Петербург

С.-Петербург 6-го февраля1825

Любезный мой дружочек Алешечка! Дай бог, чтоб ты был здоров; мне очень, очень было жаль, что я не был с тобою, когда ты был болен. Мне очень скучно без тебя, мой милый ангельчик, и я стараюсь скорей кончить дела мои, чтоб к тебе опять приехать.

Благодарю тебя за басню, которую ты мне прислал про Льва да про мышку, и за две песни про Султана да про мужика с козаком. Я нарочно ездил смотреть зверей, чтоб тебе рассказать о них. Они очень хороши, и я бы желал, чтоб ты их видел. Там есть два льва, один старый, а другой молодой. У старого льва в клетке сидит маленькая собачка, беленький шпиц, которого лев очень любит. Когда льву принесут кушать, так собачка всегда бросается на кушанье, и лев ни до чего не дотрогивается,

---

[1] я сообщаю тебе о получении твоего дружеского письма и благодарю за прелестные стихи, которые ты мне сочинил *(фр.)*.

пока собачка не наестся. Недавно лев был очень болен, и собачка его караулила: когда кто-нибудь ко льву подходил, то собачка лаяла и никого к нему не допускала. На них очень весело смотреть. Еще там есть несколько тигров и леопардов, которые очень сердиты,— и белый медведь, который совсем не похож на нашего медведя. Он очень зол, и ему досадно, что в комнате слишком для него тепло, потому что он привык жить на Ледовитом море, где всегда холодно — и где он бесперестанно сидит на льду. Здесь он все качается из угла в угол.

В этом доме четыре комнаты, полные разных зверей. В первой комнате львы, тигры, леопарды, белый медведь и гиена, которая чрезвычайно зла и беспрестанно бросается на решетку и хочет кусать людей. Во второй комнате множество разного рода обезьян. Они пресмешные, все коверкаются и делают гримасы. Еще есть в той комнате шакал (Chacal), маленький зверь с большую кошку, который тоже очень сердит. В третьей комнате в большом стеклянном ящике две змеи, о которых я тебе уже писал. Когда они не голодны, то они очень смирны, я большую змею хватал за голову и вытаскивал из ящика, и она мне ничего не сделала. Тут же четыре моленьких крокодила, которые не более четверти аршина каждый. Я тоже их брал на руки. С ними можно играть, и они никакого вреда не могут сделать. В четвертой комнате есть страус и очень много разных попугаев, которые все очень шумят, кричат, свистят и болтают так, что иногда уши зажать надобно.

Теперь расскажу тебе о слоне, которого я видел в другом месте. Слон этот очень добрый и умный. Когда ему прикажут, так он станет на колени или ляжет на спину и ноги кверху подымет, как собачка. Дадут ему ружье заряженное: он схватит его хоботом и выстрелит. Если бросить платок, то он его подымет и принесет, как собака. Он тоже трубит в трубу, когда ему прикажут. Если дать ему бутылку с водкой, которую он очень любит, то он вынет пробку хоботом, выпьет бутылку и опять ее отдает назад. Подле него стоит кружка, он берет из рук деньги и кладет их в кружку. У меня он вынул хоботом гривенничек из жилета.

Прощай, миленький мой Алешечка, бог с тобою, будь здоров, моя душа, поцелуй за меня маму и кланяйся Капитолиночке, няне и доктору. Прощай до свидания.

А. К. Толстому
26 июня 1829 г. Петербург

С.-Петербург 26-го июня 1829

Благодарю тебя, любезный Алешка, за твои письма, я чаще бы тебе отвечал, если б было у меня более времени; но я так занят, что едва нахожу время писать. Я просил маминьку, чтобы она тебе дала десять рублей в счет медалей; надеюсь, что ты их уже получил. До сих пор я не успел еще их продать, потому что живу на даче; я тебе больше бы прислал денег на медали, но у меня самого мало. Ты видишь, милый Ханчик, по опыту, как нужно беречь деньги, оттого-то и говорится пословица: *береги копейку на черный день!* Когда у тебя были деньги, ты их мотал по пустякам, а как пришел черный день, т. е. нужда в деньгах, так у тебя их и не было! Не надобно никогда предаваться тому, что желаешь в первую минуту: ты сам уже испытал и не один раз, что когда ты купишь что-нибудь, чего тебе очень хотелось, то и охота к тому пройдет, и деньги истрачены по-пустому. Хорошо еще, что случайно у тебя есть медали, а если бы их не было, ты бы и оставался без денег. Деньги прожить легко, а нажить трудно. Вообрази себе, что еще с тобою случиться могло бы! Например, ты истратишь свои деньги на пустячки, которые надоедят тебе на другой же день: вдруг ты увидишь какого-нибудь бедного человека, у которого нет ни платья, ни пищи, ни дров, чтоб согреться в холодную зиму, и к тому еще дети, умирающие с голоду. Ты бы рад ему помочь, тебе его жаль; — и бог велит помогать ближнему — но у тебя нет ни копейки! Каково же тебе будет, если вспомнишь, что ты мог бы избавить его от несчастия, когда бы накануне не истратил деньги свои на пустяки!

Каро тебе кланяется, он очень состарился во время твоего отсутствия, и шерсть у него со спины слезает, а глаз не поправляется. Боюсь, чтоб он не ослеп на другой глаз. Намедни он меня испугал: повадился бегать играть с другими собаками и, убежав после обеда не воротился к вечеру. Настала ночь, и его нет! Настало утро, его все нет! Я уже думал, что он совсем пропал, как вдруг он возвратился с повинною головою! Я его подозвал и больно высек, и он так чувствовал свою вину, что даже не визжал, хотя я его сек больно хлыстом.

Тебя он все помнит и визжит, когда о тебе заговоришь. Прощай, милый Ханчик, целую тебя мысленно. Ты мне не пишешь, что делает Сибок? Умнее ли он теперь? Прощай, поцелуй у маминьки ручку и будь умник. Стихи, которые ты сочинил на день рождения маминьки, я получил, но они не хороши, хуже всех других, которые ты писал.

А. К. Толстому
18 марта 1835 г. Петербург

С.-Петербург 18-го марта 1835

Поздравляю тебя с прошедшими именинами, любезный друг Ханочка. Пожалуйста, побереги себя, пока у тебя совсем пройдет лихорадка; и я тоже из симпатии немного простудился. Саша и Ники тебе кланяются: они очень переменились, особливо Саша; я думаю, ты его бы не узнал. Он кажется больше тебя ростом. Третьего дня я ездил смотреть картину Брюлова, которая меня изумила. В самом деле — удивительное произведение! Я более часу ее рассматривал и часто вспоминал о тебе, жалея, что ты ее не видишь. Мой Гауергманн тоже очень хорош в своем роде. Саша и Ники очень жалуются, что ты <1-е слово нрзб.> не пишешь. Ники говорит, что пишет к тебе он, а ты отвечаешь Саше. Прощай, милый друг, мысленно тебя тысячу раз обнимаю.

Не спеши с Loup — garn. Лучше оставь его на время, а то испортишь. Большую пьесу можно делать по желанию, и если тебе придет между тем другое что-нибудь на мысль, так ты можешь и другим заняться.

А. К. Толстому
22 марта 1835 г. Москва

Москва 22 марта 1835

Я не отвечал еще на вопрос твой, любезный Хашка, должен ли ты приготовляться на русскую историю и будешь ли держать экзамен? Что касается до последнего,

то не могу ничего сказать определительного; ибо перемена узаконений относительно этого предмета еще не совершилась окончательно и потому я нахожусь в недоумении, как и что делать? Но к русской истории во всяком случае необходимо приготовляться: какого роду бы ни был экзамен, русскую историю всегда спрашивать будут. Итак, приготовляйся сколько можешь.

Я не видал еще Рейтлингера, а надеюсь его увидеть послезавтра в воскресенье. И Жуковского еще не видал: теперь идут экзамены у Великого князя, и он очень занят: однако он сегодня назвался ко мне обедать. Прощай, моя душа, обнимаю тебя всем сердцем мысленно.

Борька тебе много кланяется и Флёри тоже.

А. К. Толстому
27 марта 1835 г. Петербург

С.-Петербург 27-го марта 1835

Уведомляю тебя, мой любезный мальчик, что я отдал письмо твое Александру Ивановичу, который очень сожалел, что оно без конца. Я также вручил ему от твоего имени 25-ть, хотя неохотно, по причинам, тебе уже изъясненным. Александр Иванович вырос, но на мои глаза подурнел; впрочем, очень счастлив своим положением. Сашу и Нику я уже два раза видел; они жалуются на твое молчание. Они, кажется, оба выше тебя ростом. И Жуковского я видел, любезный Карапузик. Он апробует последнюю твою пиэсу и велел тебе сказать, что он от роду не говорил Ване, что вершины Альп не хороши: они, напротив, ему нравятся. Он только сказал ему, что греческие пиэсы твои он предпочитает потому, что они доказывают, что ты занимаешься древними. Фишера я только видел на одну минуту и не успел еще переговорить о форштмейстере; хорошо, что ты мне о нем напомнил, а то бы я забыл, чисто! Прощай, моя душенька, обнимаю тебя мысленно от всего сердца. Поцелуй за меня матушку.

А. К. Толстому

4 апреля <1835> г. Петербург

С. Петербург 4-го апреля

Могу писать к тебе только несколько строчек, любезное дитя. Тебе надобно будет непременно будущею зимою экзаменоваться в университете на степень кандидата. Узнай от Курбатовых подробно, в чем состоит этот экзамен, какие науки требуются по отделению словесных наук, какие в оном профессора и проч. Все эти сведения приготовь к моему приезду. Прощай, мысленно тебя обнимаю тысячу раз. Поцелуй у маминьки ручку.

А. К. Толстому

9 апреля 1835 г. Петербург

С.-Петербург 9-го апреля 1835

Поздравляю тебя с праздником, моя душенька, и благодарю за письмо твое. Вчера видел я у Адлербергов портрет Mr Nogg, который мне очень понравился. Я не видал еще ни Фишера, ни Флёри с тех пор, как ты мне напомнил о форштмейстере, и потому не мог о нем справиться. Очень желаю, чтоб мне удалось его завербовать. Хорошо, что ты напомнил мне о gobolous и о цветном горошке.

В одном из писем твоих ты говоришь, что тебе кажется, будто я не совсем доволен картиною Гауергманна. Нет, мой друг, я очень доволен, и в этом роде, мне кажется, трудно сделать что-нибудь совершеннее: я тебе только сказал, что сравнить ее достоинство с достоинством картины Брюлова никак невозможно. Брюлова картину считаю я самою первоклассною и полагаю, что она ничем не уступает отличнейшим произведениям, а может быть, и превосходит лучшие картины всех времен без исключения. Прощай, мой милый Ханчик, будь здоров и не забывай меня. Мысленно обнимаю тебя от всего сердца!

А. С. Пушкину
Январь — первая половина февраля 1833 г.
Петербург

Вот тебе, моя прелесть, две главы «Монастырки», которые прошу всепокорнейше рассмотреть поскорее, потому что мне бы желалось, буде можно, завтра отвезть их в типографию. Продолжение последует в скором времени: одна глава у Вяземского, две переписываются, а последняя сочиняется. Вот и всё! Посылаю и напечатанное начало 2-й части, чтоб мог ты видеть связь. Прощай до свиданья: нежно целую тебя в мыслях.

А. Перовский

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРОЗА

ДВОЙНИК, ИЛИ МОИ ВЕЧЕРА В МАЛОРОССИИ

Впервые отдельным изданием опубликовано в 1828 г.: Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Соч. Антония Погорельского. 2 части, Спб.

Одна из повестей цикла — «Лафертовская маковница» — как самостоятельное произведение впервые была напечатана в «Новостях литературы», 1825, № 3, с. 97–133. Подпись: Антоний Погорельский.

Полностью автограф неизвестен, сохранились лишь рукописи двух новелл первой части:

«Изидор и Анюта» черновой автограф, без заглавия (ЦГИА, ф 1021, оп. 1, ед. хр. 16), близкий к окончательному тексту Рукопись на бумаге с водяным знаком 1818 г

«Пагубные последствия необузданного воображения» писарская копия с правкой Погорельского под названием: «Несчастная любовь. Истинное происшествие». (ЦГАЛИ, ф. 1345, № 5, ед. хр. 5). На первой странице помета: «В Новости литературы, издаваемые при Инвалиде», где новелла, однако, опубликована не была. «Новости литературы» прекратились в 1826 г. Очевидно, что повесть написана не позднее этого времени. Текст копии существенно отличается от окончательного варианта новеллы, включенного Погорельским в «Двойника» под другим названием.

Новелла «Путешествие в дилижансе» могла быть написана не ранее 1824 г., так как она основана на сюжетных реминисценциях из французской повести «Жоко, анекдот, извлеченный из неизданных писем об инстинкте животных» (Jocko, anecdote détachée des lettres inédites sur l'instinct des animaux. Paris, 1824), принадлежавшей писателю и ученому Пужану (Pougens Marie-Charles-Joseph, 1755—1833) и пользовавшейся огромным успехом. В России повесть была переведена в 1825 г. (Жоко, Индийская повесть.— Московский телеграф, 1825, ч. 2, № 8, с. 336—351; ч. 3, № 9, с. 41—59, № 10, с. 134—144).

«Двойник» печатается по тексту первой публикации

Стр. 31. *...с славным поэтом Попе...*— Поп Александр (1688—1744) — английский поэт, пользовавшийся в XVIII в. в России большой известностью.

Стр. 34. *...ни Брегетов, ни Элликотов.*— Брегет (Бреге) Абрахам-Луи (1747—1823) — прославленный парижский механик, часы которого были в то время в большой моде; Элликот Джон (ум. 1772) — английский часовой мастер.

Стр. 36. *Дорогомиловская застава* — находилась в районе нынешней Большой Дорогомиловской улицы. Через Дорогомилово в 1812 г. вошла в Москву армия Наполеона.

Ехалов (или Елохов) *мост* мост через ручей Елховец в районе площади Разгуляй, вблизи пересечения Старой и Новой Басманных улиц.

Красное село — один из окраинных в то время районов Москвы; располагался по обе стороны современных Краснопрудной и Русаковской улиц.

..в приходе Тихвинской божией матери... Имеется в виду придел Тихвинской божией матери церкви Воздвижения Креста Господня (1692 Не сохранилась), где одно из специальных празднеств было посвящено чудотворной иконе Тихвинской Богородицы.

Стр. 45. *Георгиевский крест* — военный орден св. Георгия, учрежденный в русской армии в 1769 г.

Стр. 46—48. *...один лейпцигский врач... «Явление жены моей после смерти».* Речь идет о книге веймарского (а не лейпцигского) врача Иоганна Карла Веделя «Истинное явление жены моей по смерти, достоверная, недавно случившаяся история ко всеобщему вниманию и особенно для психологов, для объективной и тщательной проверки, рассказанная Д-р И. К. В.» Хемниц. 1804 («Meiner Gattin wirkliche Erscheinung nach ihrem Tode, eine wahre unlängst erfolgte Geschichte für jedermann zur Beherzigung und vorzüglich für Psychologen zur unpartheischen und sorgfältigen Prüfung dargestellt von D-r, I. K. W Chemnitz», 1804.)

Стр. 52. *Цицерон рассказывает...*— история двух аркадян рассказана римским писателем Марком Туллием Цицероном (106—43 до н. э.) в трактате «О предвидении» (Цицерон, кн. 1, гл. 27, 57).

Стр. 54. *...Штиллинг в сочинении своем «Феория духов»...*— Юнг-Штиллинг Иоганн-Генрих (1740—1817) — немецкий писатель-мистик, популярный в русской литературе и обществе в конце XVIII — начале XIX в. Речь идет о его книге «Theorie der Geisterkunde» (1808).

Стр. 67. *Скилла* (Сцилла) *и Харибда* — в греческой мифологии морские чудовища, подстерегавшие и губившие мореходов у узкого пролива; по позднейшим представлениям, они обитали в пещерах Сицилийского (совр. Мессинского) пролива.

Стр. 76. *Экосез* — бальный танец, восходящий к шотландскому народному танцу и получивший распространение с конца XVIII в.

Стр. 84. *Вентрилок* — чревовещатель.

Стр. 85. *Пигмалион* — в греческой мифологии легендарный царь

Кипра, сделавший из слоновой кости статую прекрасной женщины и влюбившийся в нее. Оживленная богиней Афродитой и нареченная Галатеей, она стала женой Пигмалиона.

...знаменитый Алберт... — Альберт Великий (Альберт фон Больштедт, ок. 1193—1280) — немецкий ученый-алхимик и философ, монах-доминиканец. Известно, что в его кёльнском кабинете стояла механическая голова, издававшая звуки, которую разбил ученик философа Фома Аквинский.

Стр. 86. *...физик Робертсон, бывший пред тем в России...*— Робертсон Этьенн-Гаспар Роберт (1763—1837) — бельгийский физик и воздухоплаватель, демонстрировавший во Франции и других странах свои опыты, связанные с гальванизмом и аэростатикой; в 1805 г. сопровождал русское посольство Ю. А. Головкина в Китай.

Стр. 93. *...нить Ариадны...*— В переносном смысле путеводная нить; имеется в виду греческий миф об Ариадне, которая спасла героя Тесея, выведя его из лабиринта чудовища Минотавра с помощью клубка нитей.

Стр. 101. *Проломная застава* — одна из застав в Лефортово (восточная часть Москвы), через которую проходила дорога на Владимир.

...прослужил в поле...— то есть в армейских строевых частях, участвовавших в походах и сражениях.

Стр. 102. *Лафертовская* (Лефортовская) *часть* — по административному делѐнию Москвы конца XVIII — первой трети XIX в. одна из восточных частей города, расположенная на левом берегу Яузы.

Стр. 103. *Хамовники* — местность к юго-западу от Садового кольца между Комсомольским проспектом и улицей Льва Толстого (ныне Ленинский район Москвы).

Стр. 108. *...на колокольне Никиты-мученика...*— Имеется в виду колокольня церкви Никиты-мученика в бывшей Старой Басманной слободе (ныне ул. Карла Маркса, 16).

Стр. 113. *Введенское кладбище* — расположено на востоке Москвы, в районе Лефортово.

Стр. 117. *Роспуски* — дроги для перевозки клади.

Стр. 125. ...Le Normand (Lenormand)...— Ленорманн Мария Анна Аделаида (1772—1843) — известная французская прорицательница, прозванная «Сивиллой Сен-Жерменского предместья»; автор ряда сочинений, в том числе мемуаров.

Стр. 128. *Генрих IV* (1553—1610) — французский король с 1589 г. (фактически был признан и вступил на престол в 1594 г., после перехода в католичество).

...герцог Лотарингский Карл IV (1604—1675) — правил в Лотарингии в эпоху Тридцатилетней войны.

...в царствование Людовика XIV...— Людовик XIV (1638—1715) был королем Франции с 1643 г.

Реформация — антифеодальное, по преимуществу общественное движение в Европе XVI в., возникшее в Германии и принявшее форму борьбы против католической церкви.

Тридцатилетняя война (1618—1648) — война между сторонниками католицизма и протестантизма, в которую были втянуты почти все европейские страны.

Стр. 128. *...Тацит рассказывает...* — сходный сюжет о том, что Тиберий действительно приказывал умерщвлять всех прорицателей, предсказывавших его судьбу, изложен римским историком Тацитом (ок. 58— ок. 117) в его «Анналах» (кн. 6, гл. 20—22).

Клавдий (10 г. до н. э.— 54 г. н. э.) — римский император с 41 г.

Павзаний... — Павсаний (II в.) — древнегреческий писатель; жизнь и нравы Афин отображены им в труде «Описание Эллады».

Стр. 129. *...почерпнуто им из Спевзиппа.* — Спевсипп (ок. 395—334 до н. э.) — греческий философ, племянник и ученик Платона; сочинения его до нас не дошли.

Ту же самую историю рассказывает Валерий Максим... — история об аркадянах рассказана римским писателем Валерием Максимом (I в.) в его книге «О замечательных деяниях и изречениях» (гл. «О снах»).

Геродот... пред войною персов с греками — анекдот о видениях Ксеркса изложен древнегреческим историком Геродотом (484— ок. 430 до н. э.) в его «Истории» (кн. VII, гл. 12—14).

Плутарх, Аппиан и Флор... видел Брут — о видении Брута повествуют: древнегреческий писатель и историк Плутарх (ок. 45— ок. 127) в своем сочинении «Сравнительные жизнеописания» (т. III, гл.: «Брут», 36,48); историк Древнего Рима Аппиан (? —70-е гг. II в.) в книге «Гражданские войны» (кн. IV, гл. 134) и историк Луций Анней Флор (II в.) в своей «Римской истории» (гл. 2, 8, 17).

Плиний рассказывает... — истории о невольнике и Афинодоре рассказаны римским писателем Плинием Младшим (61 или 62 — ок. 114) в его «Письмах» (кн. VII, 12—14; 4—12,27].

Стр. 130. *Читали ль вы «Золотого осла» Апулеева?* — Апулей — древнеримский писатель II в. н. э.; его «Золотой осел. Метаморфозы в одиннадцати книгах» — один из самых известных античных романов. Русский перевод 1780 г.: Луция Апулея. Платонической секты философа превращение, или Золотой Осел. Перев. с лат. Ермил Костров. М. *Элевзинские таинства,* или мистерии, упоминающиеся в книге шестой — наиболее популярные греческие религиозные празднества в честь богини Деметры и дочери ее Персефоны, происходившие в Элевзинском храме (в 20 километрах от Афин). Повесть о купце Сократе изложена в книге первой (6—19), рассказ Телефрона — в книге второй (21—30).

Стр. 133. *Аргамаки* — породистые верховые лошади; Здесь употреблено в ироническом смысле.

Стр. 136. *...знаки св. Лудовика и Почетного легиона...* — Имеются

в виду французский военный орден, учрежденный в 1696 г. Людовиком XIV, упраздненный в период революции и вновь восстановленный в 1814 г., и французский орден, учрежденный Наполеоном для лиц гражданских, военных и духовных.

Черная Грязь — первая почтовая станция на тракте из Москвы в Петербург в 27 верстах от города, на берегу речки Чернавки.

Стр. 149. *...в день Льва Катанского...* — День святого Льва Катанского — 20 февраля ст. ст.

МОНАСТЫРКА

Впервые два небольших отрывка были напечатаны в «Литературной газете»: глава I. «Вместо предисловия» (1830, № 14, 7 марта) и глава II. «Продолжение» (1830, № 15, 12 марта).

Первая часть романа отдельным изданием вышла в 1830 г. (Монастырка. Сочинение Антония Погорельского. Часть первая. Спб.). В 1833 г. роман был издан полностью в двух частях: первая часть — вторым изданием, вторая часть — впервые. (Монастырка. Сочинение Антония Погорельского. Часть первая. 2-е изд. Спб.; То же. Часть вторая. Спб.). Тексты первого и второго издания первой части идентичны. Печатается по тексту 1833 г.

Стр. 165. *...мне грезится Петербург... и монастырь...* — Речь идет о Смольном институте благородных девиц — привилегированном женском учебно-воспитательном заведении закрытого типа для дочерей дворян, основанном в 1764 г. Екатериной II при Воскресенском Смольном женском монастыре в Петербурге; в быту институт обычно именовался Смольным монастырем.

...в кофейных... в голубых и в белых... — Воспитанницы Смольного монастыря в соответствии с возрастом были разделены на «классы», в каждом из которых они обучались по нескольку лет; в соответствии с «классами» полагались платья особого цвета: кофейные или коричневые — в младших, голубые — в средних и белые — в старших; в обиходе «классы» назывались по цвету платьев.

Стр. 166. *...попала в пепиньерки...* (от фр. pepinière — питомник, рассадник) — в дореволюционной России девушка, окончившая закрытое учебное заведение и оставленная при нем для педагогической практики.

...в красной стамедовой юбке... — то есть в юбке из шерстяной, в косую нитку, ткани.

Стр. 168. M-me Xavier, m-r *Дюваль, Ремплер* (Римплер) — владельцы модных магазинов в Петербурге.

Стр. 169. *...в дистракции...* — в рассеянности (от фр. distraction).

Стр. 171. *Хорунжий* — младший офицерский чин в казачьих войсках русской армии, соответствовавший чину подпоручика в пехоте или корнета в кавалерии.

Кадриль — с конца XVII в, и на протяжении XVIII — XIX вв. один из самых популярных народных и бальных танцев, состоящий из ряда фигур (чаще всего из 5—6). Получил большое распространение в европейских странах, где, при сохранении основных композиционных особенностей (четыре пары, расположенные квадратом), мелодии и манеры исполнения приобрели национальный характер.

Стр. 171. *Польские* (польский) — устарелое название полонеза — бального танца, распространившегося в XVIII в. из Польши. В каждой польской местности полонез имел свои отличительные черты.

...поветового училища... — уездного училища.

Стр. 172. *...у него два креста: один в петлице, а другой на шее...* — В эпоху Отечественной войны 1812 г. в петлице носились ордена св. Георгия и св. Владимира (боевой — с бантом) IV степени и с 1815 г.— св. Анны III степени. «На шею» офицер в чине штабс-ротмистра скорее всего мог получить орден св. Анны II степени.

...белая медаль на голубой ленте... — медаль «В память Отечественной войны 1812 г.» — серебряная, на андреевской (голубой) ленте. Она была учреждена в 1813 г. для награждения строевых офицеров и солдат в армии, а также ополченцев, сражавшихся в 1812 г.; в 1814 г. была учреждена такая же, но бронзовая, медаль — для награждения дворянства и купечества.

...воспитывался в Петербурге у какого-то аббе Николя... — Речь идет об Иезуитском пансионе французского аббата и педагога Николя Карла Евгения (1758—1835) — одном из наиболее привилегированных учебных заведений Петербурга. Известный мемуарист того времени Ф. Ф. Вигель вспоминал: «Тайный иезуит, аббат Николь, завел в Петербурге аристократический пансион. Он объявил, что сыновья вельмож одни только в нем будут воспитываться; и сколько с намерением затруднить вступление в него детям небогатых состояний, столько из видов корысти положил неимоверную плату ежегодно по 1500 рублей, нынешних шесть тысяч» (Вигель Ф. Ф. Записки, т. 1. М., 1928, с. 91—92). Здесь учились П. А. Вяземский, будущие декабристы М. Ф. Орлов и С. Г. Волконский; родители Пушкина также намеревались одно время определить сюда своего сына.

Стр. 173. *Кто мог любить так страстно, как я любил тебя...* — песня на стихи Н. М. Карамзина «Прости» (1792), включавшаяся во многие песенники, начиная с 1790-х годов. М. А. Дмитриев в своих воспоминаниях называет ее в числе наиболее популярных — тех, что «пелись и в обществе светском, и в народе» (Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 45—46).

Всех цветочков боле розу я любил... — песня И. И. Дмитриева,

написанная в 1795 г. и фигурирующая в популярных песенниках с конца XVIII в.

Я в пустыню удаляюсь... <1791> — песня, приписываемая поэтессе XVIII в. М. В. Зубовой (ум. 1799); в ряде песенников фигурирует как народная.

Заря утрення взошла, ко мне Машенька пришла... — одна из наиболее «употребительных» песен, возникших, очевидно, в конце XVIII в. Авторы ее не установлены. В популярных песенниках имя Машеньки варьируется (Пашенька, Сашенька) (см.: Герстенберг И. А., Дитмар Ф. А. Русские народные песни XVIII в. М., 1958, с. 39—40, 306).

Di tanti palpiti — ария Танкреда из одноименной оперы Россини (1813), пользовавшаяся особой популярностью.

Стр. 175. *Генеральный писарь* — один из высших чинов в Запорожском войске и Гетманской Украине в XVII — XVIII вв.

Клейноды — отличия и атрибуты власти украинской казацкой старшины XVI — XVIII вв., к которым относились бунчук, булава, войсковая печать и др. Клейноды делились на гетманские, полковничьи, сотенные и т. д.

Бунчук — старинная воинская регалия в виде древка с шаром или острием на верхнем конце, украшенном кистями и прядями из конских волос; с 1576 г. до екатерининского царствования — регалия малороссийских гетманов.

Булава — древнее холодное оружие; в XVI — XVIII вв. на Украине вручалась новоизбранному гетману как символ власти.

...чин бунчукового товарища.. — чин воина гетманской гвардии, носившего обыкновенно бунчук.

...явился к фельдмаршалу... называл гетманом... — Последним гетманом Украины (1750—1764) был граф К. Г. Разумовский (1728—1803), дед А. А. Перовского. После упразднения гетманства К. Г. Разумовский указом Екатерины II стал именоваться генерал-фельдмаршалом; в числе прочих пожалований ему был выстроен на казенный счет дом в его имении Батурине.

Стр. 176. *...в турецкую войну...* — Речь идет, очевидно, о русско-турецкой войне 1787—1791 гг.

...во французскую кампанию с Суворовым... — Имеется в виду русско-французская война 1798—1800 гг., которая велась Россией в составе второй антифранцузской коалиции. В ходе ее (в 1799 г.) под предводительством А. В. Суворова были совершены Итальянский и Швейцарский походы.

...ордена св. Анны и Иоанна Иерусалимского... — *св. Анны* — голштинский орден, введенный в число российских орденов в 1797 г. Павлом I; *Иоанна Иерусалимского* — мальтийский орден, введенный в России в 1798 г. Павлом I — великим магистром (гроссмейстером) Маль-

тийского ордена св. Иоанна Иерусалимского — для награждения российского потомственного дворянства за военную и гражданскую службу. После смерти Павла I утратил свое значение; просуществовал до 1817 г.

Сен-Готгард (Сен-Готард) — перевал в Швейцарских Альпах.

Стр. 177. *Подкоморий* — межевой судья, пользовавшийся на Украине большим авторитетом и правами.

Стр. 178. *Поветовый маршал* — уездный предводитель дворянства на Левобережной Украине в XVIII — XIX вв.

Стр. 187. *...о... попечении августейшей их покровительницы...* — С 1796 г., после смерти Екатерины II, покровительницей Смольного института благородных девиц была императрица Мария Федоровна.

Стр. 190. *Контракты* — периодические съезды для заключения торговых сделок.

Стр. 191. *...проводили Анюту до Трех Рук...* — то есть до первой почтовой станции в 10 верстах от Петербурга; называлась так по трем столбам, стоявшим на скрещении дорог, на столбах были изображения рук, указывавших направление.

Стр. 194. *...в беседке, сколоченной из тонких латв...* — то есть из тонких жердей.

Стр. 200. *Конная ярмонка приходила к концу... в Ромны...* — Здесь и далее речь идет об одной из наиболее популярных на Украине ярмарок, проводившихся четыре раза в году в уездном городе Ромны (или Ромен) Полтавской губернии. Роменская ярмарка описана Погорельским по личным впечатлениям: в 1819 г. он посетил ее вместе с А. К. Разумовским.

Стр. 201. *...окрашенным малороссийским червецом...* — то есть кошенилью: «червец — насекомое coecus, кошениль, дающее краску червец» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка).

Поярковая шляпа — шляпа из тонкого войлока.

Стр. 202. *...мышковатую грудь...* — неправильное употребление от «мыщатый, одаренный мышцами» (Даль В. Толковый словарь...).

Стр. 207. *Тока* (ток) — женский головной убор (от фр. toque — шапочка).

...ни Сосротов, ни Деспинов... — Карл Сосерот, Иван Деспин — петербургские зубные врачи.

Стр. 233. *...пожил... на панском дворе форейтором...* — Форейтор — верховой, правящий передними лошадьми при запряжке цугом. «...Все, что было аристократия или претендовало на аристократию, ездило в каретах и колясках четвернею, цугом, с форейтором. Для хорошего тона, или, как теперь говорят, для *шика*, требовалось, чтобы форейтор был, сколь можно, маленький мальчик...» (Пржецлавский О. А. Воспоминания.— В кн.: Помещичья Россия по запискам современников. М., 1911, с. 67—68).

Стр. 313. *...считала тальки...*— Талька — моток ниток определенной меры, снятый с ручного мотовила — тальки.

Стр. 332. *...похлебывал из кварты...*— из кружки.

Стр. 333. *...шпагу без темляка...*— Темляк — согнутая пополам тесьма из нитей, кожи или галуна с кистью на конце, которую носили по установленной форме на эфесе шпаги.

Стр. 340. *Бортевые деревья* — деревья с дуплами, естественными или специально выдолбленными, в которых водятся пчелы.

...домашнего бутора...— скарба.

Стр. 343. *...из гжельского фарфору...*— одна из известных марок керамики, фаянса и фарфора, производившихся в районе села Гжель (Раменский район Московской области). Зарождение производства гжельского фарфора относится к началу XIX в.

Стр. 347. *Пале-Рояль* (Palais Royal — королевский дворец) — старинное здание в Париже (XVII в.), в помещениях которого располагались кофейни, рестораны, театры, увеселительные и игорные заведения.

Стр. 348. *...предлагал ее Александру Филипповичу Смирдину* — Смирдин А. Ф. (1795—1857) — известный петербургский издатель и книгопродавец, издававший сочинения А. С. Пушкина, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, И. А. Крылова и других русских писателей.

ПОСЕТИТЕЛЬ МАГИКА

Впервые напечатано в газете «Бабочка», 1829, № 17, 27 февраля и № 18, 2 марта. В конце текста: «С английского: Антоний Погорельский». Автограф неизвестен. Источник не установлен. По-видимому, к тому же источнику восходит новелла французского писателя, переводчика и пропагандиста английской литературы Амедея Пишо (1795—1877) «Очарованное зеркало. Эпизод из жизни Корнелиуса Агриппы», опубликованная в русском переводе в газете «Молва» (1833, № 38, 30 марта и № 39, 1 апреля).

Стр. 350. *...послышалось Корнелию Агриппе...*— Агриппа Корнелий Генрих Неттесгеймский (1486—1535) — писатель, врач, философ. В авторском примечании время жизни Агриппы указано неточно.

...исписанным восточными характерами — восточными письменами.

Стр. 355. *Вечный жид* — Агасфер, согласно легенде отказавшийся предоставить отдых Иисусу Христу, идущему на Голгофу, и обреченный в наказание на вечную скитальческую жизнь.

МАГНЕТИЗЕР

Впервые напечатан в «Литературной газете» в 1830 г. (№ 1, 1 янв., с. 1—2; № 2, 6 янв., с. 9—10) с подзаголовком: «Отрывок из нового романа, соч. Антония Погорельского». Автограф не сохранился.

Роман продолжения не имел, другие фрагменты неизвестны.

Стр. 357. *...золотая медаль на алой ленте...* — Лица недворянского происхождения (купцы, мещане и пр.) орденами, как правило, не жаловались; награждались они лишь за особые заслуги серебряными медалями или золотыми на анненской (красной) ленте.

...сочкнуть со свечки — снять нагар *(диал.)*

Стр. 359. *...в Коломне у Харламова моста...* — Коломна — один из старинных районов Петербурга, расположенных к западу от Сенной площади; Харламов мост — ныне Комсомольский мост через канал Грибоедова.

Стр. 361. *Немецкая слобода* — находилась в северо-восточной части Москвы, на правом берегу реки Яузы.

СТИХОТВОРЕНИЯ

В настоящем разделе собраны немногочисленные дошедшие до нас стихи Перовского. (Мы не включаем сюда стихотворение «Послание к друзьям моим П. и М.», приписываемое Перовскому Г. И. Стафеевым (в его кн.: В отчизне пламени и слова. (А. А. Перовский и А. К. Толстой в Красном Роге). Тула, 1983, с. 31), так как автограф этого стихотворения, находящийся среди бумаг А. А. Перовского в фондах ЦГИАЛ (ф. 1021, оп. 1, ед. хр. 14, лл. 1—2), написан не его — и не писарской — рукой, и никакими другими данными, подтверждающими авторство Перовского, мы не располагаем.)

Первые три стихотворения впервые опубликованы нами в журн. «Вопросы литературы», 1984, № 10, с. 259—261. Небольшой отрывок из стихотворения «Абдул визирь...» включен П. А. Вяземским в его воспоминания о Перовском (см. ниже). Стихи эти, имеющие шуточный характер, вписаны Перовским в альбом С. А. Неёлова (1779—1852), известного в московском обществе поэта-дилетанта, автора многочисленных эпиграмм и «домашних» стихов на случай. Об истории первого из них («Абдул визирь...») рассказывает Вяземский: «Перовский написал амфигури (amphigouri), шуточную, веселую чепуху <...> Он приносит их к Антонскому, тогдашнему ректору университета и председателю общества любителей словесности, знакомит его с произведением своим и говорит, что желает прочесть стихи свои в первом публичном заседании

общества. Не должно забывать, что в то время граф Алексей Кириллович Разумовский был попечителем Московского университета или уже министром народного просвещения. Можно вообразить себе смущение робкого Антонского. Он, краснея и запинаясь, говорит: «Стишки-то ваши очень-то милы и замысловаты-то; но, кажется, не у места читать их в ученом собрании-то». Перовский настаивает, что хочет прочесть их, уверяя, что в них ничего противуцензурного нет. Объяснения и пререкания продолжались с полчаса. Бедный Антонский бледнел, краснел, изнемогая чуть не до обморока». (Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VIII. Спб.. 1883 с. 413—414).

В автографе эти стихи имеют дату (неизвестной рукой): «1814». Дата ошибочна, так как в это время Перовский находился в Германии. Стихи могли быть написаны только в 1811 г.: 6 июня этого года состоялось открытие Общества любителей российской словесности при Московском университете, где Перовский был одним из членов-учредителей; первое заседание, на котором он собирался выступить со своей мистификацией, состоялось 29 сентября. Таким образом, стихи были написаны в конце лета — начале осени 1811 г.

Два других стихотворения «Неёлов беспутный...» и «Послание...» написаны приблизительно в то же время. Бумага альбомных страниц имеет водяной знак «1810»; в январе 1812 г. Перовский переехал из Москвы в Петербург и в июле ушел в армию.

В альбоме имеются и собственные «амфигури» Неёлова, пародирующие «Абдул визиря» Перовского.

Стихотворения публикуются по автографам (ОР ГБЛ. ф. 129, № 20, 4, лл. 54—54а, 62; № 20, 5, л. 10).

СТРАННИК-ПЕВЕЦ

Впервые опубликовано в кн.: Стафеев Г. И. В отчизне пламени и слова (А. А. Перовский и А. К. Толстой в Красном Роге). Тула, 1983, с. 41—42, с некоторыми неточностями и иным чтением концовки. Печатается по черновому автографу: ЦГИА, ф. 1021, оп. 1, № 16, л. 28—28 об. Стихотворение не датировано; бумага имеет водяной знак «1818».

ДРУГ ЮНОСТИ МОЕЙ...

Впервые опубликовано там же, с. 69, с некоторыми неточностями. Печатается по автографу: ЦГИА, ф. 1021, оп. 1, ед. хр. 16, л. 1 об. Стихотворение не датировано; бумага имеет водяной знак «1819». Датировка, предложенная Г. И. Стафеевым — вторая половина 1820-х годов,— представляется неточной.

К ТИНДАРИДЕ

Впервые напечатана в «Сыне отечества», 1820, ч. 65, № 42, с. 88—89. Подпись: Алексей Перовский.

Перевод из Горация: Оды. Книга 1, ода 17, а не 4, как ошибочно указано у Перовского. У Горация ода названия не имеет. Об адресате ее сведений не сохранилось.

Латинская строка — первый стих оды в подлиннике.

Стр. 369. *Ликей* — гора в Аркадии.

Лукретил, как и *Устика* — гора и холмы близ сабинской виллы Горация.

Стр. 370. *От зноя Сирия...*— Сириус (Сейриос) — Большой Пес — самая яркая звезда ночного неба, с появлением которой наступает жаркое время года.

Темпея — долина в Фессалии.

На лире Тейской (теосской) — то есть на Анакреонтов лад, так как Анакреонт был родом из Теоса.

...страсть к Улиссу... Пенелопы и Цирцеи — Улисс (Одиссей — греч.) — мифический царь острова Итака; Пенелопа — его жена, в течение двадцатилетних скитаний мужа хранившая ему верность; Цирцея (Кирка — греч.) — волшебница с острова Эя, год удерживавшая Одиссея на своем острове и родившая ему сына Телегона.

...сок гроздей Лесвийских... — растущих на острове Лесбос.

Вакх (Дионис — греч.) — бог растительности, покровитель виноградарства и виноделия.

Арей — в греческой мифологии бог войны.

Кир — персидский царь (VI в. до н. э.).

СТАТЬИ

Литературно-критическое наследие Перовского невелико. Наибольший интерес в нем представляют три статьи о «Руслане и Людмиле», включенные в настоящее издание.

Первая статья — «Замечания на письмо к сочинителю критики на поэму «Руслан и Людмила», напечатанная в «Сыне отечества», явилась ответом на «Письмо к сочинителю критики на поэму «Руслан и Людмила», появившееся в том же журнале за подписью NN и принадлежавшее Д. П. Зыкову (Сын отечества, 1820, ч. 64, № 38, с. 226—229. Выход номера — 18 сент.). «Письмо» Зыкова в свою очередь адресовалось автору первого критического разбора пушкинской поэмы на страницах «Сына отечества» А. Ф. Воейкову (В. <А. Ф. Воейков>. Разбор поэмы «Руслан и Людмила». Сочинение Александра Пушкина.— Сын отечества, 1820, ч. 64, № 34—37. Выход номеров — 21 авг.— 11 сент.).

Ответ Перовского Зыкову был написан в форме письма к издателю «Сына отечества»; издавал журнал Н. И. Греч, однако в этот период он отсутствовал в Петербурге и на время отъезда передоверил свои функции Воейкову. Таким образом, фактическим адресатом статьи Перовского являлся Воейков. Возражая Зыкову, он возражал попутно и ему. Несмотря на то что Воейков не подписал свою статью полным именем, авторство его в литературных кругах не было секретом, и можно думать, что Перовский намеренно прибегнул к своего рода мистификации: он писал «Замечания на письмо...» якобы не зная, что «сочинитель критики» на пушкинскую поэму и «издатель «Сына отечества» одно и то же лицо.

Вторая антикритика Перовского — «Замечания на разбор поэмы «Руслан и Людмила», напечатанный в 34, 35, 36 и 37-й книжках «Сына отечества» — уже прямо была направлена против статьи Воейкова; она появилась за подписью: «П. К-в. Павловск 1820 сентября 15 дня». Подпись эта была заимствована Перовским у самого Воейкова в расчете на особый пародийный эффект: незадолго перед тем Воейков подписал так статью, направленную против Д. Н. Блудова и резкостью своего тона вызвавшую всеобщее возмущение (см.: Сын отечества, 1820, ч. 64, № 37, с. 190—192, подпись: «П. К-в. Павловск 1820 г. сентября 5 дня»). 15 сентября 1820 г. А. И. Тургенев писал по этому поводу Вяземскому: «Каков Воейков? Я вчера сказал ему в глаза все, что думаю о его разборе и о его ответе Блудову» (Остафьевский архив кн. Вяземских, т. II. Спб., 1899, с. 68).

С возражениями на «Замечания...» Перовского выступил критик «М. К-в», в котором иногда предполагают самого Воейкова. Статья эта под названием «Скромный ответ на нескромное замечание г. К-ва» также была опубликована в «Сыне отечества» (1820, ч. 65, № 43, с. 112—121. Выход номера — 23 окт.). С появлением ее полемика достигла особой остроты и приобрела качественно иной характер. «М. К-в», вступившись за Воейкова и апеллируя к его ученым заслугам, фактически раскрыл его авторство, неизвестное до того широкой публике, а также, прибегнув в качестве защиты к авторитету И. И. Дмитриева, предал гласности и его отрицательный отзыв о поэме Пушкина («Я тут не вижу ни мыслей, ни чувств: вижу одну чувственность»). Тем самым анонимная журнальная рецензия приобретала силу приговора авторитетных литературных судей.

Продолжая полемику, Перовский написал новую антикритику, озаглавленную «Ответ на скромный ответ г-на М. К-ва». Вновь защищая Пушкина и по необходимости защищаясь сам, Перовский повторял многое из того, о чем говорил ранее; вместе с тем он представлял своего противника как эпигона-«классика». Хорошо осведомленный в тонкостях литературной борьбы, он пытается нейтрализовать и отзыв Дмитриева. Эта третья статья в печати не появилась; 28 октября 1820 г. А. И. Турге-

нев сообщал Вяземскому, что противники прекратили полемику, «помирились и обнялись». (Остафьевский архив кн. Вяземских, т. II, с. 95).

ЗАМЕЧАНИЯ НА ПИСЬМО К СОЧИНИТЕЛЮ КРИТИКИ НА ПОЭМУ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

(ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ)

Впервые напечатано в «Сыне отечества» (1820, ч. 65, № 41, с. 39—44. Выход номера — 9 окт.) за подписью: «К. Григорий Б-в». Беловой автограф — в ЦГАЛИ (ф. 156 (Н. И. Греча), оп. 1, ед. хр. 27, лл. 1—4), с незначительными разночтениями. В печатном тексте имя Пушкина, бывшее в автографе, заменено описательными оборотами («сочинитель поэмы» и др.); по-видимому, Перовский хотел избежать впечатления, что критик говорит от имени поэта. Печатается по тексту первой публикации.

Статья была написана между 18 сентября (датой выхода журнала со статьей Д. П. Зыкова) и 22 сентября, когда А. И. Тургенев, еще до появления в печати ответа Перовского раскрыл в письме к Вяземскому его авторство: «Ответ на вопросы Катенина (об этой ошибке Тургенева см. с. 9 наст. изд.) также Алексея Перовского!» (Остафьевский архив князей Вяземских, т. II, с. 74).

Стр. 373. *(Однажды навсегда... Начнем сначала).*— Здесь и далее Перовский с пародийными целями повторяет французские фразы «Письма» Зыкова.

ЗАМЕЧАНИЯ НА РАЗБОР ПОЭМЫ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», НАПЕЧАТАННЫЙ В 34, 35, 36 И 37 КНИЖКАХ «СЫНА ОТЕЧЕСТВА»

(ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ)

Впервые напечатано в «Сыне отечества» (1820, ч. 65, № 42, с. 72—86. Выход номера — 16 окт.) за подписью: «П. К-в. Павловск 1820 сентября 15 дня». Автограф статьи Перовского неизвестен. Печатается по тексту первой публикации.

Стр. 378. *...в поэме «Марфа-посадница», писанной в прозе...*— «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (1803) — историческая повесть Н. М. Карамзина.

«Искусства и науки» — поэма А. Ф. Воейкова, отрывок из которой незадолго перед тем появился на страницах «Сына отечества» (1820, ч. 64, № 37, с. 178—180).

Стр. 380. *...смелою кистью Орловского...*— Орловский Александр Осипович (1777—1832) — живописец и график, писавший в романтической манере батальные и жанровые сцены. Пушкин, также возражая против неуместного сравнения Воейкова, писал Н. И. Гречу, что Орловский «в руки кисти не берет, а рисует только почтовые тройки да киргизских лошадей» (Письмо от 4 дек. 1820 г.— Пушкин. А. С. Полн. собр. соч., т. XIII, М.—Л., 1937, с. 21).

Стр. 380. *...мрачными красками Корреджия...*— Корреджо (Антонио Аллегри, ок. 1489—1534) — художник итальянского Возрождения, полотна которого отличаются грациозностью и праздничным, светлым колоритом. Ошибка Воейкова в свете всеобщих устойчивых оценок этого мастера выглядела прямым невежеством. Пушкин также отметил ее в цитированном выше письме к Н. И. Гречу: «В. <...> говорит, что характеры моей поэмы писаны мрачными красками этого нежного, чувствительного Корреджио».

Стр. 381. *Катон* — имеется в виду Катон Старший (234—149 гг. до н. э.) — римский писатель и общественный деятель, имя которого стало синонимом строгости нравственных правил.

Стр. 384. *Мужицкие рифмы!* — Этот упрек Воейкова Пушкину основывался на представлении, что нормой поэтической речи является славянская форма «копием» (без перехода *е* в *ё*). Форму «копиём» Воейков ощущал как простонародную.

ОТВЕТ НА СКРОМНЫЙ ОТВЕТ Г-НА М. К-ВА



Статья при жизни Перовского в печати не появлялась. Впервые опубликована в советское время (публикация В. Э. Вацуро). Черновой автограф — в Центральном государственном историческом архиве (Ленинград), ф. 1021, оп. 1, ед. хр. 16, лл. 8, 24—27. Предположительно статья написана между 23 и 28 октября 1823 г. (См.: Вацуро В. Э. Неизвестная статья А. А. Перовского о «Руслане и Людмиле».— Временник Пушкинской комиссии, 1963. М.— Л., 1966, с. 48—55). Печатается по тексту публикации.

Стр. 385. *...перевел «Енеиду» с латинского, проповеди с немецкого и «Век Лудовика XIV» с французского...*— Перовский пародирует следующий пассаж из статьи М. К-ва: «Г. В. уже давно доказал a posteriori свое невежество:

a. Переводом Виргилиевых эклог, георгик и Энеиды с латинского

b. Переводом разных мелких стихотворений, проповедей и повестей с немецкого

c. Переводом Вольтерова «Века Лудовика XIV» и Делилевой поэмы «Сады» с французского» (Сын отечества, 1820, ч. 65, № 43, с. 114).

Стр. 386. *...руководствовался... Лагарпом...*— Лагарп Жан-Франсуа де (де ла Гарп) (1739—1803) — французский писатель, автор известного многотомного труда «Лицей, или Курс древней и новой литературы» (1799—1805, рус. пер.— 1810—1814), содержавшего свод эстетических канонов позднего французского классицизма и бывшего учебной книгой.

Стр. 387. *...увенчанный, первоклассный писатель...*— Речь идет об И. И. Дмитриеве.

...я не менее «Невского зрителя» сожалею...— Имеется в виду статья «Замечания на поэму: Руслан и Людмила, в шести частях, соч. А. Пушкина, 1820» (Невский зритель, 1820, № 7), где, в частности, содержится упрек Пушкину в том, «что он представляет часто такие картины, при которых невозможно не краснеть и не потуплять взоров» (с. 78).

Стр. 387. *...по следам Ариосто и Виланда, а не Флориана,*— Очевидно, имеются в виду: поэма «Неистовый Роланд» (1516) итальянского поэта Лудовико Ариосто (1474—1533); волшебно-рыцарская поэма «Оберон» (1780) немецкого писателя Христофа Мартина Виланда (1733—1813) и сентиментальные пасторали в прозе французского писателя Флориана (Жана Пьера Клари де, 1755—1794), пользовавшиеся в России большим успехом (ср. у Вяземского: «Прежде переводили у нас и Делилей, и Флорианов, и Лагарпов, не говорю уже о первостатейных поэтах, по крайней мере, переводы эти разнообразили движения нашего поэтического языка».— О Ламартине и современной французской поэзии (1830).— В кн.: Вяземский П. А. Соч. в 2-х т., т. 2. М., 1982, с. 143).

Стр. 389. *...Ночь Корреджия...*— Речь идет о картине Корреджо «Рождество», или «Ночь» (1530, хранится ныне в Дрезденской галерее); «живописцем граций» называл художника Ж.-Ж. Руссо.

ПИСЬМА

В настоящем разделе публикуются избранные письма Перовского, представляющие литературный или биографический интерес.

Письма к А. К. Толстому и П. А. Вяземскому публикуются впервые по автографам (к Толстому — РО ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 301, ед. хр. 10, 23 письма, из которых публикуется 7; к Вяземскому — ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2529). Ряд упоминаемых в них лиц остается неустановленным.

Письмо к А. С. Пушкину печатается по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XV. М.— Л., 1948, с. 48.

П. А. Вяземскому

19 января 1810 г.

Авторская дата — 1809 г.— описка: по содержанию письмо датируется 1810 г.

Стр. 392. *...после кончины княгини...* — имеется в виду Екатерина Андреевна Щербатова (р. 1789), родная сестра П. А. Вяземского, умершая 3 января 1810 г.

Катерина Андреевна — Карамзина.

Князь Алексей Григорьевич... в армию — А. Г. Щербатов (1776—1848), муж Е. А. Щербатовой. Генерал-майор, участник войн с Турцией и наполеоновской Францией начала XIX в.

... отец князя Алексея Григорьевича вчера поутру скончался — Григорий Алексеевич Щербатов (1735—18 января 1810 г.)

...Петру Алексеевичу и Елизавете Семеновне... почтение — П. А. Обресков (1752—1814) — сенатор, возглавлявший в это время Комиссию, ревизовавшую Нижегородскую, Казанскую, Владимирскую и Пермскую губернии; Перовский и Вяземский были в ее составе. О некоторых обстоятельствах, связанных, по-видимому, с работой Комиссии, идет речь в последующих письмах. Елизавета Семеновна — жена П. А. Обрескова, урожд. Волчкова (1775—1856).

...17-го генваря был новый выбор министров — в соответствии с преобразовательными планами М. М. Сперанского в России к этому времени был учрежден Государственный Совет в составе четырех Департаментов; во главе их были поставлены высшие правительственные лица, занимавшие до того министерские посты. Освободившиеся же места стали замещаться другими людьми. 1 января 1810 г., в день открытия Государственного Совета, состоялись первые назначения министров. В письме Перовского нашли отражение слухи об обсуждении в правительственных сферах кандидатур на еще не занятые министерские должности. О готовившихся в Петербурге государственных переменах Перовский мог знать от своего отца — А. К. Разумовского, назначенного вскоре министром народного просвещения вместо П. В. Завадовского, ставшего председателем Департамента законов.

Ему же
26 января 1810 г.

Стр. 393. *Граф опять занемог...* — А. К. Разумовский.

Стр. 394. *Князь Андрей Петрович...* — речь идет, по-видимому, об А. П. Оболенском (1769—1852), родственнике и друге семьи Вяземских.

Димитриев, министр юстиции... — И. И. Дмитриев (1760—1837), был назначен министром юстиции 1 января 1810 г.

...князь Лопухин — Петр Васильевич Лопухин (1753—1827) — предшественник И. И. Дмитриева на посту министра юстиции, назначенный председателем Департамента гражданских и духовных дел в Государственном Совете.

Говорят здесь... Сенат Киевский и проч... — отражение слухов о под-

готовлявшемся в то время М. М. Сперанским проекте учреждения Судебного Сената, который предполагалось разделить на четыре округа: Петербургский, Московский, Киевский и Казанский.

На этих днях скончался князь Иван Сергеевич Гагарин — И. С. Гагарин (р. 1752) — дядя В. Ф. Вяземской; умер 20 января 1810 г.

Вяземский князь Иван Григорьевич, брат графини Разумовской... — речь идет о брате Марии Григорьевны Разумовской, урожд. Вяземской (1772—1865), жены Л. К. Разумовского — дяди А. А. Перовского.

...был у Марьи Крестьяновны — возможно, имеется в виду Мария Христиановна Волчкова (ум. 1830), родственница Е. С. Обресковой.

...диплом на звание почетного члена императорского Общества испытателей природы — председателем Общества был А. К. Разумовский, сам А. А. Перовский состоял его членом.

Стр. 395. *Сушкову дружеский поклон* — Сушков Андрей Васильевич (1785—1846), служил вместе с Вяземским в Межевой канцелярии секретарем ее Главного директора П. А. Обрескова и входил, очевидно, в дружеский круг Перовского и Вяземского. Сохранилось посвященное ему амфигури С. А. Неёлова, написанное несколькими годами позднее: «Андрей Сушков//Лишь пять вершков//В природе занимает...» (РА, 1875, № 4, с. 476).

...сколько здесь везде больных... при императоре.— Речь идет о торжественном посещении Александром I Москвы (6—12 декабря 1809 г.— впервые после коронации), сопровождавшемся празднествами по случаю дня его рождения.

Князь Николай Алексеевич Голицын также умер — Н. А. Голицын (р. 1751) — сенатор, дипломат, умер 4 декабря 1809 г.

Ему же
26 февраля 1810 г.

Стр. 395. *Князь Иван Михайлович... на Обрескову* — Кн. И. М. Долгорукий (1764—1823); это его стихотворение, посвященное Е. С. Обресковой, было опубликовано в апрельском номере журнала «Аглая» за 1810 г. (ч. X, с. 27).

Стр. 396. *Прилагаю... от Чемесова* — возможно, имеется в виду знакомый Вяземского Николай Ефимович Чемесов (р. 1767).

Ему же
16 января 1812 г.

Стр. 397. *Пушкина я еще не видал* — речь идет о Василии Львовиче Пушкине.

Стр. 397. *«Беседа»* — «Чтения в Беседе любителей русского слова»,

издававшиеся в Петербурге с 1811 по 1816 г. литературным обществом «Беседа любителей русского слова».

...известие о поносе К.— выпад Перовского направлен вероятнее всего против издателя «Вестника Европы» М. Т. Каченовского, литературного противника Вяземского.

Скажи пожалуй Неёлову... грязь месить — у С. А. Неёлова в это время была длительная тяжба, рассматривавшаяся в Сенате, что нашло отражение в одном из его амфигури:

Мой геморой
Иной порой
Вертит меня, ломает;
Но ах, Сенат
Мне во сто крат
Жить более мешает.

(«Русский архив», 1875, № 4, с. 476)

Тихонович Лука Иванович — обер-секретарь Второго апелляционного департамента Сената.

Вельегорский — Виельгорский М. Ю. (1788—1856) — композитор-дилетант, знаток музыки; друг Перовского и Вяземского.

Прасковья Николаевна — П. Н. Гурьева, урожд. гр. Салтыкова (1764—1830), жена министра финансов Д. А. Гурьева.

Ему же
9 февраля 1812 г.

Стр. 398. Je vous annonce... composés — скорее всего, речь идет о стихотворении Вяземского, посвященном Перовскому: «Прости, проказник милый...» (1811).

П. Н. Г.— Прасковья Николаевна Гурьева.

А. К. Толстому
6 февраля 1825 г.

Стр. 398. *Благодарю тебя за басню...*— это — наиболее раннее из известных нам свидетельств о первых литературных опытах А. К. Толстого.

Ему же
26 июня 1829 г.

Отрывок из этого письма опубликован в кн.: Жуков Д. А. К. Толстой, М., 1982, с. 43.

Стр. 400. *Стихи, которые ты сочинил на день рождения маминьки...* — эти стихи не сохранились.

Ему же
18 марта 1835 г.

Стр. 401. *Саша и Ники тебе кланяются...* — речь идет о братьях А. В. Адлерберг (1818—1888) и Н. В. Адлерберг (1819—1892), с которыми был дружен тогда Толстой. Известны шуточные письма его к Н. В. Адлербергу (конца 1837— начала 1838 г.), предвосхищающие будущего Козьму Пруткова (см.: Толстой А. К. Собр. соч. в 4-х т., т. 4. М., 1964, с. 457—519).

...ездил смотреть картину Брюлова... — имеется в виду картина К. П. Брюллова (1799—1852) «Последний день Помпеи» (1830—1833), написанная художником в Италии, летом 1834 г. перевезенная в Петербург и с осени выставленная здесь в Академии художеств. Во время своего путешествия в Италию в 1831 г. Перовский и четырнадцатилетний Толстой посещали там Брюллова как раз в период его работы над этой картиной (см. запись Толстого в дневнике от 4 мая 1831 г.— в кн.: Толстой А. К. Собр. соч. в 4-х т. Т. 4, с. 25).

Стр. 401. *Гауергманн* — Якоб Гауерман (1772—1865) — немецкий художник и график.

Не спеши с Loup-garu... — речь идет о не дошедшем до нас замысле Толстого.

Ему же
22 марта 1835 г.

Стр. 401. *...должен ли ты приготовляться... экзамен?* — речь идет о предстоявших Толстому экзаменах в Московском университете.

Стр. 402. *И Жуковского еще не видал... очень занят...* — В. А. Жуковский был воспитателем великого князя Александра Николаевича, будущего царя Александра II.

Флёри — Лев Львович Флери — библиотекарь Петербургского ботанического сада.

Ему же
27 марта 1835 г.

Стр. 402. *...вершины Альп...* — речь идет, очевидно, о не дошедшем до нас раннем сочинении Толстого.

Фишер Федор Богданович (1782—1854) — известный ботаник, управляющий ботаническим садом А. К. Разумовского в Горенках, с 1823 г.— директор Петербургского ботанического сада.

форштмейстер — должность в лесном ведомстве.

Ему же
4 апреля <1835> г.

Письмо — без указания года, однако оно могло быть написано только в 1835 г., так как в нем, как и в письме от 22 марта 1835 г., речь идет об университетских экзаменах, которые Толстой, не будучи студентом университета, сдал экстерном в декабре 1835 г.

Стр. 403. *Курбатовы* — родственники Перовских.

Содержание

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТАТЬИ

ПИСЬМА

Погорельский А.

П43 Избранное/Сост., вступ. ст. и примеч. М. А. Турьян; Оформ. М. К. Шевцова; Ил. Б. А. Гуревича.— М.: Сов. Россия, 1985.—432 с., ил., 1 л. портр.

В однотомник известного русского писателя первой трети XIX века А. Погорельского (А. А. Перовского) вошли его основные художественные произведения, за исключением широко известной и неоднократно переиздававшейся сказки «Черная курица». Наряду с уже знакомыми советскому читателю повестью «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» и романом «Монастырка» в книгу включены избранные стихи, литературно-критические статьи и письма Погорельского.

П $\frac{4702010100-119}{М-105(03)85}$ 81—85 Р1

Антоний Погорельский
(Алексей Алексеевич Перовский)

ИЗБРАННОЕ

Редактор *Т. М. Мугуев*
Художественный редактор *Г. В. Шотина*
Технический редактор *Р. Д. Рашковская*
Корректор *Т. Б. Лысенко*

ИБ № 3737

Сдано в набор 06.12.84. Подп. в печать 17.07.85. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 22,68. Уч.-изд. л. 24,25. Тираж 400 000 экз. 1 завод (1—100 000 экз.) Заказ 11. Цена 2 р. 10 к. Изд. инд. ЛХ-434.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.